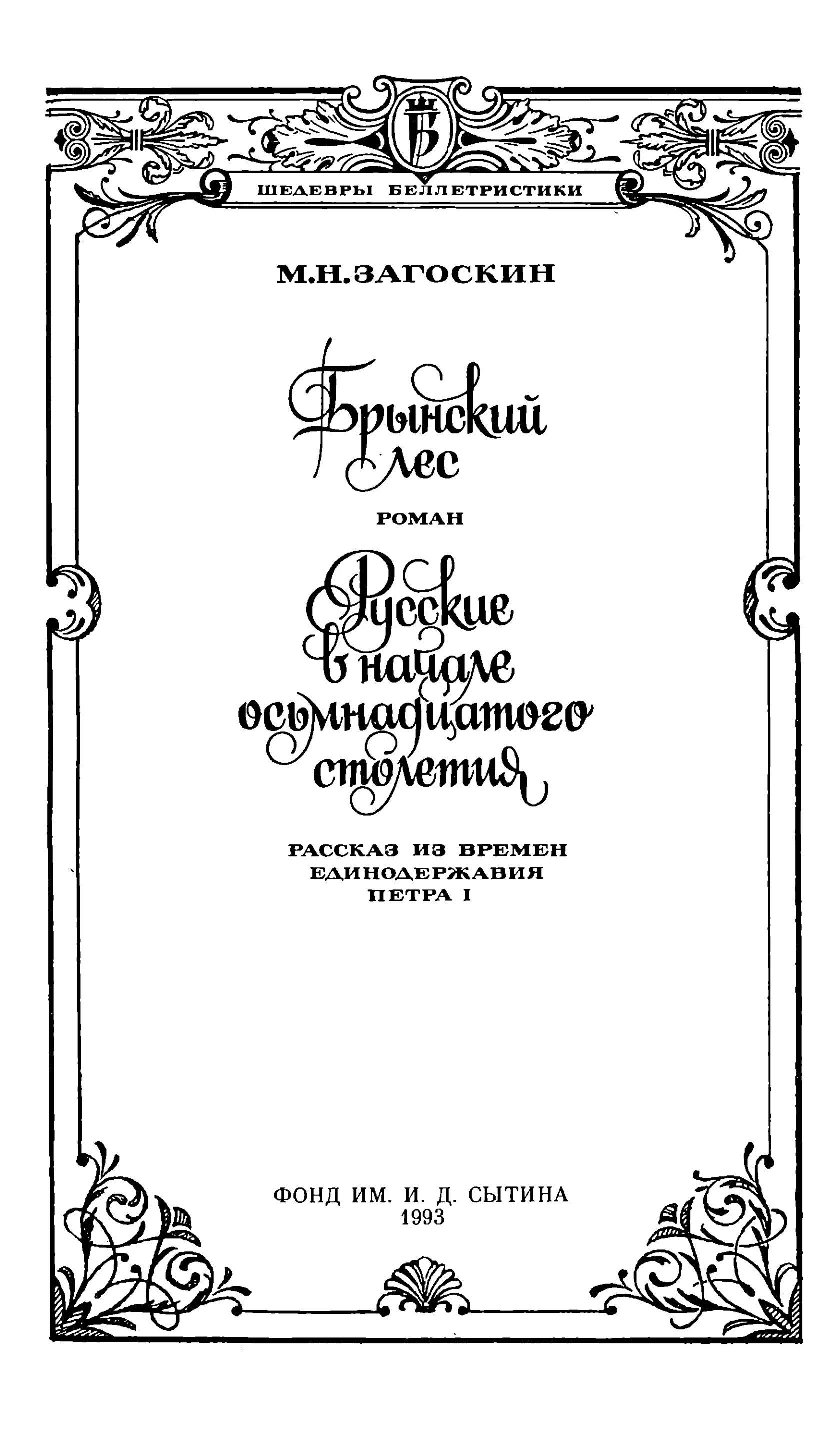
М.Н.
ЗАГОСКИН

Брынский лес

БРЫНСКИЙ ЛЕС

М.Н. ЗАГОСКИН



ШЕДЕВРЫ БЕЛЛЕТРИСТИКИ

М.Н.ЗАГОСКИН

Брынский лес

РОМАН

Русские в начале осьмнадцатого столетия

РАССКАЗ ИЗ ВРЕМЕН
ЕДИНОДЕРЖАВИЯ
ПЕТРА I

ФОНД ИМ. И. Д. СЫТИНА
1993

ББК 84Р1
З-14

Загоскин М. Н.
З-14 Брынский лес; Русские в начале восьмнадцатого столетия: Романы/Худож. Р. Вейлерт.— М.: Фонд им. И. Д. Сытина, 1993.

ISBN 5-86863-001-7

Брынский лес (Эпизод из первых годов царствования Петра Великого. В двух частях) Русские в начале восьмнадцатого столетия (Рассказ из времен единодержавия Петра I)

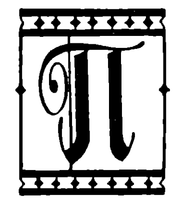
З $\frac{4702010101-002}{В43(03)-93}$ Без объявл. ББК 84Р1

ISBN 5-86863-001-7

Брынский лес

Часть первая

I



од самодержавным и кротким правлением двух первых царей из рода Романовых, отечество наше начинало уже забывать все прошедшие свои страдания. Как торжествующий победитель, едва не погибший в борьбе с сильным врагом, смотрит с гордостью, но также и с невольным трепетом, на свою грудь, покрытую исцелевшими ранами,— так точно и святая Русь, с внутренним сознанием своей силы, но вместе и с ужасом, вспоминала о бедствиях, претерпенных ею во времена междуцарствия. В последние тридцать лет, благодаря твердому и мудрому правлению царя Алексея Михайловича, Россия отдохнула и стала по-прежнему царством сильным, богатым и самобытным; почти везде изгладились кровавые следы ее врагов, внешних и внутренних, и одно только изустное предание напоминало русским о нашествии иноплеменных, о грабежах буйных полчищ Трубецкого, о разорении Москвы, о постыдных предательствах, изменах,— и, может быть, скоро все эти казни Божии, эти самозванцы, поляки, междуусобия и крамолы стали бы им казаться каким-то смутным, тяжким сном, если б вместе с кончиной царя Федора Алексеевича не возник снова этот дух мятежа и безначалия, от которых нередко гибнут целые народы, и сильные царства становятся добычею слабых своих соседей.

От царствующего рода оставалось только два сына царя Алексея Михайловича: от первого брака царевич Иоанн, от второго Петр,— первый, едва вышедший из детства, второй еще дитя. Рожденная от первого брака старшая их сестра, царевна Софья Алексеевна, была

одна из прекраснейших женщин своего времени, одаренная умом и способностями, истинно необычайными, но в то же время властолюбивая, хитрая и готовая пожертвовать всем для достижения своей цели. Царевич Иоанн, юноша кроткий и благообразный, но слабый здоровьем, отказался добровольно от своего наследственного права, и десятилетний Петр был единогласно провозглашен царем Русским. Это единодержавное правление продолжалось только три недели. Царевна Софья, при помощи родственника своего, боярина Милославского, и других приверженных ей вельмож, склонила на свою сторону московских стрельцов. Они взбунтовались, побросали с высоких каланчей своих съезжих изб полковников, которые старались удержать их от мятежа, перерезали главных своих начальников, князей Долгоруких — отца и сына, умертвили родственников Петра, бояр Нарышкиных, князя Черкасского, двух князей Ромодановских, только что возвратившегося из ссылки знаменитого Артамона Сергеевича Матвеева, многих других бояр и сановников — и потом силою возвели на престол, в соцарствование Петру, брата его, царевича Иоанна, а сестру их, Софью, объявили соправительницею — или, верней сказать, правительницею царства Русского, потому что сначала выходили указы за подписью ее и обоих царей, а впоследствии подписывала их одна Софья Алексеевна. Но этого было мало для властолюбивой царевны; она предвидела, что власть ее не долго продлится. Десятилетний Петр не походил на обыкновенных детей; на его юном и прекрасном челе лежала печать помазанника Божия. Избранник небес, переродитель России, он и в детских годах удивлял всех своим умом, твердостью и бесстрашием. Все его ребяческие забавы, все детские потехи имели высокую, бессмертную цель, которую, может быть, отгадывала одна Софья. Еще несколько лет, и это порфирородное дитя будет самодержавным, мощным царем, с которым всякая борьба сделается невозможною. Следствием этого предвидения были беспрестанные мятежи, возмущения стрельцов и заговоры, всегда клонившиеся к тому, чтобы погубить державного отрока Петра, который был не под силу Софье Алексеевне, несмотря на то, что ее называли премудрою.

Прежде, чем я приступлю к моему рассказу, мне должно познакомить читателей с тогдашним единственным в Москве сборным местом, или если хотите, гуляньем всех праздных людей, зевак, вестовщиков, охотников до новостей, разных промышленников, а иногда

и людей, имеющих важные замыслы. Это гулянье, или, лучше сказать, сходбище, на котором, по словам иностранных писателей, народ толпился каждый день с утра до вечера, это сборное место, напоминающее римский форум, называлось, и теперь называется, Красной площадью; только нынешняя во многом не походит на прежнюю. Покровский собор, то есть церковь Василия Блаженного, Лобное место и Спасские ворота — вот все, что осталось в прежнем виде. Вместо нынешних красивых и легких Никольских ворот возвышалась тяжелая четырехугольная башня с небольшой вышкой и воротами, которые также назывались Никольскими. Кремль отделялся от Красной площади не так, как теперь, одной высокой стеною,— их было три, одна другой выше; над зубцами внутренней, то есть самой высокой стены, была деревянная крыша, точно такая же, как теперь над оградой Троице-Сергиевской лавры. Выше кремлевских стен блестели, как и теперь главы соборов, монастырских церквей и сиял в вышине золотой крест Ивана Великого. Направо, к Никольским воротам, за стеною Кремля виднелась кровля дома боярина Бориса Михайловича Лыкова; налево, к собору Василия Блаженного, высоко подымались огромные хоромы ближних бояр, Ивана Васильевича Морозова и князя Якова Куденетовича Черкасского. У Иверских ворот, которые тогда назывались Каретными и Воскресенскими, существовала уже часовня Иверской Божией Матери, разумеется не теперешняя, а построенная в 1666-ом году, по указу царя Алексея Михайловича; нынешняя существует с небольшим пятьдесят лет. Тогдашние ряды или гостиный двор был кирпичный с деревянными пристройками; он разделялся на четыре двора: старый, новый, соляной и рыбный; в первых двух были ряды и амбары, в последних отдельные лавочки, шалаши, балаганы и палатки. Лучшие ряды были: панский, суровский, фряжский и веницийский. Кругом Лобного места и по всей Красной площади разбросаны были также лавочки, шалаши и балаганы, в которых торговали шапками, рукавицами, всяким мелочным товаром и съестными припасами. Вблизи от Лобного места стояло невысокое каменное здание, на плоской кровле которого лежали две огромные медные пушки — это был дом земского приказа или полиции. Из двух улиц, выходящих на Красную площадь, нынешняя Ильинка была замечательна тем, что на ней под открытым небом происходило то, что в наше время делается

обыкновенно по домам или в особенно заведенных для того комнатах. На этой улице стригли волосы, и, вероятно, посетители этих воздушных salon pour la coupe des cheveux были очень многочисленны. Олеарий, живший в Москве при царе Михаиле Феодоровиче, говорит, что на этой улице всегда лежали на земле остриженные волосы такими толстыми и густыми слоями, что проходящим казалось, будто бы они ходят по тюфякам.

В 1682 году, вскоре после первого стрелецкого бунта, в ясный летний вечер, на Красной площади, на которой по обыкновению толпился народ, один молодой человек стоял, прислонясь к наружной стене Лобного места. Это был видный и прекрасный собою мужчина; его темноголубым глазам с черными ресницами, румяным щекам и мягким шелковистым кудрям позавидовала бы любая московская красавица; по его одежде не трудно было отгадать, что он принадлежит к числу младших начальников стрелецкого войска. Этот молодой человек смотрел задумчиво и с приметной грустью на рабочих людей, которые спешили окончить кирпичный, довольно высокий столб, сооружаемый на самой середине площади; по временам он бросал также исполненный презрения взгляд на отвратительную толпу продавцов, которые почти все были стрельцы. Они явно и без всякого опасения продавали вещи, награбленные ими во время мятежа. Их буйные и дерзкие речи, наглость, с какой они зазывали, или, лучше сказать, тащили к себе покупщиков, обидные насмешки, которым подвергались все мирные граждане, не желавшие покупать добытый разбоем товар, угрозы и ругательства, которыми эти вооруженные торгаши осыпали бедных купцов, торгующих с ними на одной площади,— все изобличало этот буйный разгул ослепленных удачей мятежников; они беспечно предавались своей неистовой радости и веселью, а меж тем над их преступными головами собиралась Божия гроза. Никто из них не помышлял о страшном дне отмщения, а этот день был уже близко.

— Что ты, горе-богатырь, так призадумался?— сказал, подойдя к этому молодому человеку, стрелецкий сотник пожилых лет и вовсе не красивой наружности.

— А! Здравствуй, Лутохин!—промолвил как будто бы нехотя молодой человек.

— Я и не знал, что ты приехал,— продолжал пожилой стрелец.— Ну, брат, понаслышались мы о тебе!.. Поздравляю, Дмитрий Афанасьевич!

— С чем!

— Как с чем?.. Ведь ты два месяца тому назад поехал отсюда в Кострому к своему дяде Семену Яковлевичу Денисову.

— Ну да!

— И не застал его в живых.

— Так ты с этим-то меня поздравляешь?

— Не с этим, братец! Да ведь он отказал тебе свое родовое поместье. Ты теперь человек богатый.

— Да Бог с ним, с этим богатством!.. Покойный дядя был мне вместо отца родного; кровных у меня никого нет. Что я теперь? Один как перст!

— А другой-то дядя — Андрей Яковлевич Денисов?

— Этого я знаю только понаслышке.

— И я его никогда не видывал, а слыхать-то слыхал. О нем идет много всяких речей: никоновцы зовут его еретиком, а те из наших, которые придерживаются старины, величают столпом православия. Да где он теперь?

— Бог весть!.. Покойная матушка сказала мне, что он сначала спасался в Соловках, после жил за Онегою, а там отправился на житье в Стародуб; а в самом-то деле, чай, никто не знает, где он теперь.

— Да, это правда. Мало ли что про него болтают: говорят, что он часто и в Москве бывает... да еще то ли!.. Рассказывают, будто бы его в одно время видели в разных местах. Вот примером сказать: ты бы сегодня под вечер повстречался с ним в Костроме, а мне бы он попался теперь на Красной площади. Да это все, чай, бабьи сплетни. Скажи-ка мне лучше, Дмитрий Афанасьевич, ты вчера, что ль, приехал из Костромы?

— Нет, сегодня поутру.

— Ну, брат Левшин! — продолжал пожилой стрелец,— жаль, что тебя здесь не было — поработали мы!

— Да,— прошептал молодой человек,— поработали, да только кому? Ведь можно поработать и Господу, и сатане!

— Сатане?.. Что ты, что ты,— перекрестись!

— Пожалуй, у меня рука подымется: я не мятежник и не убийца.

— Да что ж ты, Левшин, в самом деле! — вскричал пожилой стрелец.— Да разве мы бунтовщики какие? Ведь мы послужили царю нашему, Иоанну Алексеевичу и нашей матушке, царевне Софье Алексеевне.

— А Петра-то Алексеевича ты забыл?..

— Ну, что ж? Ведь и он также царствует.

— Поработали! — продолжал вполголоса молодой человек.— Хороша работа!.. Как-то вам будет отвечать на том свете, коли на этом еще не ответите!.. Страшно подумать... сколько ближних бояр, знаменитых сановников!..

— Экий ты, братец, какой! Да слышь ты, они все были изменники!

— Изменники? Неправда!.. Да если б и так: изменников судит царь и дума боярская, а мы что за судьи?

— Что за судьи?.. Видишь ли ты этот столб?

— Вижу.

— А знаешь ли, что он строится с дозволения нашей матушки-царевны Софьи Алексеевны?

— Знаю.

— А ведомо ли тебе, что его ставят здесь ради того, чтобы на веки веков знали о нашей верной службе и об измене бояр, за которых ты заступаешься?

— Все знаю — и дай Бог, чтоб этот столб скорее развалился.

— Ого!.. Так ты этак-то поговариваешь, Дмитрий Афанасьевич?.. Да чему и дивиться!.. Ведь ты не наш брат: ты стрелец только по имени. Отец твой Афанасий Ильич Левшин...

— Что мой отец? Он служил стрелецким головою.

— Знаем, знаем! А все-таки он был родовой человек. Твоя покойная матушка родом Денисова, племянница князю Мышецкому,— ты сам теперь богатый помещик; так пригоже ли тебе, такому боярину, служить в стрелецком войске! Тебе бы давно ударить челом, чтоб тебя перевели в жильцы. Ведь от жильцов-то недалеко и до стряпчих; а там, глядишь, родненька твой, князь Мышецкий, замолвит за тебя словечко ближнему боярину, князю Голицыну — так ты как раз и в стольники попадешь.

— Нет, Лутохин: где служил и умер на службе мой отец, так и я буду служить.

— А коли так, зачем же ты говоришь такие речи? Иль ты не знаешь пословицы: с волками жить, по-волчьи выть.

— Я не волк, а человек, по-волчьи выть не умею,— сказал отрывисто молодой стрелец, отходя прочь от Лобного места.

Он не успел сделать несколько шагов, как другой стрелецкий сотник, почти одних лет и весьма приятной наружности, кинулся к нему на шею и закричал:

— Здравствуй, брат Левшин!.. Давно ли ты из Костромы? .

— Только что приехал,— отвечал Левшин.— Эх, брат Колобов! — продолжал он,— не чаял я видеть того, что вижу! Да неужели и ты такой же крамольник, как этот Федька Лутохин, с которым я сейчас говорил?

— Нет, Дмитрий Афанасьевич, не обижай! И я и все мои товарищи неповинны в этом грехе пред Богом и царем. Сухарева полк, в котором я служу, не изменил своей присяге. Сначала помутили и наших ребят, и они было завозились, да пятисотенный Иван Васильевич Бурмистров,— дай Бог ему здоровья! — сказал, что ляжет вместо порога у царских палат; вот они язычок-то и прикусили! А там вышел пятидесятник Борисов, человек, кажись, небольно грамотный, а как начал им толковать, что такое есть присяга, так все, братец, прослезились!

— Ну, слава Богу! — сказал Левшин,— хоть один полк! Все-таки душе полегче.

— Да зато уж, брат, как другие-то полки нас не жалуют — вот так бы и проглотили, да благо нельзя!.. Ведь целый полк не один человек — подавишься! Знаешь ли что, Дмитрий Афанасьевич: тебе бы не худо переписаться в наш полк. Ваш полковник Бухвостов болен, так зауряд правит полком Кузьма Иваныч Чермнов, задушевный друг Самбулову, Цыклеру и Щегловитому; а ведь они-то и были первыми зачинщиками мятежа. Чего доброго, коли на беду эти разбойники проведают, что ты не тянешь на их руку, так они как раз тебя уходят.

— Как! Без суда?

— Какой суд! Скажут, что ты изменник — вот и все! Ведь наш теперешний-то набольший — князь Иван Андреевич Хованский, им с руки: что б они ни сделали, все шито да крыто!..

— Эх, брат Колобов, не хотелось бы мне оставить полк, в котором помнят еще моего покойного батюшку.

— Раньше помнили, а теперь у них не то на уме. Эй, Левшин, послушайся меня! Хочешь, я теперь же пойду к Ивану Васильевичу Бурмистрову?.. Он это дело разом уладит.

— Ну-ин быть по-твоему,— сказал Левшин.— Ведь по правде-то сказать, и покойный батюшка не стал бы служить с бунтовщиками.

— Тс! Тише! Что ты горланишь! — шепнул Колобов.— Иль тебе надоело голову на плечах носить? Кругом нас ушей-то много — про себя, что хочешь говори, а вслух не моги! Ведь здесь, братец, на площади

расправа коротка — ни за что пропадешь!.. Ты теперь куда — домой, что ль?..

— Нет, еще не домой. Зайду в Успенский собор поклониться святым угодникам.

— Ну, ступай, а я завтра у тебя поутру побываю.

Левшин, простясь с своим приятелем, отправился в Кремль. Подойдя к Спасским воротам, он увидел, что множество праздношатающихся людей всякого состояния и в том числе несколько стрельцов столпились вокруг одного нищего. Лицо, руки и босые ноги этого нищего были запачканы грязью, а сверх посконного балахона, от которого оставались одни только лохмотья, надета была через плечо веревка, на которой висел плетенный из лыка кошель. Впрочем, лицо его было не безобразно, и седые распущенные по плечам волосы придавали ему вид состарившегося в трудах монастырского послушника.

— Ну, что вы пристали! — говорил он плаксивым голосом дурака, которого раздразнили.— Наладили одно да одно: «Гриша! где ты был? Гриша! куда ты пропадал?» Так не скажу. На что вам?

— Вот уж целый год никто тебя не видел у Спасских ворот,— сказал один купец.— Мы, Гриша, думали, что ты умер.

— Нет, брат, живехонек!..

— На-ка тебе, Гриша, копеечку,— сказал другой купец.

— На что мне? У меня, брат, и своих копеечек-то было много.

— Куда ж ты их подевал? — сказал первый купец.

— Разошлись по белу свету.

— Эх, Гриша, Гриша! зачем же ты их не берег?..

— Большие колокола не велели.

— Вся толпа засмеялась.

Смейтесь, смейтесь! А послушайте-ка сами, что колокола говорят.

— А что они говорят, Гриша? — спросил один из купцов.

— Да маленькие-то лепечут: «денег дай, денег дай, денег дай!» А большие-то, видно, умнее маленьких; те гудят: «деньги гибель, деньги гибель, деньги гибель!»

Хохот в толпе удвоился.

— Да! Вам смех, а мне и полсмеха не было,— продолжал нищий.— Жаль было с денежками расставаться, а все-таки больших колоколов послушался: на-

чал мои копеечки раздавать — бери, кто хочет! И теперь,— прибавил он с веселой улыбкой,— слава тебе, Господи, нет за душой ни полушечки!

— Гриша,— сказал один из стрельцов,— спой-ка нам Алексея Божья человека.

— Да, спой!.. Как бы не так! Ведь поешь, коли на сердце весело, а мне плакать хочется.

— О чем, Гриша?

— Да есть о чем. Пришел я вчера издалека, пообносился, устал, намаялся. Вот думаю: погоди! отведу же я себе душеньку, в Москве у меня приятелей-то много: тот даст калачик, тот рубашонку, тот зипун... Дай пойду к князю Юрию Алексеевичу Долгорукову. Он, бывало, голубчик, всегда меня и напоит, и накормит. Пошел. Стук, стук! «Что ты?» — «Пришел повидаться с князюшкой».— «Так ступай на погост: его убили стрельцы».— «А сынок-то его?» — «Лежит с ним рядышком». Ну, нечего делать! Я к князю Михаилу Алегуковичу Черкасскому «Приказал, дескать, долго жить! Убили стрельцы». Я к князьям Ромодановским. «Свезли, дескать, на кладбище — убили стрельцы!» Вот думаю: пойду к Артамону Сергеевичу Матвееву — ведь его стрельцы-то отцом родным называли, так уж, верно, у них и руки на него не подымутся. Пришел. Стукнул в калитку. «Кого надобно?» — «Артамона Сергеевича».— «Помолись за его душу — убили стрельцы!»

— Туда изменникам и дорога! — прервал стрелец.— А ты, Гриша, пустого-то не мели.

— Да, да! — подхватил другой стрелец,— ты смотри, лохмотник, ври да не завирайся! Пошел бы лучше да умылся — замарашка этакий! Руки-то все в грязи.

— И, брат! — сказал нищий.— Что грязь?.. Грязь ничего! Ополоснулся водицей — глядишь, и белехонек! А вот как руки-то замараешь христианской кровью, так уж их, голубчик, ничем не отмоешь.

— Вот что выдумал!..— промолвил третий стрелец, огромного роста и с зверской, глупой рожей.— Ничем не отмоешь. Эва! какую околесную несет!

— Нет, не околесную,— подхватил первый стрелец.— Он себе на уме! Вишь, какие речи говорит!

— Эх, братцы,— продолжал нищий,— погуляли, потешились — будет! пора и Богу помолиться! Ведь Он терпит, терпит, да как устанет терпеть, так худо, ребята! И к вам также придут: «стук, стук!» — Кого надобно? — «Стрельцов-молодцов».— Были, дескать, были, да все сплыли и напоказ не осталось.

— Ах ты, ворон зловещий,— завопил первый стрелец.— Да что ж ты, на самом деле, так раскаркался? Гоните его, ребята, с площади долой! Полоумный этакий!.. Пошел! Пошел!

Стрельцы бросились на нищего и начали его бить и гнать перед собою толчками.

— Что вы это, братцы? — закричал Левшин.— Ну не грешно ли вам? Недужный старик — нищий!..

Тут кто-то схватил Левшина за руку. Он обернулся. Перед ним стоял приятель его Колобов, бледный, как смерть.

— Скорей, скорей отсюда! — прошептал он торопливо.

— Постой, братец! — сказал Левшин.— Дай выручить этого бедняка. Они прибьют его до полусмерти.

— Эх, братец, оставь их! Ну, что они ему сделают? Ведь он убогий человек. Поколотят, да и все! А ты о голове-то своей подумай.

— О гол[illegible]..

— Пойдем! — сказал Колобов, оглядываясь робко назад и таща за собою Левшина.— Там, в Кремле, я все тебе скажу.

II

Войдя Спасскими воротами в Кремль, Колобов подвел своего приятеля на то самое место, где теперь Разводная площадь. В то время вся эта площадь была покрыта деревянными домами бояр и бревенчатыми избами, из которых многие были ничем не лучше нынешних белых крестьянских изб.

— Вот здесь мы можем на минуту остановиться,— сказал Колобов.— Сюда они не придут. Ну, слава Богу, что я тебя отыскал!.. Если бы ты им попался!..

— Кому, братец?

— Ну, Левшин, не говорил ли я тебе...

— Да что такое?

— А то, что тебе надобно скорей отсюда убираться,— да не к нам, в стрелецкую слободу: там тебя найдут...

— Найдут? Кто найдет?

— А вот, послушай. Простясь с тобою, я пошел к Ивану Васильевичу Бурмистрову. Он живет в своем доме на Неглинной. Как я стал подходить к Каретным

воротам, слышу — тебя называют громко по имени. Гляжу, стоит человек двадцать стрельцов да трое сотников твоего полка — этот буян Михайло Чечотка, Андрей Головлинский и мошенник Федька Лутохин. Я подошел поближе и стал прислушиваться. «Да, братцы,— говорил Лутохин,— Левшин всех нас позорит, говорит, что мы разбойники и бунтовщики, смеется над нашим столбом».— «Ах он изменник! — закричал Чечотка.— Ребята! знаете ли что? Петлю ему на шею да вздернем его на этот столб!» — «Вздернем!» — закричали стрельцы. «Стойте, братцы, стойте!.. Что вы? — молвил Андрей Головлинский,— ведь он наш брат, стрелецкий сотник, а не купчина какой. Коли он изменник, так его надо казнить порядком. Отведем его к полковнику. Вы знаете, Кузьма Иваныч Чермнов потачки не даст...» — «Да что ж,— закричал опять Чечотка,— разве мы сами с этим дворянчиком не справимся?» — «Что и говорить,— сказал Головлинский,— убить не долго, да что в этом толку-то? Еще, пожалуй, скажут, что мы по насердкам убили этого изменника. Нет, братцы! пусть прежде сделают ему пристрастный допрос, а как уличат в измене, так выведут на площадь да казнят всенародно, по приговору стрелецкого приказа... Знаете ли что? Пойдемте все к нему на дом; коли еще он не вернулся, так мы его подождем».— «В самом деле,— молвил Лутохин,— пойдемте, братцы, захватим на дому этого Иуду-предателя, скрутим ему руки назад, да и потащим к полковнику Чермнову: он его допросит по-свойски!» — «А коли он начнет барахтаться,— промолвил Чечотка,— так мы его и без полковника порешим!.. Собаке, изменнику — собачья и смерть. Не так ли, ребята?» — «Так!» — заревели в один голос стрельцы, да всей гурьбой и отправились на Москворецкий мост, а я побежал тебя отыскивать, и слава тебе, Господи, что нашел.

— Уж не думают ли эти разбойники,— сказал Левшин,— что я живой им отдамся в руки?

— Не о том речь, братец!.. Ты ведь один с целым полком не сладишь. Вот как перейдешь к нам, так у тебя будет заступа — не выдадим; а теперь денька на три тебе надо приискать какое-нибудь укромное местечко. Ко мне нельзя: я живу за Москвою-рекою в слободе, а там тебя и ночью-то будут сторожить... Знаешь ли что? У меня есть знакомая старушка, она держит в Зарядье постоялый двор; сама она старообрядка, и останавливаются у нее все приезжие и старообрядцы. Старуха добрая;

я ей скажу, что ты задолжал богатым людям и что тебя на правеж тащили, да ты ушел! Так она отведет тебе такой уголок, что тебя в полгода и земский приказ не отыщет. Нам придется опять идти через Красную площадь, да, чай, уж эти разбойники давно за Москвой-рекой, так мы с ними не встретимся. Пойдем, Дмитрий Афанасьевич. Пока я не сдам тебя с рук на руки моей старухе, до той поры у меня от сердца не отляжет.

Оба сотника, оставив Кремль, вышли опять на Красную площадь; с первого взгляда они увидели, что на ней происходит что-то необыкновенное. Народ волновался, шумел, и многочисленные толпы со всех сторон площади спешили к Лобному месту. Увлеченные этим людским потоком наши молодые стрельцы подошли довольно близко к Лобному месту — и тут представилось Левшину совершенно неожиданное для него зрелище. Множество людей, из которых некоторые были одеты, как чернецы, стояли с иконами, крестами и святым евангелием; у иных были в руках огромные свитки, другие толпились вокруг налоев, на которых лежали разогнутые церковные книги; перед ними полупьяные мужики держали зажженные свечи, а на Лобном месте стоял в подряснике человек высокого роста, с косматой бородой и растрепанными длинными волосами. Он кричал громким голосом: «Послушай, народ христианский, обличение на новую Никонианскую веру!.. Постойте, православные, за истинную церковь, ибо ныне уже нет православной церкви, и прямая вера погибе на земли!.. Се бо антихрист настал!»

— Что это такое? — спросил Левшин, когда они, продравшись сквозь толпы и миновав церковь Василия Блаженного, повернули налево по Варварке. — Что это за человек такой?

— Да все тот же расстрига Никита Пустосвят. Вот уж он целую неделю таскается по всем площадям, рынкам и кружалам — мутит везде народ.

— И его до сих пор не уймут?

— Да, брат, сунься-ка! За его веру стоит половина стрелецкого войска, да никак и сам князь-то Иван Андреевич Хованский того же толку придерживается... Эх, брат Левшин, — плохие времена!.. То-то и есть! Поммирволили сначала этим крамольникам — дали повадку, а теперь им уж удержу нет!.. Ну, вот и церковь Максима Блаженного! Сюда, направо, Дмитрий Афанасьич, ступай за мной, — прибавил Колобов, начиная спускаться

с крутой деревянной лестницы, которая, изгибаясь по скату горы, вела на одну из улиц Зарядья.

Зарядье, то есть часть города, находящаяся за рядами, и теперь составлена почти из одних въезжих домов, подворьев и харчевен; только теперь этот набережный квартал Китай-города застроен весь каменными домами, а тогда, за небольшим исключением, они все были деревянные. Нынешние постоялые дворы по большим дорогам могут дать понятие о тогдашних подворьях Зарядья; они были только гораздо обширнее, и, вместо одной большой избы, составлялись иногда из трех или четырех изб, соединенных меж собою крытыми переходами; тут были и зимние теплые хаты с широкой печью и полатями, и летние светлицы с красивыми резными скамьями, дубовым чистым столом и оловянным висячим умывальником. Лучшим украшением этих изб и светлиц были, так же, как и теперь, живописные иконы; перед ними обыкновенно теплилась лампада, а из-за них виднелась ивовая лоза, то есть верба, которая сменялась однажды в году после заутрени на Вербное Воскресенье. Иногда также на одной полке с образами стояла склянка с богоявленской водою и лежало яйцо, которым хозяин и хозяйка дома похристосовались в последнее Светлое Воскресенье со своим приходским священником.

Левшин и Колобов, спустясь по лестнице в Зарядье, прошли шагов двести вдоль прямой улицы, которая вела к Москве-реке; потом, повернув налево в кривой и грязный переулок, остановились подле ворот, занимающих промежуток между двух высоких изб. Обе эти избы были в два жилья, крыты гонтом и украшены резными коньками и узорчатыми подвесками.

— Ну, вот и Мещовское подворье! — сказал Колобов.— Дома ли хозяйка? Эй, бабушка! ты дома, что ль? — закричал он, подойдя к открытому окну одной из изб.

— Кто тут? — раздался в избе пискливый голос, и в небольшое окно сначала высунулся огромный красный нос, а потом вдвинулось, как в тесную раму, толстое, брюзглое лицо с отвисшим подбородком.

— Здорово, Архиповна!

— Ах ты, сокол мой ясный, Артемий Никифорович! — пропищала эта безобразная рожа, ухмыляясь самым приветливым образом.— Милости просим, батюшка! Пожалуйте, пожалуйте! калитка отперта.

Наши приятели взошли со двора в небольшие сенцы, в которых встретила их хозяйка дома, толстая, здоровая

старуха, в поношенной камчатой телогрее и красной камлотовой юбке. Голова ее была повязана шелковым платком и, как видно, на скорую руку, потому что Колобов, взглянув на нее, засмеялся и сказал:

— Здравствуй, Архиповна! Что это у тебя шлык-то на стороне?

— Торопилась, батюшка, торопилась! — отвечала старуха, поправляя свой головной убор.— Ведь хуже, если бы вы застали меня простоволосою. Милости просим в мою келью, господа честные, милости просим!

Стрельцы вошли в небольшую хату, довольно опрятную, но такую низкую, что Левшин, который был высокого роста, едва не доставал головою до потолка. В переднем углу, на полке, вместо обыкновенных живописных икон, стоял огромный медный складень с выпуклыми изображениями святых и висели на гвоздике кожаные четки.

— Архиповна,— сказал Колобов,— я привел к тебе этого молодца; он так же, как я, стрелецкий сотник.

— Вижу, батюшка, вижу!

— Мы с ним задушевные приятели — крестами давно поменялись.

— Сиречь вы крестовые братья. Так, батюшка, так!

— Вот изволишь видеть: он позадолжал и уже его сегодня вели на правеж...

— На правеж!.. Этакого молодца и красавца!.. Помилуй Господи!.. Видала я, как на этих правежах бьют прутьями по ногам. Мука, батюшка, мука!

— А делать-то нечего, Архиповна; если б он не ушел, так пришлось бы ему стоять босиком перед приказом.

— Полно, так ли, Артемий Никифорович? Уж не хотели ли его только путнуть? То ли время теперь, чтоб стрелецкого сотника отдавать на правеж!.. Да какой купец или горожанин посмеет...

— Вестимо, Архиповна, купец не посмеет, да он задолжал не купцам, а своей братье, начальным стрелецким людям.

— Вот что!.. Ну, это иная речь, батюшка: тут уже за него вступиться будет некому.

— Денька через три он как-нибудь справится и заплатит, да теперь-то не может, так, знаешь ли, на это время надобно его куда ни есть припрятать,— понимаешь?

— Смекаю, батюшка.

— Не найдешь ли ты ему какой-нибудь уголок.

— Как бы не найти, да на тот грех все мое подворье битком набито приезжими — и все, батюшка, издалека, все люди нашей старой веры, со всех мест: с Поморья, с Вятки, из Брынских лесов... Говорят, будто бы собор будет, и наши станут спорить с никоновцами и отстаивать истинную веру... Помоги им Господи!

— Эх, не о том речь, бабушка! Ты мне скажи: неужели-то у тебя нет ни одного порожнего уголка?

— Есть то есть, кормилец! На заднем дворе знатная светелка! И лесенка в нее особая.

— Так чего же лучше!

— А вот что, Артемий Никифорович: рядом-то с нею другая светелка, да снизу еще два покоя, — и в них во всех живет один приезжий...

— Ну, так что ж?

— Жилец-то, батюшка, не простой...

— Да не боярин же какой-нибудь!..

— Боярин не боярин, а кабы вы знали, кто у него вчера был тайком...

— А кто, бабушка?

— Да ведь вы, пожалуй, разболтаете...

— Нет, Архиповна, — нет! Говори смело.

— К нему вчера, — продолжала старуха шепотом, — приходил в сумерки, один-одинехонек... сама, батюшка, видела, своими глазами...

— Да кто?

— Ваш набольшой-то воевода...

— Князь Иван Андреевич Хованский?

— Он!

— Вот что?.. Да нет ли у твоего жильца дочки?

— И, полно!.. Что ты, греховодник!.. Ну, конечно, дочка есть, — да то-то и беда: она живет в светлице; так если узнают, что я под бок к ней посадила такого молодца...

— Да ведь, чай, между ним и этой красавицей стена будет?

— Какая стена... так, из дощечек; и на беду и двери есть; хоть они и заколочены, а все, батюшка, как-то непригоже...

— Знаешь ли что, Архиповна: если тебя спросят, так ты скажи, что пустила в эту светелку недужного человека, старика... Ведь он никуда выходить же не станет, и всего-то на три дня...

— Правда, дочка-то приезжего, — продолжала Архиповна, — днем только сидит в светлице, а ночует, обедает и ужинает внизу.

— Так чего же ты боишься? Лишь только эта красавица в светлицу, так он притаится, как заяц под кочкой. Ей и в голову не придет, что подле нее живут.

— Ну, ин быть по-вашему! Только смотри, молодец, живи смирно, чтоб тебя и слышно не было.

— Да уж не опасайся! — прервал Колобов.— Ведь и он у меня ни дать ни взять красная девушка.

— Я затем это говорю, батюшка, что этот жилец-то, кажись, от всех прячет свою дочку,— и мне даже не дал перемолвить с ней ни словечка; у них дверь всегда на замке.

— А отец ее также сидит взаперти? — спросил Левшин.

— Нет, батюшка, и он и служитель его часто выходят: их и теперь нет дома. Работница его, Дарья, также забежит иногда ко мне; а дочка, словно затворница какая, никуда ни пяди: весь день сидит одна-одинехонька да вышивает на пяльцах. Вот была в Москве, а Москвы не видала!

— Так это дело слажено,— сказал Колобов.— Что придется за постой и за хлебы, считай на мне, а теперь веди-ка нас скорей в светлицу. Да смотри, бабушка: коли неравно станут пытать, не живет ли у тебя какой стрелецкий сотник...

— Так я, батюшка, хоть образ со стены сниму. Не живет да и только! И почему мне знать, что он стрелецкий сотник? Мое дело бабье! Пожалуйте...

Левшин и Колобов, вслед за хозяйкою постоялого двора, прошли задними воротами на другой двор, застроенный клетьми и амбарами, посреди которых стояла высокая изба в два жилья и с двумя крыльцами, одно с лицевой стороны под дощатым навесом, который поддерживали красивые балясы, другое сбоку и без всяких украшений. Архиповна пробралась сторонкой, завернула за угол избы и по крутой лесенке ввела стрельцов в небольшие сени.

— Постойте-ка на минуту, молодцы,— сказала она,— я пойду взгляну, где моя жилица.

— Да разве ты, бабушка, сквозь стену-то увидишь?

— И, кормилец! в дощатой стене всегда щелочки есть,— отвечала Архиповна, входя в светлицу.

— Слышишь, Левшин? — сказал Колобов.— Смотри же, брат, скажи мне, хороша ли твоя соседка. Ведь тебе делать-то будет нечего, сиди себе у стенки, да в щелку и посматривай.

— Ступайте, господа честные,— промолвила Архиповна, растворяя дверь.— Жилица моя внизу.

Наши приятели вошли в небольшую светелку с одним окном.

— Вот, батюшка,— сказала Архиповна, обращаясь к Левшину,— там под лавкой лежит войлочек. Не прогневайся, лишней перины у меня нет да и подушечек-то Бог не дал. Что ж делать — не взыщите!

— И, бабушка, есть о чем хлопотать! — прервал Колобов,— была бы только крыша. Ведь наш брат, ратный человек, ходя наестся и стоя выспится.

— А что, молодец,— сказала Архиповна, обращаясь к Левшину,— не принести ли тебе поужинать?

— Спасибо, бабушка! Я ужинать не стану,— отвечал Левшин.

— Что ты, что ты, кормилец! Без ужина да без молитвы никогда спать не ложись...

— Нет, любезная, я есть не хочу.

— Что нужды, батюшка; ты на это не смотри: и не хочется да покушай.

— Не тронь его, Архиповна,— прервал Колобов.— Коли он не хочет есть, так я за него поем; ты же ономнясь хвалилась, что у тебя есть астраханская белужина.

— Есть, батюшка!.. Да есть также и малиновый медок,— вот тот самый, что ты жаловать изволишь.

— Право? Так я, бабушка, к тебе заверну.

— Милости просим! А твоему крестовому братцу, видно, уж принести пораньше позавтракать. Ты что хочешь, молодец? Я сама тебе состряпую. Хочешь ли перепечу крупичатую или курник с яичной подсыпкою?

— Все равно, бабушка, все равно!

— Нет, батюшка, не все равно: перепеча перепечей, а курник курником.

— Ну, как сама хочешь.

— Так лучше курник — это будет посытнее. Теперь пойду на ледник, нацежу свеженького медку жбан, да уж так и быть... редкий гость!.. есть у меня заветная наливочка: прошлого года гостинец из Черкас привезли... Ну уж, батюшка, есть чем почествовать,— сластынь такая, что и сказать нельзя!.. Прощенья просим!.. Смотри же, Артемий Никифорович, я буду тебя дожидаться.

— Да небось, Архиповна, припасай только нам своей хваленой наливки-то, а уж мы твои гости.

— Так я пойду. Счастливо оставаться, господин честной!.. Спокойной ночи, крепкого сна... Ох, да натощак-то какой сон!

— Засну, бабушка! — сказал Левшин, улыбаясь.— Прощай!..

— Насилу ушла! — промолвил Колобов, когда Архиповпа вышла из светлицы.— Старуха добрая, а уж куда здорова болтать. Ну, брат Левшин, ты сам покамест пристроен к местечку, теперь надо подумать о твоих домашних. Тебя эти разбойники не захватят на дому, да зато уж все твое доброе подымут на царя, заберут твоих служителей, начнут от них выпытывать, где ты — замучат их сердечных!

— Я этого не боюсь,— сказал Левшин.— Ведь я еще и сам в доме-то не был.

— Как так?

— Да так. Я сегодня около вечерен приехал сюда налегке с одним знакомым купцом из Ростова. Он приехал к своему родному брату, который служит поддьяком в холопьем приказе, а тот не хотел отпустить меня без угощения; рассказал мне почти со слезами обо всех безбожных делах этих окаянных мятежников,— и я прямо из его дома пришел на Красную площадь, где с тобой и повстречался.

— Так ты один приехал из Костромы?

— Нет. Мой слуга Ферапонт и конюх едут на долгих. После покойного дядюшки досталось мне много всякого добра...

— А, вот что! Так у тебя обозец сюда идет?

— И коней ведут, двух персидских аргамаков. Одним из них тебе челом бью, Артемий Никифорович.

— Спасибо, Дмитрий Афанасьевич!

— А другого оставлю для себя; Султаном зовут. Что за конь, братец!.. Ферапонт никогда не бывал в Москве, так я велел ему дожидаться меня по Троицкой дороге у креста.

— Когда ты их ждешь?

— Да завтра поутру должны быть.

— Так я вместо тебя их встречу.

— А я было сам думал...

— Нет, братец, погоди!.. Неравно еще наткнешься на кого-нибудь из своих товарищей. Уж верно они обо всем донесли полковнику Чермнову; чай, он теперь и рвет и мечет. Вот, как перейдешь в наш полк, так ты себе перед ним хоть вовсе шапки не ломай; а пока еще ты

у него под началом, так он может тебя и силою потянуть на расправу... Э! да постой-ка!.. Ведь ты никак знаком с боярином Кириллою Андреевичем Буйносовым?

— Как же! Он очень любил моего покойного батюшку, и меня изволит жаловать.

— Так я завтра же поутру у него побываю. Я слышал, что он живет в ладу с нашим главным воеводою, князем Иваном Андреевичем Хованским, и коли замолвить ему словечко, так тебя завтра же переведут в наш полк. Ну, брат Левшин, делать нечего, пришлось тебе жить затворником!.. И то сказать — вперед наука! Думай, что хочешь, а языку-то воли не давай. Плетью, брат, обуха не перешибешь. Ты лучше по-моему: сиди у моря да жди погоды; будет и на нашей улице праздник: не все станут мирволить этим крамольникам. Дай только подрасти нашему батюшке, Петру Алексеевичу, так он приберет к рукам и их и сестрицу свою,— промолвил вполголоса Колобов.— Да что об этом толковать — не наше дело!.. Прощай, брат, до завтра! Пойду смаковать хваленой наливочки... а ты смотри — на улицу ни ногой!.. Да не забудь, Левшин! я завтра спрошу тебя, хороша ли твоя соседка?

Простившись с своим приятелем, Левшин сел на лавку и призадумался не о том, что он должен был скрываться, как преступник, что неосторожной речью восстановил против себя своих сослуживцев,— нет! чистая и благородная душа его не терпела немоты. Он не мог не высказать того, что было у него на сердце, и повторил бы снова те же самые слова перед всем полком своим. «Умереть за правду весело,— думал он,— а грустно жить таким круглым сиротою. Что я? Без отца, без матери, без кровных... Я теперь богат, а на что мне это богатство? Кого я им порадую?.. Ах! зачем Господь не послал мне подругу по сердцу!.. Я желал бы, чтобы она была бедна: я осыпал бы ее жемчутом, одевал бы в парчу, тешил бы, как малое дитя... а теперь кого я потешу? кому скажу: «ты делила со мной и бедность и горе; у нас все было пополам,— так раздели же со мной и мое богатство, и мои радости. Веселись, моя ненаглядная, чтоб и мне было весело; будь счастлива, чтоб и я, глядя на тебя, был счастлив?..» Почем знать, может быть, злодеи отыщут меня?.. Они не пощадили и родственников царя, так что же для них убить беззащитного бобыля, без рода и племени. Почем знать, может быть, завтра или через несколько дней меня не станет и некому будет поплакать

о горькой доле бедного сироты, и разве только добрый Колобов, да и то тайком, отслужит панихиду за упокой души раба Божьего Дмитрия!»

Никогда еще Левшин не чувствовал так сильно эту непреодолимую тоску одиночества. Нет! никакие дружеские связи, никакая приязнь не могут заменить для души нашей ласки отца и матери, привет родных сестер и братьев, и эту святую, неизменную любовь доброй жены, которая — я уверен в этом — и умирая, не покидает своего мужа! она изменяет только свое название, и вместо жены становится его ангелом-хранителем!.. Мы, дети девятнадцатого столетия, чтоб рассеять грустные мысли, отправляемся в театр, скачем на гулянье, едем на бал,— а тоска за нами следом: от нее никуда не ускачешь! У наших предков было средство повернее этого. Когда их мучила грусть, томило уныние,— они молились Богу и горький плач скорби превращался в тихие слезы умиления; а эти слезы... о, верьте мне! как роса небесная для цветка, попаленного зноем, так эти слезы для души, истомленной земною горестью! — Левшин прибегнул к этому средству — и, когда усердная молитва облегчила его душу, он прилег на жесткий войлок, положил под голову свое платье и, как на мягком пуховике роскошного богача, заснул самым тихим и спокойным сном.

III

Левшин проснулся рано поутру и едва успел одеться и помолиться Богу, как вошла к нему Архиповна, неся на деревянном блюде завтрак.

— Ну, вот, батюшка,— сказала она,— изволь покушать моей стряпни.— Я принесла к тебе спозаранок затем, чтоб ты позавтракал, прежде чем твоя соседка придет в светлицу. Что, молодец, проголодался?.. Чай, у тебя сна вовсе не было?

— Нет, бабушка, я спал хорошо.

— Ну, диво! А я, грешница, коли не поужинаю вдоволь, так во всю ночь глаз не сведу... Поболтала бы я с тобой, да некогда: пора на рынок идти... Ох, сердечный! скучно тебе будет, не с кем словечка перемолвить; а если б и было с кем, так придет твоя соседка, и ты, хочешь или не хочешь, а молчи... да уж помолчи же, батюшка! Не введи меня, старуху, в слово.

— И ты думаешь, Архиповна, соседка не догадается, что подле нее живут? Что же мне целый день не пошевелиться.

— Да это, батюшка, ничего! Пустила, дескать, денька на три хворого старичка. А как начнешь говорить, так не поверят: голос-то у тебя не стариковский. Ну, изволь же, батюшка, покушать на здоровье моего курника!.. Да вот тебе на этом кулечке калачик, крупичатый хлеб, штофик с медом, а в сенях я поставила кувшин с водою... Прощай покамест, молодец!.. Пораньше-то на рынке из первых рук купишь,— продолжала Архиповна, уходя,— а только опоздай немного, так они, окаянные прасолы, все захватят. Ведь теперь на перекупщиков,— промолвила она, остановясь в дверях,— никакой управы не найдешь. Не прогневайся, они, почитай, все стрельцы... Ох! батюшка, жутко нам от них приходится: все забирают в свои руки!

Несмотря на приглашение гостеприимной хозяйки, Левшин не дотронулся до завтрака; ему было совсем не до того: он чувствовал, что с ним происходит что-то небывалое; он не мог присесть на одном месте; кровь приливала беспрестанно к сердцу, которое поминутно замирало от какого-то тревожного ожидания. Вчера еще он вовсе не думал о своей соседке, а теперь, Бог весть почему, она не выходила у него из головы. Сначала он сам не понимал, отчего желает с таким нетерпением увидеть вовсе не знакомую ему девицу, быть может, весьма непригожую собою; но, наконец, какое-то темное и в то же время непреодолимое предчувствие овладело совершенно его душой. Оно как будто бы говорило ему: «Вот здесь, за этой перегородкой живет та неизменная подруга, неразлучная спутница в жизни, которая предназначена тебе от Господа». Нетерпение его умножалось с каждой минутою. Вот прошел час, другой... «Полно, придет ли она сегодня?— думал Левшин, ходя взад и вперед по своей тесной горенке.— Уже солнце высоко!. Чай, скоро благовест начнется... Чу!.. Вот и загудел Успенский колокол!.. Пора бы, кажется». Несколько раз подходил он к дощатой стене и смотрел в щелку, хотя всякий раз видел одно и то же: чистую светлицу, побольше той, которую он занимал, лежанку из белых изразцов, скамью, стол, а на столе большие пяльцы. Но вот наконец послышался шорох... Левшин прижался к перегородке и затаил дыхание... Двери в светлицу отворились, вошла женщина среднего роста; но прежде, чем

Левшин успел взглянуть на ее лицо, она обернулась спиною к перегородке, чтоб, по тогдашнему благочестивому обычаю, помолиться пред иконами. Как ни коротка была эта молитва, но Левшин успел полюбоваться прекрасным станом своей соседки. Она была в шелковом сарафане, с непокрытой головой, которую опоясывала одна только алая ленточка; ее заплетенные в широкую косу волосы, черные и блестящие, как вороное крыло, опускались почти до самой земли; на ногах ее были красные черевички, которые показались Левшину похожими на башмачки восьмилетнего ребенка. Когда соседка его, помолясь перед иконами, обернулась к нему лицом, он едва мог удержаться от невольного восклицания... Нет! никогда и в самых пылких мечтах своих не создавал он существа прелестнее этой красы-девицы, которая теперь представилась ему наяву! Вы, может быть, знаете из старинных песен, что тогдашний идеал женской красоты немного имел в себе романтического. Белизна, дородность и яркий румянец на щеках составляли главное достоинство русской красавицы. Отчего же Левшин смотрел с таким упоением на эту девицу с гибким станом и почти бледными щеками? Уж не потому ли, что истинная, совершенная красота, несмотря на условные и весьма различные понятия о красоте, просто и без всякого отчета пленяет нас своей неизъяснимой прелестью?.. Вероятно, Левшин не думал ничего подобного, все чувства его слились в одно зрение. Он не рассуждал, а смотрел только с восторгом на эти черные, задумчивые глаза, в которых выражалось какое-то спокойное уныние и тихая кротость младенца, на эти алые уста, на это белое, как снег, девственное чело, на эти обворожительные ямочки на щеках и мелкие, ровные зубы, которые блеснули, как чистый жемчуг, когда красавица, взглянув на свою работу, улыбнулась и молвила довольно громко: «Ну, батюшка будет доволен! У него еще не было такого нарядного ручника». Эти слова были сказаны таким звучным и очаровательным голосом, что в наше время какой-нибудь меломан назвал бы его музыкальным. Девица, полюбовавшись несколько времени своей работой, села за пяльцы. С полчаса Левшин не отходил от перегородки; он не спускал глаз со своей красавицы, следил за каждым ее движением, и, когда она встала, чтобы достать кошелек, который лежал на полке, то сердце в нем замерло от испуга. Он подумал, что его соседка хочет уйти. Прошло еще несколько минут, кра-

савица перестала работать, облокотилась на стол и задумалась. По-видимому, эти размышления были не очень приятны, потому что ее светлые очи затуманились и налились слезами.

— Да что это он мне все мерещится,— шепнула она,— и во сне и наяву!.. Ах, зачем я его видела!.. Прежде мне было только скучно, а теперь!..

Тут снова послышался шорох.

— Это ты, Дарья,— спросила девица тихим и приветливым голосом.

— Я, матушка,— отвечала входившая в светлицу толстая, здоровая девка в крашенинной душегрейке, затрапезной юбке и кожаных чеботках, надетых на босу ногу.

— Батюшка дома?

— Нет, ушел вместе с Антоном... Не с кем словечка перемолвить!.. Я было толкнулась к хозяйке, и та на рынок ушла... вот я, Софья Андреевна, к тебе; все-таки вдвоем повеселее... Да что это?.. Никак, ты плачешь?..

— Нет, Дарья, так...

— Как так!.. Смотри-ка, смотри! слезы так и льются!..

— Скучно, Дашенька, грустно!

— И, матушка! о чем тебе грустить?— сказала Дарья, садясь на скамью.— Уж тебя ли батюшка не лелеет!.. Чего у тебя нет?.. И платья шелковые, и дорогие монисты, и жемчужные ожерелья...

— Жемчужные ожерелья!.. А на что мне они?..

— Как на что?.. Открой скрынку, да и любуйся?.. Нет, Софья Андреевна, не гневи Господа!.. Коли твое житье не житье, так что же наше?.. Вот ты захотела Москву посмотреть,— батюшка тебя в Москву привез...

— В Москву!.. Так по-твоему этот постоялый двор — Москва?

— А как же!.. Разве ты из своей светлицы Ивана Великого не видишь?

— Москва!..— повторила вполголоса девица.— Да неужели в самом деле я вижу Москву в первый раз?

— Вестимо в первый, матушка.

— Так отчего же мне кажется... Кремль, соборы, Иван Великий... да, да! я уж их когда-то видела... Ах, как мне тяжело!.. Вот так и хочется о чем-то вспомнить... да нет, не могу!.. Знаешь ли, Даша: у меня в голове бывает иногда — ну точь-в-точь, как ночью, когда начинает заниматься заря... станет светлеть... светлеть... Вот, смотришь, сейчас и солнышко взойдет... вдруг набегут

тучи, все потускнеет, подернется мглою, и опять потемки — опять ничего! Помнишь ли, Даша, когда мы ехали Москвою, я вдруг вскрикнула?

— Помню, матушка!

— А знаешь ли отчего?

— Да оттого, что к нам в повозку заглянули пьяные стрельцы.

— О, нет! Я их не видела.

— Так отчего же?

— А вот отчего: мы проехали мимо большого дома с высоким теремом... Как я на него взглянула, так у меня сердце и забилось!.. Ведь этот дом... Ну, вот, ты опять станешь надо мной смеяться...

— Нет, не стану. Ну, что этот дом, Софья Андреевна?

— Да, да! Этот дом, два крыльца с большими навесами, терем с тремя окнами, белая каменная кладовая с железной дверью — все это показалось мне знакомым, родным, вот так бы туда и бросилась... Помнишь, как я заплакала?.. Ты, верно, думала оттого, что меня напугали стрельцы?.. Нет, Дашенька, мне жаль было расставаться с этим домом.

— И, матушка, ты опять за старое! Ведь уж столько раз тебе толковали, что лет пятнадцать тому назад — тебе еще было тогда годка четыре — ты была при смерти больна и как выздоровела, так забыла все прежнее, а помнила только то, что видела в бреду.

— В бреду!.. Ах, как это чудно!.. Я и теперь как будто бы сквозь сон, а помню... Даша! ведь у меня сестер не было?

— Не было, матушка.

— А мне, помнится, их было много... и маленькая и большая... У меня и матушка была...

— Ну, конечно, была; да только ты ее не помнишь Батюшка твой сказывал, что тебе и году еще не было, как она умерла.

— Ах, нет, Даша!. Я говорю о другой,— ну вот что я во сне-то видела... Постой! — продолжала девица, приложив руку к голове.— Да, да!.. У меня и отец также был, только совсем не такой, как батюшка... и матушка у меня была, и нянюшка... Погоди, погоди!.. Кажется, я начинаю вспоминать... Мы все едем, едем!.. А там какой-то темный лес... а там... Да помню... мне что-то сделалось очень страшно... со мной никого нет, ни матушки, ни нянюшки... А там я как будто бы заснула

и долго, долго спала... А что было после — ну, уж этого, Дашенька, я никак не могу вспомнить!..

— И, Софья Андреевна! охота же тебе вспоминать о том, что ты видела в бреду! Я тогда у вас в дому не жила, а слышала после: у тебя была такая огневица, что ты, почитай, целый месяц в память не приходила, так диво ли, что тебе и Бог весть что мерещилось?.. И со мной была однажды такая же болезнь, и мне также помнилось, что я боярыня, что у меня золота и серебра полные сундуки насыпаны, а как пришлось после опять за квашню приниматься, так поневоле вспомнила, что я работница... Да что об этом говорить! Знаешь ли, Софья Андреевна, зачем я была теперь у нашей хозяйки? Я хочу от нее допытаться, что за молодцов таких она провела вчера через наш двор; а уж нечего сказать — молодцы!.. Особливо тот, который пониже; что за личмянной детина такой!..

— Ах, нет, Дашенька! Тот, который выше, гораздо миловиднее.

— Э!.. Так и ты их видела?

— Да... так... мельком... Я на ту пору сидела у окна... Чему же ты, Дарья, смеешься?

— Тому, матушка, что ты этак закраснелась... Ну!.. еще! словно маков цвет!.. Э-их, Софья Андреевна!.. Молоденька ты, матушка!.. Ну, что за беда, что ты взглянула на пригожего детину? Ведь ты не черница какая!

— Знаешь ли что, Дашенька? Помнишь, прошлого года на святках ты уговорила меня гадать?

— Помню, матушка! Ты еще сказывала мне, что видела во сне молодца, русоволосого, с голубыми глазами... Неужели этот высокий детина?..

— Ах, Дашенька, ну точь-в-точь такой же! И взгляд такой же унылый, и платье, помнится, на нем такое же...

— Вот что!.. Ну, Софья Андреевна, видно, он твой суженый.

— И, полно, Даша!.. Прохожий!..

— Что, матушка, прохожий, — не узнаешь!.. Вот и я также: ела на святках пересол, и меня во сне напоил какой-то вовсе не знакомый детина. Что ж ты думаешь? Не прошло месяца, как я его увидела!.. Да ты знаешь его: работник твоего батюшки, Архипка рыжий...

— Архипка!.. Да ведь он женат!

— А почему знать, матушка, может быть, и овдовеет.

— Так ты думаешь, что этот прохожий молодец мой суженый?

— Да видно, что так. А жаль, что не другой!.. Другой-то пригожее.

— Ах, нет, Дашенька!

— Да чем же этот высокий показался тебе лучше своего товарища?

— Я и сама не знаю; но уж только лучше его я в жизнь свою никого не видала.

Вы можете себе представить, каково было Левшину, когда в эту самую минуту, может быть, блаженнейшую во всей его жизни, двери из сеней отворились, и он увидел Колобова, который манил его к себе. Левшин отскочил от перегородки, вышел потихоньку в сени и затворил за собою дверь.

— Ну, что ты, братец? — спросил он почти с досадою.

— Да что, Дмитрий Афанасьич,— отвечал Колобов, улыбаясь,— я вижу: не в пору гость хуже татарина! Ну что, хороша ли?

— Кто хороша?

— Вестимо кто — твоя соседка.

— А почем я знаю. Она ни разу не приходила в светлицу.

— Так чего же ты смотрел в щелку-то?

— Так — от безделья.

— Хитришь, брат!.. Ну, если твоей соседки нет, так войдем к тебе в светлицу.

— Нет, нет! — прервал торопливо Левшин.— Лучше здесь!.. Неравно кто-нибудь войдет, услышит, что мы разговариваем...

Колобов засмеялся.

— Эх, полно, братец! — сказал Левшин,— говори скорей, зачем ты пришел?

— Как зачем?.. Повидаться с тобой, да взглянуть на твою соседку.

— Охота же тебе, Колобов...

— Ну, ну, не сердись!.. Экий ревнивый какой!. Вот что, братец: я сейчас был у боярина Кириллы Андреевича Буйносова; он уже все знает: на тебя донесли князю Хованскому, а тот ему пересказал. Как я стал говорить, что ты хочешь перейти в наш полк, так боярин покачал головою и сказал: «Поздненько Левшин хватился; теперь уж речь не о том, а как бы только голова-то на плечах осталась. Сегодня, как совсем смеркнется, приди с ним тайком ко мне, так авось мы придумаем, как горю пособить». От боярина Буйносова я отправился

к Кресту и, как туда попал, гляжу — тянется по Троицкой дороге обозец, телег шесть, и двух коней ведут: на задней телеге едет холоп, такой дюжий, что страшно взглянуть: рожа широкая, рябая...

— Ну, так и есть! — прервал Левшин.— Это Ферапонт.

— Я закричал: стой, ребята! Вы не Дмитрия ли Афанасьевича Левшина? «Его-ста»,— молвил передний подводчик.— Кто из вас Ферапонт? — «Я, ваша милость!» — отвечал рябой, соскочив с телеги. Я сказал ему, что выслан навстречу, что им теперь на дом к тебе ехать нельзя, и чтоб они остановились в первом постоялом дворе и ждали приказа. Оттуда я пошел к тебе,— и, знаешь ли что, Левшин? Как я проходил через Красную площадь, так слышал такие непригожие речи, что упаси Господи! Народ так и кипит — и все какие-то разносчицы; а Никита Пустосвят стоит опять на Лобном месте и кричит: «Пойдемте, православные, в собор изгонять хищного волка... Да восстанет истинная церковь, и расточатся все враги ея!..»

— И некому унять этого злодея? — вскричал Левшин.

— Какой унять!.. К нему весь народ пристает. Крики и гам такой, что и сказать нельзя! Мне повстречался наш пятисотенный Бурмистров и с ним человек двести стрельцов: идут в Кремль охранять царские палаты. Я и сам туда же сейчас побегу.

— Как! — сказал Левшин,— неужели эта сволочь осмелится ворваться в чертоги царские?

— Чего доброго, у них все станется.

— Так и я с тобою! — вскричал Левшин.

Он вбежал в светлицу и схватил свою саблю.

Увлеченный первым порывом, этот пылкий и благородный юноша забыл, что его могут и видеть, и слышать из соседнего покоя.

— Что ты, Левшин, что ты? — сказал Колобов, идя вслед за ним в светлицу.— Да в своем ли ты уме? Ты хочешь идти в Кремль?.. Да разве ты не знаешь, что твои злодеи ищут тебя по всему городу?.. И добро бы еще в другое время, а то теперь, когда эти окаянные крестоизменники опять завозились!.. Да ты и до Кремля не дойдешь. Лишь только выйдешь на площадь, так тебя тотчас же и уходят.

— Воля Божия, Артемий Никифорович,— чему быть, тому не миновать.

— Да сделай милость — останься!..

— Останься!.. Эх, брат, не тебе бы говорить, не мне бы слушать!.. Чтоб я в то время, как наш батюшка, Петр Алексеевич, будет окружен изменниками и предателями, сидел, как баба, взаперти?.. Нет, Колобов! не тому учил меня покойный батюшка. «Коли пришлось умирать за веру православную и за царя,— говаривал он,— так не торгуйся: ложись, да и умирай! Там будет хорошо».

— И, братец! Да что значит один лишний человек?..

— Что значит! А почем ты знаешь, может быть, мне-то Господь и судил заслонить моею грудью того, кому я целовал крест и святое Евангелие?

— Эй, Левшин, подумай!.. Ведь ты идешь на верную смерть.

— Наша жизнь, Колобов, в руке Божьей. Коли мне не суждено погибнуть от моих злодеев, так я останусь жив; а если суждено, так не честнее ли мне умереть с оружием в руках у порога царского, чем здесь или в другом каком захолустье?

В эту минуту послышался какой-то глухой и невнятный шум, похожий на отдаленный гром, которого раскаты слились в один грозный и протяжный гул.

— Чу!..— сказал Левшин.— Слышишь ли, братец?

— Да, Дмитрий Афанасьич, и здесь слышно, как воют на площади эти голодные волки. Видно, опять крови захотелось!..

— Идем!..

— Нет, воля твоя, я тебя ни за что не пущу; лучше сам не пойду.

— Так оставайся же один!— вскричал Левшин.

Он оттолкнул своего приятеля, опрометью бросился вон и в три прыжка очутился внизу лестницы. В то самое время, как он выбежал из светлицы, за перегородкою раздался горестный вопль и кто-то прошептал: «Боже мой! он идет на смерть!..» — «Эх, жаль молодца!» — проговорил другой голос, и все затихло. Когда Левшин вышел на двор и обернулся, чтобы посмотреть, идет ли за ним Колобов, то невольно взглянул на светлицу своей соседки — и что ж он увидел? Она стояла у открытого окна. Ее взор, исполненный любви и страха, был устремлен на него... О, это уже не случай! Она была у окна для того, чтобы он ее видел... Эти глаза, наполненные слезами, этот умоляющий взгляд, эти сложенные руки!.. Казалось, она хотела ему сказать: «О не ходи, не ходи!»

Но вдруг окно затворилось, и подле Левшина раздался голос Колобова.

— Ну, что ты, братец, остановился? Уж не передумал ли?.. Эй, Дмитрий Афанасьич, послушай меня!

Левшин стоял бледный, как смерть; он едва мог дышать, он чувствовал, что кровь застывала в сердце... О! Кто может разгадать, что происходило в эту минуту в душе влюбленного юноши?.. Святой долг — и первая любовь; там, в Кремле, почти верная смерть,— а здесь, быть может, целый век блаженства, подле той, которую избрало его сердце!.. Да! Эта душевная борьба была ужасна; но она недолго продолжалась; полумертвое лицо Левшина оживилось снова, взор вспыхнул, и он, схватив за руку своего приятеля, сказал твердым голосом:

— В Кремль, мой друг!.. В Кремль! А там что Бог даст? Его святая воля!

— Куда вы это, молодцы? — спросила Архиповна, которая стояла у ворот постоялого двора.

— Теперь на площадь, бабушка,— отвечал Колобов.

— Да на площади никого нет: все в Кремле.

— Зачем?

— Как зачем?.. Я вам говорила, что будет собор. Грановитая-то палата битком набита: все наши там.

— Слышишь, брат? — вскричал Левшин.— А мы еще здесь. Скорей, скорей!

— Что за диво! — прошептала Архиповна.— Вчера этот молодец от правежа прятался, а теперь в Кремль идет!.. Ах, батюшки! бегом пустились!.. Уж не хотят ли и они постоять за истинную веру?.. Давай Господи!

IV

Левшин и Колобов добежали в несколько минут до Красной площади; на ней народ не толпился по обыкновению, но за то у Спасских ворот была такая давка, что они должны были поневоле остановиться.

— Что, молодцы,— сказал какой-то нищий, который сидел у самых ворот, приютясь к стене,— знать ходу нет?.. Эва, как народ-то сперся в воротах — ни туда, ни сюда!

— А! Это ты, Гриша? — сказал Левшин.

— Я, брат.

— Бедненький! чай, тебя вчера больно стрельцы-то прибили?

— Да, брат, потрепали, дай Бог им здоровья!.. Да что вы напираете — не пройдете, молодцы. Дайте народу схлынуть. Вишь, Никита как всех перебулгачил: уж за ним людей-то шло — видимо-невидимо!.. Эх Никитушка, Никитушка,— продолжал нищий, покачивая головой,— слепой вождь слепых!.. Жаль мне тебя, голубчик! Много за тобой пришло сюда друзей и приятелей, а много ли их будет с тобой, как выведут тебя на площадь?

— Что ты это, Гриша, говоришь? — спросил Колобов.

— Так, брат, про себя! — сказал нищий и запел вполголоса: — Со святыми упокой!.. Ах, что-то не поется,— промолвил он, остановясь, и горько заплакал.

— Ах, батюшка, Дмитрий Афанасьевич! — сказал какой-то приземистый и плечистый детина, лет тридцати пяти, подойдя к нашим приятелям, которые как ни старались, а не могли подвинуться ни шагу вперед.

— Это ты, Ферапонт? — вскричал Левшин.— Зачем ты здесь?

— Виноват, батюшка, не утерпел! Хотелось поклониться московским угодникам.

— Эх, брат! — прервал Колобов,— напрасно ты ушел с постоялого двора...

— Да там, батюшка, остались конюх Вавила и двое подводчиков: ничего не пропадет.

— Успел бы и после побывать в соборах, то ли теперь время.

— А что, сударь?

— Разве не видишь?

— Вижу, батюшка: народ так и валит в Кремль... Видно, ход?

— Какой ход!

— Что ж это, Колобов! — вскричал с нетерпением Левшин.— Долго ли нам здесь стоять? Пойдем лучше к Никольским воротам.

— А вам, батюшка, пройти, что ль? — спросил Ферапонт.— Так прикажите, я как раз дорожку прочищу.

— Вишь какой Еруслан Лазаревич! — сказал Колобов.— Нет, брат, тут на силу не возьмешь.

— А вот посмотрим! — прошептал Ферапонт.— Он уперся могучим плечом в толпу, понатужился, двинул — и вся эта плотная масса народа заколебалась.

— Тише, тише! — раздались голоса впереди.

— Батюшка, давят! — закричали под воротами.— Смерть моя!.. раздавили!.. Куда ты, разбойник этакий!.. Тише, тише!..— Но Ферапонт, не обращая внимания на все эти вопли и ругательства, продолжал медленно подвигаться вперед, а за ним Левшин и Колобов.

— Уф, жарко! — сказал он, отдуваясь, когда они выбрались наконец за ворота.— Ну, тесно! Еще бы этак саженей десятка три-четыре, так и я бы из сил выбился!

— Экий бык! — промолвил Колобов, глядя с удивлением на Ферапонта.— Однако ж, брат, ступай и здесь передом: вишь народу-то набралось! А, чай, там, около Грановитой палаты, хоть по головам ходи.

И подлинно, вся нынешняя Дворцовая площадь запружена была народом. Несмотря на охранную стражу, составленную из стрельцов Сухарева полка, толпы всякого рода и звания людей ежеминутно прорывались к Красному крыльцу, которое было все усыпано народом. Ферапонт принялся снова работать плечами, валя народ направо и налево, и лишь только потряхивал курчавою головою, когда какой-нибудь невежливый кулак задевал его по затылку. Вот наконец наши приятели протеснились до Красного крыльца и, оставив Ферапонта внизу, начали взбираться по лестнице. Мимоходом они заметили, что большая часть людей, захвативших все входы в Грановитую палату, состояла из раскольников: у каждого за поясом четки, у иных в руках книги и почти у всех за пазухой каменья. Все эти раскольники были в каком-то исступлении, и у некоторых лица выражали такое нечеловеческое зверство и остервенение, что страшно было на них взглянуть.

В сенях перед Грановитой палатой столпилось человек двести этих бешеных изуверов — пройти было невозможно.

— Посторонитесь, ребята! — сказал Левшин — Мы идем в Грановитую палату.

— Постоите и в сенях! — промолвил один высокий старик в длинном балахоне.

— Говорят вам, посторонитесь! — повторил вспыльчиво Левшин.

— А тебе говорят, стой там, где стоишь!.. Вишь, какой выскочка!.. Да не пыли, не пыли, молодец, надорвешься.

Колобов толкнул локтем Левшина и, оборотясь к старику, сказал вполголоса:

— Экий ты, братец какой!.. Да там в палате, чай, православных меньше, чем никоновцев, так что ж вы своих-то не пускаете? Ведь этак мы не одолеем.

— А вы разве наши?

— Ваши, ваши! — шепнул Колобов.

— Посторонитесь, правоверные! — закричал старик.

Толпа расступилась. У дверей Грановитой палаты стоял довольно сильный отряд из стрельцов и детей боярских; разумеется, Колобов и Левшин, как стрелецкие начальные люди, были пропущены. Они вошли в палату, и вот что представилось их взорам: на царском месте сидели цари Иоанн и Петр Алексеевичи; рядом с ним, по левую сторону, сидела на великолепных креслах соправительница, царевна Софья Алексеевна, подле нее вдовствующая царица Наталья Кирилловна, великие княжны Татьяна Михайловна и Мария Алексеевна. Потом на скамьях, которые тянулись вдоль стен всей палаты, размещены были по старшинству думные бояре, окольничьи и прочие государственные и придворные сановники. По правую сторону царского места сидел святейший патриарх Иоаким; одиннадцать митрополитов, четыре архиепископа, два епископа[1] и все московские архимандриты. С обеих сторон царского места стояли рынды, младшие придворные чины и человек пятьдесят вооруженных жильцов, одетых в шелковые разноцветные терлики. Вся середина палаты была занята толпою раскольников: тут были люди всех званий, и в том числе многие, принадлежащие, по-видимому, к духовному сословию. Это были беглые чернецы, выгнанные из монастырей послушники и расстриги из белого духовенства; одни из них держали в руках иконы, другие огромные зажженные свечи. Впереди этой буйной сволочи стоял перед налоем расстрига Никита Пустосвят. По обеим сторонам у входа в Грановитую палату толпились стрельцы разных полков со своими начальниками. Колобов присоединился к отряду Сухарева полка; Левшин стал подле него. Когда они вошли в палату, дьяк Борис Протасов читал, по приказу царей, челобитную Никиты, в которой этот мятежный расстрига, называя себя и своих единомышленников православными, а все духовенство, начиная с патриарха, отступниками от истинной веры, требовал собора для всенародного обличения всех последователей, по словам его, нечестивой Никонианской ереси. Когда челобитная была прочтена, Никита и некоторые из его сообщников, ссы-

---

[1] Один из них был, причисленный ныне к лику святых угодников, преподобный епископ Митрофаний.

лаясь на принесенные ими древние рукописи, начали в самых дерзких и обидных выражениях обвинять духовенство в злоумышленном искажении церковных книг Святейший патриарх и митрополит астраханский Никифор ответствовали им, что сделанные при патриархе Никоне поправки в церковных книгах были необходимы; что некоторые списки, при сличении их, оказались несходными меж собою, и что даже многие из прежних переводов греческих церковных книг не во всем были сходны со своими подлинниками. Но все эти доказательства, основанные на истине и здравом смысле, оста лись тщетными. Грубое невежество и эта фарисейская гордость, которую мы называем фанатизмом, ненавидят истину. Многоречие, пустословие, превратное толкование текстов и насилие — вот их здравый смысл и логика. Вместо того, чтоб слушать с должным уважением слова своих духовных пастырей или, по крайней мере, возражать им с кротостию и приличием, Никита и его сообщники, забыв, что находятся в присутствии самих царей, подняли такой неистовый крик, что заглушили совершенно речи архипастырей и не давали им выговорить ни слова. Я думаю, всякому случалось видеть людей и пообразованнее раскольников, которые полагают, что победили своих противников, потому что им удалось их перекричать,— так удивительно ли, что Никита и его товарищи, почитая себя победителями, приступили смело к главной своей цели, то есть к торжественному проповедованию, в присутствии царей и всего духовенства, своих невежественных бредней и богопротивной ереси; но тут восстал против них архиепископ холмогорский Афанасий. Он некогда разделял сам заблуждения этих последователей Аввакумовского раскола и, следовательно, знал лучше других, на чем они основывали свои превратные понятия о вере На все их лживые умствования он возражал словами Спасителя, его апостолов, святых отцов и самыми ясными, неоспоримыми доказательствами изобличал всю нелепость их противозаконных толков и верований; но это вовсе не усмирило, а только привело в большую ярость мятежников. Это, по словам летописца, «гидра изуверия», чем более была поражаема, тем страшнее становилась. Угрозы заступили место доказательств, и расстрига Никита, видя себя совершенно побежденным, в безумной ярости бросился на архиепископа Афанасия и ударил его в грудь. Это буйное святотатство было

началом всеобщего смятения. Исступленные крики и неистовые вопли мятежников заглушили все. Раскольники, бывшие в сенях, сломили стражу и ворвались в палату; те, которые стояли на Красном крыльце, обратились к народу и начали кричать: «Ступайте, православные, спасайте церковь! На соборе насилие! Никоновцы бьют православных!» В самой палате раздавались везде мятежные крики. «Очистим от хищных волков церковь! — вопили раскольники.— Истребим всех слуг антихристовых!» В эту минуту общего смятения царь Иоанн Алексеевич, Софья Алексеевна и весь двор, по выражению того же летописца, в несказанном страхе и слезах ушли из палаты, и на царском месте осталось одно десятилетнее дитя: но это дитя был Петр. Окинув смелым взглядом мятежную толпу, он встал, снял с головы своей царский венец и детским, но уже мощным голосом сказал: «Пока этот венец на главе моей и душа в теле, не попущу воевать святую церковь: и, как я сам нарицаю ее матерью и верю, что она есть правая и истинная, так и всем повелеваю верить! Ну, что ж вы? — продолжал он, обращаясь к стрельцам, и грозный взор его засверкал гневом.— Берите этих крамольников!» В одно мгновение все изменилось. Голос царя Русского, как глас Божий, поразил мятежников. Стрельцы, державшие сторону раскольников, выдали их с руками. Левшин первый с обнаженною саблею кинулся в толпу, а за ним все те из стрельцов, которые не принадлежали к расколу. В несколько минут зачинщики были схвачены, и все их сообщники выгнаны из палаты.

Во все это время юный государь стоял на царском месте; его грозный, но спокойный взор был устремлен на толпу стрельцов, которые не принимали участия в усмирении мятежников; казалось, он чувствовал, что только один всемощный взор помазанника Божия мог сковать буйную волю крамольных стрельцов, готовых стать грудью за своих сообщников. Когда в палате не осталось ни одного раскольника, то державшие их сторону стрельцы стали также выходить понемногу. Эта вовсе неожиданная развязка, разрушив все замыслы дерзких бунтовщиков, превратила их в толпу робких преступников, которые помышляют только о том, чтоб избегнуть заслуженного наказания. Одни из них пробрались потихоньку на Лыков двор — этот главный притон мятежных стрельцов, а другие присоединились даже к тем,

которые гнали из Кремля раскольников. Вскоре не осталось во всей Грановитой палате никого, кроме государя Петра Алексеевича, нескольких ближних его бояр и всего духовенства. Тогда началось умилительное зрелище, о котором повествуют летописцы. Престарелый патриарх Иоаким, а вместе с ним и весь священный синклит, спасенный единым словом державного отрока, пали к стопам его. Владыка православной церкви русской, святители московские, все пастыри духовные — старцы, поседевшие в подвигах веры, трудах и молитвах — у ног десятилетнего ребенка!.. Но этот ребенок был уже великий муж духом, мудростью и силой своей непреклонной воли.

Когда дворцовая площадь и окружные места были совершенно очищены от мятежников и вся эта сволочь, всегда дерзкая при успехе и трусливая при малейшем сопротивлении, рассыпалась во все стороны,— Левшин, который во время этой суматохи разлучился с Колобовым, встретился с ним опять у подворья Крутицкого монастыря[1].

— Это ты, Левшин? — вскричал Колобов.— Ну, слава тебе, Господи! А я уж было совсем отчаялся, думал, что ты попал в руки к твоим злодеям.

— Нет, Бог помиловал.

— Погоди-ка, брат! — сказал Колобов. Он поглядел кругом; казалось, все было спокойно; изредка прокрадывался около стенки какой-нибудь гражданин, робко озираясь кругом; кой-где мелькали черные рясы духовенства, которое помаленьку пробиралось из Грановитой палаты в Чудов монастырь, и только вдали, у Спасских ворот, слышны были крики стрельцов, которые продолжали гнать из Кремля остальной народ.

— Смотри-ка,— сказал Колобов,— давно ли здесь негде было и яблоку упасть, а теперь хоть шаром покати!.. Зато, чай, на Красной площади народ так и кипит!. Делать-то нечего, брат: придется тебе пообождать.

— Да,— отвечал Левшин,— теперь вряд ли я доберусь благополучно до Мещовского подворья

— Тише, тише, братец!.. что ты кричишь! — прервал Колобов, озираясь.— Ну, если кто-нибудь подслушивает...

— Да ведь мы здесь одни.

---

[1] Это подворье стояло некогда на нынешней Разводной площади, рядом с церковью Николы Густонского, в близком расстоянии от дома боярина Шереметева.

— Нет, брат, не одни!.. Кажись, там за углом кто-то кашлянул.

— Я ничего не слышал.

— А вот посмотрим.

Колобов обошел кругом подворья.

— Ну, что? — спросил Левшин.

— Теперь никого нет Только вот что, Дмитрий Афанасьевич: как я зашел за тот угол, так мне показалось, что кто-то юркнул на двор к боярину Шереметеву.

— Кто-нибудь из его холопей.

— Статься может, а все-таки лучше, коли ты будешь поопасливее... Чу, слышишь, как шумят на площади?

— Слышу, братец.

— Да вот скоро разбредутся. Время обеденное — пора и за кашу приниматься. Ну, Дмитрий Афанасьевич, хорошую было кашу заварил этот Никита, как-то ему придется ее расхлебывать!.. Веришь ли, братец, очнуться не могу! Как это нам помог Господь?.. Ведь в палате, кроме наших Сухаревских, почитай все стрельцы были за раскольников; с тем и пришли, чтоб за них стоять.

— Да, Колобов, кабы не батюшка Петр Алексеевич...

— Да, да!.. Исполать ему! Как он встал на своем царском месте, так, веришь ли Богу, показался мне выше тебя!.. Подумаешь: всего десять годков — что ж будет, как он подрастет?.. Ну, Дмитрий Афанасьевич, вот это царь так царь!

— И все его покинули! — сказал Левшин.— Оставили одного посреди мятежников!..

— В том-то и дело, братец!.. Ох, матушка Софья Алексеевна! хитрая ты, а все не будет по-твоему, кого Господь Бог хранит, тому люди ничего не сделают Вот хоть ты Левшин: видел ли, как в палате смотрел на тебя полковник Чермнов? Вот так бы и проглотил живого! И негодяй Чечотка и Федька Лутохин глаз с тебя не спускали,— а что они тебе сделали?

— Не до того было, братец.

— И ничего не сделают! Ты, Левшин, видел ли в палате боярина Кириллу Андреевича Буйносова?

— Нет, не видел.

— А он тебя видел, долго шептался с нашим воеводою, князем Иваном Андреевичем Хованским, и они оба на тебя смотрели.

— Так ты думаешь, князь Хованский за меня заступится?

— А как же?.. Он для Кириллы Андреевича все на свете сделает; только теперь-то не попадись в руки к твоим злодеям, а уж там дело как-нибудь уладят.

— Постой-ка,— сказал Левшин,— кажется, и на площади все утихло. Не пора ли нам идти?

— Ну, пожалуй! Пойдем к Спасским воротам, а там посмотрим.

Левшин и Колобов дошли до Вознесенского монастыря, не встретив почти никого; но когда они вышли за Спасские ворота, то увидели, что на Красной площади много еще было стрельцов, и народ толпился около Лобного места.

— Погоди, брат! — сказал Колобов.— Вот, кажется, идут сюда стрельцы моей сотни... Ну, так и есть! Ивашка Троцкий... вон Ларька Недосекин... Знаешь ли что? Я вместе с ними провожу тебя до Зарядья; мы пойдем кучкою, ты в середине: там никто тебя не увидит.

— Ну, что вы, молодцы нейдете? Теперь ведь просторно,— раздался позади их знакомый голос Гриши. Он сидел на прежнем месте, прислонясь к стене.— Вот, подумаешь,— продолжал нищий,— шли в Кремль, как на праздник, чинно, шажком, с иконами, а из Кремля-то... у!.. батюшки!.. словно дождь — все врассыпную! кто куда попал: кто домой, кто в лавки, кто в разбойный приказ...

— В разбойный приказ? — спросил Левшин.

— А как же? Ведь Никиту не домой отвели... Эх, буйная, буйная головушка! Недолго тебе, головушке, на плечах оставаться!.. За чем пошел, то и нашел!

— Ты это говоришь,— спросил Колобов,— о разбойнике Никите?

— Разбойник?.. Дай то Бог, чтоб было по-твоему, голубчик!.. Разбойник что!.. А вот худо, как он в Иуды попадется — помилуй Господи!..

— Эй, Недосекин! — закричал Колобов.— Троцкий!.. Ребята!.. Подите-ка сюда!

Человек пятнадцать стрельцов подошли к Колобову

— Вы куда, братцы? — спросил Колобов.— В слободу?

— В слободу, батюшка Артемий Никифорович! — отвечал один из стрельцов.

— Так и мы с вами. Пойдем, Дмитрий Афанасьевич!

Окружив своими стрельцами Левшина, Колобов повел эту небольшую толпу прямо к Москворецкому мосту. Дойдя до ворот, которые также назывались Москворецкими, он остановился и шепнул:

— Теперь с Богом, Дмитрий Афанасьевич!.. До дому тебя с такой ватагой довести нельзя: всех переполошишь. Да и к чему? Видишь, кругом все пусто; ты здесь мимо заборов прокрадешься так, что тебя никто не увидит. Ступай теперь налево по улице, а там как повернешь в третий переулок, ты и дома. Прощай, брат!.. Вечером я у тебя побываю.

Левшин, простясь с Колобовым, добрался благополучно до своего переулка; в нем было все тихо и спокойно. Увидев издали Мещовское подворье, он остановился посмотреть, может ли пройти в него так, чтоб никто этого не заметил. При взгляде на это подворье мысль о прекрасной незнакомке снова овладела его душою. Кто не знает, что любовь без надежды — не радость; но после того, что Левшин видел, уходя с подворья, ему нельзя было не надеяться; он не мог чувствовать тогда вполне своего счастья; он шел навстречу к своим злодеям, его ожидала почти верная смерть или, по крайней мере, заточение и ссылка, а теперь!.. Господь помиловал его; он остался жить и свободен; он опять ее увидит, услышит снова ее пленительный голос... быть может... о, нет сомненья!.. она дозволит ему говорить с нею... Но если отец ее?.. Да кто ж он такой?.. Знатный и богатый человек не станет жить на этом подворье... Так неужели он не согласится выдать дочь свою за родового человека и богатого помещика?.. Нет, нет! не может быть: ей нельзя принадлежать другому — она его суженая!.. И вот Левшин женат!.. вот едет на житье в свое костромское поместье... О! каким земным раем будет для него это привольное село на берегу Волги-матушки! этот светлый и красивый дом на высоком холму, с которого вся Кострома — как на блюдечке! этот заветный луг, эта березовая роща, в которой он станет гулять со своим милым, ненаглядным другом сперва вдвоем, а там — если Бог благословит... Нет, страшно подумать о таком счастии!.. Ведь этак блаженствуют только на небесах!.. Так мечтал Левшин, подходя скорыми шагами к подворью. Когда он поравнялся с избою, в которой жила Архиповна, она высунулась из окна и закричала: «Эй, молодец, молодец! поди-ка сюда!» Но Левшин ничего не слышал, он вбежал в ворота и, не обращая внимания на то, что проис-

ходило вокруг него, спешил скорее дойти до заднего двора. И до того ли ему было, чтоб смотреть по сторонам: в пяти шагах от него, в светлице, у растворенного окна, на том же самом месте, стояла она. Он видел этот взор, исполненный счастья и любви, он слышал это радостное восклицание, которое при его появлении вырвалось невольно из прелестных уст незнакомки... Но вдруг лицо ее покрылось смертной бледностию и в то же время, позади Левшина, загремел грубый голос: «Здравствуй, господин костромской помещик».

Левшин обернулся — перед ним стояли стрелецкие сотники Лутохин и Чечотка, а в нескольких шагах от них человек десять стрельцов, вооруженных саблями и короткими бердышами.

— Смотри, какой спесивый стал! — сказал Чечотка.— К нему гости пришли, а он шапки не ломает.

— Что вам надобно? — спросил Левшин.

— Да так! — отвечал Лутохин.— Не угодно ли твоей милости прогуляться с нами к полковнику Чермнову.

— Зачем?

— Видно, хочет с тобой побеседовать. Вишь ты какой невидимка! Приехал из побывки, да к начальнику и глаз не кажешь. Пойдем-ка, брат, пойдем!

— А если я не пойду?

— Так мы тебя поведем.

— И как еще! — подхватил Чечотка.— С почетом: руки назад да веревку на шею.— Эй, молодцы, вяжите его.

— Меня! — вскричал Левшин. Он отскочил назад, прислонился к избе спиною и выхватил свою саблю.

— Так ты еще драться хочешь? — заревел Чечотка, вынимая также свою саблю.— Ах, ты изменник этакий! Братцы,— продолжал он, обращаясь к стрельцам,— нам приказано отыскать и схватить этого предателя живого или мертвого. Не дается живой — так рубите его!

Стрельцы бросились всей толпою на Левшина; но вдруг двери избы отворились, и раздался повелительный голос:

— Стойте, ребята!.. Что вы делаете?

— Князь Иван Андреевич! — вскричал Чечотка, опустив свою саблю. Все стрельцы остановились и сняли почтительно шапки, когда к ним подошел человек среднего роста, пожилых лет, в шелковом полукафтане, сверх которого надета была простая однорядка из черного сукна; в руке у него была костяная трость в золотой оправе, а на голове шапка мурмолка с собольим

околышем. Это был главный начальник стрелецкого войска и приказа, князь Иван Андреевич Хованский.

— Что у вас здесь за драка была? — спросил он строгим голосом.

— Не драка, государь милостивый князь,— отвечал с низким поклоном Лутохин.— А вот мы по приказу нашего полковника хотели взять этого бунтовщика...

— Бунтовщика... Какого бунтовщика?

— Да вот нашего сотника Левшина.

— Левшина! — вскричал Хованский.— Так это ты, голубчик?.. Ага, сердечный дружок, попался!.. О! Да ты еще, брат, отбиваться хотел,— видишь какой бойкий... Возьмите у него саблю?

Левшин молча подал ее Лутохину.

— Так это ты, изменник? — продолжал Хованский.— Да если правда, что ты дерзнул говорить такие непригожие речи и позорить христолюбивую надворную потеху...

— Истинно правда, батюшка князь Иван Андреевич,— сказал Лутохин.— Пожалуй, он теперь отопрется...

— Кто? — сказал Левшин.— Я отопрусь?..

— Молчи, бунтовщик! — закричал Хованский.— Я знаю, что ты хочешь сказать.— Мне, дескать, и запираться не в чем, я этого не говорил. Да вот погоди, как попадешь в застенок, так смолвишь!.. Да еще то ли я о тебе слышал!.. Мне Кирилла Алексеевич Буйносов все пересказал. Ты зачем ездил в Кострому?.. Знаем мы — все знаем!.. Вишь, что затеяли, окаянные крамольники!..

— Я никогда не был крамольником,— сказал Левшин.— Я ездил в Кострому...

— Молчи, говорят тебе! — прервал гневно Хованский.— Вздумал меня учить!.. Я знаю лучше тебя, что говорю!

— А коли тебе, батюшка Иван Андреевич,— сказал Чечотка,— доподлинно известно, что он изменник, так уж с ним бы один конец. Прикажи только: мы его сей же час при тебе казним.

— Казним! — повторил Хованский.— Ах, ты глупая голова?... Одного казнишь, а десятеро останутся... Уж коли этот изменник говорил такие речи на площади, так неужели вы думаете, что он один?.. Нет, ребята, их целая шайка. Этого молодца надобно будет и в Кострому спосылать для улики; и коли правда то, о чем мне донесли, так тебе, дружок, и на плахе-то места не будет; а коли неправда, так я все-таки ушлю тебя туда, куда

и ворон костей не заносил. Лутохин, возьми с собою двух молодцов да отведи этого мятежника в земский приказ. Ты мне за него головою отвечаешь. А там скажи, что покамест я за ним не пришлю, берегли бы его с великим опасением. Чего доброго, пожалуй, этот сорви голова сам на себя руки подымет, а нам улика надобна... С Богом, ребята! Ступайте по домам! Благодарствую вам за ваше усердие — и вперед всех изменников ловите!

— Будем, отец наш, будем! — закричали стрельцы.

— Ну, батюшка,— сказал Лутохин, обращаясь к Левшину,— не угодно ли вашей милости!.. Ты, Сучков, ступай по правой стороне; ты, Мутовкин, по левой, а я уж пойду сзади. Да смотрите, чтоб он стречка не дал: ведь молодец-то легок на ногу — не догонишь! Пожалуй, батюшка, пожалуй!

Левшин, уходя со двора, взглянул на светлицу: окно было открыто по-прежнему; но где же его прекрасная незнакомка?... О, в эту минуту она была счастливее своего суженого! Она не чувствовала, что, может быть, расстается с ним навсегда! Когда толпа бешеных стрельцов, с поднятыми бердышами, бросилась на Левшина, кровь застыла в ее жилах, сердце перестало биться, и она упала без чувств подле окна своей светлицы.

V

Вероятно, мои читатели не забыли, что земский приказ, куда велено было отвести Левшина, находился на Красной площади, недалеко от Лобного места. Когда Лутохин привел в этот приказ своего арестанта, солнце стояло уже высоко, и вся площадь была пуста. В старину и простой народ, и купцы, и бояре, одним словом, все, не исключая самого царя, обедали всегда в один и тот же час, то есть около полудня, и непременно отдыхали после обеда. В это время по всему городу распространялась глубокая тишина, и даже бездомные нищие не бродили по опустевшим улицам, но, пообедав, чем Бог послал, отдыхали, разумеется, летом в хорошую погоду, на погостах, а в дурную на папертях приходских церквей, которых было тогда в Москве, конечно, вчетверо более, чем теперь.

В передней комнате земского приказа, если только можно назвать комнатой какой-то подвал с низким

сводом, грязным каменным помостом и узеньким окном, сидело на скамьях человек десять объезжих ярыжек и один очередной огнищанин, то есть полицейский офицер тогдашнего времени.

— Здравствуйте, братцы! — сказал Лутохин, входя в этот покой.— Князь Иван Андреевич Хованский прислал к вам гостя.

— Милости просим! — отвечал огнищанин, вставая.— Эге! Да он никак ваш брат, стрелецкий сотник?

— Наш брат?.. Нет, любезный, мы с изменниками не братаемся.

— С изменниками?.. Вот что! Так надобно разбудить нашего дневального поддьяка. То-то разгневается!.. Он только что прилег всхрапнуть,— да воля его... изменник дело не шуточное!

Огнищанин растворил двери в другой покой и закричал: «Вставай, Ануфрий Трифоныч!»

Вместо ответа послышалось что-то похожее на глухой рев медведя, которого потревожили в берлоге; потом все опять затихло.

— Слышишь, Ануфрий Трифоныч? — закричал опять огнищанин.— Вставай!

— Что там еще? — пробормотал охриплый голос.— Прах бы вас взял! Зачем?

— От князя Ивана Андреевича... Ступай проворней!

— Иду, иду!

Двери растворились настежь, и из соседнего покоя вышел, или, верней сказать, вылез человек непомерной толщины, с круглым багровым лицом, широким расплющенным носом и почти голым подбородком, на котором два клочка коротких волос заменяли бороду На нем был долгополый, запачканный чернилами, кафтан с высоким козырем, то есть стоячим воротником; на ногах поношенные желтые сапоги; на голове шелковая тафья, или круглая шапочка, похожая на жидовскую ермолку, а за поясом висела на цепочке медная чернильница и футляр, также медный, для пера.

— Эка служба, подумаешь! — сказал он, перевалясь через порог и протирая свои заспанные глаза.— Чай, теперь и каторжные-то спят в остроге, а ты вставай!.. Нелегкая меня понесла!.. Ну что вам надобно?

— Да вот сдать тебе этого барина,— сказал Лутохин, указывая на Левшина.— Князь Иван Андреевич приказал держать его под крепкой стражей, пока он за ним не

пришлет, а присматривать хорошенько, чтоб он тяги не дал или не поднял сам на себя рук.

— Небось, в кандалах не уйдет и рук на себя не подымет; я велю их в колодку заколотить.

— Уж там как знаешь!.. Теперь давай мне ярлык, что я тебе сдал его с рук на руки...

Поддьяк написал на клочке бумаги расписку и отдал ее Лутохину.

— Прощай, господин костромской помещик! — сказал Лутохин, уходя.— Счастливо оставаться!.. Как выйдешь в люди да будешь стольником, так не забудь и нас грешных!

Левшин поглядел с презрением на Лутохина и не отвечал ни слова.

— Эй, вы! — сказал поддьяк.— Васька Фуфлыга, Андрюшка Бутуз, ведите-ка этого молодца ко мне.

Двое земских ярыжек ввели Левшина во второй покой. В нем стоял большой стол, покрытый красным сукном и заваленный бумагами; крутом стола с полдюжины небольших скамеек, вдоль стены широкая лавка и в углу на полке икона в раззолоченном кивоте.

— Да ты, молодец,— сказал поддьяк,— кажись, из начальных людей надворной пехоты!.. Смотри пожалуй — ус только пробивается!.. Ну, брат, раненько ты в чины заелся!.. Вот то-то и есть, кабы вашу братью, молокососов, держали в черном теле, так вы бы жили посмирнее... Ты что?.. чай, вздумал бунтовать против начальников?

Левшин молчал.

— О, да ты спесив, голубчик,— продолжал поддьяк,— и отвечать не хочешь!.. Да вот погоди, как сведут тебя в Константино-Еленскую башню, так там, брат, заговоришь! В застенке-то не по-нашему допрашивают. Ребята, обыщите его: нет ли с ним ножа. Вишь, он смотрит каким разбойником!

Земские ярыжки не нашли ничего у Левшина, кроме небольшого кошелька с серебряной монетой.

— Э! Да ты, брат, с денежками! — сказал поддьяк.— Дайте-ка сюда!

Он взял кошелек и высыпал все деньги на стол.

— Ого! — шепнул он, и глаза у него засверкали.— Да тут рублей десять будет!.. Эх, любезный! жаль мне тебя,— видит Бог, жаль!.. Человек ты молодой, непривычный...; как посидишь этак суток двое в колодке да в цепях, так жутко покажется... Фуфлыга, что весу то в наших кандалах?

— Да пудика полтора с походцем будет,— отвечал ярыжка.

— Слышишь, молодец?.. И в колодку-то, как руки забьют, так,— не прогневайся! больно косточки побаливать станут... Бутуз! помнишь того купца...

— Как же,— отвечал другой ярыжка.— Вот уж третий месяц, как он руками не владеет.

— Слышишь, молодец?.. И покоец-то, куда вашу братью сажают, со всячинкой: лечь коротко, стать низко, присесть не на чем...

— Для чего ты все это мне говоришь? — спросил Левшин.

— А вот для чего, молодец: хочешь ли, я не велю тебя ковать, и ты останешься здесь со мною?

— Как не хотеть.

— Только вот что, любезный: жаль-то мне тебя, жаль, да и на свой страх брать не хочется. Я человек небогатый, семейный: жена, дети...

— Ну, ну, хорошо! — прервал Левшин.— Я знаю, чего ты хочешь. Возьми эти деньги себе.

— Спасибо, добрый молодец, спасибо... Только не все: надо поделиться. Вот вам полуполтинник, ребята! — продолжал подьяк, обращаясь к ярыжникам.— Да вот еще два алтынника: купите винца и попотчуйте своих товарищей, чтоб им завидно не было. Ну, ступайте, ребята!.. А ты, молодец, хочешь присесть, так садись; а коли хочешь отдохнуть, так ложись,— вон там на лавке. Я и сам прилягу: глаза так и слипаются... Да ты что на окна-то посматриваешь? — промолвил подьяк.— Нет, голубчик! Все с железными решетками; да и без них не пролезешь — узеньки! А из дверей не выпустят. Ложись-ка лучше, брат, да сосни.

Подьяк положил себе под голову связанную кипу бумаг, протянулся на скамье, зевнул раза два и захрапел, как удавленный. Левшин прилег также на лавку, но только не для того, чтоб спать. Говорят, что сон утешитель несчастных; да их-то он редко и посещает. Эта лихорадка, томительная бессонница, почти всегда бывает неразлучной подругой душевной грусти и тоски. О себе Левшин не очень заботился: ему не трудно было отгадать, что князь Хованский вовсе не имеет желания погубить его и что все эти строгие речи и угрозы не значат ничего. Хованский не мог иначе говорить при стрельцах; и если б стал им явно противоречить, то, вероятно, они вышли бы изо всякого повиновения. Даже

само обвинение, что будто бы Левшин участвовал в каком-то костромском заговоре и что его должно отправить туда для улики, доказывало, что князь Хованский хотел только под этим предлогом услать его подалее от Москвы. Одним словом, Левшин мог надеяться, что жизнь его теперь в безопасности; но зато для него исчезла вся надежда увидеть опять свою незнакомку. Он не знал, кто она, кто этот чудак, ее отец, который прячет от всех свою дочь,— живет в Зарядье на плохом подворье, как самый простой горожанин или какой-нибудь иногородный небогатый купец — и которого, однако ж, посещает старший воевода всего стрелецкого войска, властолюбивый и надменный князь Хованский. Почем знать, может быть, этот проезжий сегодня, завтра или через несколько дней уедет навсегда из Москвы?.. И вот чем кончились все надежды бедного юноши! Эта приволжская деревня, этот рай земной, эти вечерние прогулки с милым другом,— все эти радости, все это блаженство земное — обманчивый призрак, безумная мечта, необычайный минутный сон!

Чего не передумал, чего не перечувствовал Левшин в эти два часа, в продолжение которых толстый поддьяк пыхтел и храпел попеременно то басом, то дискантом. Наконец, этот страж, которого, впрочем, нельзя было назвать неусыпным, потянулся, зевнул и встал.

— Ну что, молодец,— спросил он,— вздремнул?

— Нет,— отвечал отрывисто Левшин.— Я не сплю после обеда.

— Не спишь? Нехорошо, любезный, нехорошо! Все православные должны спать после обеда; одни только еретики,— вот как был самозванец Гришка Отрепьев,— и в баню по субботам не ходят, и не отдыхают, поевши. Да ты, молодец, обедал ли сегодня?

— Нет, не обедал.

— Так что ж ты не скажешь, голубчик? Уж коли я взял тебя на руки, так ты мой гость.

Поддьяк подошел к столу, выдвинул ящик и вынул деревянное блюдо, на котором лежало полпирога.

— На-ка, любезный,— сказал он,— покушай на здоровье. Знатный пирог, с кашей!

Вы уже знаете, любезные читатели, что Левшин вовсе не походил на этих героев любви и самоотвержения, которые умирают, произнося имя своей любезной и в продолжение нескольких томов питаются одной любовью и воздухом. Он не ел более суток и хотя

чувствовал непреодолимое отвращение от своего собеседника, однако ж присел к его пирогу и утолил свой голод.

— Ну, теперь, молодец,— сказал поддьяк,— не хочешь ли подкрепить себя травничком?

— Спасибо! Я вина не пью,— отвечал Левшин.

— И это напрасно, любезный!.. Вино веселит сердце человеческое, и одни поганые татары его не пьют, а ведь мы с тобой православные. Выкушай чарочку!

— Нет, право, не могу́.

— Ну, как хочешь! — Поддьяк спрятал блюдо с остатками пирога, сел к столу и начал что-то писать, а Левшин прилег опять на лавку и предался своим грустным думам. Так прошло часа два или три. Вдруг в передней комнате послышались громкие голоса: «Ступай, ступай!» — кричал кто-то. «Ребята, помогите! Вишь, он в притолку упирается!»

— Что у вас там? — спросил поддьяк, вставая.

Двери отворились, и вошел огнищанин, а за ним трое земских ярыжек, из которых один вел за ворот мужика, оборванного, замаранного грязью, с подбитыми глазами и окровавленным лицом.

— А! Это ты, Антошка Шелыган? — сказал поддьяк, обращаясь к земскому ярыжке, который тащил за собою мужика.— Кого ты это подтенетил?

— Да вот, батюшка Ануфрий Трифоныч, идем мы, я да Ивашка Кучумов, по Зарядью, глядим — лежит этот хмельной на улице на самой середине. Ну́, долго ль до греха — место проезжее. Мы стали его подымать, а он учал драться, да еще вздумал народ скликать; кричит, что мы его обобрали.

— Ах, он мошенник!.. пьяница этакий!

— Помилуй, батюшка! — промолвил мужик.

— Молчи! — закричал поддьяк.— Ты кто таков? Колотырник какой-нибудь!.. Бездомный бродяга!..

— Нет, батюшка! я живу при месте, работником на подворье.

— А валяешься пьяный по улицам.

— Отец родной! — вскричал мужик, кланяясь в ноги,— прикажи слово вымолвить!

— Ну, что? Говори!

— Вот как дело было: стою я у стенки...

— У стенки! — прервал огнищанин.— Видно, ноги-то не держат!

— Батюшка! да я хмельного в рот не беру!.. видит Бог, не беру!

— Добро, добро! — сказал поддьяк. — Ну, говори: стоишь ты у стенки...

— Вот они, батюшка, ко мне и подошли, да ни с того, ни с другого — и ну ко мне придираться: что, дескать, ты тут стоишь? Да так, мол, стою! Ты, дескать, вор, высматриваешь, как бы что стянуть!.. Да и ну меня по скулам!.. Сбили с ног, вытащили мошну с деньжонками...

— Не слушай, Ануфрий Трифоныч, — прервал один из земских ярыжек. — Он врет: мы его пальцем не тронули, а, видно, он сам спьяна где-нибудь рожей-то на угол наткнулся.

— Не тронули! — повторил мужик. — Бога вы не боитесь!.. Посмотрите-ка на мои глаза!

— Что глаза? — прервал поддьяк. — Глаза как глаза! Заплыли с перепоя — вот и все!

— С какого перепоя, батюшка?.. Я и по праздникам-то вина не пью.

— Не пьешь... да ты и теперь еле жив — пьяница этакий!.. Алексей Пахомыч! — продолжал поддьяк, обращаясь к огнищанину. — Ну, посмотри, хмелен ли он?

— Какой хмелен! — сказал огнищанин. — Лыком не вяжет!.. Бутуз, подойди-ка к нему поближе... Ну, что?

— Фу ты, батюшки, — промолвил земский ярыжка, наморщив рожу. — Да от него, как от бочки, так винищем и несет!

Мужик заревел.

— Господи Боже мой! — говорил он, всхлипывая. — Вот грех какой! Ни за что ни про что избили — да я же виноват! Кормилец!.. отец родной!... да вели мне хоть деньжонки-то отдать!

— Ах, ты дурак этакий! — подхватил огнищанин. — Да почему ты знаешь, кто твои деньги взял? На улице народу-то много: как валяешься пьяный, так тебя всякий прохожий оберет.

— Пустите, пустите! — раздался в передней комнате женский голос. — Я дойду и до вашего старшего, что вы, в самом деле!.. Иль на вас управы нет?

— Кто там закричал? — спросил поддьяк.

— Я, батюшка! — сказала толстая пожилая горожанка, входя в комнату.

— Что ты, голубушка?

— А вот что, кормилец: управы прошу... дневной грабеж!..

— Что ты это мелешь?

— Нет, не мелю!.. Этот парень мой батрак...

— Так что ж?

— А то, что его избили и ограбили вот эти озорники.

— Врешь ты, дура! Они подняли его пьяного на улице.

— Пьяного?.. Что ты, батюшка, перекрестись! Да он вина-то сродясь не пивал!

— Так, видно, сегодня в первый раз хлебнул,— сказал один из ярыжек.

— Неправда!.. Моя работница стояла у ворот и все видела.— Вот что, батюшка,— продолжала старуха,— этот земский ярыжка на меня злится! В прошлый праздник я ему ничего не дала, так он и хотел выместить на моем работнике.

— Ах ты, разбойница!—вскричал поддьяк.— Да как ты смеешь такие речи говорить?!.

— Постой-ка, голубушка!—сказал огнищанин.— Ведь ты держишь Мещовское подворье?

— Я, батюшка!

— Заявляли ли тебе наказ боярина нашего, князя Михайлы Никитича Львова, чтоб мести каждый день улицу перед домом—а?

— Заявляли.

— Так что ж ты не исполняешь этого приказа? Вот уж четвертый день, Ануфрий Трифоныч, не могу добиться: сам заходил—не слушает, да и только!

— Помилуй, батюшка! ведь всю прошлую неделю дождик так и лил, грязь по колено—чего тут мести?

— Чего мести?—заревел поддьяк.— Ах ты бунтовщица этакая!.. Сказано, мести, так мети!

— Да она никогда не метет,— подхватил огнищанин.— Все соседи жалуются.

— Соседи!—повторила старуха.— Ну, так я всю же правду скажу. У меня, как просохнет перед домом, так пылинки не найдешь; а вот мой сосед, Михей Бутрюмов, у него и метлы-то в заводе нет, а все с рук сходит—и не диво: он к твоей милости каждый праздник с поклоном ходит.

— Эге!—вскричал поддьяк.— Извет!.. донос в лихоимстве!.. О, старуха, да это дело не шуточное!.. Алексей Пахомыч! садись-ка, брат, да пиши, а я порядком ее допрошу.

— Что ты, что ты, кормилец!—вскричала старуха испуганным голосом.— Какой извет?.. Я это... так—к слову молвила.

— К слову?.. Вот мы тебе дадим слово!.. Пиши: такого-то месяца и числа, земские ярыжки, Ивашка Кучумов и Антошка Шельыган, подняли на улице в Зарядье пьяного батрака с Мещовского подворья. Хозяйка батрака... Как тебя зовут?..

— Батюшка, помилуй! — завопила старуха, повалясь в ноги.— Сглуповала, отец мой, сглуповала!

— Чего тут миловать! Говори, как тебя зовут?..

— Федосья Архипова.

— Федосья Архипова... хорошо!.. Женка Федосья Архипова... Да ты что? Замужняя, вдова или девка?

— Горькая вдова, батюшка, сиротинка горемычная!. Взмилуйся, отец родной! не губи!.. Баба я старая, глупая!..

— А вот как тебя вспрыснуть шелепами, да посидишь в остроге, так будешь умнее!.. Ну, пиши: хозяйка вышесказанного батрака, вдова Федосья Архипова, с великим шумом и буйством и насилием ворвалась в земский приказ, и учла она, вышереченная вдова Федосья Архипова, говорить непригожие речи и разными хульными словами позорить честь не токмо земского ярыжки Шельыгана, но и начального человека, огнищанина Алексея Подпекалова, якобы оный, Подпекалов, предаваясь злому лихоимству и хищению...

— Батюшка, я этого не говорила! — вскричала старуха.— Видит Бог, не говорила!.. К присяге пойду...

— Пиши, Алексей Пахомыч, пиши.

— Послушай, Ануфрий Трифоныч,— сказал Левшин, подойдя к столу.— Мне надо с тобой словечко перемолвить.

— Ну что, молодец? — спросил поддьяк, отойдя в сторону с Левшиным.

— А вот что: денег у меня нет...

— Знаю, любезный, знаю!

— А есть золотой перстень — вот посмотри.

— Да!.. Перстенек хоть куда.

— Возьми и носи его на здоровье, только дозволь мне поговорить с этой старухою и отпусти ее домой вместе с работником.

— Нельзя, любезный, право, нельзя! Как дашь повадку, так после с ними и не сладишь.

— Так ты не берешь?

— Как бы не взять... Да, право, надобно поучить уму-разуму эту старую каргу — выскочка этакая!

— Ну, полно!.. Надень-ка перстень на палец...

— Дай-ка, дай... Смотри, пожалуй!.. Как по мне делан!.. И он, точно, золотой?

— Я не стану тебя обманывать.

— Ну, что с тобой делать! Быть по-твоему.

Поддьяк подошел к огнищанину, пошептался с ним и сказал старухе, которая дрожком дрожала и едва держалась от страха на ногах:

— Что, голубушка, присмирела небось? Будешь помнить?..

— Буду, батюшка, буду!

— И напредки не забывай: выше лба уши не растут.

— Так, батюшка, так!

— На носу себе заруби!

— Зарублю, батюшка, зарублю!

— То-то же!.. Ну, уж так и быть, Бог тебя простит!.. Ступай домой со своим батраком, да смотри, старуха, вперед всегда мети перед домом!

— Кормилец! да я и так каждый день...

— Опять заговорила!.. Уж коли сказано, что не метешь — так не метешь! Да смотри за работником, чтоб он вперед по улицам-то пьяный не валялся.

— Батюшка, дело прошлое, а ведь он человек трезвый,— покарай меня Господи...

— Эка назойливая баба! — вскричал поддьяк.— Ты у ней хоть кол на голове теши, а она все свое!.. Уж коли в земском приказе по обыску окажется, что ты и сама пьяна, так не смей перечить — дура этакая!.. Без вины виновата!

— Слышу, батюшка, слышу!

— То-то слышу!.. Смотри, попадешься в другой раз... да и теперь... кланяйся вот этому молодцу. Кабы не он упросил...

— Ах, Господи! — вскричала старуха.— Да это никак... Ну, так и есть!.. Ах ты, мой ясный сокол!

— Да, бабушка, это я. Поди-ка сюда на минутку.

Левшин отвел ее к стороне и сказал:

— Ну что, Архиповна, чай, твои жильцы, соседи-то мои, больно перепугались?

— Ах, батюшка! Каких страстей я-то натерпелась!.. Думаю, убьют у меня в дому человека.

— А мои соседи что?

— Ведь я тебя все у окна дожидалась. Хотела сказать, что на дворе-то засада; кликала тебя, да ты, как шальной, так на двор и пробежал.

— Не о том речь, Архиповна. Ты мне скажи, что мои соседи?..

— Да что, батюшка, видно, больно переполошились: лишь только тебя со двора свели, так жилец-то мигом собрался...

— Собрался!.. Куда?

— А кто его знает! В дорогу, батюшка.

Левшин побледнел.

— В дорогу! — повторил он.— Кто?.. Вот тот постоялец?

— Ну, да! У которого дочка-то жила рядом с тобой, в светелке. Батюшки,— как заторопились!.. Запрягли две тройки, расплатились со мной, да и поминай, как звали!

— Так они уехали?

— Уехали, батюшка.

— Послушай, Архиповна: ты верно знаешь, кто такой этот проезжий?

— Нет, родимый, видит Бог не знаю!

— Да разве ты не могла спросить у работницы?

— Пыталась, да, видно, заказано: не говорит, да и только... На что, дескать, тебе, Архиповна, знать, кто твои жильцы? Платили бы они только исправно за постой.

— И ты не знаешь также, куда они поехали?

— Не ведаю, батюшка!.. Ну, прощенья просим, мой отец!.. Ох скорей бы отсюда убраться!.. Спасибо тебе, что ты меня старуху из беды выручил!.. Не даром, батюшка, говорится: «язык мой, враг мой!» Эка я дура, подумаешь, пришла управы просить!.. Ну, дай Бог тебе доброго здоровья!.. Счастливо оставаться!

Вслед за старухою и ее работником вышли все из покоя, и Левшин остался по-прежнему один с поддьяком, который принялся рассматривать с большим вниманием перстень. Он снял его с пальца, положил на ладонь, привесился и сказал вполголоса:

— Что за прах такой!.. Легок, больно легок!.. А кажись не дутый!.. Ну, молодец, поддел ты меня!.. Ведь перстень-то не золотой!..

— Мне, однако ж, давали за него пятнадцать рублей,— отвечал Левшин...

— Пятнадцать!.. Что больно много! Кабы мне дали за него пять, так я бы в ножки поклонился!.. Ну, да делать нечего: что с воза упало, то пропало!.. А только, если он медный, так это, любезный, на твоей совести останется. Ведь мы не жиды: нам грешно друг друга обманывать.

— Да кто тебя обманывает? — прервал с нетерпением Левшин.— Вольно ж тебе не верить!

— Ну, ну, не гневись! — молвил поддьяк, принимаясь опять за письмо.— И то сказать: даровому коню в зубы не смотрят.

Левшин сел на скамью и предался снова своим грустным размышлениям. И так все кончено! Сбылись его предчувствия: она уехала из Москвы!.. Он навсегда расстался с нею... О, кончено навсегда... Где станет он искать ее?.. И в Москве не найдешь того, кого не знаешь по имени; а не Москве чета наша матушка святая Русь: широко она раскинулась; в ней одной полтрети всего мира Божьего, и, куда ни поедешь, везде люди живут.

«Нет! — думал Левшин.— Не судил мне Господь быть счастливым. Сиротой я живу — сиротой и умереть придется!.. Я знаю, Колобов сказал бы мне: «Что ты, брат! Разве одна звезда на небе светит? Мало ли красных девиц на Руси живет! Приглянулась тебе одна — погоди: приглянется другая!» Нет, коли не она моя суженая, так не обходить мне налоя рука в руку с сердечным другом, не меняться с ним кольцами!.. Видно моя суженая-ряженая — мать — сыра земля. Много звезд на небе... да, много — не перечтешь... да солнышко-то одно!.. И то слава Богу — поглядел я на нее, полюбовался... Ах, нет, нет! лучше б вовсе ее не видать!..»

На дворе стало смеркаться; поддьяк прибрал к стороне свои бумаги, вынул из поставца сулею с травником, ковригу хлеба, студень, горшок с гречневой кашей, накрыл стол ширинкою и расположился на нем ужинать вместе с огнищанином. Разумеется, он пригласил также и своего арестанта, но Левшин отказался. Когда поддьяк и огнищанин опорожнили по нескольку чарок травника, то у них пошла такая разгульная речь, побасенки, которые они принялись рассказывать друг другу, были до такой степени отвратительны и развратны, что Левшин не мог скрыть своего омерзения; он лег на лавку, повернулся к ним спиной и притворился спящим. Часа полтора продолжалась эта пытка, наконец полупьяные собеседники разошлись. Поддьяк скинул с себя верхнее платье, пробормотал молитву, отвесил несколько земных поклонов — и лишь только повалился на скамью, то в ту же минуту заснул мертвым сном. Левшин не скоро последовал его примеру. Он также помолился — и, вероятно, молитва его была усерднее, но глаза его не смыка-

лись почти всю ночь. Он заснул перед самым рассветом или, лучше сказать, задремал, потому что этот сон не мешал ему слышать беспрестанный стук, похожий на работу плотников, которые что-то строили в близком расстоянии от земского приказа.

VI

На восточной стороне небосклона начинали уже тухнуть звезды, но увенчанный своими заборами, высокий кремлевский холм был еще покрыт ночною тенью. Внизу, у его подошвы, как седое море, волновался утренний туман над обширным Замоскворечьем. Все было погружено в глубокий сон. Но вот, темно-голубые небеса начинают становиться прозрачнее; вот осыпались искрами и засверкали кресты высоких колоколен; вот облились светом и позлащенные главы церквей: народ зашевелился по улицам. Москва проснулась.

Меж тем тревожный сон Левшина все еще продолжался; этот ночной стук, который он слышал в своем забытьи, превратился в какой-то невнятный говор людей; потом началось громкое чтение, вслед за ним послышались стоны, плач и рыдания, а там как будто бы упало что-то тяжелое; раздался глухой вопль — и все затихло. Во все это время Левшин не спал, а находился в том полусознательном состоянии, когда мы сквозь сон слышим близкие к нам звуки и, хотя не очень ясно, однако ж различаем окружающие нас предметы, но в то же самое время грезим и видим сны, в которых, разумеется, ложь и истина беспрестанно сменяют друг друга. Левшин слышал очень ясно этот разговор, чтение, плач и вопли; полузакрытым глазам его представлялись, как будто бы в тумане, низкие своды земского приказа, его тяжелые стены, окно с железной решеткой; он видел лампаду, которая висела перед иконою — и меж тем ему казалось, что он стоит в церкви, где, при тусклом свете погребальных свечей, отпевают покойника; что священник читает разрешительную молитву; что родные и друзья усопшего лобызают его с плачем и рыданием; что вдруг тяжелая гробовая крыша с громким стуком падает на церковный помост — и среди общего мертвого молчания раздается удушливый вопль покойника Он медленно подымается из гроба.

Левшин слышит вокруг себя какой-то непонятный шепот; все теснятся, спешат к церковным дверям, а он стоит, как прикованный, и не может пошевелиться ни одним членом. Вот тухнут все свечи, но вместо темноты разливается кругом кровавый свет, похожий на зарево отдаленного пожара; церковный помост начинает колебаться. По всем углам, вдоль стен, везде подымаются надгробные плиты, и сотни мертвецов в белых саванах начинают показываться из своих могил. Покойник окидывает бездушным ледяным взором всю церковь. Глаза его встречаются с глазами Левшина: он подымает свою иссохшую руку, указывает на него пальцем — и вот вся толпа мертвецов, заскрежетав зубами, бросается прямо к нему, один из них хватает его за грудь... Он вскрикивает, и в ту же самую минуту подле него раздается знакомый голос: «Что ты, что ты, молодец?.. Это я!»

Левшин очнулся и вскочил.

— Эк ты как заспался! — продолжал поддьяк.— Не прогневайся, раненько я тебя бужу, да делать нечего; меня — прах бы их взял — еще ранее твоего разбудили, а теперь-то самый лучший сон и есть!.. За тобой, молодец, пришли от князя Ивана Андреевича.

— От князя Хованского?

— Ну, да! Там в прихожей дожидается тебя пятидесятник с двумя стрельцами! Пойдем, любезный!

Поддьяк сдал пятидесятнику своего арестанта, и когда вышел вслед за ним на крыльцо, то сказал: «Взгляни-ка, брат, сюда, налево!» Левшин обернулся. Почти рядом с земским приказом, на высоких подмостках, лежал труп человека, одетого в черное платье; подле, на окровавленной плахе, стояла отрубленная голова его. Это бледное, обезображенное лицо, на котором замерло судорожное выражение нестерпимой муки и отчаяния, было до того ужасно, что Левшин невольно отвернулся.

— Кто это? — спросил он вполголоса.

— Да вот этот расстрига, что так вчера храбровал,— отвечал поддьяк.

— Никита?

— Да! Никита Пустосвят.

«Боже мой! — подумал Левшин.— Давно ли этот мятежник, окруженный бесчисленной толпой народа, шел в Кремль, как торжествующий победитель, а теперь!... Куда девались все его защитники?.. Он умер

один — и труп его, выставленный на позор, брошен, покинут всеми!»

В самом деле, вся площадь была пуста; в нескольких шагах от места казни стояли вооруженные стрельцы; по временам останавливались прохожие и, взглянув издалека на казненного преступника, продолжали спокойно идти своею дорогою. Один только нищий в изорванном рубище, с распущенными по плечам волосами и непокрытой головой, стоял на подмостках подле казненного преступника; склонив над ним свою седую голову, он тихим голосом творил молитву, и слезы его капали на окровавленный труп. Этот нищий был Гриша.

— Ну, прощай, любезный! — сказал поддьяк, облобызав Левшина.— Дай Господи, чтоб все кончилось благополучно!.. Жаль мне тебя — видит Бог жаль?.. Парень ты добрый, а коли правду говорят, что ты изменник...

— Мне нечего бояться,— прервал Левшин,— совесть моя чиста.

— Совесть?.. Что совесть, любезный... Коли у тебя другой заступы нет, так дело-то плоховато!.. Конечно, Бог не без милости,— почем знать, может статься, пожалеют твою молодость... Только смотри, любезный, коли тебя не казнят, так не забудь, заверни опять сюда.

— Зачем?

— А вот зачем: ты говорил, что тебе давали за перстень пятнадцать рублей; ну, хочешь ли, друг сердечный... так и быть! Я тебе этот перстень за четырнадцать рублей уступлю?

— Хорошо, хорошо! — сказал Левшин, уходя вслед за своими провожатыми. Они вышли из Китай-города Каретными воротами и повернули налево.

— Куда вы меня ведете? — спросил Левшин.

— Куда велено,— отвечал пятидесятник.

— Да ведь, кажется, дом князя Ивана Андреевича Хованского не в этой стороне?

— Вестимо, не в этой. Он живет на Знаменке.

— Так мы идем не к нему?

— Нет.

— Куда же?

— А вот как придешь, так узнаешь.

Левшин замолчал. Дойдя до того места, где речка Неглинная впадает в Москву-реку, они поворотили направо, и когда, миновав церковь Ильи Обыденного и Зачатьевский монастырь, переправились Крымским бродом на ту сторону реки, то Левшину не трудно было

догадаться, что его ведут к боярину Кирилле Андреевичу Буйносову: он жил недалеко от Калужских ворот и, вероятно, один из всех ближних бояр не имел дома в Кремле, или, по крайней мере, в его окрестностях. Подходя к этим брусяным хоромам, которые стояли в глубине обширного двора, Левшин увидел, что у ворот дожидается дворецкий боярина Буйносова. Пятидесятник сдал ему с рук в руки Левшина и отправился со своими стрельцами в обратный путь.

— Милости просим, Дмитрий Афанасьевич! — сказал дворецкий, отпирая калитку.— Боярин давно уже тебя дожидается.— Все твои пожитки,— продолжал он, идучи с Левшиным по двору,— перевезли сегодня к нам. Уж не изволь опасаться, батюшка: синего пороха не пропадет!.. У нас, слава Богу, кладовых довольно.

— Да это, кажется, Ферапонт? — спросил Левшин.

— Вон что там у конюшни держит двух оседланных коней?.. Да, батюшка, это твой служитель.

Войдя по широкому крыльцу в обширные сени, в которых толпились человек двадцать боярских холопов, дворецкий отворил двери в первый покой и сказал:

— Пожалуй сюда, батюшка! Я пойду доложу о тебе боярину, а ты побеседуй покамест с его милостью,— прибавил он, указывая на Колобова, который кинулся на шею к своему приятелю и закричал:

— Здравствуй, Дмитрий Афанасьевич! Ну, слава тебе, Господи! Не чаял я видеть тебя живым.

— И ты здесь, Артемий Никифорович?

— Как же! Ты помнишь, мы вчера с тобой уговорились прийти сюда попозднее вечерком?.. Вот я этак в сумерки и отправился за тобой на Мещовское подворье; лишь только дошел до Зарядья, глядь — навстречу мне Архиповна бежит бегом, шушун нараспашку,— в попыхах. «Куда бабушка?» — «В земский приказ».— «Зачем?» — «Управы просить!.. Душегубцы этакие! разбойники!.. кнутобойцы!..» — «Да что такое?» — «Ограбили, батюшка, прибили до полусмерти моего Федотку!» — «Да кто?» — «А вот эти живодеры, кровопийцы, земские ярыжки!.. Ни за что, ни про что изувечили у меня парня!.. Да его же, за то, что он кричал, в земский приказ оттащили.. воры этакие, висельники!..» — «А я, Архиповна, иду к тебе на подворье».— «Уж не к твоему ли крестовому братцу?» — «К нему».— «Ах, родной ты мой, да ведь его захватили стрельцы!» — «Как так? — «А вот как: пришли прежде него ко мне на подворье, засели по углам, и как

твой крестовый братец вошел на двор — они его и цап-царап!» — «И увели с собой?» — «Увели, батюшка!.. Ну, уж перепугалась я!.. Экий денек! И стрельцы, и земские ярыжки!.. Да с ними-то я справлюсь! Слыханное ли дело: дневной грабеж!.. Нет, батюшка, я их доеду!.. Ударю на них челом боярину князю Львову; а коли он суда не даст, так я закричу «слово и дело»!.. до царей дойду!.. Прощай, батюшка, прощай!» Я было хотел ее порасспросить хорошенько — куда! Моя старуха пустилась благим матом по улице, а я кинулся к боярину Кирилле Андреевичу, рассказал ему все; он отправился к князю Хованскому, а мне приказал перевести сюда все твои пожитки. Ну, брат Левшин, истинно Господь тебя помиловал! Вчера у нас в слободе один молодец, сотник полка Лопухина, сболтнул по-твоему, так его тут же уходили. Нет, брат, что Бог даст вперед, а теперь держи ухо востро!..

— Дмитрий Афанасьевич, пожалуй, батюшка, к боярину! — сказал дворецкий, входя из соседнего покоя.

В этом покое, в котором обыкновенно хозяин трапезничал со своими гостями, вся домашняя утварь состояла из большого дубового стола, лавок, покрытых коврами, и двух огромных поставцов, наполненных серебряной посудой. Разумеется, в переднем углу стояли на полке святые иконы в великолепных окладах; но голые стены комнаты не были ничем украшены, и только на одной из них висел, весьма дурно написанный масляными красками, портрет царя Алексея Михайловича. Пройдя этой комнатой, Левшин вошел в угольный покой, убранный по тогдашнему времени весьма роскошно: стены в нем были обтянуты кожаными позолоченными обоями, которые вывозились тогда из Голландии, а пол обит красным сукном. В одном углу подымалась до самого потолка расписанная крупными узорами изразцовая печь, на ножках или столбиках, также изразцовых. Вдоль стен стояло несколько стульев с высокими спинками; посреди комнаты, за столом, сидел в креслах, обитых малиновым рытым бархатом, человек пожилых лет; на нем был шелковый ходильный зипун, а сверх него камлотовый опашень. Это был боярин Кирилла Андреевич Буйносов. Несмотря на грустное выражение его взора, который изобличал какую-то глубокую душевную скорбь, он вовсе не казался ни угрюмым, ни суровым. Его бледное и худое лицо, на котором были еще заметны остатки прежней красоты, исполнено было благородства, без всякой примеси этой смешной боярской спеси, которая

и в старину, и в наш век, и вероятно в будущие времена всегда останется верным признаком или грубого невежества, или природной глупости, слегка прикрытой европейским просвещением.

— Здравствуй, Дмитрий Афанасьевич! — сказал ласковым голосом Буйносов. — Садись, голубчик!

Левшин с низким поклоном отказался от предложенной чести.

— Ну, полно, без чинов!.. Садись, любезный!.. Ты я чаю, больно умаялся!

— Я не знаю, как мне тебя благодарить, боярин... — промолвил Левшин.

— Что я, Дмитрий Афанасьевич? — прервал Буйносов. — Я тут ни при чем!.. Благодари, во-первых, Бога, а во-вторых, князя Ивана Хованского. Что я хлопотал о тебе, так это не большое диво: ты сын задушевного моего приятеля — дай Бог ему царство небесное!.. И тебя самого я люблю, почитай, как родного, а все бы мне не удалось вырвать тебя из злодейских рук, кабы не князь Иван Андреевич. Да и ты, молодец, охота же тебе дразнить этих бешеных собак!

— Что ж делать, боярин, не утерпел... Когда я услышал и увидел сам, до чего дошло буйство этих богоотступных мятежников, так сердце во мне заговорило.

— Сердце?.. Да неужели ты думаешь, что мы, старики, смотрим на это, как на потеху?.. Нет, Дмитрий Афанасьевич, и наше сердце обливается кровью, и мы, называя это мятежное войско православным и христолюбивым, скорбим и сокрушаемся душою; да делать-то нечего: пришлось мирволить, коли сила не берет.

— Власть твоя, боярин, а по мне лучше погибнуть, чем мирволить злодеям. Ведь за правду умереть не беда.

— Кто говорит... Дай Господи и мне умереть за правду, лишь только бы смерть-то моя пошла впрок; а коли я умру только для того, чтоб убавилось число верных слуг царских, которых и без того немного остается, так что в этом толку? Князья Долгорукие, Ромодановские, боярин Матвеев попытались стать грудью против крамольников — что же вышло?.. Они погибли, а мятежники унялись ли злодействовать?.. Нет, они еще больше ожесточились. Когда дикий зверь сорвется с цепи, да отведает крови человеческой, так не присмиреет а сделается еще злее.

— Так что же, боярин, неужели давать волю этому зверю?..

— Коли сила есть, так не давай; а коли тебе одолеть его нельзя, так не лучше ли до поры до времени прикармливать его, да втихомолку обкладывать тенетами, чем дразнить и гибнуть понапрасну?.. Эх, Дмитрий Афанасьевич! и я был молод, как ты, и у меня также кровь кипела в жилах — да уходился! Не даром говорят: «Век пережить, не поле перейти», чего не увидишь, чего не натерпишься!.. А горя-то, горя!..— промолвил боярин, и на глазах его навернулись слезы.— Да, Дмитрий Афанасьевич,— продолжал он,— и тебе грустно жить в одиночестве, но ты еще молод: Бог даст, у тебя будет своя семья, добрая жена, милые дети; а каково быть круглым сиротой тому, кто смотрит уж в могилу?.. Как подумаешь: умереть на руках челядинцев, не оставить после себя ни роду, ни племени... Да что говорить об этом! Коли Господь послал крест, так неси его без ропота и покоряйся... Поговорим-ка лучше о другом. Тебе, Дмитрий Афанасьевич, нельзя в Москве оставаться, и чем скорее ты отсюда уедешь, тем лучше. Я на будущей неделе хочу отправиться в мою Брянскую вотчину, так возьму тебя с собой, а теперь поезжай в мою подмосковную; она на Серпуховской дороге и только в пяти верстах от Коломенского, да зато в стороне, кругом лесная дача, проезжей большой дороги нет, так ты, покамест, можешь там жить без всякого опасения. Только смотри — в Коломенское ни ногой! Туда часто изволит наезжать государь Петр Алексеевич, так иногда бывает очень людно. Неравно еще с кем ни есть повстречаешься, а на первых порах не худо бы, чтоб твои сослуживцы вовсе о тебе забыли: пусть себе думают, что ты без вести пропал. Может статься, денька через четыре я с тобой увижусь, а теперь прощай, любезный!.. Мешкать нечего. С тобой поедет твой слуга и один из моих домашних. Ну, с Богом, Дмитрий Афанасьевич,— отправляйся.

Когда Левшин откланялся боярину и вышел на двор, то увидел, что все уже готово к его отъезду: у ворот дожидался боярский вершник, а у крыльца стоял Ферапонт, держа под уздцы двух оседланных коней. В одном из них Левшин узнал своего аргамака. Колобов был тут же. Он смотрел с немым восторгом на Султана. Этот гордый персидский конь, почуя своего седока, заходил ходуном, заплясал и начал грызть свои, покрытые пеной, удила.

— Ну, Дмитрий Афанасьевич,— сказал Колобов,— достался тебе конь! Я еще его под седлом-то не видел.

Вот уж подлинно всем взял!.. Огонь, а не лошадь!.. Жилки все играют!.. Хорош и тот, которого ты мне пожаловал, а все не то... Ну, прощай, друг сердечный!.. Когда-то приведет Господь опять увидеться?

— И, батюшка!..— сказал Ферапонт, подводя к Левшину Султана,— гора с горой не сойдется, а человеку с человеком как не сойтись!

— Боярин не сказал мне, куда тебя отправляет,— продолжал Колобов,— а намекнул только, что вряд ли ты скоро в Москву вернешься. Ну да Бог милостив, увидимся когда-нибудь.

Левшин обнял Колобова, вскочил на коня и через несколько минут доехал до земляного вала, то есть нынешней Садовой улицы. Выехав Калужскими воротами за город, он, по старинному обычаю, снял шапку и помолился на соборы. Ферапонт последовал его примеру, перекрестился и сказал: «Прощай, матушка Москва белокаменная! Не долго мы в тебе погостили! Слава тебе Господи, что я в Кремле побывал, а то бы не удалось и угодникам поклониться!» Оставя по правой руке Калужскую дорогу, Левшин пустился по Серпуховской. Он не говорил ни слова, но душа его была преисполнена грусти. Два дня тому назад он спешил возвратиться в свой родимый город, а теперь бежит из него, как изгнанник. Он был в Москве и не успел даже сходить на могилу отца своего и матери. Привязанность к родимой стороне всегда становится сильнее, когда мы переживаем о всех близких нашему сердцу; нам кажется, что мы еще не вовсе осиротели, если живем там, где покоятся кости наших кровных и родных, где мы родились, где встречаем тех, с которыми свыклись еще в ребячестве: где все напоминает нам о прежней семейной жизни, о детских наших радостях... Покинуть это место, быть может навсегда расстаться со своей родимой стороною — о, конечно, это второе сиротство, едва ли легче первого!

Солнце было уже довольно высоко, когда наши путешественники, отъехав верст семь от Москвы, стали спускаться с крутой горы. Левшин продолжал ехать молча, но спутники его давно разговаривали меж собою. Боярский челядинец, пожилой человек лет пятидесяти, узнав, что Ферапонт видел Москву только мимоездом, пустился в россказни.

— Я, голубчик,— говорил он,— старожил московский и не только в ней всякий закоулочек назову тебе по имени, да и что вокруг-то ее все знаю... Да вот, приме-

ром сказать, хоть это урочище: оно прозывается Котлы, и деревню так же зовут. Знаешь ли, любезный, что на этом самом месте сожгли проклятого самозванца Гришку Отрепьева?

— Живого?

— Нет, мертвого. Вот уже лет тридцать, как мне это рассказывал мой дедушка — упокой Господи его душу! А он уж и тогда доживал седьмой десяток. Господи Боже мой, чего он не насмотрелся!.. И боярских смут, и польских погромов, и как ляхи завладели Москвой, как воевода князь Пожарский бился с ними на Лубянке, как он после, вместе с Кузьмой Мининым, привел из Понизовья православное войско под Москву; как ляхи отсиживались в Кремле, как наши, при помощи Божьей, их одолели — все видел!.. Вот он-то мне сказывал, что вывезли сюда окаянное тело Гришки Отрепьева, сожгли на костре, потом собрали весь пепел, зарядили им пушку, да и шарахнули по ветру.

— А ради чего,— спросил Ферапонт,— сожгли этого самозванца? Или уж так бояре присудили и царь указал?

— А вот ради чего, любезный. Он сначала лежал убитый трое суток на Пожаре...

— На пожаре?

— Сиречь на Красной площади: ее, брат, в старину этак называли. Во все это время кругом в околодке никому покоя не было: каждую ночь, вплоть до первых петухов, начнется, бывало, над ним такая бесовщина деяться, что все и по домам то дрожкой дрожат: и в бубны бьют, и в сопелы играют, и шум, и гам, и свист!.. Вот стащили его в убогий дом за Яузские ворота — и там возня поднялась! Ночью все мертвецы в убогом доме повставали, да ну-ка песни орать!.. Мало того: поднялись бури, вихри, всякая непогодица, и после вешнего Николы выпал снег по колено. Вот бояре-то и призадумались. Доложили царю Василию Ивановичу, а царь Василий Иванович, видя, что дело-то плохо, и указал его сжечь поодаль от Москвы.

— Вот что!.. Только правда ли это, любезный?

— Экий ты, братец, какой! Да разве ты не знаешь, что Гришка-то Отрепьев был колдун и чернокнижник?

— Право?

— Как же!.. Ведь он и родную-то матушку царевича Дмитрия обморочил, и боярину Басманову глаза отвел.

— Ну, это дело иное!.. Коли он был колдун, так не диво!

— Что ж ты думаешь?—продолжал рассказчик.— Гришку Отрепьева казнили и сожгли на костре—кажись, чего бы еще?.. Так нет! Не прошло двух лет, как опять проявился такой же самозванец. Это, дескать, не меня сожгли... меня, дескать, хотели извести, да не удалось. Простой народ стал к нему приставать—пошла опять кутерьма: кто за него, кто за царя Василия Ивановича. Вот и этот самозванец подступил к Москве и долго стоял с войском в подмосковном селе Тушине. Покойный дедушка сам туда ходил.

— Что ж это?—прервал Ферапонт.—Да коли вся Москва видела, как сожгли самозванца, так как же народ поверил этому вору?

— Ну, вот, поди ты!.. Вестимо, наш брат дворовый человек не поверил, а ведь простой-то народ глуп!.. Принесет ему сорока на хвосте весточку, а он уши-то и развесит!.. Глупой бабе да сермяжнику, что хочешь, брат, плети, они сдуру всему поверят... Э! Да что ж это твой барин?.. Куда он своротил! Дмитрий Афанасьевич, не туда: направо по дорожке.

Левшин повернул по узенькой тропинке, которая, пробираясь между засеянных полей, вела к густому березовому лесу. Когда он увидел себя под тенью этих столетних берез, то ему стало еще грустнее. Он невольно вспомнил и о своей березовой роще на берегу Волги, и о той, которая превратила бы для него эту рощу в земной рай. Проехав версты три этим заповедным лесом, наши путешественники очутились на обширной поляне, окруженной со всех сторон густым чернолесьем. Когда Левшин окинул взглядом это лесное удолье, то забыл на минуту все свое горе. В глубине двора, застроенного с обеих сторон службами, стоял господский дом, то есть большая брусяная изба, крытая тесом, у которой, вместо обыкновенного крыльца, был устроен под навесом дощатый рундук, или помост, похожий на нынешние террасы. Перед самым домом, в пушистых зеленых берегах, разливался прихотливо широкий проточный пруд; с одной стороны он оканчивался плотиной, обсаженной ракитником, с другой вливался в него довольно большой ручей. Поодаль от пруда, крутом ветхой, деревянной церкви, как дети вокруг родной матери приютились низенькие крестьянские избы, с их соломенными кровлями и плетневыми заборами. Конечно, все это вместе не составляло ничего особенно прекрасного или живописного; но эта тишина, этот лес, этот светлый

пруд, эта зелень, усыпанная цветами, и даже простота и убогость приходской церкви и боярского дома,— все наполняло душу каким-то кротким, неизъяснимым спокойствием. Левшин вовсе не желал — да и вы бы не захотели — встретить в этом смиренном уголке ни великолепный храм Божий, ни каменные палаты барские; все, что напоминает нам о земном величии, роскоши и суете мирской, показалось бы вам не у места в этом тихом и спокойном убежище, поселясь в котором вы могли бы думать, что живете за тысячу верст от Москвы.

— Ну, вот и приехали! — сказал провожатый, слезая с коня.— Добро пожаловать! — промолвил он с низким поклоном.— Милости просим, Дмитрий Афанасьевич, в наше село Богородское!.. В нем часто гащивал покойный твой батюшка: вот Бог привел и тебе с нами пожить. Милости просим!

Он отворил околицу, и Левшин, объехав правым берегом пруда, сошел с коня у ворот боярского дома.

VII

Вот уже прошло более трех недель, как Левшин оставил Москву. В селе Богородском ждали со дня на день боярина Буйносова, но он не ехал. Впрочем, Левшин вовсе не скучал: в хорошую погоду он ходил иногда с меткой пищалью стрелять дичь, а ее очень много было в этих заповедных дачах, в которых изредка только охотился сам боярин; в дурную погоду беседовал с приходским священником или проводил время в разговорах со словоохотным челядинцем боярским и своим добрым Ферапонтом. В наш век это последнее занятие показалось бы довольно странным, но тогда еще просвещение не положило в отечестве нашем этой резкой грани между господином и его слугою. В старину было много и таких господ, которым грамота вовсе не далась; да и дворяне, по тогдашнему образованные, отличались, по бо̀льшей части, от своих безграмотных домочадцев не образом мыслей, не познаниями и ученостью, а только тем, что умели читать и писать. Сверх того между служителями и их господами существовала тогда связь особенного рода: ее почти можно назвать семейной. Господа называли своих слуг домочадцами, и эти чады дома готовы были при всяком случае умереть за своих бояр, которые

в свою очередь любили их, как домашних, и дарили иногда за верную службу целыми деревнями[1]. Чаще всего Левшин бродил без всякой цели по лесу, особенно там, где нужно было прокладывать себе дорогу; он любил продираться сквозь эту глушь, где сплошные деревья сплетаются своими вершинами и ни один луч полуденного солнца не падает на влажную землю, покрытую полусгнившими листьями и валежником. Эта пустынная, мрачная дичь была ему по душе. В одну из своих прогулок он зашел в глубокий, поросший мелким лесом, овраг. На дне его журчал ручей, тот самый, который перед господской усадьбою вливался в пруд. В конце этого оврага, сквозь густые ветви дикой черемухи, виднелся высокий плетень, а за ним соломенная кровля небольшой избушки. Левшин пошел к этому жилью. Он не успел сделать несколько шагов, как из-за плетня показался служитель его, Ферапонт, с довольным лицом и с распухшим прищуренным глазом.

— Это ты, Ферапонт? — сказал Левшин.

— Я, батюшка,— отвечал Ферапонт, вытирая рукою свои длинные усы и бороду.

— Что это у тебя глаз-то?

— Ничего, Дмитрий Афанасьевич! Я был вот здесь на пчельнике у Савельича, так пчела ужалила. Что за мед!.. Ну, уж нечего сказать: белый, зернистый!.. Да не угодно ли, батюшка, и тебе отведать?..

— Пожалуй.

— Только сам туда не ходи: как раз облепят пчелы. Побудь здесь минуту, я сейчас вынесу тебе свежий сотник, прямехонько из улья.

Ферапонт ушел опять на пчельник, а Левшин прилег под тень черемухи у ручья, который тихо струился в своих берегах, поросших осокою. Вот послышались ему вдали охотничьи рога. Эти невнятные, исчезающие в воздухе звуки долетали до него только по ветру и через несколько минут вместе с ним затихли. Меж тем Ферапонт возвратился, неся деревянное блюдо, на котором лежал свежий сот меду, ножик и ломоть черного хлеба.

— Покушай, Дмитрий Афанасьевич, на здоровье,— сказал он, подавая ему блюдо.— Савельич при мне под-

---

[1] При царе Федоре Иоанновиче опальный боярин Иван Григорьевич Нагой отдал своему слуге, Богдану Сидорову, за верную его службу и усердие наследственную свою вотчину, сельцо Ануфриево с деревнями. Вероятно, в старину подобные случаи повторялись нередко.

резал этот сот. Ну, батюшка, какой он досужий пчеловод!.. А знаешь ли что, Дмитрий Афанасьевич? Ведь Савельич-то жил в скиту у твоего дядюшки, Андрея Яковлевича Денисова.

— В каком скиту?

— Да вот там за Онегою.

— Как же он туда попал?

— В бегах был. Савельич мне все рассказал. Вот изволишь видеть: он долго был раскольником; лет шесть тому назад Господь вразумил его принять опять православную веру, так он пришел с повинной головой к боярину. Боярин,— дай Бог ему здоровье! — принял его не с гневом, а с милостью, и порадовался, что он, хотя и поздненько, а все-таки обратился на путь истинный.

— Послушай, Ферапонт: я все еще путем не знаю, покойный дядюшка, Семен Яковлевич, в ссоре, что ль, был со своим братом Андреем Яковлевичем?

— В ссоре, батюшка. А, говорят, в старину они жили душа в душу. Андрей Яковлевич продал все свои вотчины и уехал сначала на Соловки, а там долго жил за Онегою и присылал часто гонцов к твоему покойному дядюшке, и тот также писал к нему грамотки.

— А за что они поссорились?

— Вот за что, батюшка: может быть, ты не знаешь, что покойный твой дядюшка, а наш барин, Семен Яковлевич, держался одного толку со своим братом, сиречь — не прогневайся, батюшка! — был такой же еретик, как и он. Правда, только-то и было в нем худого... Этакой доброй души поискать! Не токма свои, да и все чужие-то шли к нему, словно к отцу родному. Случится ли с кем беда: домишко сгорит — к Семену Яковлевичу! Выбьет ли поле градом — к Семену Яковлевичу!.. Соседи меж собой поговорят — к нему же на суд! А уж об нищей братии и говорить нечего: со двора не сходили. Грешно также сказать, чтоб он обижал наш церковный причт; он и им в нужде помогал, только ни сам в Божью церковь не входил, ни священника к себе с крестом не допускал, а молился у себя в образной по каким-то старинным книгам. Нам никому не было помехи говеть, исповедоваться и ходить к причастию, да сам-то он никогда не исповедовался и не приобщался. Вот, батюшка, годов пять тому назад наслал на него Господь какую-то немощь: стал чахнуть, что день, то хуже. Приводили к нему всяких знахарей — все лучше нет! Вот послали

в Москву по какого-то досужего человека из немчин. Приехал и тот, прожил у нас суток трое, давал барину всякие снадобья, да как увидел, что ему от них льготы никакой нет, а стало еще тяжелее, и что вся дворня посматривает на него исподлобья, так он за добра ума, поворотил оглобли, да и был таков!.. Прошло этак еще с неделю, барин перестал уж и с постели вставать: не ест, не пьет — кости да кожа. Худо дело!.. Однажды под вечерок собрались мы все в людскую, да и толкуем меж собой: что с нами сиротами станется, кто будет у нас барином?.. Вот наш дворецкий, Прокофий Иваныч — ты уж его не застал, батюшка — и начал нам говорить: «Что вы, ребята, о пустяках-то болтаете?.. Кому достанемся, кто барином будет? Вестимо дело, без барина не останемся; а вы о том подумайте, что наш батюшка Семен Яковлевич — кормилец наш, родной отец, умирает, как собака!» Вот все мы так руками и всплеснули. «Ах, батюшки! ведь правда: умрет он без покаяния!» — «Да что ж делать-то, Прокофий Иваныч?» — сказал ключник Терентий. «А вот что: ступай хоть ты скорей к отцу Василию, скажи ему, что Семен Яковлевич умирает и зовет его к себе; а мы пойдемте все к барину, повалимся ему на пол. Господь милостив — авось упросим его, чтоб он души-то своей не губил!» — «Идемте, ребята!» — закричали все, да целой гурьбой, и старый и малый, все до единого пошли к барину. Стали входить потихоньку в его опочивальню — глядим, лежит сердечный, чуть жив! «Что вы, братцы? — промолвил он.— Зачем пришли?» — «Кормилец ты наш! — сказал дворецкий.— Ты был нам всем вместо отца родного, и мы, как дети, пришли просить тебя — не откажи нам в последней нашей просьбе!» Дворецкий повалился в ноги, а за ним и мы все упали наземь. «Ну, что? — шепнул Семен Яковлевич.— Говори!» — «Батюшка-барин,— сказал Порфирий Иванович,— ты человек добрый, за тебя богомольцев много будет, да все их молитвы-то впрок не пойдут, коли ты умрешь, как нехристь какая. Прикажи позвать священника!» Глядим — барин нахмурился. «Ступайте вон, дурачье! — молвил он гневно.— Не ваше дело!» «Как, батюшка, не наше! — заговорил дворецкий.— Да коли ты, отец наш, умрешь без покаяния, так како ответ дадим мы Господу Богу, когда на страшном суде он скажет нам: «Окаянные! Ваш добрый господин кормил и поил вас, берег, как детей родных, а вы, рабы нечестивые, не лежали у его порога, не умоляли его покаять-

ся!» Братцы! — промолвил дворецкий, заливаясь слезами,— просите все барина!» Вот поднялся, батюшка, такой вопль и плач, что и сказать нельзя! Барин долго крепился, все гнал нас вон, да видно под конец слезы-то наши одолели. «Ну, ну, глупые! — промолвил он,— позовите попа!» А батька и в двери! Ты, Дмитрий Афанасьевич, и его также не застал: о спожинках будет ровно год, как он помер... Вот уж был подлинно Божий человек!.. Такой смирный, любовный! И горя-то ему, сердечному, много было: похоронил под старость жену да семерых детей, а все не унывал! Иногда ему сгрустнется — заплачет, да тут же и начнет каяться: «Ах, я грешник, грешник! Да разве Господь не волен в своем?... Он дал, Он и взял — буди Его святая воля». Утрет глаза и как ни в чем ни бывало. Вот как он вошел в барскую опочивальню,— как теперь все помню,— помолился на святые иконы и сказал: «Мир дому сему!..» Здравствуй, Семен Яковлевич! — промолвил он, подойдя к барину.— Ну, слава тебе, Господи! видно попомнились перед Богом твои добрые дела, и милостыня твоя принесла свой плод. Ты желаешь, Семен Яковлевич, исполнить последний долг христианский?» «Не я,— проговорил барин,— а вот они пристали». «А сам-то ты, Семен Яковлевич?..» — спросил священник. «Я бы тебя, Василий Алексеевич, не потревожил!» Вот что,— молвил отец Василий: «Так прощай, боярин! Мне у тебя делать нечего».

Мы все кинулись к священнику: «Батюшка, не уходи!» — «Эх, детушки! — сказал отец Василий,— не знаете сами, чего просите. Да коли он хотел приступить к такому делу ради того только, чтоб от вас отвязаться, так это будет ему не во спасение, а в пущую гибель. Уж по мне лучше ему умереть еретиком, чем лукавым Иудой». «Иудою!» — прошептал барин, привставая. «Да, Семен Яковлевич,— сказал отец Василий.— Веруешь ли, что я служитель истинной, православной церкви, и желаешь ли от всей твоей души примириться с нею!.. Отвечай, Семен Яковлевич!»

У нас у всех сердца так и замерли. Глядим на барина, ждем, что он скажет... Ни словечка! Молчит, как убитый.

«Ну, вот видишь ли, боярин,— заговорил опять отец Василий,— ты молчишь, так не правду ли я говорил? Лукавый Иуда, предавая Спасителя, называл Его своим наставником и лобзал Его, а ты что хотел делать? Разве не то же самое?»

«Да знаешь ли,— промолвил, наконец, барин,— что скоро уже тридцать лет...»

«Как ты сам отлучил себя от церкви,— перебил отец Василий.— Знаю, боярин!.. Великий грех, подлинно великий!.. А все не беда! Ты грешник — так что ж? Мы все грешники: да для кого же Христос и распинался, как не для нас? Не он ли сам сказал: «Приде бо сын человеческий взыскати и спасти погибшаго!..» Вот он и пришел к тебе. А ты, Семен Яковлевич, прими Его с верой и любовью — не так как Иуда, но как мытарь. Не бойся греха твоего: Господь милосерд. Ведь Он, наш батюшка, несет на себе грехи всего мира, так уж твои немного Ему тяготы прибавят».

Мы все словечка не могли вымолвить от слез, а барин молчал, только в щеках у него заиграл румянец, и глаза из мутных сделались такими светлыми.

«Да, Семен Яковлевич,— сказал опять отец Василий,— кто кается, того Господь не отвергает. Не нам, грешным, чета великий апостол Петр, а ведь и он трижды отрекся от Христа, да как покаялся, так остался по-прежнему первым учеником Господним. Ты также отрекся от православной церкви, покайся и ты — возвратись к ней, как блудный сын к отцу, и она так же, как этот сердобольный отец, примет тебя с радостью, согреет на груди своей, ототрет твои слезы и облечет в лучшую свою одежду!..»

Тут сам отец Василий заплакал, глядим — и барин наш, молчал, молчал, да как вдруг зарыдает!.. А слезы-то — слезы! так рекой и потекли!.. Отец Василий махнул нам рукой; мы все вышли, и что ж, Дмитрий Афанасьевич, покойный твой дядюшка исповедался, приобщился, и с того самого часа пошло ему все лучше, да лучше, так что он недели через две, почитай, совсем оправился. Вот радость-то была, когда он, отец наш, в первый раз приехал к обедне... Ну, веришь ли Богу, Дмитрий Афанасьевич, такое было для всех веселье, словно в великий день Христов!.. Народу набилось в церковь видимо-невидимо: и деды и внучата, все поднялись!.. Иной старик уж года два не слезал с полатей, а тут — откуда ноги взялись — бредет в церковь, чтоб на барина взглянуть да помолиться о его здоровье. Вот как обедня отошла, отец Василий вышел на амвон и сказал: «Православные! Возблагодарим теперь всем миром Господа за душевное и телесное исцеление благочестивого раба Его, боярина нашего Симеона». Он начал служить благодар-

ственный молебен; мы все пали на колени, а барин повалился перед иконой Спасителя, да так во всю службу и не вставал. Спустя неделю после этого, дядюшка твой отправил гонца с грамотой к братцу своему. Эту грамоту возил Алешка Косой. Как Андрей Яковлевич прочел ее, так распалился таким гневом, что и Господи!.. Учал кричать, топать ногами!.. «Скажи, дескать, твоему барину, что изо всех моих родных я любил только его одного, а теперь он хуже для меня всякого татарина... Вон отсюда, холоп предателя! Нет тебе здесь ни хлеба, ни воды, ни кровли! Я скорей приму в свой дом разбойника и накормлю бешеного пса, чем слугу окаянного отступника!» Вестимо дело, Алешка Косой поклонился, да и давай Бог ноги! Вот, Дмитрий Афанасьевич, как поссорились твои дядюшки. Не знаю, что Андрей Яковлевич, а покойный твой дядюшка Семен Яковлевич очень об этом горевал и не раз еще посылал к своему брату, только прием-то посланным был всегда одинаков: на порог да в шею!

— А что, Ферапонт, дядюшка Андрей Яковлевич женат или нет?

— Нет, батюшка, об этом и речи никогда не было... Э, да что это?.. Чу! Слышишь, Дмитрий Афанасьевич?

— Да, слышу: охотничьи рога.

— И, кажись, недалеко... Пойдем-ка, батюшка, посмотрим, что это такое.

— Пойдем,— сказал Левшин, вставая.— Да лесом-то еще далеко?

— Нет, Дмитрий Афанасьевич, и полверсты не будет. Вон по той дорожке мы как раз выйдем вон из лесу.

Левшин и Ферапонт пошли по узенькой тропинке и через несколько минут повстречались с боярским челядинцем, который также пробирался в поле.

— И ты, Сидорыч, идешь туда же?— сказал Левшин.

— Как же, Дмитрий Афанасьевич, и я хочу взглянуть на царскую охоту.

— На царскую?

— Да, батюшка! Ведь это изволит охотиться государь Петр Алексеевич с ближними своими боярами. Сейчас приехал на село стремянный нашего господина, Антон Курышов; он сказывал, что сегодня поутру собралось в Коломенском до двадцати бояр.

— И все с охотами?— спросил Ферапонт.

— Вестимо, с охотами.

— То-то, чай, народу-то!

— Как же! Одних стремянных человек до тридцати, да только им приказано всем остаться и за своими боярами на охоту не ездить.

— Как так?.. Ведь ловчие-то и псари будут с гончими порскать по лесу, да зверя поставлять в чистое поле, а при борзых да собаках кто останется?

— Видно, одни господа. Антон говорил, что и нашему боярину пришлось взять четырех собак на свору: Злодея, Налета, Буяна и Касатку. Они привыкли рыскать за стремянными, так за барином нейдут. Лихие собаки — что и говорить! Да как-то он с ними справится!.. Коли они завидят сердечного дружка, а он не успеет их со своры спустить...

— Да!.. Не усидит на коне... Я сам был у покойного барина стремянным; ездок не плохой и силишка есть, а так грохнулся однажды с лошади, что небо с овчинку показалось! Нет, любезный, коли собаки у тебя на своре, так не зевай!.. Да что это боярам-то вздумалось?..

— А Бог их знает!.. За спором, что ль, дело стало или так, ради потехи.

— Хороша потеха!.. И что за неволя подумаешь!..

— Эх, брат! Да ведь у бояр-то часто охота бывает пуще неволи.

— Ну, вот припомни мое слово, Сидорыч: без греха дело не обойдется.

В продолжение этого разговора они дошли неприметным образом до конца леса. Перед ними открылись обширные, холмистые поля. Направо по суходолу расстилались заповедные луга села Богородского; налево по лощинам тянулся длинный ряд болот, поросших мелким кустарником. Прямо перед ними в живописном беспорядке разбросано было несколько отдельных рощ, которые на охотничьем языке называются отъемными островами. Между этими рощами и лесом, на опушке которого стоял Левшин, было не более полуверсты. Одетые в разноцветные платья псари, ловчие и доезжачие, которые, очевидно, принадлежали разным господам, стояли поодаль от крайней рощи и дожидались только приказания, чтоб бросить гончих в остров. Бояре на красивых персидских конях разъезжали по полю, держа на шелковых сворах борзых собак, которые беспрестанно путались между собой, подбегали под лошадей и, по-видимому, весьма тревожили непривычных к этому делу господ. Вот бояре

начали занимать места по перелескам, некоторые из них потянулись к Богородскому лесу и стали шагах в пятидесяти от его опушки.

— Кто этот господин? — спросил Ферапонт у боярского челядинца.— Вон что прямо против нас на саврасом коне?

— В голубом аксамитном кафтане?

— Да... кажись, такой строгий, смотрит все исподлобья.

— Это, любезный, ближний компатный стольник государя Петра Алексеевича, князь Федор Юрьевич Ромодановский.

— А вот этот боярин — такой дородный, что стоит у куста?

— В скарлатном зипуне и парчовой мурмолке?.. Это князь Яков Федорович Долгорукий; а вот подъехал к нему князь Троекуров. Эк он собак-то нацеплял! Никак с полдюжины будет!.. Ах, они проклятые, так и рвутся!.. А вон от перелеска едет сюда на вороном коне боярин Иван Максимович Языков...

— Да ты никак всех бояр-то знаешь, Никита Сидорыч!

— А как же!.. Ведь они, почитай, все к нам жалуют... Э! Смотри-ка — смотри!.. Долгоруковские-то собаки начали грызться с троекуровскими... Ну!.. Пошла свалка!.. Вот оно без стремянных-то!.. Куда боярам ладить с этими псами!.. Гляди-ка, брат, под князем Троекуровым конь-то никак испугался!.. Эк он начал прядать!.. Ахти, батюшки! убьет он его.

— Нет,— сказал Ферапонт,— ничего!.. Вон и собак-то кой-как растащили...

— Да это что! — молвил боярский челядинец.— Погоди, брат, то ли еще будет!

— Посмотри-ка сюда, Никита Сидорыч; кто это там из-за рощи выехал... вот этот, без собак?

— На сером коне?

— Да, в красном кафтане с золотыми петлицами... Ого, брат! да перед ним все бояре шапки снимают!..

— Постой-ка — постой-ка!.. Уж не он ли это, наш батюшка?.. Ну, так и есть — он! Точно он!.. Шапку долой, братец!..

— Да что ж это за боярин такой? — спросил Ферапонт, снимая шапку.

— Что ты?.. Какой боярин!.. Разве не видишь? Это сам государь Петр Алексеевич!

— Право!.. Ведь я сродясь его не видывал!.. Кабы он, наш батюшка, поближе сюда подъехал!

— Нет, изволил поворотить направо... Вон, взъехал на холмик... Знать оттуда будет смотреть на охоту.

— А эти-то, что позади его едут, видно самые набольшие бояре?

— Ну, вестимо!.. Один, чай, дядька его, Кирилла Полуектович Нарышкин! А другой... нет, любезный!.. кажись, и не боярин, и не ратный человек... Вишь, как он позади плетется... Лошаденка невзрачная, и сам-то он сидит на ней таким увальнем... Должно быть, учитель государя Петра Алексеевича.

— А разве царский-то учитель не боярин?

— Нет. Дьяк челобитного приказа, Никита Алексеевич Зотов... Ну, вот и псари зашевелились!.. Видно приказано спускать гончих!..

Тут словоохотный челядинец и Ферапонт перестали разговаривать; они обратили внимание на толпу псарей, которые спешились и начали суетиться около своих гончих собак.

VIII

Пока охотники делали все нужные распоряжения и распаривали гончих собак, сцепленных попарно железными смычками, прошло довольно времени. Вот двинулись, наконец, псари со своими стаями; за ними потянулись ловчие и доезжачие, и в несколько минут вся эта пестрая толпа рассыпалась по роще.

— Что, брат,— сказал вполголоса Никита,— твой барин охотник или нет?

— Нет,— отвечал отрывисто Ферапонт.

— То-то я гляжу: мы ждем, не дождемся, когда потеха начнется, а ему, кажись, и дела нет!.. Прислонился к дереву, задумался, глаз вверх не подымет!.. Ну, я не в него!.. Не знаю, как ты, а у меня теперь так сердце и замирает, так и поджидаю: вот тяфкнет первая!

— Что делать, любезный! — сказал Ферапонт, покачивая головою.— Диковинка, да и только!.. Подумаешь, как не любить псовую охоту?.. Да есть ли на свете потеха лучше этой?.. У покойного дядюшки Дмитрия Афанасьевича знатная была охота — и гончие отличные. За одного выжлеца сосед давал ему две семьи крестьян,

так он и слышать не хотел! Что ж ты думаешь, любезный: ведь барин всех перевел!

— Неужли?

— Видит Бог, так!

— Чем же он забавлялся, когда жил в своей вотчине?

— Хозяйничал, судил и рядил крестьян, да так же, как здесь, постреливал и гулял по лесу.

— Видно уж, брат, такой у него обычай!.. А ведь барин, кажись, добрый?

— Такой-то добрый, что мы все за него сейчас в огонь и в воду!.. Да ты что это, Сидорыч, все посматриваешь?..

— А вот смотрю: что ж это они ни из короба, ни в короб? Пора бы на след напасть; кажись, народу не мало!.. Чу!.. Никак тяфкнула!.. Так и есть!.. Натекла!.. Ну! Подхватили?..

Вся роща оживилась; громкие крики, свист и порсканье псарей начали сливаться с лаем собак. Бояре стояли неподвижно на своих местах, устремив внимательные взоры на рощу; борзые собаки, приподняв уши, прислушивались к гоньбе гончих. Эта гоньба, сначала слабая, беспрестанно усиливаясь, превратилась, наконец, в какой-то безумный лай и визг.

— Ого! — вскричал челядинец.— Напали на горячий след!

— Какой след! — прервал Ферапонт.— Чу!.. Слышишь? Гонят по зрячему.

— Да, любезный, да, точно по зрячему!

— Так что ж они так разметались? — продолжал Ферапонт.— И тут и там. Ну, брат, видно зайцев-то у вас в роще довольно!.. Вот, вот!.. Гляди, гляди!..

В одном перелеске мелькнул заяц, в то же время с полдюжины других, отделясь от лесной опушки, понеслись по полю — и тут началась эта чудная охота, описанная довольно подробно в Деяниях Петра Великого и в одной русской летописи[1]. Все бояре рассыпались в разные стороны, поднялась бешеная скачка, крик, беспорядица. Кто не успел спустить своих собак, того они стаскивали с коня; кто успел, тот летел вслед за ними по кочкам и пенькам. Не привыкшие к такой отчаянной езде лошади спотыкались, падали и давили под собой, перепутанных в своры собак. Тут лежала лошадь, прижав к земле своего всадника; там мчался

---

[1] История последования царств от Рюрика до Петра Великого.

конь без седока; здесь валялась в грязи боярская шапка, а подле купался в луже сам боярин. Одним словом, в несколько минут все пространство между рощами и Богородским лесом превратилось в настоящее поле сражения, или, по крайней мере, кавалерийской схватки.

— Вот тебе и охота! — вскричал челядинец.

— Ну, бояре-то сегодня понатешутся — будут помнить!.. Батюшки-светы! Куда это скачет вон тот боярин?.. Прямехонько в трясину!.. Правей, боярин!.. Болото!.. Ну!.. Села!.. Вон и другой!..

— Совсем завязли! — прервал Ферапонт.— Эк лошади-то бьются!.. Да побежим, Никита Сидорыч, вытащим их как-нибудь!

— Вытащим!.. Поди-ка, брат, сунься!.. Я однажды забрел ночью в это болотце, так по пояс втюрился. Нет, брат, тут без жердей ничего не сделаешь.

— Да здесь валежнику-то много; вон лежит целая елка.

В продолжение этого разговора направо от них показался пожилых лет боярин, под которым испуганный конь летел, как стрела. Закусив удила, он мчался во всю прыть вдоль самой опушки леса. Вдруг целая стая собак, гонясь за зайцем, который пробирался в Богородский лес, кинулась под ноги бешеному коню; он запрыгал, начал бить и передом, и задом, но боярин, по-видимому, хороший ездок, удержался в седле, и конь, как будто б чувствуя, что не может сбить своего седока, взвился на дыбы, скакнул вперед и со всех четырех ног грянулся оземь.

— Господи!.. Что это? — вскричал челядинец.— Да это никак наш боярин!.. Ну, так и есть!

Ферапонт с Никитой, вслед за ним и Левшин, бросились на помощь к боярину Буйносову. Они подняли его на ноги.

— Батюшка ты наш! — сказал челядинец,— да ты, я чай, совсем расшибся?

— Ничего,— отвечал Буйносов.— Кажись, я не очень ушибся... вот только на правую-то ногу ступить не могу.

— Уж не переломил ли ты ее, Кирилла Андреевич? — спросил с беспокойством Левшин.

— Не знаю, только больно, кажется, зашиб. Помогите-ка мне сесть на коня, да поскорей в Богородское.

Буйносова посадили на лошадь; Ферапонт взял ее под уздцы и пошел шагом, а Левшин пошел подле

стремени, чтоб в случае нужды поддержать ушибленного боярина. Между тем челядинец побежал на пчельник за Савельичем, который не только был хорошим пчеловодом, но слыл также во всем околодке лучшим костоправом и досужим человеком; у него все лечились и многие выздоравливали, вероятно, потому, что его медицинские способы ограничивались, по бо́льшей части, наговорами и, следовательно, не мешали действовать натуре, этому медику, которому хорошие доктора иногда помогают, а дурные почти всегда задают двойную работу. Через полчаса боярин Буйносов доехал до своей подмосковной. Когда его раздели и уложили в постель, явился Савельич, мужик пожилой, но еще здоровый, с угрюмым лицом и окладистой бородою, которая начинала уже седеть. Прочитав длинную молитву, он подошел к боярину, перекрестил три раза его ногу, приговаривая: «Помоги, Господи!» — и начал ее ощупывать. Эта операция продолжалась несколько минут. Наконец, вымолвил: «Слава тебе, Господи! Ножка твоя, батюшка Кирилла Андреевич, целехонька, суставчики по своим местам, только кость-то крепко зашиблена. Прикажи ее припаривать трухою, так, Бог милостив, все пройдет».

— А что, Савельич,— спросил боярин,— дня через три можно ехать в дорогу?

— Нет, кормилец. Велика будет милость Божья, коли ты и через неделю встанешь с постели.

— Через неделю?.. Как же это, Савельич! а ведь мне крайняя нужда...

— Что ж делать, батюшка, потерпи!

— Я собирался ехать в знакомую тебе сторону, так хотел и тебя взять с собою.

— Власть твоя, батюшка!

— А ты думаешь, что прежде трех недель...

— Может статься, немного и попреже, только навряд.

— Ну, делать нечего!.. Ступай, Савельич, да только никуда не отлучайся, неравно ты мне понадобишься.

— Слушаю, батюшка.

Савельич поклонился в пояс своему боярину и вышел вон из покоя.

— Садись-ка, Дмитрий Афанасьевич!..— сказал Буйносов,— вот здесь — подле моей кровати. Ну что, всем ли доволен?

— Всем, Кирилла Андреевич. По милости твоей, я живу здесь, как в родном своем доме.

— Вот подумаешь,— продолжал Буйносов,— загадывать-то никогда не должно. Завтра я хотел отправиться в дорогу — и вместо этого... А все князь Федор Юрьевич Ромодановский... Кабы не он, так не лежать бы мне сегодня врастяжку.

— Что ж он такое сделал?

— А вот что: он давно уже приставал к царю Петру Алексеевичу: «Пожалуй, дескать, государь, позабавься когда ни есть любимою потехою твоего покойного родителя, царя и великого государя Алексея Михайловича — дозволь нам, верным слугам твоим, хоть раз потешиться вместе с тобой псовой охотой». Глядя на него, и я и другие бояре начали о том же государю челом бить. Он все изволил отнекиваться: времени, дескать, нет, учиться надобно — и то и другое. Так нет! Князь Ромодановский не унялся и нас все подбивал о том же. Третьего дня учитель царский, Никита Алексеевич Зотов, сказал мне, будто бы государь Петр Алексеевич изволил говорить, что боярам-то не след ездить с собаками — это, дескать, и забава-то псарская, а не боярская; бояре, дескать, должны не за зайцами рыскать, а с врагами воевать или заседать в царской думе. Послушайтесь меня,— промолвил Зотов,— отстаньте от государя Петра Алексеевича, а не то уж он сыграет с вами шуточку». Ну, вот и вышло так! Вчера князь Ромодановский начал опять подзывать государя на охоту; к нему пристал князь Иван Андреевич Хованский,— а ведь он краснобай! — начал расписывать так псовую охоту, что и, Господи!.. Это почитай, дескать, то же ратное дело; тут, дескать, потребны и проворство, и сметка, и воинская хитрость, и то и се. Подлинно, не даром прозвали этого Хованского тараруем — закидал всех словами. Государь Петр Алексеевич слушал, ухмылялся, да и сказал: «Ну, ин быть по-вашему, бояре. Просим завтра ко мне в Коломенское; оттуда поедем охотиться в дачах Кириллы Андреевича Буйносова. Мы слышали, что в его заповедных рощах много всякого зверя». Вот сегодня поутру и собрались мы с нашими охотниками в Коломенское. Как государь Петр Алексеевич вышел садиться на коня, то изволил сказать, указывая на стремянных: «На что этот народ? Дело другое псари: они при гончих, а с борзыми-то собаками мы сами станем охотиться». Я было промолвил, что нам без стремянных остаться нельзя; но государь изволил заговорить свое: «Мне, дескать, не пригоже тешиться охотою с вашими холопами: я, де-

скать, бояре, хочу охотиться с одними вами». Что будешь делать? Воля его царская; пришлось брать на своры собак. Ты, чай, видел, Дмитрий Афанасьевич, как мы охотились? Кто с лошади слетел, кто в болото попал. А батюшка Петр Алексеевич стал в сторонку, глядит, как мы рыскаем словно шальные по полю, да посмеивается. Ну, нечего сказать, умен, дай Бог ему здоровья!.. Ох, нога!.. Вот уж, подлинно, разум не по летам! Коли он и теперь нашу братью стариков учит уму, так что ж будет вперед... Ой, батюшки!.. Вот и бока-то стали побаливать!

— Не послать ли, Кирилла Андреевич, за Савельичем?

— Нет, а потрудись сказать, чтоб пришли скорее припарить мне ногу, да не мешало бы и баню истопить. Теперь я отдохну немного, а ты ступай, Дмитрий Афанасьевич, покушай; а коли мой дворецкий приехал из Москвы, так пошли его ко мне.

Левшин, передав людям приказание боярина, пообедал на скорую руку и отправился, по своему обыкновению, бродить по лесу. Дикое местоположение пчельника, близ которого Левшин был поутру, очень ему приглянулось, и он захотел побывать еще раз в этом лесистом овраге, в глубине которого было свежо и прохладно даже в самый знойный день. Подходя к пчельнику, он повстречался опять с Ферапонтом.

— Э, голубчик,— сказал Левшин,— да ты, видно, до меду-то большой охотник?

— Да, батюшка,— отвечал Ферапонт,— я был на пчельнике, только не затем, чтоб медку поесть. Мне надобно было кой о чем потолковать с Савельичем.

— Да разве ты болен?

— Нет, Дмитрий Афанасьевич. Я все расспрашивал Савельича о Брынских лесах. Ведь он и там бывал. Я этой стороны вовсе не знаю, так не мешает порасспросить о ней бывалых людей... Ну, Дмитрий Афанасьевич, как он мне порассказал, так езда-то по этим Брынским лесам со всячинкою!.. Не худо нам запастись всяким оружием.

— Нам?.. Да разве боярин посылает меня в Брынские леса?

— Так ты ничего не слышал?

— Ничего.

— Ну, видно, боярин не успел еще тебе сказать. Как ты от него вышел, так он позвал к себе дворецкого, велел

ему снарядить меня в дорогу и дать доброго коня со своей конюшни. Я выбрал себе, батюшка, лошадку не так, чтоб очень взрачную собою — а уж лошадь!.. Убить, да уехать! Боярин купил ее на Дону, первая лошадь во всем косяке была.

— Да почем ты знаешь?..

— Что тебя, Дмитрий Афанасьевич, посылают в Брынский лес?.. Мне дворецкий об этом сказывал.

— Ведь это, кажется, далеко отсюда?

— Не так чтобы очень. Савельич говорит, что по зимнему пути и порожняком можно на четвертые сутки доехать.

— Так это путь недальний.

— И дорога-то, говорят, бредет, да только до Мещовска, и там лесами больно плоха; а с тех пор, как в них развелись раскольничьи скиты, так проселочным дорогам и перекресткам счету нет, как раз заплутаешься. Да и сброду всякого много: коли вора соследили и ему придержаться негде, так он юркнет в Брынский лес и поминай, как звали!.. Разбойник уйдет из острога — куда? в Брынский лес; расстрига какой-нибудь, беглый холоп — все туда! Не то, чтоб всякий раскольничий скит был воровской пристанью,— нет, Дмитрий Афанасьевич! Савельич говорит, что в иных скитах живут очень смирно и зазнамо разбойника держать не станут; да ведь у него на лбу не написано, что он разбойник; а мошеннику что веру переменить?.. Придет в любой скит, да скажет: хочу, дескать, спасаться и постоять за истинную веру,— так его как раз примут.

— Коли это правда, так Брынский-то лес настоящее разбойничье гнездо?

— Да, батюшка, в старину, говорят, и проезду не было. Теперь начали там селиться и завелись большие поместья, так стало потише; а с той поры, как переехал туда на житье в свою вотчину какой-то боярин Куродавлев — по дорогам-то шалить, почитай, вовсе перестали. Знаешь ли что, батюшка, уж не к этому ли Куродавлеву посылает нас боярин?.. Ведь они старинные приятели.

— Может быть, и к нему.

— Э!.. Постой-ка, батюшка!.. Да это никак тебя кличут? Ну, так и есть!.. Здесь!.. Здесь!.. Видно боярин тебя спрашивает... Сюда, Сидорыч, сюда!.. Дмитрий Афанасьевич здесь.

— Что это, батюшка, в какую ты зашел трущобу? — сказал Сидорыч, продираясь сквозь густые кусты.—

Насилу я тебя нашел! Пожалуй к боярину; он давно уж изволит тебя спрашивать.

Левшин поспешил исполнить приказание Буйносова. Он нашел его за столом, на котором было все нужное для письма. Боярин перечитывал про себя довольно большой столбец, исписанный его рукою. Окончив чтение, он свернул в круглый свиток эту длинную полосу бумаги, обвязал ее шнурком и стал прикладывать к концам этого шнурка восковую печать с изображением преподобного Кирилла, чудотворца Новозерского.

— Присядь, Дмитрий Афанасьевич,— сказал Буйносов, продолжая заниматься своим делом.— Мне надо с тобой поговорить.

— А что твоя нога, Кирилла Андреевич?— спросил Левшин.

— Да побаливает, а уж стать на нее вовсе не могу. Это бы ничего,— я еще, по милости Божией, дешево отделался, и кабы мне не нужно было ехать в дорогу, так и ох бы не молвил... А нужда крайняя!.. Ну, да видно Богу не угодно, делать нечего! Ты помнишь, я думаю, что я сбирался ехать в мою Брынскую вотчину и хотел тебя взять с собой?.. Здесь тебе оставаться нельзя, Дмитрий Афанасьевич; хоть моя подмосковная и в стороне, а все как-то ненадежно — близко больно; того и гляди, что забредут сюда прежние твои сослуживцы, или кто-нибудь из моих домашних проболтается — долго ли до греха!.. А там хоть целый век живи, никто о тебе не проведает. Тебе надобно будет ехать за Мещовск, Брынскими лесами. В этих лесах живет в своей вотчине, в полуверсте от проезжей дороги, старинный мой приятель Юрий Максимович Куродавлев. Ты отвезешь ему эту грамотку,— продолжал боярин, подавая запечатанный свиток Левшину,— и погостишь у него до моего приезда. Юрий Максимович человек очень добрый; есть у него свои причуды, да у кого их нет! В старину он был чудо-богатырь, удалой воин, лихой наездник и за круговой братиной такой весельчак, что хоть кого распотешит; теперь он поуходился, а все еще удали-то в нем на трех молодцов станет. А какой радушный хозяин, какой хлебосол!.. Только уж не прогневайся: что ему в голову засело, того, как говорится, клином не выколотишь. Да вот хоть теперешнее его житье. Ну, что за радость? Забился в этакую глушь! И добро бы еще был человек семейный, а то вдовец, детей нет; я чаю, вовсе одичал!.. Бывало, водил хлеб-соль со своею братьею боярами, жил

всегда с людьми, а теперь живет с разбойниками, медведями, волками, да и тех-то скоро не будет: он их всех переведет. А все ведь по упрямству: задумал считаться местами, когда покойный государь Федор Алексеевич указал быть без мест. Я пытался было вызвать его опять в Москву, да нет, и слышать не хочет. «Я, дескать, обижен крепко — стою в том и сам ни за что не попячусь: без царского указа не вернусь в Москву!» Что будешь с ним делать... Я недавно получил от него весточку. Пишет он мне, что до него дошли слухи о последнем стрелецком мятеже. «Да я, дескать, и веры этому не даю — не может статься, чтоб русские люди дерзнули восстать против своего царя и помазанника Божия. Да этакого, дескать, срама никогда не бывало на святой Руси». Вот ты будешь для него живой грамоткой, Дмитрий Афанасьевич, и когда он узнает, ради чего ты бежал из Москвы, так он с тобою и расстаться не захочет. Юрий Максимович пишет также ко мне... Да что!.. И верить этому и говорить об этом не хочу!. А то еще, пожалуй, дашь себе волю — обнадеешься!.. Зачем?.. Я уж привык к моей грусти и давно перестал надеяться...— Боярин опустил голову, закрыл руками глаза и, помолчав несколько времени, заговорил опять, обращаясь к Левшину: — Тебе, Дмитрий Афанасьевич, должно отправиться сегодня в ночь, так, чтоб к свету верст тридцать отъехать. Днем около Москвы везде стрельцы шатаются, как раз кому-нибудь попадешься. Коли даст Господь, и я смогу дней через пять пуститься в дорогу, так мешкать не стану. Да скажи-ка мне, Дмитрий Афанасьевич, не нужны ли тебе деньги?

— Нет, Кирилла Андреевич, благодарствуй за твое отеческое попечение!.. Денег у меня довольно: они ведь не все со мною были, когда я попался в руки к моим злодеям; а коли милость твоя будет, так прикажи мне дать какое-нибудь оружие: меня привели к тебе с пустыми руками.

— А вот,— сказал боярин,— сними-ка со стены эту саблю... Нет! не эту... Эту пожаловал мне царь Алексей Михайлович; ее делали на заказ в оружейной мастерской палате... А вот подле-то... Сабля казылбашская, в серебряной оправе.., Ну, да! Вот эта!.. Изволь владеть ею. Сабля добрая, булатная, и верно тебе по руке придется... Да возьми-ка еще с собою вот эти турецкие пистоли...

— Зачем, боярин?... И так много твоих милостей,— сказал Левшин, любуясь великолепной полосою своей сабли.— Будет с меня и этого товарища.

— Так скажи дворецкому, чтоб он отпустил слуге твоему пищаль или пару пистолей. По дремучим лесам спустя рукава ездить не надо; почему знать?.. не разбойник, так медведь попадется. Теперь, Дмитрий Афанасьевич, потрудись вынуть из киота вон эту икону Иверской Божией Матери, в серебряном и золоченом окладе.

Левшин исполнил приказание Буйносова.

— Подай мне ее сюда,— продолжал боярин.— Я хочу благословить тебя на дорогу. Да сохранит тебя от всякого зла Пречистая Дева под святым покровом Своим. Она заступница и мать всех сирот, а ты ведь так же, как я, круглый сирота.

Когда Левшин приложился к иконе, боярин поцеловался с ним и сказал:

— Ну, Дмитрий Афанасьевич, я снабдил тебя оружием земным и духовным, теперь с Богом!.. Да смотри же, лишь только смеркнется, так и отправляйся; чем дальше ты за ночь отъедешь от Москвы, тем лучше.

Простясь с Буйносовым, Левшин вошел в свою светлицу. Он застал в ней Ферапонта, который, уложив в небольшой кожаный чемодан свои и барские пожитки, набивал суконную кису съестными припасами.

— Что это? — сказал Левшин.— Жареный гусь!.. крупичатый пирог!.. целый окорок ветчины!.. Да мы всего этого и в десять дней не съедим.

— Так что ж, батюшка?.. Люди умные говорят: едешь в дорогу на день, бери хлеба на неделю!

— А это хлеб, что ль? — спросил Левшин, указывая на огромную жестяную сулею, штофа в два.

— Подчас лучше хлебца, Дмитрий Афанасьевич! С людьми дорожными всяко бывает: иной раз придется ночевать в чистом поле под дождем — промокнешь, продрогнешь, так было бы чем душу отвести.

— То-то смотри! Не больно часто в эту сулею-то заглядывай!

— И, что ты, батюшка! Да разве я пьяница какой?.. Выпил стакан, другой — много три, да и шабаш!

Левшин пошел проститься со священником, а Ферапонт отправился в людскую поужинать: хлебнул на дорогу винца и принялся седлать лошадей.

Вот солнышко село, и по ночным небесам рассыпались звезды. Левшин простился в последний раз с этим тихим убежищем, в котором провел несколько дней, если не вовсе чуждых грусти, то, по крайней мере, спокойных. Наши путешественники, выехав за

околицу села Богородского, добрались проселком до Большой Калужской дороги и пустились по ней рысью. Утренняя заря только еще стала заниматься, когда они, пробежав, с небольшими отдыхами, слишком тридцать верст сряду, своротили в сторону и остановились покормить лошадей в небольшой деревне, которая, притаясь за леском, стояла в полуверсте от проезжей дороги.

IX

В конце семнадцатого столения, в числе непроходимых лесов, покрывавших некогда большую часть России, одно из первых мест занимали, находящиеся в нынешней Калужской губернии, дремучие леса, посреди которых протекает небольшая речка Брынь. И теперь еще леса Брынские, о которых нередко упоминают в народных сказках и поверьях, представляются воображению простолюдинов какими-то безвестными дебрями, мрачным и пустынным жилищем косматых медведей, голодных волков, леших, оборотней и разбойников; в этом отношении они берут даже первенство над знаменитым Муромским лесом, и если крестьянин степных губерний желает сказать про какого-нибудь беглого, что он пропал без вести, то нередко выражается следующим образом: «Кто его отыщет, кормилец!.. Чай, ушел в Брынские леса». В 1682 году, среди этих непроходимых лесов, на старой Мещовской дороге стоял, близ речки Брыни, верстах в шестидесяти от ее впадения в реку Жиздру, постоялый двор. Окруженный со всех сторон дремучим лесом, он был единственным приютом для проезжих. Верст на десять крутом не было, как говорится, ни кола, ни двора, и зимой голодные волки приходили выть под самыми окнами Красного Стана: так назывался этот постоялый двор.

В один жаркий летний день человек до двадцати дорожных людей, из которых одни ехали в Мещовск, а другие в Брянск, остановились кормить в Красном Стане. В избе было душно, и почти все проезжие, по большей части простые обозники, пообедав, чем Бог послал, то есть похлебав щей и поев крутой гречневой каши с маслом, отдыхали на завалинке перед избой. Шагах в пятидесяти от них, вдоль длинной поляны, охваченной со всех сторон сплошным бором, струилась

речка Брынь; по левом берегу тянулась песчаная дорога, которая, в полуверсте от постоялого двора, как будто бы соскучив следовать за всеми изгибами речки, круто поворачивала в сторону и терялась в лесной глуши. У самых ворот постоялого двора, поодаль от других, сидел на скамье человек пожилых лет, в коротком суконном балахоне с узкими рукавами. Это платье, не подпоясанное ни кушаком, ни поясом, было застегнуто в двух местах на медные круглые пуговицы. На левой руке его висели кожаные четки, которые оканчивались, вместо креста, двумя треугольниками, также кожаными. Этот проезжий держал у себя на коленях деревянную, крытую олифой чашку, из которой ел гречневую кашу оловянной ложкой, а подле него на скамье стояла сулея, оплетенная берестою. Он остановился кормить в одно время с другими проезжими, но не захотел обедать за общим столом и есть из посуды, принадлежащей хозяину постоялого двора. Наружность этого проезжего была довольно замечательна. Длинная с проседью борода, приглаженная и расчесанная с большим старанием, но к которой, сколько можно было заметить, никогда не прикасались ножницы; курчавая голова, крутой, широкий лоб, вздернутый кверху нос и серые утрюмые глаза, по временам задумчивые, а иногда сверкающие и исполненные жизни — все это вместе составляло физиономию не очень красивую, но весьма выразительную и носящую на себе отпечаток какого-то самобытного и твердого характера. С краю на завалинке сидел другой проезжий, которого можно было принять, по одежде, за простого горожанина или слугу богатого боярина. Подле него отдыхал, также на завалинке, худощавый купец с длинной бородою и подбритым затылком, который прикрывался высоким козырем, то есть стоячим воротником суконного охабня с закинутыми назад рукавами. Этот купец разговаривал со своим соседом протяжно, свысока и каким-то вычурным языкам, который, по-видимому, казался его собеседнику верхом красноречия и премудрости человеческой.

— Ну, господин приказчик,— говорил этот сладкоглаголивый купец, обращаясь к своему соседу,— если бы я ведал, что по сим Брынским лесам летняя дорога столь тяжка и многотрудна, то ни за какия блага в мире не поехал бы сам из Москвы в этот Брянск, который,— прости Господи! — словно клад нам не дается.

— А ваша милость обыватель московский? — спросил почтительно приказчик.

— Да, любезный! — отвечал купец, поглаживая с довольным видом свою длинную бороду.— Мы, благодаря, во первых, Господа, а во-вторых, родителей наших, числимся в Московской гостиной сотне.

— Так-с, батюшка, так-с!.. А что, я думаю, куда красна наша матушка Москва белокаменная?.. Хоть бы издалека одним глазом на нее взглянуть!

— А разве ты никогда не бывал в нашем престольном граде?

— Нет, батюшка!.. Боярин посылает меня по своим отчинам, а в его московский дом ездит другой приказчик.

— Вот что!.. Да, братец, да! Благолепна наша матушка Москва златоглавая, различным зодчеством украшена; а сколько храмов Божьих!.. какие терема царские!..

— Чай, все, батюшка, так золотом и горит?

— Да, любезный, да!.. Истинно очеослепительное велелепие! И златом чистым, каменьем честным, и жемчугом многоценным, и мусием дивным — всем украшены чертоги царские.

— Так, батюшка, так!.. То-то подумаешь, наше деревенское дело — что мы? Люди темные, ничего не видали, ничего не слыхали!.. Что и говорить: в лесу росли, пенькам Богу молились. А, чай, в Москве-то и других всяких диковинок много?.. Вот мне недавно рассказывали про какую-то заморскую вещь. Она стоит на царском дворе за Благовещенским собором — сама в колокол бьет.

— А, знаю, знаю! — подхватил купец.— Эта вещь, любезный, называется часомерье, на всякий час ударяет молотом, размеряя часы дневные и ночные. Не бо человек ударяше, но человековидно, самозвонно, страннолепно и сотворено человеческою хитростию...

— А вся хитрость человеческая суета бо есть,— прервал громко проезжий в балахоне,— и все дела ее богомерзки и богопротивны.

Купец обернулся и поглядел с удивлением на проезжего, который принялся снова есть свою гречневую кашу.

— А что, батюшка,— сказал приказчик, не обращая внимания на слова проезжего,— давно ли ты из Москвы?

— Да близко недели, любезный.

— Ну что, хозяин, как здравствуют государи и великие цари Иоанн и Петр Алексеевичи? И все ли благополучно в нашем престольном граде?

— Теперь благодарение Господу, нечестивые крамольники перестали злодействовать, смятения народные прекратились — в заступлением Владимирской Божьей Матери и московских угодников, устыжены и попраны все враги православия... А с месяц тому назад куда тяжко было!.. Смуты да мятежи!.. Бывало каждый день гудит вполошный колокол и буйные стрельцы, яко зверя хищные, рыскают по стогнам градским!.. Сколько знаменитых бояр они перегубили!.. Да еще мало того: соорудили на Красной площади столб с таковою надписью, якобы они, проклятые крестоизменники, постояли за правду и казнили не честных бояр, а предателей и злодеев. Вот стрельцы поутомонились, так залаяли эти псы нечестные — стригольники, аввакумовцы и разные другие еретики; а пуще-то всех этот продерзостный аввакумец, расстрита Никита Пустосвят,— сей волк несытый, достойно стяжавший...

— Венец мученический! — прервал проезжий в балахоне.

Купец нахмурил брови и сказал вполголоса:

— Ну, так и есть — раскольник!.. Эк они, окаянные, плодятся! словно саранча какая!.. Вот уж третьего сегодня вижу.

— Да разве ты не знаешь, хозяин,— прервал также вполголоса приказчик,— ведь здесь в Брынских-то лесах настоящий их притон и есть?

— Притон!.. Им теперь везде притон!.. Кабы ты знал да ведал, у кого они под крылышком!.. Ну, даст ответ перед Господом царевна Софья Алексеевна... Бог с ней!..

— Как так?.. Да неужели благочестивая наша царевна Софья Алексеевна...

— Да, любезный,— продолжал купец, понизив еще голос,— она-то им, окаянным, и мирволит... Что грех таить: и смуты, и мятежи, и всякие бесчинства стрелецкие — все было по ее наущению; так диво ли, что она раскольников приголубливает?.. Ведь стрельцы-то, почитай, все еретики: кто стригольник, кто аввакумец, кто субботник — такой сброд, что не приведи Господи!.. Прилучилось мне однажды, по моим торговым делам, зайти к ним на Лыков двор,— вот что в Кремле у Троицких ворот,— так я не знал, куда деваться от их богохульных речей. И в старину бывали еретики: еще при дедушке царя Иоанна Васильевича Грозного, ближний дьяк Курицын, по прозванью Волк, казнен за жидовскую ересь, да тогда они отметались от церкви тайно и во услышание всем не дерзали богохульствовать,— а ныне... Истинно,

любезный, неусыпающая скорбь душе моей, как помыслю, до чего мы дожили!.. Окаянные раскольники с буйными воплями вызывают на состязание святителей православной церкви; крамольные стрельцы врываются в царские чертоги, губят неповинных бояр — и что ж, любезный!.. Им же дают похвальные грамоты и, ради почета, жалуют из стрельцов в надворную пехоту!.. А все ведь Софья Алексеевна!.. Эх, кабы не она, так благодать Божья!.. У нас был бы один царь Петр Алексеевич,— а то двое!.. Ну, когда это бывало на святой Руси?.. И Господь Бог един на небесах, так на что же нам двух царей?

— Да ведь они, хозяин, родные братья, так почему ж им обоим не царствовать?

— Нет, господин приказчик! То ли дело, когда одна глава правит всем телом. Хороший царь — Божья милость, неблагой и немилосердный — что ж делать, любезный — наказанье Господне!.. Ведь все от Господа: и благорастворение воздухов небесных, и изобилие плодов земных, и язва, и гладь, и трус, и казнь, и милость,— все в руце Божьей!.. Так что ж нам мудровать?.. Вот хоть в Бозе почивающий покойный государь Алексей Михайлович царствовать начал с юных годов; были против него и смуты народные, и самозванцы. Один разбойник Стенька Разин чего стоил! Да как никто царю не мешал, так он со всеми управился, распространил и увеличил Царство Русское, воротил назад Смоленск, выгнал ляхов из Украйны, а царство Миритинское само ему поддалось.

— Так, батюшка, так!.. Что и говорить: был царь-государь! Вряд ли вымолить у Господа другого под стать ему, покойнику.

— Да вряд, любезный!.. То-то было времечко!

— Так, батюшка! было,— да, видно, быльем поросло!

— Вот уж истинно,— продолжал купец,— пожили мы во всяком гобзовании и довольстве!.. А веселья-то какие бывали!.. И псова охота с рогами и трубами за селом Алексеевским, и соколиная потеха... А игрища-то какие!.. Как теперь гляжу: была комедь в Преображенском, потешали государя иноземцы, как Олоферну царю голову отсекли; да еще о Навуходоносоре царе, о теле злате и о трех отроцех... А уж лучше-то всего было у боярина Артамона Сергеевича Матвеева, дворовые люди его лицедеяли, как царь Артаксеркс указал повесить Амана, и немцы в органы играли, и на фиолах, и всякие другие потехи разные.

— Да как это хозяин,—прервал приказчик,—удалось тебе побывать на этих игрищах? Хоть ты и гость московский, да ведь, чай, на такие игрушки и потехи царские допускают одних только князей да бояр?

— А вот как, любезный: в Преображенском есть у меня приятель, подключник кормового дворца, по прозванию Ерш Кутерма; а на пиру боярина Артамона Сергеевича Матвеева приказал пропустить меня в потешную палату свойственник его, а мой благодетель, Кирилла Андреевич Буйносов.

— Кирилла Андреевич Буйносов?.. Да ведь он-то и есть мой боярин.

— В самом деле?.. Ну, любезный, в сорочке же ты родился!.. Да таких господ, каков твой, на белом свете мало.

— Что и говорить, батюшка,—дай Бог ему много лет здравствовать!

— Дай Господи!.. Да что он у вас все такой грустный!.. Вот уж я его милость третий год знаю, а никогда не видывал, чтоб он изволил распотешиться. Все как будто бы сердце ему что-то щемит.

— Ох, батюшка! да как у него сердцу-то и не болеть: ведь он крутлый сирота!.. А семья-то какая была! Одиннадцать дочерей, одна другой лучше!

— И ни одной в живых не осталось?

— Ни единой! Всех прибрал Господь. Три утонули, переезжая на пароме через Оку, пять скончались от разных недутов, две померли от оспы, а последняя-то дочка, самая меньшая, Бог знает где.

— Как так?

— Да так, батюшка, без вести пропала!

— Без вести пропала?.. Что за диво такое!.. Я, чай, у вашего боярина хожалых-то за дочками было довольно?

— Как же: и мамушки, и нянюшки—мало ли этой челяди у нашего боярина.

— Так чего же они смотрели!

— Что ж делать, на грех мастера нет, кормилец! Уж подлинно, нянюшка Татьяна и мамушка Игнатьевна смотрели за своей барышней, с глаз ее не спускали, по пятам ходили, а все-таки сгибла да пропала. Вот то-то и есть: чего Господь Бог беречь не станет, того уж люди не уберегут.

— Так, любезный—так! Да не даром и пословица: у семи нянек дитя всегда без глазу. Да как же это случилось?

— А вот как: тому годов пятнадцать назад, летом, об эту же пору, боярин мой со всей семьей ехал из Мещовска в свою Брынскую волость. Верстах в тридцати отсюда, близ села Беликова, рассудилось покойной его сожительнице остановиться пополдничать на одной поляне, в лесу. Боярин наш всегда ездил людно. Нас было всех этак человек до пятидесяти. Вот мы раскинули для господ шатры, сводили коней на водопой, разложили огни, да и ну варить кашицу. Господа пополдничали, прилегли отдохнуть, а дочки их с нянюшками и с сенными девушками разбрелись во все стороны, одни стали на лугу в горелки играть, другие пошли в лес за грибами. Вот этак около вечерен господа поднялись, начали укладываться; барышни стали рассаживаться по колымагам и кибиткам, а я пошел, нарвал на лугу колокольчиков, ландышей, ноготков, связал одиннадцать пучечков, да и стал их раздавать всем боярским дочкам, каждой по пучку. Кажись, роздал всем, а гляжу — один пучок лишний. «Кой прах,— думал я,— видно, заделил какую-нибудь! «Обошел опять все повозки, перечел всех барышен... а! вот что самой-то меньшой нет! Смотрю, мамушка Игнатьевна роется в кибитке, да укладывает подушки. «Где твое дитя!» — спросил я. «А вон там в лесу с нянюшкой.» Я в лес — вдруг пырь мне в глаза Татьяна! «А барышня твоя где?» — «Чай, там у повозки с мамушкой Игнатьевной».— «Да ведь она была с тобою?» — «Ну да, прежде изволили ходить по лесу со мною, а там, как набрала грибов, и побежала показывать их мамушке, да, видно, уж тут при ней и осталась».— «Что ты, перекрестись!.. Игнатьевна вон там одна-одинехонька, а дитя-то ваше где?» — «Ах, Господи! — закричала Татьяна,— так, видно, барышня осталась в лесу!..» Вот мы с Татьяной в лес. Начали кричать, аукать — кто-то откликается, да только не ребячьим голосом. «Ох, худо!..— подумал я,— недоброе! Уж не леший ли?.. Избави Господи! Он и взрослого обойдет, так беда!» Мы с Татьяной обегали всю опушку, осмотрели каждый кусточек,— нет как нет!.. Вот и господа хватились своей дочки. Батюшки, какая пошла тревога!.. Сам боярин сел на коня; холопы кто верхом, кто пешком разбрелись врассыпную по лесу, проискали всю ночь, осипли кричавши... нет барышни — сгибла да пропала!.. Трое суток простояли мы на этом месте, изо всего околодка сбили поголовно крестьян, верст на пятнадцать обшарили кругом...

— И все понапрасну?

— Да, батюшка.

— Таки вовсе никаких следов не оказалось?

— Ну, нет. В одном месте как будто бы на след напали: этак версты три от нашей стоянки, один из холопов поднял четырехконечный серебряный крестик; его признали за тот самый тельник, который носила боярышня.

— Четырехконечный крестик?.. Куда раскольники не жалуют этих крестиков!.. А что, ничего больше не нашли?

— Ничего.

— Да как же она его обронила; ведь, чай, крест-то висел у нее на гайтанчике?

— Как же, батюшка.

— Видно, металась больно, сердечная!

— Видно, что так, кормилец. Одному только мы очень дивовались: вместе с этим крестиком, на том же самом гайтане, барышня носила образок в серебряном окладе — икону святой великомученицы Варвары; этим образком благословил ее крестный отец, боярин Куродавлев. Так уж если она крестик обронила, так и образок бы с ним нашли.

— Ну, это еще не диво; завалился куда-нибудь. А каких она была годков?

— Да еще четырех лет не было.

— Ах, дитятко горемычное!.. Видно, она, голубушка, увязалась за бабочкой или за птичкой какой!.. Долго ли такому младенцу заплутаться!.. А там, чай, забрела в трясину, или дикий зверь!

— Должно быть, так, батюшка!.. То-то жалость была... И теперь, как вспомню, так сердце кровью обольется. Боярин рвет на себе волосы, боярыня лежит, как мертвая — слез даже нет. Нянюшка Татьяна убежала в лес, да уж назад и не бывала; Игнатьевну из петли вынули, боярыня с той поры стала хиреть, прочахла всю осень, а там хуже, да хуже, да о зимнем Николе Богу душу и отдала. Подлинно, правду говорят: «Пришла беда, отворяй ворота». Одно горе с плеч, другое на плечи: скончалась сожительница, стали умирать дочери. Каково, подумаешь: с небольшим в три года из людного семьянина сделаться круглым сиротой!.. Ты, батюшка, знаешь господина — уж, подлинно, добрая душа!.. Благочестив, богомолен...

— Да, да! Истинно христолюбивый боярин.

— Отходил ли от него когда нищий без подаяния? Обижал ли он кого?

— Сохрани Господи!.. Да таковой клеветы не изречет и враг его.

— Так как же после этого не согрешишь, не скажешь: за что такой гнев Божий...

— Что ты это, господин приказчик? — прервал купец. — И думать этого не моги... Да разве ты не ведаешь: кого Господь любит, того и наказует?

— Так, батюшка, так!.. Кто и говорит, конечно, буди во всем Его святая воля!.. А все, как подумаешь...

— Постой-ка, постой, любезный!.. Вот никак еще едут постояльцы... Видишь, вон там два вершника, по дороге из Мещовска?.. Вон опять выехали!.. Э! Да это, кажись, люди ратные!

От лесной опушки отделились два всадника и шибкой рысью подъехали к воротам постоялого двора.

X

С первого взгляда можно было отгадать, что один из приехавших всадников был господин, а другой его слуга... Под первым был дорогой персидский аргамак, в бархатной, шитой золотом уздечке, под вторым, поджарый донец, не очень взрачный собою, но, по-видимому, не знающий устали и готовый верст двадцать сряду мчать удалого седока, как говорится в сказках: «по горам и долам, по болотам зыбучим и пескам сыпучим». Господин был прекрасный и видный собою молодец, лет двадцати двух или трех. Слуге казалось лет под сорок, он был небольшого роста, но необычайно плотен, могуч плечами, с длинными жилистыми руками и высокой богатырской грудью; его широкое, изрытое оспой лицо было вовсе не красиво, но, несмотря на это, оно казалось даже приятным, потому что выражало какую-то простодушную веселость и доброту, не чуждую, однако ж, ни ума, ни сметливости, которыми всегда отличался коренной русский народ от своих северных и западных соседей. Мы зовем теперь этих соседей финнами и белоруссами, а в старину их величали Чудью белоглазой и Литвою долгополой. Этот старинный обычай давать и чужим и своим прозвища, в которых почти всегда заключается

насмешка, принадлежит также к числу особенностей русского народного характера.

Проезжий господин был одет очень щеголевато; на нем был светло-зеленый суконный кафтан с малиновым подбоем и золотыми петлицами, малиновая остроконечная шапка с меховым околышем и желтые сафьяновые сапоги с медными скобами. К шелковому с золотыми кистями кушаку была привешена богатая персидская сабля, и на толстом шелковом шнурке висела через плечо нагайка, у которой кнутовище было украшено перламутром и слоновою костью. Слуга этого проезжего был одет очень просто: на нем была войлочная белая шапка, посконный азям и внакидку длинная однорядка из толстого сермяжного сукна; но зато он был вооружен лучше своего господина... Он был при сабле, и сверх того, из-за кушака виднелась деревянная рукоятка длинного ножа, а надетая через плечо берендейка, или ремень, с привешенными к нему деревянными патронами и привязанная к седельной луке ручница, то есть ручная короткая пищаль, доказывали, что он имел при себе не одно холодное оружие и мог бы, в случае нужды, биться с врагом — как говорили в старину — огненным боем. Я думаю, читатели давно уже узнали в этих проезжих знакомца своего Левшина и слугу его Ферапонта.

— Бог помощь, добрые люди! — сказал Левшин, соскочив молодцом со своего коня.

— Милости просим! — отвечали купец и приказчик, вставая и вежливо кланяясь проезжему. Обозники сняли также свои шапки и отвесили ему по низкому поклону; один только проезжий в балахоне не привстал, не поклонился, а только взглянул исподлобья на проезжего молодца, сначала довольно сурово, а потом с приметным любопытством.

— Ферапонт, — продолжал Левшин, — дай коням-то немного простынуть, а там своди их на речку.

— Да не велишь ли, батюшка, их расседлать, — сказал хозяин постоялого двора, подойдя с почтительным поклоном к проезжему.

— Нет, любезный, — отвечал Левшин, — мы здесь кормить не станем, а дадим только коням вздохнуть и немного поразомнемся.

— Так не в угоду ли будет твоей милости перекусить чего-нибудь? У меня есть гречневая каша с маслом, щи добрые...

— Спасибо, хозяин!.. Я обедал верст пятнадцать отсюда — в селе Бардукове.

— Пятнадцать верст!.. Нет, кормилец, будет и двадцать с хвостиком.

— Ого!.. Так мы скоро ехали.

— Да, видно, так, господин честной. Эва, как ваши лошади-то уморились!.. Так пар от них и валит!

— Ничего, любезный, кони добрые.

— Так, батюшка, так!.. А, вишь, как они умаялись!.. Право слово, кормилец, прикажи задать им сенца, пусть себе перехватят сердечные!

— Нет, голубчик, некогда дожидаться.

— А куда так поспешает твоя милость? — спросил купец.

— Да не так, чтобы далеко отсюда: в село Толстошеино.

— Толстошеино? — повторил хозяин постоялого двора. — Знаем, батюшка, знаем! Тут еще на озере есть барская усадьба; хоромы такие знатные — с большим огородом.

— Да, да, — подхватил купец, — мы прошлого года зимой тут ехали. Истинно боярская усадьба! Брусяный дом, с теремом и двумя вышками, крыт весь гонтом, а окна наихитрейшею резьбою украшены. Нам сказывали, что тут живет на покое сам помещик, какой-то боярин Куродавлев. Не к нему ли, господин честной ты изволишь ехать?

— К нему, любезный.

— Уж не гонцом ли от князя Ивана Андреевича Хованского?

— Почему ты это думаешь?

— Да вот, я вижу, ты сам из начальных людей стрелецкого войска... сиречь надворной пехоты — не прогневайся, по старой привычке промолвился!..

— Все едино, хозяин.

— Нет, господин честной, не все едино. Коли вас за усердие пожаловали в надворную пехоту, так называть стрелецким войском не приходится. За службу и почет, батюшка!.. А вот я все гляжу на тебя... кажись, по всем приметам... ну, так и есть... ты должен быть сотником полка Василия Ивановича Бухвостова.

— Отгадал, любезный.

— Да как и не отгадать? Ведь ты в своем служильном наряде: светло-зеленый кафтан с малиновым подбоем... Мы, батюшка, сами люди московские, не в глуши

живем. Мы и с головою-то твоим — сиречь полковником Василием Ивановичем Бухвостовым старинные приятели.

— Право?

— Как же, батюшка! Он и товары в моей лавке забирает... Мы с ним всегда хлеб-соль наживали... Вот уж, подлинно, достойный сановник! Во всем старины держится... Истинно благоцветущая ветвь прежней православной рати стрелецкой!..

— Прежней... Так, по-твоему, нынешняя...

— Также православное войско,— подхватил торопливо купец.— Кто и говорит, господин честной!.. Ну, если этак и бывали смуты — так что ж?.. и стрельцы такие же люди; а все мы под Богом ходим: един Господь без греха!.. Да они же всегда восставали против изменников, а коли случаем между изменниками попадались им на копья и невинные бояре и люди добрые, так это Божьим попущением!.. Человек слеп, батюшка! Ведь он часто и сам не ведает, что творит!.. Нет, господин честной: кто другой, а я стою в том, что и нынешняя надворная пехота христолюбивое войско. Говорят, будто бы иные из вас отступили от православия; да я этому и веры не даю — видит Бог не даю!.. И что мне до этого?.. На то есть пастыри духовные — а я что?.. Я человек торговый, не богослов какой...

— Неправда! — сказал громко проезжий в балахоне.— Ты точно богослов, да только не однослов.

Этот неожиданный, но справедливый упрек до того смутил купца, что он совершенно остолбенел и не мог вымолвить ни слова.

— Что? Прикусил язычок? — продолжал проезжий в балахоне.— Эх вы, торгаши московские! Душой-то кривить только умеете, двуличники этакие!.. Каждый из вас, как трость колеблемая ветром: куда он подул, туда и вы!.. Уж если что по-твоему, правда, так стой за правду. Что из-за угла кулаком грозиться!.. Коли заговорила в тебе совесть — так выходи!.. Послушают — хорошо! Потянут на плаху — ложись!

— Что ты, что ты, любезный! — проговорил купец, опомнясь от первого удивления.

— Что я?.. А вот что: ты называешь теперь стрельцов христолюбивым воинством, а давно ли ты их величал еретиками и нечестивыми крамольниками?

Купец побледнел и закричал испуганным голосом:

— Не верь ему, господин честной: он лжет! видит Бог — лжет!.. Ах ты, полоумный этакий!.. Да как у тебя

язык повернулся сказать, что я говорил с тобой такие непригожие речи?

— Не со мной, а вот с этим холопом,— сказал проезжий, указывая на приказчика.

— Холоп! — повторил сквозь зубы приказчик.— Видишь, боярин какой!.. Холоп, да не твой!

— Ах ты клеветник этакий! — подхватил купец.— Да я с господином приказчиком говорил об этом шепотом, так как же ты мог слышать?

Левшин засмеялся.

— Полно, хозяин,— сказал он.— Ну, есть о чем спорить!.. Мало ли что за уголком говорится!.. В глаза-то меня только не обижай, а заочно хоть голову руби!

— Истинно так, господин честной!..— промолвил почтительно приказчик.— Заочно брань не брань, а на пересказы смотреть нечего. На всякое чиханье не наздравствуешься.

— А что, батюшка,— сказал рослый парень лет тридцати, подойдя к проезжему в балахоне,— не пора ли запрягать?

— Да, время — запрягай!

— Ты куда едешь, любезный? — спросил Левшин проезжего.

— На что тебе, молодец?.. Мы с тобой не попутчики.

— Так ты идешь в Мещовск?

— Хоть и не в Мещовск, а все мы не попутчики. Вишь, вы как своих-то коней упарили, я моих лошадок берегу.

— Вот что!.. Так тебе, видно, далеко еще ехать?

— Далеко или близко, не о том речь. Коней-то можно и на пяти верстах уморить.

— Ты здешний, что ль, или из другой какой стороны?

— Да мы покамест все здешние, вот как переедем на иное место...

— Я спрашиваю тебя, откуда ты родом?

— Откуда родом?.. Да, чай, мы оба с тобой родились на святой Руси.

— Да Русь-то велика, любезный!.. Вот я, например, я родом из Москвы, а ты откуда?

— Не знаю. Мне покойная матушка не сказывала, где я родился.

— Экий ты какой!.. Ну, где твой дом?

— Как построю, так буду знать, а теперь не ведаю.

— Не знаю, не ведаю!.. Что ж ты знаешь!

— Что знаю?.. Да, не прогневайся, побольше твоего.

— В самом деле?

— А вот изволишь видеть: ты не знаешь, откуда я родом, что за человек и куда еду; а я знаю, что ты родом из Москвы, служишь сотником в полку Василия Ивановича Бухвостова и едешь в село Толстошеино к боярину Максимовичу Куродавлеву.

— Большое диво, что ты знаешь то, о чем я сам говорил.

— В том-то и дело, молодец!.. Ведь тот, кто молчит, всегда знает больше того, кто болтает.

— Да не всякому быть таким медведем, как ты.

— По мне лучше быть медведем, чем сорокой.

Левшин вспыхнул.

— Эге, любезный! — сказал он.— Да ты уж никак начинаешь поругиваться!

Проезжий в балахоне не отвечал ни слова и принялся преспокойно укладывать в свою дорожную кису початый каравай хлеба, деревянную чашку, ложку и огромный складной нож, который, в случае нужды, мог служить оружием; потом встал и пошел на двор постоялого двора, где, под высоким навесом, работник его запрягал в телегу пару дюжих вороных коней.

— Ну, батюшка! — сказал купец, проводив глазами проезжего,— видишь ли теперь, что это какой-то шальной, грубиян этакий!.. Когда твоя милость изволит спрашивать, так люди и почище его отвечают, а этот балахонник — прости Господи!.. Сказал бы он мне, что я не знаю, кто он таков, я бы ему ответил.

— А что бы ты ему ответил?

— Я сказал бы ему, что он еретик проклятый!.. Вот что!

— Еретик!.. Почему ты это знаешь?

— А как же, батюшка? Да это как взглянешь, так видно. И есть с нами не хотел и речи такие богопротивные, а туда же, как чернец какой, четки перебирает — раскольник проклятый! Не старообрядец, батюшка, а раскольник,— продолжал купец, спохватясь.— Старообрядцы дело другое; их, чай, и в вашем полку довольно; они люди добрые и, почитай, такие же православные, как и мы; не жалуют только патриарха Никона да любят по старым книгам Богу молиться — вот и все!.. А эти отщепенцы хуже язычников: солидную церковь не признают, духовенство поносят...

— Истинная правда! — прервал приказчик.— Я ведь здешний, так понаслушался и понасмотрелся. Здесь,

в Брынских лесах, этих раскольничьих скитов и не перечтешь. И все разные толки: беспоповщина, филипповщина, селезневщина, новожены, перекрещиванцы, щельники — кто их знает!.. Я знаю только, что все они чуждаются церкви Божьей, а есть и такие, что не приведи Господи!.. Вот мне рассказывали о запощеванцах и морельщиках — так видит Бог, батюшка, волосы дыбом становится!

— Ну, верно,— подхватил купец,— и этот не простой отщепенец; но злобный и яко лев рыкающий на православие еретик!

— А, может статься, и хуже,— промолвил вполголоса приказчик.— Видел ли ты, хозяин, какой у него ножище?

— А что ты думаешь?.. В самом деле!.. Глаза у него такие воровские, речь буйная,— ну вот так и смотрит душегубцем!

— А разве здесь разбойники водятся? — спросил Левшин.

— Всяко бывает,— отвечал приказчик.— Ведь здесь леса дремучие, так волки-то не все на четырех ногах ходят. Прошлое лето у нас трех мужиков здесь ограбили. Везли оброк в Москву...

— Что ж, у них все деньги отняли?

— Нет, Бог помиловал! До боярских денег не добрались. Мужички-то себе на уме: сто рубликов запекли в хлеб, да столько же в хомут было зашито. С них только одежонку поснимали, да медными грошами рубля два отняли.

— Тебе бы, господин сотник,— сказал купец,— пообождать немного. Вот обозники скоро подымутся, они тебе по пути. Вас всего двое, а по таким лесам, чем едешь люднее, тем лучше.

— Спасибо, любезный! Доедем и без провожатых.

— Кто и говорит, почему не доехать, а все с народом-то веселее и отважнее. Право так, батюшка!.. Не ровен час,— ну, как, в самом деле, наткнешься на разбойников?

— Мы разбойников не боимся, хозяин,— сказал Ферапонт, водя в поводу отдохнувших коней.— У нас есть для них гостинцы: поднесем, так других не попросят!.. Сабли-то у нас годятся не одну капусту рубить!.. А вот еще товарищ,— продолжал он, указывая на свою пищаль.— Мал да удал! Как свинцовым орехом свистнет, да по лбу хлыстнет, так затылок-то у всякого зачешется!

— Ох, любезный, не хвались,— сказал приказчик.— В лесу не то, что в чистом поле: как из-за куста хватят тебя кистенем, так и ты, молодец, на коне не усидишь.

— Бог милостив!.. Мы по лесам-то и ночью езжали, да разбойников не встречали.

— Ай да Султан! — сказал Левшин, садясь на своего коня, который храпел от нетерпения и бороздил копытом песчаную землю.— Вовсе не устал, словно с конюшни,— так и рвется.

— Да зато скорей и надорвется! — прошептал Ферапонт, отвязывая пищаль от седельной луки и вынимая ее из чехла.

— Ну, что ж ты, Ферапонт? — продолжал Левшин, обращаясь к своему служителю.— Садись проворней!

— Сейчас, батюшка Дмитрий Афанасьевич! — отвечал Ферапонт, надевая через плечо ремень, к которому пристегивалась пищаль.— Хоть нас до сей поры Господь миловал, и дневным-то разбоям я не больно верю, а все-таки лучше, коли оборона под руками. На Бога надейся, а сам не плошай!

— Эк тебя настращали!.. Да полно, садись!

— Вот и готов! — промолвил Ферапонт, вскочив на своего донца.

— Ну, прощайте, добрые люди! — сказал Левшин, приподымая свою шапку.

— Прощай, господин честной! — закричали в один голос купец и приказчик.— Благополучной дороги, счастливого пути!

Левшин, выехав на большую дорогу, дал волю своему коню. Он помчался сначала вскачь, потом рысью вниз по течению речки Брыни; а Ферапонт, приударив плетью своего поджарого донца, пустился вслед за своим господином. Через несколько минут наши путешественники, покинув берег речки, повернули направо и скрылись в глуши дремучего непроходимого бора.

XI

Дорога, по которой ехали наши путешественники, становилась час от часу хуже. Проехав верст шесть, они очутились опять на берегу речки Брыни, которая в этом месте прокладывала свое русло среди топких болот, покрытых ржавчиной, мхом и мелким кустарником. Узкая

гать, по которой с трудом можно было проехать на телеге, вывела их опять на песчаную дорогу, изрытую корнями столетних деревьев. Эти великаны лесов русских, вечно зеленые сосны и ветвистые ели росли почти сплошной стеной по обеим сторонам дороги, или, лучше сказать, широкой тропы, которая превращалась иногда в настоящее лесное ущелье. Над головами путешественников тянулась светлая полоса небес, но по сторонам все было мрачно: вверху солнце сияло во всей красоте своей, а внизу начинались уже сумерки. Этот таинственный мрак, эта глушь и запустение подействовали даже и на весельчака Ферапонта; он перестал мурлыкать про себя песенку, только не задумался, как его господин, напротив, беспрестанно озирался, смотрел по сторонам, и пытливый взор его, стараясь проникнуть в глубину леса, встречал везде одно и то же: непроходимую дичь, мрак и горы валежника. Ферапонт был вовсе не трус, и в чистом поле не испугался бы никого, но тут он вспомнил невольно слова приказчика, который советовал ему не хвалиться. «Подлинно,— думал Ферапонт,— хвалиться-то нечего!.. Здесь и мальчишка убьет тебя из-за куста поленом. Эка дичь, подумаешь!.. Днем ничего не видно, а по дороге-то знать черти в горелки играют,— корни да рытвины!.. Да тут в сумерки беда!.. Ну, нечего сказать, пронеси Господи!.. Потише, батюшка Дмитрий Афанасьевич! — прибавил он вслух, видя, что Левшин продолжает ехать рысью.— Вишь, дорога-то какая — корень на корне!.. Как раз или себя или коня уходишь».

— Небось, Ферапонт,— отвечал Левшин,— мой Султан никогда не спотыкается. Он не успел этого вымолвить, как вдруг Султан со всего размаха упал на оба колена; ловкий всадник удержался на седле и, сильно потянув за повод, поднял своего коня.

— Ну вот, не говорил ли я тебе, Дмитрий Афанасьевич! — вскричал испуганным голосом Ферапонт.— Эй, батюшка, послушайся меня, поедем шажком!.. Мне сказывали на постоялом дворе, что этой трущобой нам ехать только до первого поворота, а там пойдет дорога лучше.

— Ну, хорошо, поедем шагом. И то сказать: спешить-то нечего, успеем приехать засветло.

— Как не приехать, лишь только бы помехи какой не было.

— Помехи?.. Какой помехи?

— А Господь знает!.. Коли правду говорили на постоялом дворе, так вот здесь, в этом-то самом захолустье

и пошаливают. Вишь, глушь какая! По сторонам ни зги не видно... Э!.. Что это там!.. Постой-ка, батюшка, постой!..

Левшин остановился.

— Видишь, Дмитрий Афанасьевич? — шепнул Ферапонт. — Вон там впереди... налево... что за человек такой в белом балахоне?

— Человек!.. Где?

— Да вон там за кустом... подле самой дороги.

Левшин засмеялся.

— Ну, — сказал он, — правду говорят, что у страха глаза велики!.. Да это березовый пень.

— Неужели!.. Ах он проклятый!.. В самом деле пенек!

— Разбойников-то я не боюсь, — прервал Левшин, продолжая ехать вперед, — лишь только бы нам не заплутаться... Да ты хорошо ли расспросил о дороге?

— Как же... Нам все надо держаться правой руки, пока не доедем до большой поляны, а там повернуть налево мимо пожарища...

— Какого пожарища?

— Да вот хозяин постоялого двора мне сказывал, что на этой поляне, в большом скиту, жили еще прошлого года раскольники, и жили, говорят, смирно. Да пришел к ним какой-то старец Пафнутий, из Сибири — и учал их уговаривать: «Примите, дескать, православные, ради царствия небесного, венец мученический: окреститесь, братия, крещеньем огненным!» Они сдуру-то ему и поверили: заперлись кругом, подожгли свой скит, да вместе с ним и сгорели. Говорят, будто бы теперь на этом пожарище не раз слыхали по ночам проезжие, как стонут и воют души погоревших еретиков.

— А этот злодей, что их подучил, сгорел также с ними?

— Нет, он себе на уме!.. «Мне, дескать, братия, нельзя быть вместе с вами вольным мучеником: мне надо и другим проповедовать». Хозяин постоялого двора сказывал мне, что он и теперь еще спасается где-то здесь в лесу, на сосне.

— На сосне!

— Да, батюшка!.. Живет на ней, ни дать ни взять, как соловей-разбойник.

— А почем знать, может быть, он и в самом деле разбойничает?

— Видно, что нет, а то боярин Куродавлев давно бы спустил его с этой сосны, да только на веревке.

— А разве этому Куродавлеву указано разбойников ловить?

— Нет, Дмитрий Афанасьевич, он так — ради своей потехи ловит воров. Савельич рассказывал мне, что этот Куродавлев такая гроза на всех здешних разбойников, что и сказать нельзя! Дворня у него большая, народ все удалой. Как пройдет слух, что начали часто проезжих грабить, так он мигом, холопов своих на ноги, сам на коня и уж тут ему не попадайся!.. У него с разбойниками расправа короткая: попался живой — петля на шею да на первую сосну! А там мотайся себе, пока добрые люди снимут. Савельич мне рассказывал, что он этак однажды настиг в пустом ските целую шайку разбойников, человек до пятнадцати, отбил у них двух проезжих купцов, которых они захватили на большой дороге, а их всех до единого, кого из пищалей перебил, кого перевешал.

— Неужели всех?

— А что ж, батюшка... Иль по головке разбойников-то гладить?.. Ведь не даром пословица: «вора помиловать, доброго загубить».

— Да ведь и разбойник такой же человек.

— Кто и говорит! Вестимо, такой же. А те, которых он станет резать, коли я его как ни есть из рук выпущу, не люди, что ль?.. Нет, Дмитрий Афанасьевич, уличенного разбойника может помиловать Господь, а людям не след его миловать.

— Что это, Ферапонт, — прервал Левшин, — смотри, как стало вдруг темнеть или тучки набежали?

— Какие тучки! — проговорил Ферапонт, взглянув кверху. — Эва, как заволокло!..

— Фу, батюшки, как душно! — прошептал Левшин, снимая шапку.

— Да, больно парит, — сказал Ферапонт. — Видно, перед грозою.

И подлинно, влажный, удушливый воздух стеснял дыхание; черные облака, медленно продвигаясь от запада, ложились густыми слоями на светлые небеса и устилали своей грозной тенью поля, дремучий бор, холмы и равнины. Ясный день начинал понемногу превращаться в сумрачный вечер. Мелкие пташечки перестали перепархивать с ветки на ветку, замолкли, приютились — и только одни стаи ворон и крикливых грачей кружились заботливо под облаками, да кой-где плавал над вершинами деревьев хищный коршун. Но вот и они

рассыпались врозь — и эта зловещая, мертвая тишина распространилась по всему лесу.

— Ну, барин,— сказал Ферапонт,— будет гроза!.. Чу!.. Вот уж и гром стал постукивать!.. Ох, худо дело!.. Беда, коли нас захватит здесь эта непогодица!..

— Что ж делать: от грозы не уедешь.

— Вестимо, Дмитрий Афанасьевич, да не о том речь: нам бы только выбраться из этого захолустья. Мы и теперь дорогу-то здесь плохо видим, а как вовсе стемнеет, так придется ехать ощупью...

— Так поедем скорее.

— Куда скорее!.. Видишь, дорога-то — прах ее возьми! — хуже тропинки становится... Смотри, смотри, Дмитрий Афанасьевич... колода!.. Ах, ты Господи! вот трущоба-то проклятая!

Наши путешественники проехали еще кой-как версты две, наконец Левшин остановился и сказал:

— Посмотри, Ферапонт, тут и езды вовсе нет,— болото!..

— Постой-ка на минутку! — прервал Ферапонт, объезжая своего господина.— Ну, так и есть — трясина!

— Что ж это? Видно, мы заплутались?

— Видно, что так!.. А вот и гроза! — промолвил Ферапонт, снимая шапку и крестясь.

Раздался близкий удар грома, и крупные капли дождя зашумели по листьям деревьев, вершины которых начали уже сильно колебаться.

— Что ж мы будем теперь делать? — спросил Левшин.

— Да что, батюшка,— отвечал Ферапонт,— делать нечего: чем ехать Бог весть куда, лучше переждать на одном месте; а как прояснится, так вернемся назад, да поищем поворота — видно, мы его миновали.

— Переждать!.. Да этак нам, пожалуй, и ночевать здесь придется.

— Нет, Дмитрий Афанасьевич, большие грозы скоро проходят; а гроза-то, кажись, не на шутку!.. Господи помилуй!.. Фу, батюшки, так и палит!.. Ну молонья!..

Левшин и Ферапонт едва успели сойти с коней и стать под защиту огромной сосны, как вдруг завыл и промчался по лесу ужасный вихрь: все небеса вспыхнули; удары грома не следовали друг за другом, но слились в один беспрерывный гул, заглушаемый по временам тем отрывистым, пронзительным треском, который производит молния, падая в близком от нас

расстоянии. Кого сильная громовая буря не заставала в дремучем лесу, тот не может представить себе, до какой степени великолепна и ужасна эта картина. В лесу молния не разливается свободно по небесам; вы ее не видите: она прокрадывается меж листьев и как будто бы осыпает искрами деревья, змеится по их ветвям и стелется огненной рекой по земле. Бурный вихрь, встречая на каждом шагу сопротивление, крутит в воздухе сухой валежник, рвет с корня столетние деревья и рядами кладет молодой лес. Эти тропические бури бывают у нас очень редко, но зато и кажутся для нас ужаснее. Ферапонт долго крепился, творил про себя молитву и молчал, но когда сильным порывом ветра погнуло сосну, под которой он стоял вместе со своим господином, и на них посыпались изломанные сучья — вся твердость его исчезла.

— Господи помилуй нас грешных! — вскричал он.— Ну! Видно, пришел наш последний час!

— И, полно, Ферапонт! — сказал Левшин.— Иль тебя гроза никогда в лесу не заставала?

— Да это какая гроза, Дмитрий Афанасьевич!.. Светопреставленье!.. Видал я грозы, а уж этакой... Господи помилуй! Господи помилуй!..

Ослепительная молния облила ярким светом все окружные предметы, в одно время с нею раздался страшный удар грома, и шагах в двадцати от путешественников высокая ель с треском повалилась на землю.

— Жив ли ты, батюшка? — спросил Ферапонт дрожащим голосом.

Левшин молчал.

— Ах, Господи!.. Да что ж ты не говоришь?..

— Ничего,— промолвил Левшин.— Меня немного оглушило.

— Как не оглушить!.. Посмотри-ка, батюшка, и кони-то наши дрожкой дрожат.

— Ну, если мы остались живы,— сказал, помолчав несколько времени, Левшин,— так, видно, Господь нас помилует. Вот уже становится и потише.

В самом деле, удары грома стали реже и слабее; ветер стих, и дождь, который в минуту самых сильных ударов, перестал было идти, полился рекою. Но этот отдых недолго продолжался: черные тучи, одна другой страшнее, нахлынули снова от полудня, слились вместе, налегли на лес, и вторая гроза, едва ли не сильнее первой,

разразилась над головами наших путешественников. Несмотря на то, что они стояли под защитою густой сосны, дождь пробил их до костей. Вот наконец буря затихла, все громовые тучи прошли, но, покрытые сплошными облаками, небеса не очищались, и хотя в лесу стало немного посветлее прежнего, однако ж все еще было так темно, что едва можно было различать предметы.

— Ну,— сказал Левшин, садясь на коня,— теперь мешкать нечего: дело идет к вечеру. Поедем отыскивать поворот.

Ферапонт не отвечал ни слова и, казалось, прислушивался к чему-то с большим вниманием.

— Полно зевать по сторонам!— продолжал Левшин.— Садись!

Ферапонт не двигался с места.

— Да что ж ты, оглох, что ль?— вскричал с нетерпением Левшин.

— Нет, батюшка, слава Богу, слышу!— прошептал Ферапонт.— Чу!.. Так и есть— человеческие голоса!.. Вот и собака залаяла!.. Тут должно было близко жилье.

— Какое нам до этого дело.

— Как, Дмитрий Афанасьевич, какое?.. Ведь уж солнышко-то на закате; чай, скоро смеркаться станет.

— Ну, то-то и есть!.. Мешкать нечего.

— Да неужели ты, батюшка, думаешь, что мы сегодня доедем? Пока мы станем отыскивать поворот, пока что, ан глядишь— ночь-то нас и захватит. Ведь нам вплоть до самой вотчины боярина Куродавлева надобно ехать лесом, так мы опять собьемся с дороги, да еще, пожалуй, заедем в какой-нибудь овраг или трясину, так не лучше ли нам поискать ночлега?

— Да где ты его сыщешь?..

— А вот налево-то... Слышишь, опять залаяла собака?

— Слышу: да тут должен быть какой-нибудь раскольничий скит.

— Так что ж? Ведь раскольники-то не звери какие. В этакую непогодицу и татарин не откажет дорожному человеку в приюте. Есть мы у них не попросим: у меня еще в кисе найдется чем закусить, а коням-то нашим неужели они сенца не дадут!.. Вот опять ветром стало наносить... Ну, точно человеческие голоса!

— И, кажется, очень близко,— сказал Левшин.— Да только проедем ли мы целиком: видишь, лес-то какой частый?

— А вот постой, Дмитрий Афанасьевич, никак тропинка, по которой мы ехали... Ну, да! вот она! заворачивает налево... Я, батюшка, поеду передом,— продолжал Ферапонт, садясь на лошадь,— а ты ступай позади: гуськом-то лучше проедем.

Наши путешественники пустились по этой, едва заметной, тропинке; она огибала болото, в которое чуть было не попал Левшин. Чем далее они ехали, тем яснее становились и лай собаки, и человеческие голоса.

— Что это они,— прошептал про себя Ферапонт,— песни, что ль, поют или перекликаются меж собою?..

Меж тем деревья стали редеть, и через несколько минут путешественники выехали на поляну. Теперь они ясно могли различить, что человеческие голоса доносились до них из небольшого здания, которое, без всякой усадьбы и двора, стояло посреди поляны. Но эти голоса вовсе не походили на песни. Удушливые рыдания, болезненный стон и по временам вопли, исполненные отчаяния и выражающие адскую муку, раздавались в этом уединенном жилье.

— Что это, батюшка?— вскричал Ферапонт, осадив свою лошадь.— С нами крестная сила!.. Да это никак пожарище?..

— О котором ты мне рассказывал?

— Да, Дмитрий Афанасьевич, это не люди, а души погоревших еретиков.

— И, полно, Ферапонт, какие души!

— Да ты вслушайся, батюшка!.. Ну, станут ли живые люди так выть?.. Чу!.. Слышишь?

— Нет, нет! — сказал Левшин.— Этот стон, эти вопли... О, это верно какие-нибудь несчастные, которых захватили разбойники!

— А что ты думаешь? — прервал Ферапонт, ободрясь.— Может статься, что и живые люди. Ведь разбойники-то иногда огоньком выпытывают, куда у проезжих деньги припрятаны.

— Так чего же мы дожидаемся? — вскричал Левшин.

— Постой, постой, батюшка!.. Нас только двое, а их, может быть...

— Что за дело!.. Иль ты не слышишь, как кричат эти несчастные?..

— Слышу, Дмитрий Афанасьевич, да все лучше...

— Что?.. Уж не мимо ли проехать?.. Эх, Ферапонт! Да разве мы не христиане?

— Ну, если так — так так!.. С Богом, батюшка, была не была!

Левшин выхватил свою саблю и шибкой рысью пустился прямо к жилью.

XII

Здание, к которому ехал Левшин со своим слугой, отличалось от обыкновенных бревенчатых сараев только тем, что у него по стенам сделаны были небольшие отдушины, а вместо ворот прорублена узкая дверь. Огромная дворовая собака, завидев наших путешественников, кинулась на них с громким лаем, и в то же время из шалаша, построенного подле самых дверей сарая, вышел человек высокого роста, с черной бородой, смуглый, как цыган, и необычайно безобразный собой; он держал в руке дубину, а за поясом у него висели четки.

— Ты что за человек такой? — спросил Левшин, подъехав к шалашу.

— А вы кто такие? — промолвил чернобородый, взглянув недоверчиво на наших путешественников.

— Мы проезжие.

— Так что ж вы здесь шатаетесь? Ступайте на большую дорогу.

— Кто у вас заперт в этом сарае?

— Не твое дело. Ступай, куда едешь!

— Ах, ты разбойник этакий! — вскричал Ферапонт.— Отвечай, когда тебя спрашивают!

— Разве ты разбойник,— прервал чернобородый,— а мы православные христиане. Говорят вам: ступайте вашей дорогой. Не мешайте Божьему делу.

В эту минуту снова послышались в сарае отчаянные вопли, плач, рыдание и раздались голоса: «Батюшки, спасите!.. Умираем голодной смертью... Хлеба, Бога ради, хлеба!.. Батюшки, умилосердитесь!.. Дайте хлебнуть водицы!.. Смерть моя!.. Умираю!»

— Не дастся вам! — отвечал грубый голос из шалаша.— Не дастся — да не лишитеся светлых венцов мученических!

— Возможно ли! — вскричал с ужасом Левшин.— Злодеи! За что вы их морите голодом?

— Сами захотели,— отвечал чернобородый.

— Как сами!

— Ну, да!.. Ведь здесь сидят в затворе благочестивые запощеванцы, сиречь вольные мученики.

— Вольные!.. Да разве ты не слышишь, что они кричат?..

— Так что ж?.. Покричат, покричат да перестанут.

— Отыдите, нечестивые! — воскликнул громким голосом, выходя из шалаша, худощавый старик с растрепанными волосами, взъерошенной бородой и сверкающими, полоумными глазами.— Не дерзайте нарушать святыни!.. Грядите, убо, грядите!.. Да не како постигнет вас десница Господня! А вы, православные! — продолжал он, обращаясь к дверям сарая,— потерпите ради царствия небесного!.. Свершайте, братие, непреткновенно ваше поприще...

— Нет! — завопили в один голос все заключенные.— Не желаем!.. Отрекаемся!.. Спасите нас, добрые люди, спасите!

— Душегубцы проклятые! — вскричал Левшин.— Коли вы сей же час не выпустите этих затворников...

— Так что ж? — прервал чернобородый, подбирая к рукам свою дубину.

— А вот что!..— сказал Ферапонт, выхватив саблю.— Слушай ты, черномазое пугало: или отворяй дверь, или я раскрою тебя надвое!

Чернобородый отскочил, поднял дубину, но, вероятно, рассудив, что бой будет неравный, опустил ее опять и сказал:

— Ну, коли хочешь, так сам попытайся: двери-то заколочены.

— Ферапонт! — вскричал Левшин,— выломай их!

Ферапонт соскочил с коня.

— Не дерзайте! — завопил неистовым голосом старик.— Господь укрепит мышцы мои, не попущу вам, окаянным святотатцам, губить души христианские!

— Да ты, дедушка, не рутайся! — сказал Ферапонт, подходя к старику, который заслонил собой дверь.— Ну, ты сам в толк возьми: доброе ли дело морить живых людей голодной смертью? И Господь этого не велел, и царь не указал. Пусти-ка, пусти!..

— Смерть вкушу на сем праге,— продолжал кричать старик,— предам душу Господу, но, доколе жив, не дам вам посрамить хвалу нашу, срацыне проклятые!

— Эх, полно, дедушка, не дури! — молвил Ферапонт, отталкивая старика.— Пусти, говорят тебе — зашибу!

Старик замолчал, но глаза его налились кровью, он заскрипел зубами, кинулся на своего противника, и его сухие, костистые пальцы, как когти дикого зверя, впились в грудь Ферапонта.

— Ах ты, старый хрыч! — шепнул Ферапонт, потеряв все уважение к седой бороде и постному лицу старика.— Так ты еще драться!..

Он схватил его могучей рукою за кушак, поднял, как двухлетнего ребенка, и отбросил шагов на десять. Чернобородый подбежал к старику и, пособляя ему встать, проговорил что-то шепотом.

— Да, чадо Федосей! — сказал старик,— грядем к братии, возвестим о презорстве сих нечестивцев!.. А вы, окаянные отступники православия, вяще поганых агарян, сыны погибели — да будете вы прокляты отныне и до века!

— Бранись, бранись, старый хрыч,— промолвил Ферапонт, глядя вслед уходящим старику и его товарищу.— Собака лает, ветер носит!.. Экий назойливый старикашка, подумаешь! — продолжал он, принимаясь выламывать дверь.— Кажись, такой испитой, в чем душа держится, а туда ж на драку лезет!

Несмотря на свою богатырскую мощь, Ферапонт не скоро выломал крепко заколоченную дверь; но вот наконец она соскочила с петель. Четверо мужчин и две женщины, одна старая, а другая молодая, давя друг друга, кинулись с такою поспешностию вон из сарая, что чуть было не сбили с ног Ферапонта. Страшно было взглянуть на эти человеческие остовы: их бледные, искаженные страданием лица, их помутившиеся, полоумные глаза были ужасны! «Хлеба, Бога ради, хлеба!» — кричали они, толпясь около Ферапонта. Молодая женщина, которая, по-видимому, казалась покрепче других, уцепилась за него и простонала едва слышным голосом:

— Воды — ради Христа, воды!

— Ах, сердечная! — сказал Ферапонт,— хлебца-то я вам найду, да воды-то где мне взять?

— Вот здесь близехонько есть ключ,— проговорил один из затворников,— кабы было чем зачерпнуть...

— Ключ?.. Где?

— Вон за кустами, в овражке.

— Побудь-ка, батюшка, с ними,— сказал Ферапонт,— я сбегаю да принесу в шапке водицы, а ты вынь из кисы початый хлеб; да смотри, Дмитрий Афанасьевич, не давай помногу — не годится!.. Коли они денька два ничего не ели...

— Нет,— прошептал один из затворников,— вот уж третьи сутки...

— Эвона! — прервал Ферапонт,— шутка вымолвить: третьи сутки без еды!.. Вот, дай им теперь хлеба вволю, так они все перемрут. Я помню, дядя мой Терентий попал однажды в волчью яму и не евши просидел в ней трое суток...

— Да провались ты со своим Терентием! — вскричал Левшин.— Видишь, они чуть живы!

Ферапонт побежал за водой, а Левшин слез с коня, привязал его к дереву и велел этим вольным мученикам сесть в кружок. Когда он вынул из кисы хлеб, они не усидели на своих местах и с радостным воплем кинулись, исключая молодой женщины, навстречу к Левшину.

— Тише, братцы, тише! — сказал он, стараясь удержать хлеб, который они вырывали у него из рук.— Садитесь опять в кружок — всем достанется. Да садись же!..— повторил он строгим голосом.— А не то я вам ничего не дам!

Эта угроза подействовала: затворники уселись попрежнему на землю, и Левшин, отламывая небольшие куски от хлеба, стал их оделять по очереди. Когда он подошел к молодой женщине, которая томилась жаждой, то она промолвила:

— Батюшка, и есть-то не могу!.. Дай мне пить... Ох, тошно!.. смерть моя!

— Потерпи, любезная, потерпи! — сказал Левшин.— Ну вот, мой слуга и несет вам водицы!

Женщина вскочила и, несмотря на свою слабость, бросилась бегом навстречу к Ферапонту.

— На-ка, лебедка! — сказал он, подавая ей свою войлочную шапку.— Выкушай!.. Да тише, тише!.. Будет покамест.

— Батюшка, дай еще!

— Нет, голубка, погоди!.. Надо и другим горло промочить.

— Еще немножечко!..

— Да напьешься досыта, не торопись... Поешь теперь хлебца, а там, пожалуй, я тебе еще воды почерпну.

— Когда все эти несчастные затворники съели или, лучше сказать, проглотили по куску хлеба, то принялись снова таким жалобным и убедительным голосом просить пищи, что Левшин начал опять было их оделять, но Ферапонт остановил его.

— Что ты, батюшка! — сказал он.— Не слушай их!.. Дай прежде им водицы выпить. Ведь сухой хлеб на тощий живот — беда!.. Вот этак-то покойный мой дядя Терентий навалился с голодухи на хлеб, да в тот же самый день и помер.

— Так давай им скорее пить!

— Сейчас, батюшка, сейчас!.. А там можно еще по кусочку хлеба, да не худо будет и винца хлебнуть.

Пока Ферапонт поил их водою, а потом стал опять оделять хлебом и давать из своей дорожной фляги по глотку вина, Левшин рассматривал со вниманием молодую женщину, которая, выпив еще воды и съев кусок хлеба, совершенно успокоилась. Хоть лицо ее, вероятно, очень изменилось от продолжительного страдания, однако, несмотря на это, оно казалось ему знакомым. Он не мог только никак припомнить, где и когда видел эту женщину. Меж тем товарищи ее, поутолив несколько свой голод, встали, и один из них, высокий старик лет шестидесяти, сказал: «Дай Бог тебе, господин честной, много лет здравствовать! Кабы не ты, умирать бы нам голодной смертью. Да воздаст Господь этому окаянному старцу!.. Прельстил нас, проклятый, прельстил!. Братие! — продолжал он, обращаясь к другим затворникам,— кто из вас желает приступить к адамантовскому согласию, тот иди со мной в скит поморского старца Григория: он примет всех нас с любовью; а к этим филипповцам я ни за что теперь не пойду».

— И мы также! — закричали в один голос его товарищи.

— А ты пойдешь с нами? — продолжал старик, обращаясь к молодой женщине.

— Нет! — отвечала она.— Я как-нибудь добреду до нашего скита. Авось отец Андрей меня помилует. Не послушалась я его, окаянная!

— Ну, как хочешь. Пойдемте, братцы! До Григорьева скита версты три будет, а вот уж вечерняя заря тухнет. Как-то мы доплетемся?.. Прощай, Дарья!

— Дарья! — повторил Левшин.— Неужели это?.. О, нет, нет! быть не может!..

— Да! — шептала молодая женщина, глядя вслед своим прежним товарищам, которые, шатаясь, как пьяные, шли врассыпную по полю.— Да, пойду я к вашему старцу Григорию!.. Эка невидаль!.. Он у моего хозяина в Выгорецком скиту был пастухом... Старец Григорий!.. Больно скоро в старцы-то попал!

— Послушай-ка, голубка,— сказал Ферапонт,— ты хочешь идти в свой скит, а далеко ли это?

— Версты четыре будет.

— Да ведь в лесу-то теперь хоть глаз выколи. Как же ты пойдешь одна?

— Что ж делать: пришлось идти одной, коли товарищей нет.

— Хочешь ли, мы тебя проводим?

— Как, батюшка, не хотеть.

— А ты, красавица, за эту службу и нас куда-нибудь приюти.

— Да вы кто такие?

— Дорожные люди.

— Ох, кормилец! хозяин-то наш такой строгий!.. Ну, да если он вас в скит не пустит, так вы в сторожке переночуете, а вашим лошадям я уж как-нибудь сенца-то вынесу.

— И на том спасибо!.. Вставай же, лебедка, пора. Хочешь — садись на мою лошадь, а я пешком пойду.

— Нет, батюшка, куда мне!.. Я сродясь на лошадях не езжала, а дайте-ка мне поотдохнуть немного, да еще водицы выпить, так я как-нибудь и пешком дотащусь.

— Ну, хорошо!.. Я схожу за водой, а ты... на-ка тебе, поешь еще хлебца.

— Послушай, любезная,— сказал Левшин, оставшись один с молодою женщиною,— мне все кажется, что я где-то тебя видел.

— Не знаю, молодец.

— И голос твой мне знаком... Да не была ли ты недавно в Москве?

— Как же, батюшка!.. Всего три недели, как оттуда. Я была там с моим хозяином и его дочкой.

— А вы жили в Зарядье, на Мещовском подворье?

— Да, на Мещовском подворье. А почему ты это знаешь?.. Постой-ка, постой!.. Ах, батюшки-светы!.. Да ты никак тот самый молодец, которого чуть было не убили стрельцы?.. Вот диво-то! Как это тебя Господь сюда занес?

— Еду в село Толстошеино,— недалеко отсюда. А ты как, Дарья, попала в затворницы?

— Ох, батюшка, не говори!.. Истинно Божеское попущенье!.. Вот изволишь видеть... так и быть! все тебе скажу, как на духу... Я прошлого года гадала на святках и видела во сне нашего батрака Архипку, а Архипка-то уж был женат; вот я и смекала: видно, он женится на мне,

когда овдовеет. Как поехали мы в Москву, жена его захворала, а как воротились назад, так уже ее давным-давно и на погост снесли. Ну,— думаю я,— правду говорят: суженого конем не объедешь. Делать нечего: видно, мне на роду написано быть за вдовцом. Вот я Архипке-то и говорю: «Архипушка! ведь я видела тебя на святках: ты мой суженый». А он рыжий,— чтоб ему ни дна ни покрышки... озорник этакий! — и ну надо мной смеяться. «Видно, дескать, я тебе, Дарья, суженый, да не ряженый; ищи себе другого жениха, а я уже помолвлен на Дуняшке». Так меня, кормилец, словно ножом и зарезал! На Дуняшке... И добро бы человек, а то ведь так... девка-чернавка — взглянуть не на что... Зло такое меня взяло, что и сказать нельзя!.. Опротивел мне этот рыжий — видеть его не могу!.. А как живешь вместе, так поневоле видишь. Потерпела я денек, другой — нет! тоска меня вовсе одолела. Вот я и говорю хозяину: «Хочу, дескать, батюшка, идти в филипповщинское согласие затем, дескать, что у них строже,— скорей спасешься». А у самой, грешницы, не то на уме: как бы только уйти подальше от Архипки, да не видеть эту паскудную Дуняшку. Вот Андрей Яковлевич начал меня уговаривать: «Эй, Дарья, не ходи к филипповцам! У них наставником старец Пафнутий, а он вовсе полоумный: научит он тебя таким делам, что ты и животу не будешь рада». И дочка-то его со слезами упрашивала меня не ходить к филипповцам... Так нет! — никого не послушалась — пошла!.. Что ж, батюшка? не прошло недели, как я вовсе обезумела; только и слышу, что у них какой-то великий угодник, ради царствия небесного, велел похоронить себя живого; такая-то угодница сожглась в печи, такая-то запостилась. И в молитвах-то их поминают и чинят им поклонения. Стали мне рассказывать, что будто бы видали их в светлых одеждах, в златых венцах... а я сдуру слушаю да верю. Вот пришел в скит старец Пафнутий. Он, батюшка, сам в скиту не живет, а, говорят, спасается где-то на сосне.

— Да не он ли караулил вас в этом шалаше? — спросил Левшин.

— Он, батюшка, он!.. Вот этот разбойник подговорил человек пять идти в запощеванцы, да начал и меня уговаривать: «Ты, дескать, сестра Дарья, не бойся; коли Богу будет угодно, так ты и сорок дней не евши проживешь, и останешься жива; а коли умрешь, так смерть твоя будет честна пред Господом, и ты

причтешься к лику святых мучеников. Да с вами же и насилия никакого не будет. Кто снесет, тот неси, а кому придется невмоготу, так пусть себе отречется; а коли не пожелает променять временную жизнь на вечное блаженство — так его воля». Что будешь делать, прельстил и меня лукавый старец... Вот, батюшка, как нас заперли в эту запощевальню, первые-то сутки мы смирно просидели, и другие кой-как промаялись, но уж зато на третьи... Господи, Боже мой!.. Ну, мука!.. Я первая закричала, что отрекаюсь — ответу нет. Закричали и другие. Слышим Пафнутий с кем-то пошептался, да и говорит нам: «Нет, братие! коли вы сами не радеете о душах ваших, так мы за вас порадеем. Нет вам отсюда выхода!.. Мужайтесь, братие, и когда Господь сподобит вас стяжать венцы мученические, так помолитесь и о нас грешных». Вот тут-то, батюшка, поднялся вопль и плач!.. Когда мы увидели, как прельстил и обманул нас этот душегубец, все мы стали, словно бешеные: кричим, воем, рвем на себе платье, кусаем руки, а он, злодей, только что и твердит: «Потерпите, братие, потерпите! Мзда ваша велика на небеси!» Я еще, батюшка, не очень отощала: у меня в кармане была просвирка; ее принесла мне из Киева одна странница, когда я жила еще у прежнего хозяина. На второй день я потихоньку ее съела; но уж зато пить мне так хотелось, что я дала бы себе отрезать любой палец за одну каплю воды... Ах! батюшка, как подумаешь: что бы с нами было, если б Господь не привел вас сюда!.. Подлинно правду говорят: голодная смерть — хуже всякой смерти.

— Так ты, Дарья, надеешься, — сказал Левшин, — что прежний хозяин примет тебя опять к себе в дом?

— Примет, батюшка, он человек добрый. Повалюсь ему в ноги, скажу: виновата, кормилец, согрешила!.. Да и дочка-то за меня заступится.

— А кто такой твой хозяин?

— Отец Андрей.

— Отец Андрей!.. Да разве у него нет никакого прозвания?

— Да как бы тебе сказать: в глаза его зовут отцом Андреем, а за глаза Андреем Поморянином.

— Да кто он такой? Дворянин, что ль, купец или из духовного звания?

— И этого не ведаю, батюшка; а знаю только, что в здешней стороне он у всех в большом почете, даже старец Пафнутий и тот его побаивается.

— Ну, что,— промолвил робко Левшин,— дочь его, Софья Андреевна, здорова?

— А ты имячко-то ее знаешь?.. Вот что!.. Здорова, батюшка, здорова... только все что-то кручинится да тоскует.

— Тоскует! — повторил вполголоса Левшин.

— Да, батюшка, говорит, что по Москве... Вишь, больно ей приглянулась. А я так думаю, что теперь и в Москве-то она стала бы тосковать.

— Отчего же?

— Отчего!.. Ну, уж это, молодец, сам смекай.

— На-ка, красавица, вот тебе и еще водицы,— сказал Ферапонт, подходя к Дарье и подавая ей свою шапку с водой.— Пей себе на здоровье!.. Да только поскорее в путь. Благо теперь облака-то поразошлись, все-таки кой-что видно будет, а неравно опять набегут тучи, так и ты, голубушка, заплутаешься.

Молодая женщина встала, а Левшин и Ферапонт пошли отвязывать своих коней. В эту самую минуту из-за угла сарая высунулась безобразная рожа чернобородого раскольника.

— Вот они! — заревел он, оборотясь назад, и человек пятнадцать вооруженных дубинами мужиков высыпало на поляну.

— Хватайте их, братие!.. Бейте этих проклятых святотатцев! — кричал чернобородый, бросаясь с поднятой дубиною на Левшина. Отскочив быстро в сторону, Левшин выхватил свою саблю, она свиснула, и чернобородый, как сноп, повалился на землю. Но Левшин не успел повторить удара: его сбили с ног, скрутили назад руки и потащили в лес. Разумеется, Ферапонт, который был шагах в двадцати от своего господина, кинулся к нему на помощь; к несчастью, он наткнулся на пенек и упал. Когда он приподнялся, человек пять раскольников, не дав ему оправиться, кинулись на него гурьбою, вырвали из рук саблю и ухватились за него со всех сторон. Но Ферапонт устоял на ногах. Он круто повернулся крутом, тряхнул своими богатырскими плечами, высвободил руки и пошел работать направо и налево: сломал, как медведь, двух противников, сшиб с ног ударом кулака третьего, подмял под себя четвертого, но пятый, отскочив назад, ударил его дубиною так сильно по голове, что у него, как после сам он рассказывал, искры из глаз посыпались, и в ушах загудело, как будто бы ударили в Успенский колокол. Он пошатнулся,

ступил несколько шагов вперед и упал без чувств на землю.

— Что? улегся, проклятый еретик! — сказал один из раскольников, помогая приподняться двум товарищам, которые более других поизмяты были в руках Ферапонта.— Ну, здоров, разбойник!.. кулак, словно свинчатка!.. Как он хлыснул меня, так я думал, что голова с плеч слетит!

— Что ж вы, братцы? — сказал, подходя к ним, другой раскольник.— Мы того молодца уж спровадили, тащите и этого.

— Зачем? — молвил широкоплечий детина, тот самый, который ударил Ферапонта дубиною.

— Как зачем?.. Их надо обоих допросить. Отец Пафнутий говорит, что они подосланы от калужского архиерея.

— Не знаю, как тот, а этот уж вам ничего не ответит.

— Ой ли?

— Да уж небойсь!.. Кого я съезжу по маковке дубиной, тот не встанет.

— Так прибрать бы его к сторонке.

— И без нас приберут: волков-то здесь довольно. Ну, что кряхтите, ребята? — продолжал широкоплечий детина, обращаясь к своим товарищам.— Или ребер не досчитываетесь?.. Экий леший, проклятый, как он их исковеркал!.. Ну, пойдемте, братцы!

Через несколько минут на поляне не осталось никого. Изредка раздавались вдали голоса уходящих раскольников, и раза два лесной отголосок повторил имя Ферапонта; но верный слуга не слышал призывного голоса своего господина. Когда затихли и эти отдаленные голоса, послышался в кустах легкий шорох, и Дарья, робко озираясь кругом, вышла на поляну.

— Вот кто-то лежит!..— прошептала она, подходя к Ферапонту.— Ах, Господи!.. Неужели они убили... Нет! Я видела, его утащили в лес... Видно, это слуга... Ну, так и есть!.. Сердечный! — прошептала она, наклонясь над Ферапонтом.— По милости твоей и твоего барина я жива, а ты... Да он никак дышит... Видит Бог, дышит! — вскричала с радостью Дарья.— Кабы только вспрыснуть его водицею... А! да вот и шапка!

Дарья схватила войлочную шапку Ферапонта, подняла мимоходом саблю, которая, шагах в десяти от него, лежала на земле, почерпнула в роднике воды и, возвратясь назад, начала обливать ею голову и лицо Фера-

понта. С полминуты он оставался в прежнем положении; но вот наконец вздохнул и пошевелился.

— Ну, слава тебе Господи, очнулся! — сказала Дарья.

— Фу, как шумит в голове! — прошептал Ферапонт.— Что это со мною было?

— Ничего. Тебя немного позашибли.

— Да где я?

— В лесу, на поляне... Чу! Слышишь, как воют волки?.. Ух, страшно!.. Вставай, молодец!

Ферапонт приподнялся до половины и начал ощупывать голову.

— Кажись, цела,— промолвил он.— Фу-ты, батюшки, как меня ошеломили!

— Вот твой тесак! — сказала Дарья.— Вставай, молодец, мешкать нечего.

— Да кто ты? — спросил Ферапонт.

— Я Дарья... ну, вот та затворница, которую ты поил водой. Я все сидела за кустом и видела, как с вами дрались филипповцы.

— С нами?

— Ну, да!.. С тобой и с твоим барином.

— С барином? — повторил Ферапонт и, как будто бы пробудясь от сна, быстро вскочил на ноги, схватил саблю и закричал: — А где ж мой барин? Дмитрий Афанасьевич!.. Дмитрий Афанасьевич!

— Да не кричи! — прервала Дарья.— Его здесь нет; его увезли с собой филипповцы.

— Господи! — завопил отчаянным голосом Ферапонт.— Убьют они его, злодеи!

— Небойсь!.. Коли здесь не убили, так не убьют.

— Куда они пошли?

— Вестимо куда: в свой скит.

— Так веди меня туда — скорей, скорей!

— Зачем?.. Чтобы тебя опять дубиной хватили?..

— Эх, что нужды? Умирать, так умирать вместе.

— Да что ты один сделаешь?.. Ведь их там человек до ста. Барина ты своего не выручишь, а полезешь на драку, так убьют тебя — вот и все!

— Да пусть себе убьют! Поделом! — прервал Ферапонт.— Коли я не умел сберечь моего барина, так туда мне и дорога!.. Пойдем!

— Полно, молодец, послушайся меня: пойдем лучше в скит к отцу Андрею. Он скоро выручит твоего барина.

— А кто этот отец Андрей?

— Мой прежний хозяин; его здесь все слушаются, и если он сам поедет к филипповцам...

— Да поедет ли он?

— Поедет!.. Уж я тебе говорю... Он выручит твоего барина, только мешкать нечего... Чу! Слышишь.

Вдруг раздался вблизи зловещий вой; он повторился в разных местах по лесу то ближе, то далее. Привязанные к деревьям кони начали храпеть и порываться.

— Чу! — продолжала Дарья робким голосом.— Слышишь, как перекликаются эти голодные волки?.. Ох, худо, молодец!.. Видно, они почуяли добычу!.. Ради Христа, поедем скорее!.. Уж, так и быть, и я как-нибудь сяду на коня.

Ферапонт отвязал коней, помог своей спутнице сесть на Донца, вскочил сам на Султана и, несмотря на темноту, пустился рысью по дорожке, которую ему указала Дарья. Они не успели еще проехать и полверсты, как на противоположной стороне поляны заблестели между деревьев огненные звездочки, захрустел валежник, и два огромных волка, ощетинясь и сверкая глазами, промчались вдоль опушки леса к тому месту, где за минуту до того стояли кони.

Часть вторая

I

В двух верстах от той поляны, на которой раскольники захватили Левшина и едва не убили его слугу, на берегу широкого оврага, в глубине которого лениво струилась, в топких берегах своих, речка Брынь, стояло несколько больших изб, соединенных меж собою крытыми переходами. Одна из этих изб была в два жилья; к ней примыкала низкая лачужка, которая, вероятно, служила кладовой; это можно было заключить из того, что она освещалась одним только, прорубленным под самою кровлей, волоковым окном и что ее толстые дубовые двери были окованы железом. Кругом этого главного жилья разбросаны были, без всякого порядка,

отдельные избы, клети, сараи и амбары. Несколько поодаль от прочих строений стояла молельня: длинное и широкое здание с узкими окнами, в которых, вместо стекол, была вставлена слюда. На дощатой кровле этой молельни возвышался восьмиконечный деревянный крест. Вся эта группа строений, занимавших довольно большое пространство, обнесена была высоким бревенчатым тыном; в ограде было двое ворот: одними выезжали на дорогу, которая, круто спускаясь на дно оврага, вела к узкому мосту, перекинутому через речку Брынь; другая, находящаяся в противоположной стороне ограды, обращена была к расчищенному месту. На этой искусственной поляне разбросаны были огороды и несколько пчельников, обнесенных плетневыми заборами. Над первыми воротами, под навесом из листового железа, стояла большая икона Спаса Нерукотворенного, перед которой теплилась лампада. Внизу, с одной стороны ворот, устроена была низенькая сторожка, с другой — висели огромная оловянная умывальница и чистый ручник, или полотенце из белого холста. На воротах, под самым образом, было написано крупным полууставом: «Аще кто, входяй во святыя врата сии, не отречется от мира и вся скверны его, тот да будет нам яко же мытарь и язычник».

Этот раскольничий скит принадлежал филипповцам.

Пользуясь правом рассказчика, для которого нет запертых дверей, я попрошу вас, любезные читатели, заглянуть вместе со мною во внутренность этой кладовой, которая примыкала к избе о двух жильях. В ней стояло несколько сундуков, окованных железом, и сидел на скамье, со связанными назад руками, Левшин. Разумеется, в этой кладовой, в которую и днем едва проникал слабый свет, было темно, как в подземелье. Вот уже прошло более часу, как нашего путешественника втолкнули и заперли в эту лачужку. Конечно, положение его было не очень завидное: Левшин мог всего ожидать от этих неистовых изуверов, в глазах которых он был не только еретиком, но даже святотатцем и явным врагом православия; но, несмотря на это, он вовсе не раскаивался в своем поступке: он спас от мучительной смерти шесть человек и в том числе женщину, по милости которой знает теперь, где живет его незнакомка. О себе самом Левшин беспокоился несравненно менее, чем о верном своем слуге, который, вероятно, не спрятался за куст, когда на них напали

раскольники. Отбиться одному от целой толпы невозможно, но Левшин знал также, что Ферапонта одолеть не легко, что он не дастся живой в руки и, без всякого сомнения, перестанет драться только тогда, когда его или вовсе изувечат, или убьют до смерти. Последнее было даже гораздо правдоподобнее: и на кулачной потехе бывают убитые, а этот бой вовсе не походил на потешный: все раскольники были вооружены дубинами и, вероятно, ожесточенные упорным сопротивлением Ферапонта, дрались с ним не на живот, а на смерть.

Несколько раз Левшин обходил кругом свою каморку. Он давно бы обшарил все и попытался узнать, нет ли для него какого-нибудь средства к побегу, но что он мог сделать со связанными руками?.. В один из этих обходов Левшин зацепил локтем за гвоздь, вколоченный в стену. Мысль, что он может как-нибудь перетереть на этом гвозде веревку, которой его руки были скручены назад, мелькнула в его голове. И вот он, оборотясь спиною к стене, приложил к гвоздю свои связанные руки и принялся за работу. С четверть часа трудился он без отдыха, измучился, исцарапал себе в кровь пальцы, но перепилил наконец кое-как веревку и стряхнул ее на пол. Когда его одеревеневшие руки поотдохнули, он принялся ощупывать стены своей тюрьмы. Добравшись до дверей, Левшин попытался упереться в них плечом, но тотчас же увидел, что этих дверей он не мог бы выломать и при помощи своего могучего богатыря Ферапонта. Продолжая обшаривать все углы, он ощупал в одном из них приставленную к стене лестницу. Хотя Левшин был уверен, что лестница упирается одним концом в потолок и не ведет никуда, однако ж решился влезть по ней вверх; поднявшись ступеней на семь от земли, он почувствовал, что на него пахнуло свежим воздухом из отверстия сделанного в потолке. Левшин стал подниматься еще выше и очутился на чердаке, подле открытого слухового окна. В первую минуту ему представилась какая-то возможность к спасению, но эта надежда недолго продолжалась: слуховое окно было так мало, что он не мог даже просунуть в него голову и посмотреть, что делается на дворе. Подышав несколько времени прохладным ночным воздухом у открытого окна, Левшин стал искать, нет ли на этом чердаке какого-нибудь отверстия поболее этого слухового окна. Он не успел

сделать трех шагов, как вдруг остановился и стал прислушиваться. Я думаю, вы не забыли, любезные читатели, что кладовая, которая служила для Левшина тюрьмою, пристроена была к высокой избе о двух жильях, следовательно, чердак ее примыкал к стене второго жилья — и за этой-то стеною послышался Левшину, хотя невнятный, но довольно звучный людской говор. Левшин подошел к стене, повел по ней рукой и нащупал небольшие, но плотные двери с железными пробами, которые, однако ж, от легкого прикосновения, тихо отворились внутрь. Притаив дыхание и медленно подвигаясь вперед, Левшин вошел в просторный чулан, в котором по стенам развешаны были платья. Этот чулан отделялся от покоя, где раздавались громкие голоса разговаривающих, толстой бревенчатой стеной и дверью, которая, по-видимому, была заперта снаружи; в ней было прорубленное небольшое окошечко, вероятно, служившее для освещения чулана. Конечно, Левшину не трудно было бы отгадать, что это сообщение между его тюрьмой и жилыми покоями сделано было для того, чтобы хозяин избы о двух жильях мог во всякое время и не выходя на двор заглянуть в свою кладовую; но Левшин думал вовсе не об этом. Притаясь у прорубленного в дверях окна, он мог и слышать и видеть все, что происходило в соседнем покое, или, верней сказать, большой избе, потому что в ней были и полати, и печь с горнушкой, и шестак,— одним словом, все то, что мы видим и теперь в крестьянских избах; разница была только в том, что над самым устьем печи были сделаны небольшие круглые отверстия; они служили для того, чтоб во время молитвы хозяина благодать проникала в печь, свободно входила в горшки, в которых варилась пища. Большая часть этой обширной избы была в тени, но весь передний угол ярко освещался тремя лампадами и восковыми свечами, которые горели перед иконами. В этом почетном углу за столом сидело шесть человек. Первое место, то есть под самими образами, занимал худощавый старик лет шестидесяти; из-под седых нависших бровей его сверкали серые, блестящие глаза. Во всех чертах лица его отражались внутренняя духовная гордость, жестокосердие и дикая, ничем не преклонная воля; а этот, исполненный мрачного огня, быстрый и беспокойный взгляд изобличал, если не совершенное безумие, то, по крайней мере, какое-то

исступленное состояние, близкое к сумасшествию. На нем был черный подрясник и кантырь, или раскольничий клобук, который отличался от обыкновенных монашеских клобуков только тем, что тулья его имела форму жидовской ермолки и обшивалась мехом; в правой руке держал он костыль, похожий на игуменский посох, на левой висели у него длинные лестовки, т. е. кожаные четки. Левшину не трудно было узнать в этом чернеце полоумного раскольника, которого называли старцем Пафнутием. Подле него сидел человек пожилых лет в белом суконном балахоне; он вовсе не походил на своего соседа: его приглаженные волосы и небольшая опрятная бородка представляли разительную противоположность с косматой и нечесаной бородой старика. С первого взгляда Левшин подумал, что видит перед собою воплощенную доброту, кротость и смирение. Этот раскольник, которого называли отцом Филиппом, говорил так тихо, таким мягким благозвучным голосом, что, казалось, из уст его могли исходить только одни слова любви и милосердия; но Левшину стоило только посмотреть на его прищуренные, лукавые глаза, чтоб увериться в противном. В них выражалось такое коварное двуличие, такая искусственная кротость и притворное смирение, что, конечно, всякий предпочел бы иметь дело с его полоумным соседом, чем с ним. Тот походил на злую цепную собаку, а этот сладкоговорящий лицемер — на дикую кошку, которая прикидывается смиренницей для того, чтоб верней поймать и задушить свою добычу. Рядом с ним сидел небольшого роста старик, в сером зипуне, опоясанном веревкою. На огромной и вдавленной в широкие плечи голове его не было ни одного волоска; но зато необычайно длинная борода его, которая, покрывая всю грудь, опускалась ниже пояса, была предметом явного уважения и тайной зависти всех раскольников Брынского леса. Ученик знаменитого наставника черноболцев, Антипа Коровьи ножки, он сам был известен во всех скитах под именем Волосатого старца. Его прямой и узкий лоб, его бездушные, оловянные глаза, бессмысленные взгляды и совершенное отсутствие выражения в этих пошлых чертах лица, безжизненного в высочайшей степени,— все носило на себе отпечаток и природной глупости, и совершенного невежества. Если б борода этого лысого старика была не длиннее обыкновенных бород, то,

вероятно, он прожил бы незаметно свой век в толпе безграмотных рядовых раскольников, которые повинуются своим наставникам из-за того, что они люди начитанные, и слепо верят им потому, что они говорят с ними языком, похожим на церковный язык, которым писаны все наши духовные книги.

Казалось, случай как будто бы нарочно свел вместе этих трех раскольников, чтобы олицетворить перед глазами Левшина три главных начала почти всякого раскола: безумный фанатизм, фарисейское лицемерие и глубокое, закоснелое невежество. Остальные три раскольника, сидевшие за столом, не отличались ничем от обыкновенных зажиточных мужиков и, по-видимому, не принимали никакого деятельного участия в беседе своих старшин.

— Оле бедствие!.. Оле скорбь неусладимая!..— говорил старец Пафнутий.— Православные призывают еретиков, отрекаются от своего обета!.. Да потребит же Господь от земли память сих окаянных отступников!.. Да воспомянутся беззакония отцев их пред Господом, да приидет на главу их...

— Эх, полно, отец Пафнутий, не кляни! — прервал Филипп.— Или ты не ведаешь, что от изрекающих проклятия отвращается Господь, ибо гортань их, яко гроб отверстый. Прежде бывшие братья и сестры наши не до конца свершили свой подвиг,— так что ж?.. Коли было начало благое, так будет и конец благой; а что они призвали на помощь еретиков и те их выручили, так в этом мы сами виноваты; коли они волей пошли в запощеванцы, так мы бы могли им и здесь в скиту местечко найти, здесь бы их никто не выручил. Вот, погоди, они вернутся к нам со своими пожитками.

— Да не дерзают! — закричал Пафнутий.— И како возмогут сии нечестивые грехолюбцы и плотоугодники внити во святые врата обители нашей.

— Ну, коли не во святые, так мы проведем их и задними. Я приму их с любовью, яко заблудших овец...

— Недостойное глаголеши, брате Филиппе! — прервал Пафнутий.— Удобе тьме смешатися со светом, чем единому из братий наших иметь общение и любовь с ними, отступниками от православной веры...

— Эх, отец Пафнутий! Да ведь человек слаб: протекая свое поприще, он претыкается, а претыкающийся падает — потщимся же восставить его. Ты станешь их

увещевать, я тебе пособлю, и, может быть, они опять пойдут охотно в запощеванцы...

— А не захотят охотою, так можно и поневолить,— проговорил долгобородый.

— Ни, ни! — завопил Пафнутий.— Не достойны бо стяжать светлые венцы мученические. Пусть гибнут окаянные во грехе своем.

— И впрямь,— промолвил долгобородый,— пусть гибнут во грехе!

— Ну, как хотите!.. Так мы их в скит не пустим, а пожитки их оставим у себя.

— Нет, брате Филиппе! — прервал Пафнутий.— Все их доброе, сиречь, пожитки, яко еретикам принадлежащие, да предадутся огню.

— Огню! — повторил Филипп.— Что ты, отец Пафнутий!.. Как станем этак все предавать огню, так нам и перекусить нечего будет.

— Да, братие! — продолжал Пафнутий.— Да! И пепел оных развейте по ветру, да не како прикасаясь к достоянию нечестивых, осквернимся и мы, православные.

Кошачьи глаза Филиппа завертелись во все стороны, он приподнялся, хотел что-то сказать, но вдруг остановился и начал молча перебирать свои четки.

— Истинно так! — промолвил долгобородый.— И покойный наставник мой Антипий увещевал братию сохранять себя от осквернения; он часто говаривал, что коли где погребен еретик, и на могиле его вырастет трава, и той травы пощиплет корова, и от этой коровы кто из братий выпьет молочка, то отлучить такового на шесть месяцев от церкви и троекратно читать над ним молитву от осквернения.

— Эх, братие, братие! — заговорил опять Филипп кротким и тихим голосом.— Да ведь и скверное, проходя чрез руки православных, освящается. Мало ли из наших и продают, и покупают, и деньги на торгу берут, а из каких они идут рук?

— Деньги! — прервал Пафнутий.— Берегитесь, братие, сей прелести сатанинской!.. Деньги бо суть печать антихристова.

— Деньги печать антихристова! — повторил Филипп, вовсе уж не кротким голосом.— Нет, отец Пафнутий, не безумствуй!.. Деньги дар Божий.

— Дар Божий!.. О людие крепковыйные и с окаменелым сердцем!.. Да разве ты не читал, Филипп, о звере и драконе антихриста?

— Читал.

— А что же мнится изображенным на сих еретичных деньгах — не дракон ли? Как же они не суть печать антихристова?

— Эх, Пафнутий! Да на них изображен Георгий Победоносец, поражающий дракона, сиречь сатану.

— Толкуй по-своему, толкуй!.. Нет, брате Филиппе, нечиста твоя вера. Се бо плоды кичливой мудрости бывшего твоего наставника — Андрея Поморянина. Берегись, возлюбленный Филиппе, берегись внимать льстивым речам сего прелестника!.. Не пастырь бо есть овец, а наемник... Что глаголю — наемник!.. Волк бо есть, пожирающий стадо!

— Ну, хоть и не волк,— прервал с приметным удовольствием Филипп,— а нечего греха таить: отец Андрей не великий ревнитель православия — осуетился, обмирщился!.. Да все-таки каков ни есть, а ведь другой заступы у нас нет... Кабы не он, так давно бы нам от прежнего Мещовского воеводы житья здесь не было. Вы все ведаете, что благочестивая наша царевна Софья Алексеевна в своей царской милости его содержит, и не токмо жалует, но даже грамотки к нему пишет: так поди-ка — обличи его!

— Обличу нещадно сего мироугодника! — воскликнул Пафнутий.— Не убоюсь ни льва, ни скимна...

— Ну, хорошо, хорошо! — прервал Филипп.— Да речь теперь не о том. Послушайте, братие: мы захватили одного из проезжих еретиков, посягнувших на свободу служения нашего...

— Да, да! — сказал Пафнутий.— Святые угодники невидимо поборали с нами, и сей буйный нечестивец взят и ввержен в узилище...

— Сиречь заперт в моей кладовой. Да что ж мы станем, православные, с ним делать?

— Вестимо что, отец Филипп,— сказал один рыжий раскольник из числа тех, которые не принимали еще участия в беседе.— Не отпустить же его с поклоном домой!.. Ведь он, проклятый, разнес тесаком, почитай, надвое голову брату Федосею. Бог весть, будет ли жив?

— Так что ж, торговаться с этим еретиком? — подхватил долгобородый.— Петлю ему на шею...

— А мы с братией вот как думаем,— продолжал рыжий,— держать его взаперти, да не давать хлеба: пусть себе умирает своей смертью.

— Яко благочестивый запощеванец?— прервал Пафнутий,— Нет, братие, да не будет! Пусть гибнет сей еретик по закону, сказано бо есть: подъявший меч, от меча да погибнет!

— Оно так!— промолвил вполголоса Филипп,— да чтоб оглядок не было. Ведь он был не один.

— Да тот в донос не пойдет,— сказал рыжий.— Гаврила так хватил его по маковке дубиною, что он и не пикнул.

— Полно, так ли?

— Да уж не бойся, отец Филипп, не встанет!

Во всякое другое время Левшин пришел бы в отчаяние от этих слов: он истинно любил верного своего слугу, но на этот раз его собственное положение было так ужасно, что ему некогда было пожалеть о бедном Ферапонте.

— Ну, это дело другое!— сказал, помолчав несколько времени, Филипп.— Коли того убили, так этого нельзя помиловать: живая улика! Да что это у вас за обычай такой?.. Одного уходят, а другого нет. Иль вы не знаете пословицы: семь бед, один ответ?

— Да вот отец Пафнутий указал нам захватить их живьем; их, дескать, допросить надобно: они подосланы от врага нашего, калужского архиерея.

— Истинно так!— подхватил Пафнутий.— Не странники бо суть мимоидущие, но лукавые соглядатаи.

— Сиречь, языки?— сказал Филипп.— Нет, отец Пафнутий! Коли бы они были языки, так не полезли бы с нашими в драку: все бы втихомолку высмотрели, а там подали бы изветь калужскому архиерею или Мещовскому воеводе. Да это все равно: подослан ли он или нет, а коли отпустим его живого, так он докажет на нас, что мы убили его товарища. Ну делать нечего, жаль молодца, да своя рубашка ближе к телу... Чу!.. Что это? Кто-то въехал к нам на двор... Что больно поздно?.. Кому бы кажется?..

— Отец Филипп,— сказал молодой детина, входя поспешно в избу.— Андрей Поморянин приехал.

— Андрей Поморянин!.. Зачем?..

— А вот как скажу, так узнаете!— раздался в дверях громкий голос.

— Отец Андрей!— вскричал Филипп, вставая. Все собеседники его также встали, исключая Пафнутия, который, однако ж, поотодвинулся, чтоб очистить место

для приезжего гостя. В избу вошел человек пожилых лет. Мы не станем описывать его наружность, потому что она известна нашим читателям. Левшин с первого взгляда узнал в нем проезжего раскольника, с которым повстречался на постоялом дворе.

II

Когда этот проезжий, которого называли Андреем Поморянином, помолился перед иконами, Филипп сказал ему с низким поклоном:

— Милости просим, батюшка!.. Радуюсь твоему посещению и творю земной поклон!..

— Дозволь, отец Андрей, и мне,— промолвил почтительно рыжий раскольник,— приветствовать тебя с нижайшим поклоном.

Все остальные раскольники отвесили также по низкому поклону, исключая Пафнутия, который сидел, не трогаясь, на своем месте.

— И я бы вас приветствовал,— сказал приезжий, окинув строгим взглядом всех присутствующих,— и я сказал бы: мир вам, братие! Да язык не повернется. Нет мира для вводящих богопротивные ереси; нет мира для вас, окаянных душегубцев, всуе призывающих имя Господне!

Эти неожиданные слова совершенно смутили Филиппа и всех прочих раскольников; один Пафнутий вскочил со своего места и хотел что-то сказать, но приезжий не дал выговорить ему ни слова и продолжал своим громовым голосом.

— Безумные! что вы это опять затеяли?.. Морить людей голодной смертью! Тому ли я учил тебя, Филипп, когда ты жил в поморье и был моим келейником?.. Ты человек грамотный, сам испытывал писания, так говори же при всех: со времен апостольских бывали ли когда вольные мученики, по вашему запощеванцы?.. Святые отцы наши, ради того, чтоб победить земные страсти, постились, умерщвляли плоть свою; кто уморил себя гладом?.. Мученики!.. Да мученик тот, кого враги православия предают страдальческой смерти, и кто, несмотря на все истязания, остается верен своему Господу. Вот если бы тебе, Филипп, должно было избрать казнь или отречение от православной веры отцов наших; когда бы

тебе сказал судия неправедный: «Филипп! прими нашу новую никонианскую веру или гряди на место казни». О! Тогда иди смело на все мучения, иди, раб Божий, с радостью и веселием; ибо чело твое украсится нетленным венцом мученика. Если даже ты, дабы не осквернить себя, вкушая пищу из одной чаши с еретиком, погибнешь от глада, то и тогда страдальческая смерть твоя вменится тебе в добрый подвиг. Но тот, кого никто не вынуждает отступить от веры православной, кто может вкушать от трапезы братьев своих и просто, по собственному своему изволению, уморить себя гладом, сожжет огнем или предаст иной какой лютой смерти — тот не мученик, а самоубийца, а наставники его — душегубцы, ибо навеки погубили его душу... Ты ведал все это Филипп, для чего же ты дозволил?..

— Согрешил, батюшка! — сказал Филипп, смиренно преклонив голову.— Обезумел!.. Вот старец Пафнутий прельстил нас!..

— Да, да! — повторили вслед за Филиппом и другие раскольники,— старец Пафнутий прельстил нас!

Пафнутий вскочил со своего места, глаза его сверкали, как у дикого зверя, посиневшие губы дрожали, вместо слов вылетали из уст его невнятные звуки — и вот наконец он завопил неистовым голосом:

— О, маловеры окаянные!.. Ученицы непотребные! Рабы неключимые!.. Тако ли посеянное мною в сердцах ваших семя, не возникнув, погибло от хульных речей сего нечестивого Поморянина?.. Бегите убо, предатели, да не како пожрет вас огнь небесный!.. А ты, проклятый миролюбец, волк хищный, облеченный в одежду пастыря, внимай своему обличению...

— Умолкни, окаянный! — прервал Андрей.— Давно ли ты сгубил всю братию в Фаддеевском скиту, уговоря их креститься по-твоему, каким-то крещеньем огненным... Теперь опять за то же?.. Ступай на свою сосну, спасайся на ней, как умеешь, но с нами нет тебе части!.. Послушайте, братие! — продолжал он, обращаясь к другим раскольникам,— я не стану препираться с этим полоумным о вере, и коли вы желаете со мною примириться, так извергните его, не медля, из среды вашей и дайте мне клятвенное обещание, отныне и навсегда, не иметь никакого общения с этим звероподобным старцем.

— Ну, что же, братие? — сказал Пафнутий, окинув быстрым взглядом всех учеников своих.— Что медлите?.. Изгоняйте вашего наставника!

— Да не гневайся, отец Пафнутий,— промолвил Филипп,— мы батюшку нашего, отца Андрея, на тебя не променяем.

— О, мерзость запустения!— возопил Пафнутий.— Приемлется наемник злочестивый, изгоняется пастырь добрый!..

— Да что, Пафнутий,— сказал один из раскольников, который еще не говорил ни слова,— коли доподлинно никто из святых отцов не был запощеванцем, так чему же ты нас учил?

— Истинно так!— похватил долгобородый.— Коли и угодники Божия вкушали пищу, так какой след нам грешным?..

— Соблазнил ты нас, старец Пафнутий!— прервал рыжий раскольник.— Бог тебе судья!

— Ступай-ка, добро, ступай!— промолвил долгобородый.— Чай, на твоей сосне грачи-то уж гнезд навили.

— С Богом, Пафнутий, с Богом!— сказал Филипп, указывая рукою на дверь.

Пафнутий подошел молча к дверям, схватил с полки глиняный горшок, ударил его оземь и, указывая не черепки, воскликнул:

— Тако да сокрушит Господь главы ваши, Иуде подобные отступники и предатели!.. Да постигнет вас скорбь земная и гибель вечная!.. Да приложит Господь беззакония к беззакониям вашим!.. Да будет ваш пост пресыщением, молитва грехом и хвалебная песня хулою!.. Се отрясаю на вас и прах, прилипший к ногам моим!.. Да будет тако, да будет!

— О, Господи!— прошептал рыжий, глядя вслед уходящему Пафнутию,— как он клянет!

— Эх, не ладно!— сказал долгобородый, почесывая затылок.— Чтоб худо не было!.. Вы слышали, православные, что он нам сулит?

— Слышали!— отвечали вполголоса все раскольники, поглядывая друг на друга с приметным ужасом.

— Что вы это, братие, чего испугались?— спросил Андрей.

— Да как же, батюшка!— промолвил долгобородый.— Разве ты не слышал?.. Старец Пафнутий проклял нас!

— Так что ж?.. Проклятия, изрекаемые нечестивым, падают на главу его.

— Вестимо!— подхватил Филипп.— Ну, чего вы испугались?.. Да пусть себе лается, над ним бы

и тряслось,— разбойник этакий!.. Все горшки у меня перебил!

— Я давно бы спровадил его из наших мест,— сказал Андрей, садясь в передний угол,— да боюсь, чтоб этот шальной и вас всех не оговорил: и так идут о вас дурные слухи... Эх, братие, братие! губите вы вашими делами нашу правую веру!.. Да что ж вы стоите?.. Садитесь! Мне надобно еще о другом побеседовать с вами.

Когда все поместились кругом стола, Андрей, обращаясь к Филиппу, сказал:

— У вас сегодня в сумерки была в лесу драка с проезжими?

— Была, батюшка! — отвечал Филипп.

— За то, что они помешали Пафнутию довершить его беззаконное дело?

— Да мы еще тогда, отец Андрей, думали, что дело то наше законное.

— Лжешь, Филипп! Ты и тогда этого не думал.

— Покарай меня, Господи!..

— Полно, Филипп, не клянись, не прилагай греха к греху!.. Ну, пусть другие это думали, а ты себе на уме!.. Эх, Филипп, заела тебя корысть!.. Ну, да речь не о том. Вы захватили одного из проезжих.

— Не я, отец Андрей!.. Я не указывал никого брать. Все это старец Пафнутий переполошил всю братию. Это, дескать, языки калужского архиерея — их надо допросить.

— Я не о том тебя спрашиваю. Один из этих проезжих у вас ли теперь в скиту?.. Ну, что же ты молчишь?.. Уж не опоздал ли я?.. Избави Господи!.. Да отвечайте же мне, жив ли этот проезжий?

— Живехонек, батюшка,— сказал долгобородый.— Он сидит теперь в кладовой отца Филиппа.

— Ну, слава тебе, Господи! — промолвил Андрей, перекрестясь.— Отлегло от сердца!.. Да знаете ли вы, глупые, кто этот проезжий?.. Ведь он человек не простой: он из начальных людей стрелецкого войска, и прислан сюда не от калужского архиерея, а едет из Москвы с грамотой к боярину Куродавлеву.

— К боярину Куродавлеву! — повторили с робостью все раскольники. Филипп побледнел.

— Да, к боярину Куродавлеву,— продолжал Андрей.— Дело то не шуточное. Его надо немедленно освободить.

— Освободить? — сказал Филипп.— Нет, отец Андрей, это легко вымолвить... Ведь он одного из наших вовсе изувечил... полно, будет ли жив.

— А что ж ему было делать?.. Не шею же протянуть, когда на него напали!

— Да это бы уж так и быть! А вот что худо, батюшка: коли мы его отпустим, так нам всем беды не миновать... А все этот озорник Пафнутий!.. Сидел бы да сидел на своей сосне — сыч этакий!

— Да чего же ты опасаешься?

— Как чего?.. Ты нас, батюшка, не выдашь? Ну, был грех, что делать! Улики бы только не было, так и все концы в воду!.. А коли мы этого проезжего выпустим, да он донесет, что мы товарища его убили...

— Вот то-то и дело, что Господь вас помиловал. Вы его не убили: он теперь у меня в скиту.

— Как так? — вскричал Филипп.— Как же ты мне сказал, Ефрем...

— Сам видел, отец Филипп! — прервал рыжий.— Экое диво, подумаешь!.. Так Гаврила его только что оглушил?.. Ах, Господи!.. Ну, видно, у него лоб-то чугунный!

— Этот слуга стрелецкого сотника,— продолжал Андрей,— рассказал мне обо всем. Коли вы сегодня не отпустите его господина, так он завтра отправится к Куродавлеву; а вы знаете этого боярина: он шутить не любит. Как нагрянет к нам со своими холопами, так вы от него и места не найдете.

— Сохрани Господи! — вскричал Филипп.

— Да, да! — сказал долгобородый.— Коли дадим ему отпор, так он и скит то наш по бревешку размечет.

— А коли покоримся,— промолвил рыжий,— так, чего доброго, он всех начальных людей в скиту, сиречь нас, отдерет нещадно батогами.

— Так мешкать то нечего,— молвил Андрей, вставая.— Я возьму этого проезжего с собою, пусть он переночует в моем скиту... Пойдем, Филипп!

Если вам случилось видеть во сне, что вы приговорены к смерти, или — что еще ужаснее — что ваша земная подруга, которую вы любите более своей жизни, лежит в гробу, что вы не можете ни плакать, ни вздыхать, и с чувством, которому нет названия, с этим чувством вечной, безнадежной скорби, смотрите на ее безжизненное лицо, покрытое смертною бледностью... и вдруг вы пробуждаетесь, и первый взгляд ваш встречает приветливую улыбку той, которая за минуту до того казалась вам бездушным трупом; если вы испытали на себе и весь ужас этого тяжкого сна и все блаженство этого

радостного пробуждения, то вы можете иметь некоторое понятие о том, что чувствовал Левшин. Казалось, что могло быть отчаяннее его положения? Ферапонт погиб, он сам под ножом убийц, для которых смерть его необходима,— и вот верный слуга его жив, а он свободен и, может быть, проведет остаток этой ночи под одной кровлей с той, которую и в мечтах своих он не надеялся уж встретить в здешнем мире!.. О, конечно, такие быстрые переходы от совершенного отчаяния к неизъяснимой радости бывают редко наяву.

Когда Андрей Поморянин вслед за Филиппом вышел из избы, Левшин отправился также назад в свою кладовую. Он только что успел спуститься с лестницы, как послышался снаружи звук ключей, и тяжелая дубовая дверь со скрипом отворилась. Филипп вошел первый; он держал в руке фонарь.

— Здравствуй, господин честной,— сказал он.— Я пришел освободить тебя. Не погневайся, батюшка! теперь только узнал... Ах, Господи, Господи!.. Этот безумный старец Пафнутий переполошил всю братию, да каких было дел наделали!.. Вот твой тесак, батюшка,— целехонек!.. Да пожалуй-ка,— продолжал он, поставив свой фонарь на один из сундуков,— пожалуй, я тебе ручки то развяжу!.. Ахти! Да что ж это?.. У тебя руки не связаны!

— Нет, любезный!

— Ах они дурачье, дурачье!.. Посадить человека в кладовую...

— Не бойся!—прервал Левшин.— Все твои пожитки целы.

— Да твоя милость дело другое: вестимо, ты ничего не украдешь, а ведь они сглупа то, не связавши руки, посадят всякого ко мне в кладовую. Ну, случись ктонибудь другой—так долго ли до греха?.. Здесь всего довольно... Экий глупый народ!

— Пожалуй со мною, молодец,— сказал Андрей,— я отвезу тебя в мой скит. Твой слуга, кони и пожитки, все там.

— Да не обождать ли вам, как начнет светать?— промолвил Филипп, посматривая заботливо на свои сундуки.

— И теперь доедем,— сказал Андрей.— Дорога-то знакомая.

Они вышли на двор. У крыльца большой избы стояла телега, запряженная парой пегих лошадей. На пе-

редке сидел тот самый рослый детина, которого Левшин видел на постоялом дворе.

— Ну, садись, молодец! — сказал Андрей Поморянин Левшину.— Поедем!.. Тебе, я чаю, пора отдохнуть: понатерпелся ты сегодня... Ступай, Егор,— продолжал он,— теперь шажком, а как спустимся в овраг, да переедем за Брын, так рысью. Ну, с Богом!

Когда они въехали на противоположный берег оврага и повернули направо лесом по торной и довольно широкой дороге, Левшин сказал своему спутнику:

— Ведь мы, кажется, любезный, не в первый раз с тобою видимся?

— Да,— отвечал Андрей,— мы сегодня кормили вместе с тобою на постоялом дворе... Ну вот, господин сотник, ты все добивался, чтобы я сказал тебе, куда еду. Видишь ли, что мы и сами не знаем, куда нас приведет Господь? Думаешь ехать в одно место, а попадешь в другое.

— Истинно так, Андрей... А дозволь узнать, как по батюшке?

— Зови меня просто Андреем. Ведь при крещенье-то двух имен не дают.

— Мне еще надо много благодарить тебя,— сказал Левшин, помолчав несколько времени.— Если бы ты меня не выручил...

— Так ты бы просидел взаперти всю ночь — вот и все!

Левшин хотел было сказать, что слышал весь разговор раскольников, но побоялся огорчить этим своего избавителя. Хотя Андрей осуждал и сам поступки своих единоверцев, однако ж, по всему было заметно, вовсе не желал, чтоб посторонние знали, до какой степени дела их преступны и беззаконны.

— Нет, молодец,— продолжал Андрей,— не тебе меня, а мне тебя надо благодарить: ты помешал этому безумному Пафнутию совершить злодеяние, которое покрыло бы стыдом и посрамлением все наше братство. Поди-ка, после уверяй, что мы все, соблюдавшие старую веру, непричастны к такому богопротивному делу.

— Да, я слышал,— сказал Левшин,— что это не в первый раз; говорят, в прошлом году здесь сожглись добровольно в одном скиту...

— Не верь, молодец! — прервал с живостию Андрей.— Эти слухи распускают враги наши. Фаддеевский

скит действительно сгорел прошлого года, да его не нарочно подожгли, и коли сгорели в нем старушки две или три да человек с пяток хворых, так это потому, что они не успели выскочить. Вот то-то наша и беда: однажды кто-нибудь напроказит, и пошла навсегда слава!.. Ну, кто говорит, в семье не без урода!.. Есть и у нас отщепенцы, которые заводят свои толки да согласия. Мы хотим держаться неизменно веры отцов наших, а они свое выдумывают. Противники наши говорят: «Как, дескать, вере вашей быть истинной верою, коли у вас повсюду разделение?» Да когда же этого не бывало? И при апостолах были уже ереси, а в первые времена христианские мало ли было отступников, вводящих всякие нелепые толки; да разве от этого правая вера сделалась неправою? Говорят также: «Коли паства без пастыря — так овцы все врозь разбредутся,— и диво ли, что тогда одни в лесу заплутаются, а другие в болоте увязнут?» Паства без пастыря — так!.. Да полно, лучше ли, когда пастырем-то стада будет волк?.. Скажи-ка, молодец,— продолжал Андрей, заметив, что Левшин слушает его с большим вниманием,— ведь в ваших стрелецких полках, кажись, много есть таких, которые придерживаются старой веры?

— Да, много.

— А ты как?

— Я держусь того, что заповедал мне покойный батюшка.

— Сиречь, ты исповедуешь никонианскую веру?

— По-вашему, видно, так.

— А по-твоему как, молодец?

— По-моему, я принадлежу к православной соборной восточной церкви.

— Право?.. А дозволь спросить тебя: слуга твой мне сказывал, что тебя зовут Дмитрием Афанасьевичем Левшиным?

— Да.

— Матушка твоя чья родом?

— Денисова.

— Не сестрица ли Андрею Яковлевичу Денисову?

— Родная сестра.

— Вот что!.. Так ты, верно, слыхал от нее, что твой дядя, Андрей Яковлевич, человек умный, начитанный и не из простых людей, а крепко держится старой нашей веры?

— Да, слыхал.

— Ну вот, если бы он стал говорить тебе: «Неужели ты думаешь, племянник, что я ни с того, ни с другого, а просто так, очертя голову, пристал к старообрядцам?» Нет, Дмитрий Афанасьевич, поверь мне: ваша никонианская вера вовсе не правая вера. Желаешь ли, племянник, чтоб я открыл твои душевные очи и наставил тебя на путь истинный?.. Да не бойся!.. Захочу ли я зла тебе — сыну любимой сестры моей, одному, которого я еще могу назвать кровным и родным!

Эти последние слова были сказаны таким ласковым и даже нежным голосом, что Левшину показалось, будто бы с ним в самом деле говорит его дядя. Разумеется, он не мог и полминуты оставаться в этом заблуждении: дядя его никогда не был женат, а у этого Андрея Поморянина была дочь-невеста; при том же, по всем известиям, Денисов давно уже переселился в Стародуб, и если еще не умер, то, без всякого сомнения, не переехал бы под старость на житье в Брынский лес.

— Ну, что же ты молчишь, Дмитрий Афанасьевич? — продолжал Андрей.— Скажи, что бы ты ответил своему дяде?

— Что об этом толковать, любезный! — сказал Левшин.— Ты верь по-своему, а я стану верить, как мне указано от отца и матери.

— Да ты сам-то как думаешь?

— Ну, если хочешь знать, изволь — скажу!.. Вот что бы я ответил Андрею Яковлевичу: дядюшка! не за свое дело ты берешься! У нас есть наставники и пастыри духовные, которые имеют на себе рукоположение, идущее от самих апостолов; а тебя кто рукоположил в наставники и пастыри духовного стада?.. Ведь ты такой же мирянин, как и я. Да из чего ты хлопочешь?.. Ты, дядюшка, читаешь: «Верую во единого Бога Отца Вседержителя» по-старому, и я также по-старому; так мы оба исповедуем с тобою одинаковую святую веру. А если в каких-нибудь обрядах или в другом чем неважном и сделаны изменения, так неужели из этого я перестану ходить в церковь Божию и лишу себя святого причастия?.. Избави, Господи!..

— Да ты этого не понимаешь, Дмитрий Афанасьевич,— прервал Андрей.— Ведь грех то не на тебе, а на тех, которые заставили тебя отделиться от церкви; на тех, которые исказили книги духовные.

— А может статься, не исказили, а исправили?.. Эх, любезный, про то лучше нас с тобою знают те, которых для сего осветила и помазала сама церковь.

— Лучше знают! — повторил с досадой Андрей.— Да если ваши пастыри духовные в этом не правы?

— Так они в ответе. А если я сам начну мудрить, да собьюсь с толку и сделаюсь еретиком — так чем же я тогда оправдаюсь?.. «Нет, дядюшка! — сказал бы я.— О чем другом, а об этом я с тобой и говорить то не хочу».

— Да вряд ли бы и он стал после этого говорить с тобою,— промолвил вполголоса Андрей.

Разговор прекратился. Левшину не трудно было заметить, что его спутник был очень недоволен своей неудачной попыткой; он сидел, отворотясь от Левшина, и, казалось, вовсе не был расположен возобновить свою беседу. С полчаса продолжалось это молчание, наконец Левшин решился заговорить опять с угрюмым товарищем и спросил, далеко ли еще осталось до его скита.

— Не знаю! — промолвил нехотя Андрей.— Ведь здесь версты то не мерные.

— А что, любезный,— продолжал Левшин,— ты говорил о моем дяде Андрее Яковлевиче.— Что ты знавал, что ль, его?

— Нет!.. Слыхать о нем слыхал, а никогда не видывал.

— Не знаешь ли, где он живет?

— Напредь сего жил в Стародубе.

— А теперь где?..

— Теперь?.. Да Бог весть!.. Может статься, на том свете; говорят, что он помер.

— А верных известий об этом нет?

— Не знаю. Я на похоронах у него не был.

— Ну не ты, так кто ни есть из ваших.

— Да что тебе за дело, жив ли он или умер. Тебе, чай, покойный батюшка заказал с ним и знаться?

— Нет, батюшка никогда мне этого не заказывал.

— А матушка?

— А матушка и подавно. Кабы ты знал, как она горевала о том, что родной брат, который прежде жил с нею душа в душу, вовсе забыл ее, покинул!..

— Неужели в самом деле горевала?.. — прошептал Андрей.— Так она помнила своего брата?

— Как же!.. Матушка, бывало, всегда говорила о нем со слезами.

— Со слезами!.. Что ж она, о чем плакала?

— Я уж тебе сказал о чем.

— Да полно, о том ли? Чай, думала: «Как мне не плакать! Я, благодаря Господа, православная, а бедный брат мой раскольник! я уж наверное спасусь, а он что?.. Черту баран!»

— Нет, Андрей, этого она никогда не говорила.

— Видно, не случалось... Да что об этом!.. Ну, погоняй, Егор: теперь дорога то пойдет все ровная.

Разговор снова прекратился. Вот прошло еще с полчаса. Густой лес, по которому ехали наши путешественники, становился все чаще и темнее. Вдруг послышался вблизи громкий лай.

— Ну, вот и приехали! — промолвил Андрей.

— Приехали! — повторил Левшин. — Да где же твоя усадьба?

— Вот прямо-то, за этим березняком.

— Я ничего не вижу.

— Как ближе подъедешь, так увидишь.

Дорожка повернула направо, и через несколько минут они подъехали к воротам обширной усадьбы, которая была со всех сторон окружена крупным березовым лесом. Эта усадьба была обнесена так же, как и скит филипповцев, бревенчатым тыном. Сторож растворил широкие дубовые ворота, и Левшин, при свете утренней зари, которая начинала уже заниматься, увидел перед собою просторный двор, обставленный с двух сторон высокими избами. Посреди двора подымались, по-тогдашнему, довольно обширные хоромы; к ним с правой стороны пристроена была вышка, или терем, с тремя красными окнами, а с левой огромное крыльцо с рундуком и широким дощатым навесом.

Когда Левшин подъехал к этим хоромам, спрыгнул с телеги, к нему подбежал человек, у которого голова была обвязана белым платком.

— Батюшка! — вскричал он! — Ты жив!.. Ну, слава тебе, Господи!

— Здравствуй, Ферапонт! — сказал Левшин, обнимая своего верного слугу. — Ну что, бедняжка, тебя больно зашибли?

— Ничего, батюшка!.. Мы здесь примочили винцом, так теперь как рукой сняло. Правда, шишка порядочная, с кулак будет — да это что!.. до свадьбы заживет.

— Ну, Дмитрий Афанасьевич, — сказал Андрей, — нам обоим пора отдохнуть. Твой служитель покажет тебе светлицу, которая для тебя приготовлена... Да не хочешь ли покушать?

— Нет, благодарю покорно!

— Да ты не опасайся, Дмитрий Афанасьевич,— продолжал Андрей.— Ведь у нашей братии, раскольников, всегда есть про вас, господа православные, особая посуда; небойсь — не осквернишься.

— Я этого не боюсь, любезный! — сказал Левшин,— и готов есть с тобой одной ложкой и пить из одного стакана, да я вовсе не голоден.

— Ну, воля твоя! Насильно утощать не стану... Прощай, молодец! — промолвил Андрей, уходя в дом.— Коли есть не хочешь, так ступай отдохни!.. Ты, чай, умаялся.

— Пойдем, Дмитрий Афанасьевич,— сказал Ферапонт.— Нам отвели ночлег вот здесь, в этой клети. Знатная светлица!.. Теперь в покоях то, чай, жарко, а в ней такая прохлада, что и сказать нельзя!.. Пожалуй, батюшка, пожалуй!

III

Левшин, вслед за своим слугой, вошел в небольшую избушку, в которой не было ни печи, ни полатей; в ней горел ночник, и стояла кровать с затрапезным пологом. В одном углу лежали их пожитки, оружие и вся конская сбруя, в другом — на широкой скамье был постлан войлок для Ферапонта.

— Ложись-ка, батюшка, скорей,— сказал Ферапонт,— да сосни хоть немножко. Вишь, какой выдался денек! И мне и тебе ломки-то было... Господи Боже мой!

— Мне вовсе спать не хочется,— отвечал Левшин,— а вот разве прилягу только да отдохну.

— Ну, ладно! — промолвил Ферапонт, зевая,— меня так больно сон клонит.

— Так чего же ты дожидаешься? Ложись да спи.

— Успею выспаться, Дмитрий Афанасьевич, а благо ты почивать не хочешь, так расскажи-ка мне лучше, что с тобой было?

Левшин скинул с себя верхнее платье, прилег сам на кровать, а Ферапонту велел сесть на скамью и стал ему рассказывать о том, что известно уже нашим читателям. Несмотря на то, что Ферапонта сильно одолевала дремота, он слушал с большим вниманием своего барина.

— Так они хотели уходить тебя? — вскричал он, когда Левшин кончил свой рассказ.— Ах, они проклятые!.. Ну, дай Бог здоровья здешнему хозяину!.. Кабы он тебя не выручил, то беды бы не миновать!

— А ты как сюда попал, Ферапонт? — спросил Левшин.

— А вот как, батюшка: меня эти разбойники оставили замертво на поляне, и если бы Дарья — вот девка-то, что была с другими запощеванцами,— не попрыскала меня водицей, так я не скоро бы очнулся, а, может статься, меня и волки бы заели. Вот как я очнулся и узнал, что эти душегубы увели тебя с собой, так хотел было бежать в их скит, да Дарья-то меня отговорила. «Ты, дескать, один ничего не сделаешь; поедем лучше к прежнему моему хозяину: он уж наверное выручит твоего барина». Вот мы поехали. Этот Андрей принял нас сначала не больно ласково, да как я рассказал ему, за что мы поссорились с филипповцами и как они меня чуть не убили, а барина моего, стрелецкого сотника Дмитрия Афанасьевича Левшина, захватили живьем, так он — батюшки-светы!.. заторопился так, что и Господи! Кричит: «Запрягай лошадей!.. проворней!.. живо!..» Меня сдал на руки Дарье, а сам в телегу, да и покатил со двора. Дарья накормила меня, примочила голову вином, поразболталась со мной, да такие стала речи говорить, что я рот разинул. «Я, дескать, твоего барина-то знаю!» — «Как так?» — «Ну да, я видела его в Москве; и дочка-то моего хозяина его знает. Он, дескать, ей очень приглянулся!» — «Как не приглянуться! — сказал я.— Ведь барин-то мой молодец!» — «А она-то пришла ли ему по сердцу?» — спросила Дарья. Виноват, батюшка! стыдно было вымолвить, что я ничего не знаю. «Как же! — сказал я,— и очень пришла по сердцу. Ведь она пригожа собою?» — «У! батюшки! — закричала Дарья,— что твое красное солнышко!.. Вот, Ферапонт, кабы твой барин... Ведь он не женат?» — «Нет, мол, не женат».— «То-то была бы парочка!» Вишь, с чем подъехала! — подумал я. «Нет, лебедка! Барин-то мой не вашего поля ягода!.. Коли он задумается жениться, так не пойдет искать невесты в раскольничьем скиту!.. Такого молодца и богатого помещика не токмо где-нибудь в городе, да и в самой-то Москве белокаменной с руками оторвут!»

— Нет, Ферапонт,— прервал Левшин,— ты напрасно это думаешь. Я точно люблю дочь здешнего хозяина

и если не женюсь на ней, так навсегда останусь холостым.

— Вот тебе раз!—прошептал Ферапонт.—Ах, батюшки! Думал солгать, а сказал правду!.. Так она, в самом деле, Дмитрий Афанасьевич, пришла тебе по сердцу?

— Да так-то пришла, Ферапонт, что без нее и жизнь не красна, и молодость не в утеху, и богатство хуже нищеты!

— Ну, это иная речь!.. Коли она тебе люба, так делать нечего,—женись, батюшка!

— Ах, Ферапонт, я боюсь: согласится ли ее отец...

— Что ты, Дмитрий Афанасьевич!—вскричал Ферапонт с таким негодованием, что, казалось, на эту минуту сон прошел.—Да в своем ли ты уме?.. Чтоб этот балахонник, у которого и прозвища-то нет, забраковал тебя, родословного человека, такого молодца и красавца!.. Да смеет ли он это и подумать?

— Ты, видно, забыл, что он старообрядец?

— Так что ж?.. А мы то, православные, татары, что ль, или немцы какие?.. Кажись, мы в одного Христа веруем!.. Нет, батюшка, за этим дело не станет. Да вот, примером сказать, хоть Дарья,—продолжал Ферапонт, зевая,—ведь она старообрядка, а знаешь ли что она мне говорила? «Я, дескать, Ферапонт, что гляжу на тебя, то больше дивлюсь. Как я гадала в прошлом году на святках, так видела во сне вовсе не Архипку рыжего, а тебя—точно тебя!.. Видно, ты мой суженый...» Вот оно, батюшка, и выходит... коли она... сиречь, Дарья...

— А что, Ферапонт,—сказал Левшин, не замечая, что слуга его заснул,—взял ли бы ты за себя Дарью?.. Ферапонт!..

— Фу-ты пропасть!.. вздремнул!.. Что, батюшка Дмитрий Афанасьевич?

— Женился ли бы ты на Дарье?

— На Дарье?.. А почему же нет?—пробормотал Ферапонт, покачиваясь на своей скамье.—Девка знатная... дородная... Ух, батюшки!.. как на заре-то марит человека!.. так глаза и слипаются!.. Оно конечно, Дмитрий Афанасьевич... почему бы... я уж в летах, и Дарья... не то чтобы... однако ж все-таки... и тово...

Ферапонт прошептал еще слова два или три, голова его помоталась несколько времени то направо, то налево, потом опустилась на грудь, и он заснул тем богатырским сном, о котором так часто говорят в русских сказках, то есть, по словам наших древних рассказчиков,

которые любили красное словцо отпустить: «Захрапел так, что сыр-бор застонал и крутом вся земля ходуном пошла».

Несмотря на соблазнительный пример своего слуги, Левшин не мог заснуть. Тысячи различных мыслей и радостных и грустных волновали его душу. За несколько часов до этого он не мог даже надеяться, что останется жив, а и того менее, что может быть мужем той, которая пришлась ему по сердцу. Он любил и знал, что его любили... Но кто она, эта краса-девица, которая с первого взгляда сделалась для него милее всего на свете?.. Где живет? Как зовут ее отца?.. Все это было для него загадкой. Левшин, конечно, не мог ожидать, что случай сведет их опять вместе и если не переставал думать о своей незнакомке, если мечтал иногда о каком-то несбыточном счастье, так это потому, что ему все-таки отраднее было обманывать себя этой утешительной мечтою, чем вовсе от нее отказаться,— и что ж?.. Вот Левшин не только знает теперь, кто эта незнакомка, но может сказать отцу ее: «Я люблю твою дочь, она также меня любит, и коли ты не хочешь сгубить навеки и ее и меня, так благослови нас»... «Боже мой! — думал Левшин,— неужели в самом деле Софья может быть моею женой?.. О! мне кажется, я не переживу этой радости!.. Но если Андрей не захочет назвать меня сыном... если он... избави Господи!.. вот тогда-то я буду несчастлив!.. Ты встретился опять с тою, которая была уже для тебя как умершая... Вот она!.. жива, любит тебя, может быть твоей женою... Ну, что ж?.. Полюбуйся на нее, посмотри, как она прекрасна — и простись с нею навсегда!.. Навсегда!..» От этой ужасной мысли сердце леденело в груди бедного Левшина; он приходил в отчаяние, а потом опять надежда оживала понемногу в душе его. «Нет! — думал он,— Андрей вовсе не походит на этого безумного Пафнутия... Ферапонт правду говорил: он старообрядец — так что ж?.. А я-то разве татарин или немец?.. Он молится по старым, а я по новым книгам, а все-таки мы оба молимся тому же Христу... Но он так крепко стоит за свою старую веру... Почем знать, может быть, я в глазах его хуже некрещеного... О, Боже мой, Боже мой! — шептал Левшин, чувствуя, что кровь снова застывает в его жилах.— Скоро ли придет утро?.. Уж один бы конец!»

Левшин успел несколько раз повторить это желание прежде, чем оно исполнилось. Когда первый солнечный

луч, прорвавшись сквозь густые березы, заискрился на тусклом стекле единственного окна светлицы, Левшин вскочил с постели и накинул на себя верхнее платье; в эту самую минуту постучались в дверь.

— Кто тут? — спросил Левшин.

— Я, батюшка, Дарья. Можно войти?

— Ступай.

— Не прогневайся, господин честной! — сказала Дарья, входя в светлицу. — Я, может статься, помешала тебе почивать?

— Нет, голубушка, ты видишь, я уж одет.

— Вижу, батюшка!.. А твой слуга, кажись, вовсе не ложился... Ах, сердечный, спит сидя!..

— Не тронь его, пусть себе спит.

— Я, батюшка, покамест у нас никто еще не вставал, хотела с тобой повидаться и еще разочек поблагодарить тебя за твою великую милость. Кабы не ты, Дмитрий Афанасьевич, умирать бы мне голодной смертью!..

— Что об этом говорить, Дарья. И мне бы также худо пришлось, если б ты не проводила Ферапонта к твоему хозяину. Скажи-ка лучше мне... — промолвил, запинаясь, Левшин.

— Что, батюшка? Знает ли Софья Андреевна, что ты здесь?.. Как же!.. Ну, Дмитрий Афанасьевич... хотя бы мне вовсе не след об этом говорить, да уж так и быть — скажу!.. Заполонил ты ее совсем!.. Вот, подумаешь, что на роду написано, так того никак не минуешь. И то уж диво, что вы друг с другом в Москве повстречались, а теперь опять сошлись в Брынских лесах!.. Ах, Дмитрий Афанасьевич, кабы ты знал, как она обрадовалась!.. Всю ночь напролет не почивала: и плачет, и смеется, и Богу молится!.. Теперь пошла на огород поливать свои любимые цветочки... Да не хочешь ли ты, батюшка, туда прогуляться?.. А есть чего посмотреть: огород у нас такой знатный!.. Сколько яблонь, вишен!.. Коли хочешь, я тебя провожу...

Левшин не мог отвечать ни слова: вся кровь прилила к его сердцу. Мысль, что через минуту он увидит Софью и станет говорить с ней, возбудила в душе его такую радость, такой восторг — и в то же время такой болезненный, неизъяснимый трепет, такое чувство боязни, что он не знал на что решиться, и в первую минуту почти готов был отказаться от этого счастья. Кто истинно любил, тот поймет это чувство и, вероятно, не станет смеяться над

Левшиным и дивиться, как дивилась Дарья, которая не могла понять, чего он дожидается.

— Ну, что ж, молодец? — сказала она.— Иль ты не хочешь полюбоваться нашим огородом?.. Ведь, как все подымутся,— промолвила Дарья вполголоса,— так Софья-то Андреевна уйдет опять в свой терем.

— Ну, пожалуй,— прошептал наконец Левшин, с трудом переводя дыхание.— Пойдем!..

— Пожалуй! — повторяла про себя Дарья, идя двором и поглядывая на Левшина, который шел вслед за ней.— Пожалуй!.. Что ж это?.. Уж полно, любит ли он ее?.. Смотри, как нехотя идет!.. Словно его насильно тащут... Ну, если и он так же, как Архипка рыжий, скажет: «Я твой суженый, да не ряженый!..» Чего доброго!.. Может статься, и этот пострел помолвлен на какой-нибудь Дуняшке!..

Левшин и его проводница дошли, не встретив никого, до высокого частокола, которым отделялся от двора и всех строений обширный фруктовый сад, или, по-тогдашнему, огород.

— Пожалуй сюда, Дмитрий Афанасьевич,— сказала Дарья, отворяя калитку.— Вот тут, за этим вишняком, растут у нас подсолнечники, да еще какие, батюшка: выше тебя ростом. Бывало я ухаживала за ними вместе с Софьей Андреевной; а с той поры, как батюшка ее вывез из Москвы два кустика махровых розанов, так она на подсолнечники и смотреть не хочет... Сюда, батюшка, сюда, по этой тропинке... Ну, вот и Софья Андреевна...

Я не берусь описать вам то, что почувствовал Левшин, когда увидел перед собой Софью. Она стояла, наклонясь над кустом розанов; одна рука ее была плотно прижата к сердцу, другой она обрывала с куста сухие листья. Длинные черные ресницы ее опущенных глаз резко выделялись от помертвевшего лица, бледного как белый мрамор, но все еще прекрасного и исполненного необычайной прелести. Несмотря на ее положение, нетрудно было отгадать, что в эту минуту она вовсе не думала о розанах, на которые смотрела. Рука ее дрожала, высокая белоснежная грудь сильно волновалась. Она не подымала глаз: ее девственный, стыдливый взгляд не повстречался еще с пламенным взором влюбленного юноши, но сердце в ней чувствовало близость того, чей милый образ не покидал ее ни днем, ни ночью, кто был единственным предметом всех тайных дум ее, надежд и робких ожиданий.

— Софья Андреевна! — сказала Дарья. — Ты хотела сама поблагодарить за меня Дмитрия Афанасьевича... Ну, вот он!

Бледное лицо красавицы вспыхнуло; она приподнялась, хотела что-то сказать, но слова замерли на устах ее. Левшин также не мог вымолвить ни слова. И до речей ли тому, кто чувствует себя вполне счастливым; а в эту минуту Левшин был совершенно счастлив. Жадные взоры его насыщались наконец давно желанным благом; в них переселилась вся душа его; он смотрел с восторгом на Софью и молча наслаждался этим неожиданным блаженством.

— Ну, что ж ты, матушка Софья Андреевна, — сказала Дарья, — промолви хоть словечко!

Вот розовые губки стыдливой красавицы зашевелились, и она прошептала едва слышным голосом:

— Дай Бог тебе здоровья, Дмитрий Афанасьевич!.. Коли Дарья смотрит теперь на свет Божий, так это по твоей милости...

— А я то, Софья Андреевна, — прервал Левшин, — разве не по ее милости вижу тебя и разговариваю с тобою?

— Вот это дело настать! — молвила про себя Дарья, — а то сошлись, да ни словечка!.. Ну, что ж вы стоите? — продолжала она. — Присядьте на этой скамеечке рядком да поговорите ладком, а я меж тем цветочки полью.

Левшин и Софья сели на скамью, которая стояла посреди небольшой куртины мелких вишневых деревьев.

— Я слышала от Дарьи, — сказала Софья, — что тебя чуть не убили, Дмитрий Афанасьевич...

— Небольшая беда, если б меня и убили, — промолвил с грустью Левшин. — Ведь я сирота: обо мне пожалеть некому.

— Некому! — повторила с живостию Софья. — Некому!.. И ты можешь это думать?

Эти слова были сказаны таким нежным голосом, что Левшин совершенно обезумел от радости.

— Так ты стала бы жалеть обо мне? — спросил он робким голосом. — Так ты любишь меня?

Вместо ответа Софья потупила опять свои ясные очи и закраснелась, как маков цвет.

— О! Скажи мне, Софья! — шептал Левшин. — Скажи, что ты меня любишь!

— Да разве ты этого не видишь? — промолвила Софья и подумала:

«Может быть, мы никогда уже не встретимся друг с другом, и я в разлуке с тобой зачахну с горя — так все-таки сердцу будет полегче, когда, умирая, подумаю: «Он знает, как я люблю его!..»

— Да, Дмитрий Афанасьевич! — продолжала она, устремив на Левшина взор, исполненный неизъяснимой любви.— Да! Я люблю тебя более всего на свете — ты милее для меня отца и матери...

— А я, Софья,— прервал Левшин,— я не найду и речей, чтобы высказать тебе все, что у меня на сердце. Кабы ты знала, как я тосковал о тебе!.. Весь Божий мир мне опостылел, для других было и ведро красное и светлые летние денечки, а для меня все непогодица и осень темная!.. Мне казалось, что и солнышко меня не греет, что и светит-то оно не для меня!.. Только и бывало радости, как увижу тебя во сне, моя ненаглядная!.. Да и тут беда: во сне-то я радуюсь, а как проснусь, так мне пуще Божий свет не взмилится, вот так бы и лег живой в могилу!.. И мог ли я думать, что увижусь с тобою здесь?.. О, поверь мне: сам Господь Бог благословляет любовь нашу!.. Не будь вчера грозы, не заплутайся я в лесу, не поссорься с филипповцами, и мне бы ввек не узнать, что ты живешь в этих Брынских лесах,— так как же не сам Господь привел меня опять увидаться с тобой?

— Да надолго ли мы свиделись? — промолвила Софья.— Ах, чует мое сердце: скоро мы опять расстанемся и, может статься, эта разлука будет уже вечной разлукой!

— Вечной разлукой? — вскричал Левшин.— О, нет, Софья, теперь уж я не расстанусь с тобой!.. Да не плачь, мой милый друг!.. Бог милостив!.. Я богат, у меня нет ни отца, ни матери, мне не у кого спрашиваться... Я откроюсь во всем твоему батюшке, скажу ему, что ты меня любишь...

— Ах, Дмитрий Афанасьевич, не знаешь ты его!.. Коли ты не придешься ему по нраву, не посмотрит он на мои слезы!..

— Да разве он тебя не любит?

— Говорят, что любит, да, видно, по-своему. Он ничего для меня не жалеет, у меня всего довольно, да зато, коли он чего не захочет, так Боже сохрани сказать ему словечко вопреки. Ты сирота, Дмитрий Афанасьевич, да ведь и я также сирота. Батюшка так редко бывает со мной ласков, порадует иногда, приголубит... да как будто бы сам этого испугается; ну, словно я ему вовсе чужая. А покойную

матушку я даже и не помню. Хотелось бы иногда поговорить о ней с батюшкой, да не смею: он этого не любит. Ах, Дмитрий Афанасьевич, кабы ты знал, что подчас приходит мне в голову!.. Страшно вымолвить!..

— А что такое, Софья?..

— Мне кажется иногда...

— Ну, молодец! — раздался в кустах резкий голос,— видно, ты встал вместе с солнышком!

Левшин и Софья вскочили: позади их стоял Андрей.

— Не больно же ты умаялся, Дмитрий Афанасьевич,— продолжал Андрей.— Вот твой слуга, так его насилу добудились... Да и ты что-то, Софья, поднялась сегодня ни свет ни заря.

— Я, батюшка, пришла сюда...— промолвила Софья.

— Добро, добро! — прервал Андрей.— Нечего отвечать, коли тебя не спрашивают!.. Утренняя роса вредна для девушек. Ступай-ка, голубушка, в свою светлицу. А тебе, молодец,— промолвил он, провожая глазами уходящую Софью,— пора в дорогу: кони ваши оседланы... С Богом!..

— Позволь мне прежде,— сказал Левшин,— переговорить с тобой.

— Со мной!.. О чем? Уж не о том ли, что ты зашел ко мне в огород нечаянно, что вовсе не думал и не гадал повстречаться здесь с молодой девушкой?..

— Нет, Андрей, я пришел сюда нарочно.

— Нарочно?..

— Я хотел повидаться с твоей дочерью.

— Вот что!.. Спасибо, молодец!..

— Выслушай меня. Я люблю Софью Андреевну...

— Что, что?.. Ты любишь Софью?.. Да что ж ты прежде-то во сне, что ль, ее видел?..

— Я видел ее в Москве.

— В Москве?.. Что ты, молодец!.. Да в Москве-то она и на крылечко никогда не выходила.

— Я жил вместе с вами на Мещовском подворье, в небольшом покойчике, рядом...

— С светлицей моей дочери? — прервал с живостью Андрей.— И хозяйка пустила тебя?.. Проклятая старуха!.. Уж я ли ей не заказывал...

— Не гневайся, Андрей!.. Мне в Москве не удалось даже и поговорить с Софьей Андреевной, но теперь, когда я знаю, что она меня любит...

— А ты уж успел это узнать?.. Ну, молодец, проворен ты!

— Ах, Андрей! — сказал Левшин, — будь милостив!.. Не губи навеки и меня, горемычного сироту, и твоей родной дочери!.. Благослови нас...

Андрей не отвечал ни слова, но только угрюмый взор его сделался еще мрачнее.

— Я сам себе господин, — продолжал Левшин, — у меня хорошее поместье; ты знаешь, что я человек родовой и служу сотником в стрелецком войске...

Андрей взглянул с такой презрительной и насмешливой улыбкой на Левшина, что он совершенно смутился и не мог продолжать начатой речи. С полминуты продолжалось молчание.

— Ну, что ж, Дмитрий Афанасьевич, — молвил наконец Андрей, — ты родовой человек, стрелецкий сотник, богатый помещик... Нет ли еще чего-нибудь?.. Уж ты разом все высказывай, а там я повалюсь тебе в ноги и завоплю: батюшка! чем заслужил я такую милость, что ты, знатный господин, желаешь породниться со мной, недостойным раскольником и безымянным человеком?.. Да стоит ли моя Сонька того, чтоб ты изволил ее назвать своею супругой?.. Нет, Дмитрий Афанасьевич, велика честь, а принять ее не смею. Где нам, простым людям, набиваться в такое знаменитое родство!

— Да я не ради хвастовства говорил об этом, — прервал Левшин, — а для того, чтобы ты знал, что дочь твоя будет жить во всяком довольстве.

— Так, Дмитрий Афанасьевич, так! А ведь она у меня, сердечная, живет в нужде.

— Я не говорю этого.

— Конечно, ты бы и меня тогда пристроил к местечку: на первых порах взял бы к себе в приказчики, а там, глядишь, я и в дядьки бы попал к своим внучатам.

— Ты напрасно это говоришь, Андрей!.. Я стал бы тебя любить и почитать как отца родного.

— И, что ты, господин честной!.. Ну, пригоже ли простому балахоннику называть сыном родового человека и такого знаменитого сановника!

— О, ради Бога! — вскричал Левшин почти с отчаянием, — коли ты не хочешь выдать за меня твоей дочери, так не глумись надо мной, а скажи прямо!

— Ты желаешь этого?.. Так слушай, Дмитрий Афанасьевич!.. Если бы ты был из наших, то и тогда я не ударил бы с тобою по рукам, не узнав тебя хорошенько. И как в голову тебе пришло, что я отдам мою дочь за первого проезжего молодца?.. Богатством ты меня не

удивишь, а чином своим и подавно; да это все ничего!.. Будь ты, в самом деле, знаменитым сановником, воеводой, думным бояриным,— чем хочешь, а все-таки моей дочери не бывать за тобою... Я воспитал ее в правой вере, так отдам ли в руки никонианца, который совратит с истинного пути и погубит навеки ее душу.

— Да разве, Андрей, я не такой же христианин, как ты?

— И немцы говорят то же. Спроси у любого лотаря, какой он веры, так и тот ответит, что он христианин... Да что толковать об этом!.. Вот тебе мой ответ, Дмитрий Афанасьевич: если б мне сказали, что дочь моя умрет сегодня же, коли я не выдам ее за того, кто исповедует никонианскую веру, так я бы пошел и сам сколотил ей гроб. Прощай, молодец.

Хотя Левшин и должен был ожидать этого решения, но оно поразило его как внезапный громовой удар. Как бы ни был уверен подсудимый, что для него нет никакой пощады, но он все еще чего-то надеется и его, конечно, не столько поразит прощение, которого он не мог ожидать, чем строгий приговор, к которому он был уж приготовлен. Прошло несколько минут, а Левшин все еще не мог опомниться: он стоял неподвижно на прежнем месте. В голове его не было ни одной мысли; он смотрел и ничего не видел, повторял последние слова Андрея и не понимал их; но на груди его лежала свинцовая гора, и он, хотя смутно, как во сне, однако ж чувствовал, что с ним случилось что-то ужасное. Может быть, Левшин пробыл бы еще долго в этом полусознательном состоянии, если б не послышался ему в двух шагах голос верного его слуги.

— Пожалуй, Дмитрий Афанасьевич! — сказал Ферапонт.— Все готово.— Теперь-то настоящая и езда: по холодку ехать и коням легче и нам привольнее. Да нас же,— продолжал он вполголоса,— только что не в шею отсюда гонят!.. Поедем, батюшка!

Левшин молча пошел вслед за Ферапонтом; они сели на коней, и когда выехали за ворота скита, из сторожки выглянула Дарья и сказала шепотом Ферапонту: «Смотри же, голубчик, не забудь: Аксинья Никитишна».

— Небойсь, лебедка, не забуду! — промолвил также шепотом Ферапонт.

— Ну, прощай, добрый молодец!

— Прощай, мое солнышко весеннее! — сказал Ферапонт, подмигнув Дарье и надевая набекрень свою войлочную шапку.

IV

Когда наши путешественники отъехали с полверсты от скита, Ферапонт сказал своему барину:

— Ну, батюшка, какого мы дали крюка!.. Я все расспросил порядком. От постоялого двора, где мы вчера кормили, до села Толстошеина считают с небольшим двадцать верст; а теперь нам придется ехать верст шесть до одного раскольничьего скита: в нем живут какие-то федосеевцы, с которыми Андрей Поморянин и знаться не хочет. От этого скита до полсела Куклина без малого пятнадцать верст, а от Куклина до Толстошеина, почитай, тоже, ан и выходит гораздо за тридцать. Да это бы еще ничего, а вот что худо, Дмитрий Афанасьевич: лошадки наши сенца пощипали, а овса-то не успели перехватить. И на водопой их не водили... Да что это хозяин наш так заторопился?.. Как разбудили меня, я вскочил — глядь: а уж кони оседланы!.. Вот они раскольники-то, батюшка!.. Нет, мы, православные, не так гостей принимаем: кушай вдоволь, спи себе до полудня, прохлаждайся, а пришла пора ехать, так мы и ворота на запор!.. А это что? «Просим, дескать, милости!.. Рады гостю дорогому... Только не засиживайся, а не то в шею!..» Ну, что, батюшка, успел ли ты намекнуть Андрею о своем дельце?..

— Он все знает,— сказал Левшин.

— Ну, что ж?

— Что, Ферапонт!.. Не судил мне Господь быть счастливым!

— Как так?.. Да неужели он не выдает за тебя своей дочери?

— И слышать не хочет!

— Нет!.. Да что ж он — рехнулся, что ль! Коли ты ему не зять, так за кого же он хочет выдать свою дочь?.. Ах, он, балахонник проклятый!.. Уж не прочит ли он свою дочку за какого-нибудь знаменитого воеводу? Вишь, боярин какой!.. Сермяжник этакий!.. Да ты, батюшка, не кручинься,— продолжал Ферапонт, посматривая с участием на своего барина.— Это еще дело поправное.

— А как ты его поправишь? — сказал Левшин.— Уж не думаешь ли ты, что я забуду Софью... полюблю другую?..

— И это бывает, Дмитрий Афанасьевич...

— О нет, Ферапонт!.. Я уж тебе говорил, что без нее и жизнь мне не красна... Мне и прежде было тяжело, а теперь... о, теперь... я, верно, зачахну с горя!.. Да не качай головой: вот как тоска сведет меня в могилу, так поневоле поверишь!..

— Эх, батюшка барин!.. Да почему ж ты говоришь, что тебе стало теперь еще тяжелее? А прежь сего знал ли ты, где живет твоя красавица?

— Нет. Я не знал даже, кто ее отец и как его зовут.

— Ну, видишь ли!.. Вот тогда было от чего кручиниться — поди-ка, отыщи на святой Руси того, кого не знаешь по имени!.. А теперь то ли дело: ты знаешь, где она живет, да и мы-то станем жить близехонько: от села Толстошеина до Андреева скита рукой подать... Мало ли что может случиться? Верней всего, что сам Андрей спохватится. Ведь он это так, сдуру тебя ошеломил!.. А не то хотел почваниться да поломаться над тобой. Погоди, батюшка, перемелется рожь — будет мукой!.. Дочка станет к нему приставать, а ты меж тем весточки от нее получать будешь.

— Весточки!.. Да через кого же?

— Ну уж, так и быть, все тебе скажу!.. Ведь Дарья-то стоит в том, что она моя суженая; коли правду сказать, так и я не прочь — девка такая здоровенная, знатной будет работницей!.. Вот она мне и сказала: «Есть, дескать, у меня знакомая старушка, Аксинья Никитична; живет она в скиту федосеевского согласия; вы мимо его поедете. Поклонись ей и скажи, чтоб она ждала меня к себе в будущее воскресенье; а ты и сам, молодец, приезжай из села Толстошеина, так и со мной повидаешься, и барину твоему привезешь весточку от Софьи Андреевны».

— Ну что ж, Ферапонт, ты, верно, обещал?

— Вестимо, батюшка!.. Коли девица красная зовет на свиданьице, так молодцу непригоже отнекиваться. Ну, Дмитрий Афанасьевич! правду ли я тебе говорил, что дело-то поправное?.. Андрей поупрямится, да как увидит, что с дочкой-то делать нечего...

— Нет! — прервал Левшин, — он не сжалится над ее слезами. Андрей сказал мне, что ему легче видеть свою дочь в гробу, чем женою того, кто исповедует никонианскую веру.

— Так вот что?.. Ну, коли этот шальной станет все упираться, так что ж?.. Или доброму молодцу в нарекании оставаться?.. Что, в самом деле: была бы только ее

воля, а ведь она не за тремя каменными стенами живет!. Подъехал вечерком на лихой тройке, притаился на задах, да и жди урочного часу. Ей долго ли,— шмыг в калитку, а мы и тут!.. Под белы руки, в телегу — да и катай!..

— И ты думаешь, она согласится?

— И, батюшка, коли любит, так на все пойдет... Кто и говорит: с отцовским благословеньем лучше, да коли отец-то этакой упрямый леший!.. А знаешь ли что, Дмитрий Афанасьевич: может статься, он и радехонек будет, коли ты дочку-то его сманишь?

— Почему ты это думаешь?

— Да как же, батюшка: она выйдет за богатого помещика, а он перед своей братьей, старообрядцами, прав останется: «моей, дескать, воли не было, братцы: девка-то, не спросясь меня, под венец пошла. А уж коли их повенчали, так делать нечего, развенчивать не станут».

Несмотря на то, что все эти предположения и надежды казались Левшину не очень сбыточными, он слушал с жадностью утешительные речи Ферапонта. Левшин выехал из Андреева скита с отчаянием в сердце, а теперь хотя и не смел ни на что надеяться, но уж и то было для него большой отрадой, что Софья может, хотя изредка, давать ему о себе весточку. Мало-помалу на сердце у него стало полегче. «Бог весть,— думал он,— когда я увижу опять Софью?.. Но, по крайней мере, буду знать, что с ней делается; может быть, Андрей и, в самом деле, сжалится над своей дочерью; а коли не сжалится да еще вздумает выдать ее насильно замуж, так я узнаю об этом — и тогда... о! только бы Софья-то захотела, а уж я выручу ее!»

Наши путешественники проехали версты четыре, не говоря ни слова. Дорожка, по которой они с трудом пробирались, была проложена по сыпучим пескам; кругом не видно было ни травки, ни цветочка. Одной отрадой для глаз были сучковатые ели, высокие сосны со своей мертвой зеленью и кой-где небольшие лужайки, поросшие, вместо травы, желтоватым мхом и мелкими кустами можжевельника.

— Эх, батюшка! — промолвил наконец Ферапонт,— пора бы нам коней напоить: вишь, как у них пахи-то подвело!.. Они, сердечные, со вчерашнего дня капли воды не видали... Да и места-то здесь какие!.. Вот уж я давно посматриваю, нет ли где травки или проточной

водицы,— нет как нет!.. Дождевые водопромоины пополам с песком, да сухие еловые шишки — кушай и пей себе на здоровье!..

— А вот мы, чай, скоро доедем до этого скита, где живет Дарьина знакомая.

— Кажись, бы надо скоро доехать. Да шут их знает: скажут шесть верст, а глядишь — все десять!.. Постой-ка, Дмитрий Афанасьевич! Видишь, вон там избушка какая-то?.. Может статься и колодец есть... Поедем-ка, батюшка, поскорее.

Путешественники подъехали к небольшой избе, у которой тесовая кровля была окаймлена со всех четырех сторон широким желобком; на углах были сделаны деревянные отливы, а от них проведены другие желобы в огромной величины плетушку, обмазанную снаружи и изнутри глиной; эта плетеная посудина походила на большой продолговатый чан и была почти вся наполнена водой.

— Вот знатный водопой! — сказал Ферапонт, остановив свою лошадь.— Смотри, Дмитрий Афанасьевич, как ухитрились!.. Простая плетушка, а вода-то в ней стоит как в чану!.. Сойдем-ка, батюшка, с коней, так я их обоих разом напою.

— Что вы, что вы? — вскричал, выходя из избы, небольшого роста мужик с калмыковатым лицом, косматой головою и жиденькой светло-русой бородкой.— Не смейте поить здесь лошадей!.. Не оскверняйте воды небесной!

— Воды небесной? — повторил Ферапонт.— А! вот что!.. Это у тебя дождевая водица... Так что ж, дядя: и по лужам-то везде дождевая вода... Чем она лучше другой?

— То по лужам, а разве ты не видишь, что это купель?

— Купель?.. Что ты, перекрестись!.. Какая это купель!

— Полно, Ферапонт,— прервал Левшин.— Не наше дело. Послушай-ка, любезный: коли здесь нельзя, так укажи, где нам напоить коней.

— Да вот недалеко отсюда речка; ступайте прямо: там можно поить лошадей; уж что осквернено, того не осквернишь.

— Поедем, Ферапонт.

— Постойте-ка, постойте! — сказал хозяин избы.— Вы люди, кажись, добрые: хотите ли, братцы, омыть грехи ваши и окреститься крещеньем истинным?

— Ах, ты полоумный этакий! — вскричал Ферапонт.— Вот еще что вздумал!.. Да разве мы люди не крещеные?..

— Нет, братцы!.. Или вы не знаете, что наступили времена антихристовы и ничего уже нет чистого на земле?.. Нет ни рек, ни озер, ни источников, ни колодцев, ни студенцов, которые не были бы осквернены прикосновением окаянных слут антихристовых. А коли неоскверненной воды не обретается на всем лице земли, так не подобает ли нам креститься воединой воде, иже с небес исходит?

— Сиречь дождевой? — сказал Левшин.— Да уж мы, дядя, в ней вчера покупались — нитки живой на теле не осталось.

— Поедем, батюшка,— прервал с приметной досадою Ферапонт.—Что слушать этого шального!.. Вишь, он как с перепоя и сам не знает, что говорит.

— Послушайтесь, братцы! — кричал им вслед хозяин избы.— Эй, говорю вам, примите крещение в воде небесной, да не помянутся грехи ваши!.. Не губите ваших душ — послушайтесь меня!

— Дери горло-то, дери! — шепнул про себя Ферапонт.— Вот напустил на себя какую дурь — уродина этакий!.. Ну, батюшка Дмитрий Афанасьевич, народец живет в здешней стороне!.. Что это такое?.. С виду люди как люди, а с любым заговори,— понесет такую околесицу, что уши вянут!.. Ну, где видано, чтобы крещеных людей перекрещивали?.. И добро бы еще он был чернец или церковник какой, а то простой сермяжник!.. Да ему, лапотнику, и мордвина не след крестить... Кто его в попы-то ставил — чучело этакое!

— Эх, Ферапонт, охота тебе сердиться! — сказал Левшин.

— Да как же, Дмитрий Афанасьевич,— обидно!.. Уж эти раскольники хотят нас, православных, перекрещивать!.. Скопил в плетушку дождевой водицы, да и кричит: «Креститесь, братцы, крещеньем истинным!» Эх, батюшка, будь я без тебя, так я бы этого перекрещеванца окрестил по-своему!.. Перестал бы он у меня свою плетушку, купелью называть!.. Кабы ребра два не дощупался, так заказал бы и другу и недругу перекрещивать православных христиан.

— Ну, вот еще! — прервал Левшин.— Вчера было нам за что драться с раскольниками, а теперь из чего мы станем с ними ссориться?

— Так, батюшка, так! Да зло берет!.. Что ж, в самом деле, мы их зовем только раскольниками, а они уж нас крестить хотят!.. Словно мы жиды какие.

В продолжение этого разговора наши путешественники подъехали к небольшому холму, у подошвы которого струился широкий ручей. По всему скату холма и по берегу ручья разбросаны были в живописном беспорядке высокие избы и низкие лачужки. Этот скит, совершенно похожий на обыкновенные деревни, не был обнесен изгородью, и только по одной молельне, на кровле которой водружен был восьмиконечный крест, можно было догадаться, что тут жили раскольники. Над ручьем, против самой молельни, стоял деревянный шатер, над которым также возвышался восьмиконечный крест.

— Послушай-ка, любезный! — сказал Ферапонт одному молодому парню, который ехал порожняком в телеге навстречу нашим путешественникам.— Ведь это скит федосеевского согласия?

— Ну, да! — отвечал парень, взглянув с любопытством на проезжих.

— Укажи-ка нам, молодец, где живет здесь Аксинья Никитична.

— Бабушка Аксинья — портниха?.. А вот с краю-то третья изба — против самой иордани.

— Сиречь, вот этого шатра, что на реке-то?

— Шатра?.. Какого шатра?.. Тебе говорят: против иордани... Разве шатры с крестами-то бывают?

Ферапонт и Левшин, подъехав к низенькой избушке, сошли с коней; под окном на завалинке сидела пожилая баба, лет шестидесяти; на ней, сверх синего сарафана, который отличался покроем от нынешних только тем, что был вовсе без грудной выемки, надета была серая суконная телогрея с красной оторочкой. На голове ее была бисерная повязка и большая фата из пестрой бумажной материи. Наружность этой старухи была весьма приятная: ее умные голубые глаза одушевлялись веселостью, а правильные черты лица и некоторые остатки прежней красоты доказывали, что некогда она была очень хороша собой.

— Не ты ли, бабушка, Аксинья Никитична? — спросил Ферапонт.

— Я, кормилец,— отвечала старуха.— Что тебе надобно?

— Мы были в скиту Андрея Поморянина, и меня Дарья просила отвезти тебе поклон.

— Спасибо, молодец, спасибо!.. Ну, что она, по добру ли, по здорову?

— Все слава Богу!.. Собирается к тебе в гости.

— Милости просим! Давно пора.

— Жди ее, бабушка, к себе в будущее воскресенье.

— Будем ждать, мой отец, будем!

— Да уж и я, Аксинья Никитична, твой гость.

— Ты, батюшка?.. А ты зачем ко мне пожалуешь?

— Да ведь Дарья-то моя суженая.

— Вот что?.. Ну, батюшка, милости просим!.. Ай Дарьюшка! исполать ей!... Какого она себе женишка вымолила... Да как это вас Господь свел?.. Что вы приглянулись, что ль, друг другу?

— Видно, что так, бабушка!

— Что ж ты, молодец, очень ее любишь?

— Да так-то люблю, что коли скажу, так не поверишь.

— Как не поверить, батюшка!.. Дело бывалое: ведь и я не всегда была старухою; было и мое времечко, и про меня говорили: «сухота, дескать, сердцу молодецкому!..» Э, да что это я?.. Тьфу! Старуха старая, а какие речи говорю! Ох, я многогрешная, многогрешная! — продолжала Аксинья, вытаскивая из-за пояса четки.— Ну вот, не успею покаяться, и опять за то же!.. И что за радость вспоминать про прежние годочки?.. Ведь они уж не вернутся!

— Дмитрий Афанасьевич! — сказал Ферапонт,— побудь покамест здесь, а я напою коней. Ведь в речке-то можно, бабушка?

— Пожалуй себе!.. Только вон туда, вниз, подальше.

— Скажи мне, Аксинья Никитична,— спросил Левшин, оставшись один со старухою,— что ж это за человек такой живет недалеко отсюда, у самой дороги,— что, из ваших, что ль?

— Наш, батюшка, наш!... Так, убогий человек, юродивый — Павел, по прозванию Калмык. Он, верно, хотел вас крестить в дождевой воде?

— Да, бабушка!.. Я так и думал, что он безумный.

— Нет, не безумный — и старец усердный, большой постник, да, видно, у него ум за разум зашел... Мало ли и нам возни-то с ним было! Он на прошлой неделе сбирал собор.

— Собор!.. Какой собор?

— Как же!.. Ивана Ерша, Илью Степанова, всех наших учителей и наставников собрал.

— Что ж они, о чем с ним толковали?

— Что, батюшка, грех, да и только!.. Зачали за здравие, а свели за упокой!.. Собрались о вере толковать, а покончили смехом.

— Смехом?

— Да, батюшка. Павел начал говорить об антихристе, стал уговаривать братию, чтоб все крестились в дождевой воде,— другой, дескать, неоскверненной воды на всей земле нет. Вот отец Илья и говорит ему: «Мы тебе, Павел, без знаменья не поверим. Святые проповедники чудеса великие творили: болящих исцеляли, мертвых воскрешали; а ты, Павел, во уверение наше хотя единого жука или муху оживотворь!» — «Нет, братие,— сказал Павел,— я вам другое покажу знамение: дайте мне какую хотите отраву, при вас же выпью и невредим останусь». Илья хотел было попотчивать купоросным маслицем, да Иван Ерш отговорил, и вместо отравы поднес ему стакан доброго вина, а Павел отродясь его не отведывал... Вот, батюшка, как он увидел, что ему от этого зелья никакой болезни не приключилось, так загорланил пуще прежнего: «Что, дескать, окаянные! Видите ли, что ваша отрава меня не берет?.. Будете ли теперь меня слушаться?.. А коли вам этого мало, так давайте еще стакан». Как у него в головушке-то позашумело, так он перестал и о вере говорить. Только что кричит: «Подавайте вашей отравы!» Отец Алексей велел поднести ему третий стакан, да и говорит: «Слушай, Павел, коли после этого ты будешь сидеть прямо, так вера твоя права, а коли покривишься, так и вера твоя кривая». Как Павел хватил третий стакан, так его вовсе разобрало; он не успел и двух слов вымолвить, свалился под лавку, да тут и заснул.

— Ну, что ж, как он выспался?

— И, батюшки!.. Начал нас всех позорить на чем свет стоит!.. «Я, дескать, вас, окаянных неслухов, призывал к истинному крещению, да вы не хотели — так нет же вам чести со мною! Пойду на перепутье и стану всех проезжих крестить».

— Хорошо, что вы не послушались этого шального; где видано, чтоб крещеные люди перекрещивались?

— Нет, батюшка, и наши все перекрещиваются.

— Что ты, бабушка?

— Да, молодец!.. Только не в дождевой воде, а вот здесь в речке... Вот видишь, прямо-то — иордань!

— Так и ты, Аксинья Никитична, перекрещивалась?

— Мне зачем, кормилец! Я уж человек не молодой: меня крестили по-старинному, когда православная вера не была еще в растлении. Вот Дарье так надобно креститься. Я давно уговариваю, а ее все этот пострел Андрей Поморянин сбивает.

— Ну, батюшка,— сказал Ферапонт, подводя Султана,— садись-ка, пора в путь!.. Мне сказали, что отсюда все прямая дорога вплоть до полсела Куклина, а там нам укажут... Послушай, бабушка: коли Дарья придет к тебе прежде, чем я приеду, так скажи ей, что я безотменно буду.

— Скажу, батюшка!.. Ну, прощайте, добрые молодцы! Не поминайте лихом.

— Счастливо оставаться, Аксинья Никитична! Смотри, припасай пирогов к воскресенью; да коли бражки выставишь, так мы тебе челом; а коли винца — так и подавно!

V

Солнце было уже высоко, когда Левшин и Ферапонт, проехав полсело Куклино, стали приближаться к цели своего путешествия. Версты за две до вотчины боярина Куродавлева проселок, по которому они ехали, вывел их на большую Мещовскую дорогу. Миновав боярский хутор с обширной винокурней, на которую Ферапонт поглядел очень умильно, путешественники повернули в широкую просеку. Она оканчивалась на берегу небольшого, но весьма красивого озера. Когда они выехали из леса, перед ними раскрылся очаровательный вид. Сверху от них, прямо через озеро, на гористом берегу возвышались огромные хоромы, которые, со своими службами и всей усадьбой, походили на небольшой городок. С первого взгляда Левшин заметил, что боярин Куродавлев хотел выстроить себе дом, похожий — разумеется в малом виде — на знаменитый Коломенский дворец... Средину его составляло большое двухэтажное здание с высокой выгнутой кровлей, у которой выпуклые бока суживались книзу. С правой стороны к этому зданию была пристроена вышка; она, по своей двойной кровле и остроконечному верху, походила на небольшие безыменные башни Московского кремля. С левой стороны крытым переходом соединялся с главным зданием

красивый терем о трех жильях с большими уступами. К этому терему примыкала особая палата с куполом или главою, которой не доставало только креста, чтоб совершенно походить на церковную главу. Левшин узнал впоследствии, что в этой палате была образная боярина Куродавлева. Все это огромное здание, не исключая самой вышки, было построено из толстых сосновых брусьев. Направо от господского дома, который со своими принадлежностями, двором и огородом занимал несколько десятин земли, начинался длинный порядок красивых изб; в них жила отдельными семьями многолюдная дворня боярина. На левой стороне на большом пространстве разбросаны были конюшни, скотные дворы и обширная псарня с высокой светлицей для боярских соколов и кречетов. Вся описанная мною усадьба занимала почти весь берег, противоположный тому, на котором в эту минуту находился Левшин. Полюбовавшись несколько минут этим прекрасным видом, Левшин повернул налево и поехал берегом озера вдоль длинного порядка крестьянских изб.

— Ну, батюшка! — сказал Ферапонт, — как здесь мужички-то пообстроились!.. Одна изба лучше другой!.. И то сказать: лесу-то им не занимать-стать!.. Да, видно, и барин у них милостивый и добрый.

— А что?

— Как же, Дмитрий Афанасьевич!.. Посмотришь, в иной деревне народишко такой чахлый, испитой, взглянуть не на что!.. А здесь, погляди-ка, батюшка, какие все ребята дородные — молодец к молодцу!.. А бабы-то!.. Вон сидит на завалинке — печь печью! Вон и другая... видишь, батюшка?

— Вижу, так что ж?

— А то, Дмитрий Афанасьевич, что, видно, житье-то их не плохое: с горя люди не жиреют.

Миновав село, наши путешественники переехали через плотину и повернули направо по широкой дороге, которая вела прямо к господской усадьбе. Подъехав к воротам, Левшин, из уважения к высокому сану хозяина, не въехал на двор: он отдал своего коня Ферапонту и пошел пешком. На крыльце боярского дома стояло человек пять служителей, а посреди двора, крутом высокого столба, который оканчивался лежачим колесом, похаживал на цепи ручной медведь. Когда Левшин стал приближаться к дому, двое слуг сошли вниз навстречу к гостю, поклонились ему в пояс и ввели под руки на

крыльцо. В сенях дворецкий боярина, встретив Левшина обыкновенным приветствием: «Добро пожаловать, батюшка, милости просим!», вошел вслед за ним в огромную прихожую. В ней сидело на скамьях до тридцати слуг, просто, но очень опрятно одетых. Вдоль одной из стен прихожей развешаны были длинные пищали, винтовки, ручницы, сабли, ножи, чеканы, кольчуги и железные шапки-ерихонки. На другой висела богатая конская сбруя, охотничьи рога и шкуры затравленных волков и лисиц, а у дверей, ведущих в соседний покой, стояли: с одной стороны чучело огромного медведя, убитого самим хозяином, а с другой — большая клетка, в которой сидел ученый ворон. Когда Левшин вошел в прихожую, все слуги встали и поклонились ему очень вежливо.

— Как прикажешь о себе доложить боярину? — спросил дворецкий.

— Доложи Юрию Максимовичу, что стрелецкий сотник Левшин приехал к нему из Москвы с письмом от боярина Кириллы Андреевича Буйносова.

— От Кириллы Андреевича?.. Ну, батюшка, порадуешь ты нашего боярина! Пожалуй сюда, — вот в этот покой. Я пойду, доложу о тебе.

Левшин вошел в соседний покой; в нем вся домашняя утварь состояла, так же, как и в прихожей, из одних лавок, да сверх того стоял дубовый стол, покрытый узорчатой скатертью, на которой вытканы были изображения тарелок со всем столовым прибором и блюда с жареным павлином, поросенком, пирогами и разным другим кушаньем. Вместо нынешних люстр опускались с потолка на тоненьких бечевках красивые клетки с певчими птицами; и у одного из окон в крутлом коробе, с нитяным плетеным верхом, бился и вавакал неугомонный перепел... Минут через пять вошли из прихожей двое слуг: один с лоханью и умывальником, другой с подносом, на котором стояла серебряная кружка. Левшин вымыл руки, обтер мокрым полотенцем запыленное лицо и выпил с большим удовольствием кружку холодного меда, который показался ему очень вкусным. Вскоре затем явился опять дворецкий и сказал, что боярин дожидается с нетерпением своего гостя. Левшин, идя вслед за ним, заметил, что почти все комнаты были тесны, без всякого убранства и по большей части обезображены огромными и неуклюжими печами. Пройдя крытым переходом, они стали подыматься в верхнее жилье терема. Дворецкий остановился у дверей, подле которых

сидели два мальчика, одетые в красные терлики. Один из них отворил дверь, и Левшин вошел в обширную, обитую малиновым сукном, светлицу; по стенам ее висели турецкие ятаганы и пистолеты в серебряной оправе, дорогие казылбашские сабли, стальные зерцалы, то есть латы с золотой и серебряной насечкой; на широких полках расставлены были серебряные кружки, братины и китайские фарфоровые сули, а в особом ставце за стеклом стояли жалованные кубки, высокая горлатная шапка боярская и лежал серебряный шестопер, или булава, богато украшенная бирюзой и драгоценными каменьями. В переднем углу, то есть под образами, сидел боярин Юрий Максимович, перед ним, на небольшом столике, лежала раскрытая книга в бархатном переплете. На боярине был шелковый турецкий кафтан, то есть длинное платье без козыря и петлиц, похожее своим покроем на бухарский халат. Хотя темно-русая, окладистая борода Куродавлева была уже с проседью, но он мог еще, по своему росту, осанке и бодрому виду, называться молодцом. Во всех чертах его красивого и мужественного лица выражались веселость, привет и эта русская удаль, для которой, при случае, все трын-трава. В его улыбке было много радушия; но если б Левшин был хорошим физиономистом, то без труда бы заметил по взгляду и особенному выражению в голосе, что Куродавлев, несмотря на свою веселость и добродушие, вовсе не чужд этой боярской спеси, которая была некогда любимым грехом всех русских сановников.

— Добро пожаловать, господин сотник! — сказал Куродавлев, не вставая сам и не приглашая Левшина садиться.— Полно, так ли доложил о тебе мой дворецкий?.. Ведь ты прозываешься Левшиным?

— Да, Юрий Максимович.

— Левшины бывали в старину люди родословные — да ведь нынче не разберешь!.. Не прогневайся, если я тебя спрошу,— продолжал боярин, заглянув в раскрытую книгу,— как называли твоего дедушку?

— Дмитрием Степановичем.

— Вот, по разрядной книге, не он ли был при царе Михаиле Федоровиче...

— Стольником и суздальским воеводой,— прервал Левшин.

— Так!.. А начальный человек вашего рода прозывался Суволь-Левша — так ли, молодец?

— Так, боярин.

— Садись, любезный!

— Позволь мне прежде вручить тебе письмо от боярина Кириллы Андреевича,— сказал Левшин, подавая свиток.

— Пожалуй, пожалуй!.. Что-то он, дружище, ко мне пишет? Левшин,— продолжал вполголоса Куродавлев, поглядывая на своего гостя,— внук суздальского воеводы,— стрелецким сотником!.. Эки времена!.. Да что, твой батюшка здравствует?

— Нет, боярин. Он давно уж помер.

— Так вот что!.. Тебе, чай, молодец, приглянулся кафтан с петлицами да шапка ухарская?.. Разум молодой, а воля-то своя...

— Покойный мой батюшка,— прервал Левшин почтительным, но твердым голосом,— был сам стрелецким сотником.

— Право?.. Так батюшка твой был стрелецким головою?.. И уж, верно, по царскому указу?.. Вот и у меня приятель, Никита Данилович Глебов, взят в нынешнем году поневоле в полковники к стремянному стрелецкому полку. Да он челобитную подавал: «Цари, дескать, и государи великие князья, пожалуйте меня, холопа своего, за крови и за смерти, и за многия службы сродников моих, и за мои, холопа вашего, службишки, велите челобитье мое записать, чтоб, государи, нынешняя моя полковничья служба мне, холопу вашему, и детишкам моим и сродникам, от иных родов была не в упрек и не в укоризну, и с моею равною братиею не в случай». Так на эту челобитную и дан указ, чтобы службу в стрелецком войске ему, Никите Глебову, и детям, и всем сродникам, и всему роду в упрек и укоризну не ставить, и его, Глебова, тем чином не сметь никому бесчестить... А твой батюшка подавал ли челобитную?

— Нет, боярин. Он пошел в стрелецкие головы охотою.

— Охотою?.. Ну, это иная речь!.. Уж коли он сам своей чести поруху сделал, так пенять не на кого!.. Да садись, молодец, а я меж тем посмотрю, что пишет ко мне Кирилла Андреевич.

Левшин сел на стул подле окна, а Куродавлев развернул свиток и прочел вслух: «Государю моему и другу сердечному Юрию Максимовичу!.. Здравствуй, друг мой Юрий Максимович, на многие впредь будущие лета!.. Пишешь ты ко мне, друг сердечный»... Тут Куродавлев начал читать про себя, а Левшин, окинув любопытным

взглядом боярский покой, полюбовался развешанным по стенам оружием и подивился огромным серебряным братинам, из которых многие были величиною с ведро. Но когда он взглянул в открытое окно, подле которого сидел, то едва мог удержаться от невольного восклицания при виде великолепной картины, которая представилась его взору. И подлинно, вид из терема на все противоположные окрестности озера был в высочайшей степени живописен. Прямо, за господским двором, начинался покрытый пушистой зеленью луг; он опускался пологим скатом до самого озера, которого спокойные воды, блестящие и прозрачные, как чистый хрусталь, разливались версты на две кругом. Налево, по берегу, а потом вдоль речки Брыни, росло густое чернолесье; направо тянулось выстроенное в один порядок большое село с каменной церковью; еще правее, за селом, виднелась высокая плотина, которую заслонял по местам ветвистый и раскидистый ветлянник, а за нею расстилались обширные поля и синели вдали, как подернутое туманом море, сплошной и бесконечный бор.

— Эх, брат Кирилла! — промолвил вполголоса Куродавлев, остановясь читать письмо,— жаль мне тебя, горемычного!.. Ты, чай, любезный, знаешь,— продолжал он, обращаясь к Левшину,— что у Кириллы Андреевича тому лет пятнадцать назад, в здешних Брынских лесах пропала, вместе с своей нянюшкой, родная дочка, а моя крестная дочь — дитя лет четырех... Вот недавно прошел слух, что эта нянюшка, по имени Татьяна живет здесь в одном раскольничьем ските; я написал об этом Кирилл Андреевичу, а сам поехал в скит, чтоб допытаться от этой беглой девки, куда девала она свою барышню. Что ж ты думаешь? Я застал Татьяну на смертном одре, без языка — при мне и душу Богу отдала. От других в скиту я не мог ничего добиться и с чем приехал, с тем уехал назад. А Кирилла Андреевич пишет ко мне, что зашиб ногу, и оттого не может сам ко мне приехать; но лишь только сможет, так не мешкая отправится в дорогу. Великая для меня радость повидаться с другом сердечным, да жаль, что его-то мне нечем будет порадовать!.. Посмотрим, что он еще пишет,— продолжал Куродавлев, принимаясь опять за письмо.— Что это! — вскричал он, прочтя несколько строк.— Владыка живота моего!.. Так это правда?.. Ах они богоотступники!.. Воры проклятые!.. Да как их, окаянных, земля носит!.. Неужели, в самом деле, эти крамольные стрельцы...

— Да, боярин, все правда, что пишет тебе Кирилла Андреевич.

— Не может быть! — прервал Куродавлев. — Ну, пусть они извели своих начальных воевод, князей Долгоруких, убили Нарышкиных и Ромодановского, подняли на копья боярина Матвеева — от этих разбойников все станется; но чтоб они посягнули на власть помазанников Божьих... Нет, нет! Это сказки — я этому и верить не хочу!

— Вот то-то и есть, боярин, что все это, попущением Господним, истинная правда.

— Истинная правда! — повторил Куродавлев. — Да что Москва-то, деревня, что ль?.. Или в ней, кроме одних стрельцов, и народу не стало?.. Господи Боже мой! Злодеи дерзнули ворваться силой в царские палаты, вломились в терем нашей матушки царицы Натальи Кирилловны, и вся Москва не поднялась разом, не заслонила грудью своих царей православных, не закидала шапками эту поганую сволочь!

— Все это, Юрий Максимович, случилось так внезапно.

— И зачинщики этих смут еще живы! — продолжал с возрастающим жаром Куродавлев. — И эти крестоизменники стрельцы похваляются своим удальством!.. И их позорным именем не клеймят еще всякого мошенника и негодяя!..

— Нет, боярин!.. Всем стрельцам дана похвальная грамота и велено их, ради почета, называть не стрельцами, а надворной пехотой.

Лицо боярина покрылось смертной бледностью, он сжал в кулак письмо Буйносова и замолчал; но это нахмуренное чело, этот пылающий гневом взор сильнее всяких слов выражали то, что происходило в душе его.

— Вот до чего мы дожили! — промолвил наконец Куродавлев. — Эх, Москва православная, что с тобою сталось!.. Или все эти заморские выходцы вовсе тебя обасурманили, нашу матушку?.. Слава тебе, Господи, что я уехал на житье в Брынские леса. Здесь воры и мошенники меня боятся, а там бы мне пришлось кланяться им в пояс!.. И эту весть о сраме московском, — продолжал боярин, устремив свой гневный взор на Левшина, — эту весть о неслыханном злодействе стрельцов прислал ко мне Кирилла Андреевич с тобой — стрелецким сотником.

— Я, боярин, ни делом, ни словом не участвовал в этом мятеже стрельцов; меня тогда и в Москве не было.

— Еще бы участвовать!.. Будет и того, что у тебя на плечах-то этот опозоренный кафтан!.. Ну, голубчик, кабы я все это знал да ведал, так не бывать бы тебе моим гостем!

Левшин вспыхнул.

— Коли прикажешь, Юрий Максимович,— сказал он вставая,— так я сейчас же уйду.

— Ну, полно, любезный, не сердись!— прервал Куродавлев ласковым голосом.— Я это так... сгоряча сказал. Вестимо, правый за виноватого не ответчик; да дело-то, видишь, такое, что надо вовсе быть бабой, чтобы кровь во всем тебе, как в котле, не закипела!.. А моя-то еще покамест бурлива: вот так и боюсь опять за письмо приняться... сердце замирает!.. Ну, что еще он пишет?.. А!.. Это никак о тебе... Вручитель сей грамотки стрелецкий сотник, Дмитрий Афанасьевич Левшин...»

— Как!.. Так стрельцы-то и тебя, своего товарища, хотели уходить?

— Хотели, боярин.

— За то, что ты... ах, молодец!.. ты сказал про стрельцов, что они бунтовщики и разбойники?

— Что ж делать, Юрий Максимович, не вытерпел.

— И ты сказал это не тайком?

— То-то и есть, что не тайком, но на Красной площади.

— Ай да молодец!.. Ну, что ж они?

— Вестимо дело! Хотели меня убить.

— Как же это тебя Бог помиловал?

— Да приятель нашел мне укромное местечко на одном подворье...

— Так ты до твоего отъезда из Москвы и глаз на улицу не показывал?

— Нет, Юрий Максимович. Когда был собор против еретика Никиты Пустосвята и все изменники опять поднялись, так я ходил в Грановитую палату...

— В Грановитую палату!.. Да она, чай, битком была набита стрельцами?

— Как же!.. Все мои злодеи там были.

— И ты, не глядя на это?

— А что ж, боярин?.. Да неужели мне было прятаться и сидеть взаперти, когда в государевых палатах толпились сотнями изменники, а верных-то слуг царских было наперечет?.. Нет, Юрий Максимович, не тому учил меня покойный батюшка. «Умереть что!— говорил он,—

лишь бы только привел Господь сложить голову за веру, да за царя православного».

— Так, молодец, так! — прервал Куродавлев.— Ну, Дмитрий Афанасьевич,— продолжал он, едва скрывая свой восторг,— так стрельцы-то тебя не захватили?

— Как же, боярин!.. И захватили и убить хотели.

— Ну что ж, как они собрались тебя убить, ты не попятился?

— Нет, Юрий Максимович.

— Не просил у них милости?

— Милости?.. У этих изменников?.. Сохрани Господи!.. При мне была сабля, боярин, а с ней я милости ни у кого не прошу!

— Вот что! — промолвил Куродавлев, вставая с кресел.— Так ты вот каков!.. Ну-ка, брат, поди сюда — поди поцелуемся!.. Ах ты, сокол мой ясный!.. Молодец ты мой!.. Голубчик!..

— Да что ж я такое сделал, Юрий Максимович? — сказал скромный юноша, удивленный этой неожиданной выходкой боярина.

— Что сделал? — вскричал Куродавлев.— Ты сказал в глаза стрельцам, что они разбойники, не побоялся явиться перед ними и стать грудью за веру и царей православных; попался к ним в руки, а не попятился, не вымаливал себе пощады, не кланялся этим окаянным душегубам!.. Молодец из молодцов!.. А я было совсем тебя разобидел!..

— Ничего, боярин.

— Как ничего!.. Прости меня, Бога ради!.. А все этот проклятый служильный наряд!.. Эх, Дмитрий Афанасьевич! да потешь меня, сбрось ты этот опозоренный кафтан!.. Ну, вот, как Бог свят, видеть его не могу!

— Да у меня другого платья нет,— сказал Левшин.

— За платьем не станет, Дмитрий Афанасьевич: бери любое из моих... Да вот мы как раз это дело уладим.

Боярин свистнул и сказал мальчику, который вошел в покой:

— Позови сюда Кондратия — да живо! Мы с тобой, почитай, одного роста,— продолжал он, обращаясь к Левшину.— Я только подороднее и поплечистее тебя — да это не беда! Ведь здесь московских красавиц нет, Дмитрий Афанасьевич, так тебе рядиться не для кого. Да и сказать: что бы ты ни надел, а все будешь молодцом. Эх,— промолвил Куродавлев, глядя почти с отцовским участием на Левшина,— подумаешь: этакой

удалой детина, красавец, родовой человек сгублен ни за что ни про что... ну, жаль!

— Да Бог милостив,— сказал Левшин,— может статься, я скоро вернусь снова в Москву. За меня похлопочет князь Хованский, Кирилла Андреевич замолвит словечко...

— И, любезный! — прервал боярин,— не о том речь!.. То дело поправимое, а вот уж службишка-то окаянная твоя — так это дело поправки!.. Не токма себе, да и всякому роду-то вашему бесчестье на веки веков.

— Дозволь слово молвить, боярин,— сказал Левшин.— Да разве есть служба бесчестная, коли я служу царю-государю и служу верой и правдой!.. Воля твоя, Юрий Максимович, а я в толк не возьму, почему родословному человеку не зазорно писаться в жильцах и даже в детях боярских, а бесчестно служить начальным человеком в стрелецком войске?

— Что ж делать, любезный, уж так искони ведется.

— Так, видно, боярин, приятель твой, Кирилла Андреевич Буйносов, не так мыслит. Хотя покойный мой батюшка и был стрелецким головой, однако ж Кирилла Андреевич не брезговал нашим хлебом и солью и называл батюшку своим другом задушевным.

— Да это что, Дмитрий Афанасьевич?.. Почему не быть приятелем с добрым человеком, хотя бы кто из роду его или даже он сам служил в стрелецком войске?.. А вот породниться с ним — ну нет, любезный, это речь другая! Дружба дружбой, а родство родством. Да вот хоть, примером, ты, Дмитрий Афанасьевич, верный царский слуга, удалой молодец, красавец, внук суздальского воеводы — кажись, кому бы ты не жених?.. Ан, нет!.. Дедушка у тебя был воеводою, да батюшка-то пошел охотою в стрелецкие головы, и сам ты служишь в стрельцах, так не прогневайся — никакой родословный человек, хотя бы вовсе беспоместный, так и тот не выдаст за тебя своей дочери. Тебя-то самого и я бы не забраковал, любезный,— продолжал боярин приветливым голосом,— ты мне крепко пришелся по сердцу!.. Давай нам этакого роденьку! Милости просим! Для такого жениха ворота настежь!.. Только вот беда: ты сам, Дмитрий Афанасьевич, в наши боярские ворота пройдешь, да твой чин-то вместе с тобой не пролезет!

— Что изволишь приказать, батюшка Юрий Максимович? — спросил дворецкий, войдя в комнату.

— А вот что, Кондратий,— сказал Куродавлев.— Видишь ты этого молодца?.. Это дорогой мой гость, Дмитрий Афанасьевич Левшин.

— Знаю, батюшка.

— Пока он станет у меня гостить, у вас будет два барина,— понимаешь?

— Понимаю, Юрий Максимович.

— Что он прикажет, то я приказал,— слышишь?

— Слышу, батюшка.

— Служитель его твой гость, Кондратий; смотри, чтоб он был всем доволен. Коней отдай на руки Терешке,— скажи, чтоб он их холил и берег пуще своего глаза!.. Да вели баню натопить — слышишь?

— Слышу, батюшка.

— Теперь проводи Дмитрия Афанасьевича в его покои и принеси к нему мой скарлатный ходильный зипун, голубой камчатный терлик да дымчатый опашень из зуфи. А ты, Дмитрий Афанасьевич,— промолвил Куродавлев, обращаясь к Левшину,— носи их на здоровье!.. Да уговор лучше денег: коли хочешь потешить хозяина, так смотри, молодец, не гости, а живи у меня, как в своем доме, запросто, нараспашку!.. Ну, прощай покамест, любезный, ступай, отдохни немного. Чай, у тебя с дороги-то все косточки побаливают; а вот погоди: как выпаришься хорошенько в бане, так будешь завтра как встрепанный.

VI

Спустясь вниз по лестнице до нижнего жилья терема, Левшин вошел вслед за дворецким в чистую и веселую светлицу, в которой стояли: кровать с белым пологом, стол и несколько стульев, обитых казанской юфтью. За этой светлицей была небольшая каморка для слуги, сени и выход на задний двор, который отделялся от боярского огорода решетчатым забором.

— Ну, что, Дмитрий Афанасьевич,— спросил Кондратий,— любы ли тебе эти покойчики?

— Чего ж мне лучше? — отвечал Левшин.— И вид отсюда такой веселый.

— Да, батюшка, и озеро наше и село — все на глазах. Да не угодно ли тебе, Дмитрий Афанасьевич, выкушать чарку доброй настоечки и закусить чем-нибудь? Ведь

боярин изволит кушать не ранее полудня, так до обеда-то еще не близко.

— Нет, любезный, не надо. Я разденусь, да отдохну немного.

— Ну, как изволишь, а я сейчас принесу тебе платье с боярского плеча. Коли не вовсе будет впору, так не осуди, Дмитрий Афанасьевич,— не по тебе делано.

Когда дворецкий вышел из светлицы, Левшин скинул верхнее платье и сел возле открытого окна. Он смотрел с любопытством на обширный господский двор, который представлял живую картину этого привольного житья наших старинных богатых помещиков и беззаботного разгульного быта их многочисленных челядинцев. Разумеется, эта роскошь старинных бояр не значила ничего перед нынешнею утонченною европейскою роскошью; она почти всегда заключалась только в различных охотах, неисчерпаемом изобилии первых потребностей и забавах, не слишком разборчивых, но которые, однако ж, имели достоинство, весьма редкое в наше время. Эти забавы, несмотря на то, что доставались очень дешево, всегда достигали своей цели, то есть забавляли; и если верить преданьям старины, так наши предки никогда не разорялись для того, чтобы умирать от скуки. Впрочем, так и быть должно: ребенка тешит и копеечная игрушка, а мы уж люди взрослые, и если подчас тратим также деньги на игрушки, то, по крайней мере, платим за них очень дорого и вовсе ими не забавляемся.

Ясная и теплая погода выманила на двор всех боярских челядинцев. В одном углу молодые ребята играли в городки, подле них человек пять тешилось в свайку. Там дворовые женщины кормили русских кур и заморских цесарок; тут мальчики дразнили задорного козла, который, гоняясь за ними, делал предиковинные скачки; с полдюжины пав чинно прогуливались по двору, а два павлина, распустив колесом свои радужные хвосты, сидели на заборе, вдоль которого, как важный боярин, медленно и гордо похаживал долгоногий журавль; кругом высокого столба с лежачим колесом толпилось человек двадцать холопов. Сначала Левшин не мог рассмотреть, чем забавлялась эта господская челядь. Он слышал только время от времени смех и громкие восклицания; но вот толпа расступилась, и он увидел потеху, от которой в первую минуту сердце его замерло от ужаса: широкоплечий, приземистый детина боролся в обхватку с мед-

ведем. Крепко прижав этого смельчака к мохнатой груди своей, медведь ревел ужасным образом и силился подмять его под себя. Но, видно, этот борец был сам медвежьей породы: он стоял крепко на ногах и, казалось, не старался даже воспользоваться неповоротливостью своего соперника, а хотел взять просто на силу. После нескольких неудачных попыток, ему удалось как-то сломить медведя и повалить его на спину; разумеется, они упали вместе.

— Ай да молодец! — закричали холопы.— Что, брат, Мишка, видно, нашел по себе!.. Ну, любезный, смотри! Он теперь от тебя не отвяжется.

И подлинно, обиженный Мишка не вдруг расстался со своим победителем. С полминуты валялись они оба, и медведь и человек, в грязной луже, которая после проливного дождя не совсем еще высохла. Наконец медведь выбился из сил, а человек, высвободясь из его объятия, встал и начал оправляться.

— Что это? — молвил про себя Левшин.— Да это никак Ферапонт?.. Ну так и есть!.. Эй, Ферапонт! — закричал он, высунясь в окно.

Через минуту явился перед ним не лаврами увенчанный, но запачканный грязью победитель медведя.

— Что это, Ферапонт, в уме ли ты? — сказал Левшин.— Вот нашел забаву — бороться с медведем!.. Ну, долго ли до греха?

— Ничего, батюшка, ничего! — отвечал Ферапонт, обтирая рукавом свое покрытое потом и разгоревшееся лицо.— Медведь ручной, с ним вся здешняя дворня борется.

— Посмотри-ка на себя: как черт из болота вылез — весь в грязи! Стыдно, Ферапонт!.. Мы люди приезжие...

— Да так, Дмитрий Афанасьевич, за спором дело стало. Вот как ты, батюшка, пошел к боярину, у меня тотчас отобрали коней, а самого повели в застольную, начали завтраком утощать, винца поднесли...

— То-то и есть! Я вижу, ты уж хлебнул.

— Что, батюшка!.. Ну, выпил стаканчик, закусил пирогом, а там на пирог еще хватил чарочку — вот и все!.. Ты бы посмотрел, как пьют здешние холопы!.. Один при мне тяпнул такой стаканище — право, с полосьмухи будет, а ни в одном глазу: словно бражки выпил. И то сказать — втянулись, батюшка: вино-то не покупное — пей, сколько хочешь!.. Говорят, и боярин-то сам гуляка, так диво ли, что его челядинцы стаканчика

придерживаются!.. Не даром ведется пословица: «игуменья за чарку, а сестры за ковши».

— Ну, пригожее ли дело, Ферапонт; нас здесь приняли как родных, а ты такие речи говоришь?

— Да я ведь, батюшка, не то говорю, чтоб здешний боярин или холопы его были пьяницы — сохрани Господи!.. Что за беда, коли человек пьет вино? Лишь бы разум не терял! Ведь кто пьян да умен, два угодья в нем, батюшка Дмитрий Афанасьевич!

— Полно вздор-то говорить!

— Слушаю, батюшка, слушаю!.. Ну вот, изволишь видеть: как я позавтракал да познакомился с здешними холопьями, так мы от безделья начали силку пытать. Выставили против меня трех молодцов, выше тебя ростом; я грохнул оземь одного, другого, а третьему-то никак и ногу вывихнул. Вот любимый боярский шут, Тришка, по прозванью Пузырь — такой уродина, что и сказать нельзя!.. А рожа-то какая!.. Ну, поверишь ли, батюшка, я этакой образины отродясь не видывал; а как начнет говорить — голос-то у него с хрипом, да с присвистом — ну так и умрешь со смеху!.. Вот Тришка-то Пузырь и молвил мне: «Поди-ка, брат, да побори нашего медведя, так уж будешь молодцом». К нему пристали другие, а пуще всех старший боярский конюх — Терентием зовут — так меня и подзадоривает... «Ни за что, дескать, не поборешь — наш Мишка тебя в грязь втопчет». Фу, досадно стало!.. А мне ведь, батюшка, не впервые; у покойного твоего батюшки был также ручной медведь — такой задорный бороться; бывало не отвяжешься. Слово за слово заспорили. Я пошел, схватился с Мишкою, да и сломал его. Только он, проклятый, помял меня порядком, такая здоровая скотина.

— Вот, батюшка Дмитрий Афанасьевич,— сказал дворецкий Кондратий, входя в светлицу,— боярин прислал к тебе свой скарлатный зипун. Он и трех разов не изволил его надевать... А этот камчатный терлик, кажись, еще не обновлен, опашень также вовсе новехонек. Просим, батюшка, принять и носить на здоровье. Да пожалуй в столовую палату: боярин, чай, уж вышел.

Когда дворецкий ушел, Левшин надел на себя скарлатный зипун.

— Вот одежа-то знатная! — сказал Ферапонт, любуясь своим барином.— Ну, уж подлино боярский наряд!.. Маленько не по тебе... да пошире-то лучше, Дмитрий Афанасьевич!.. То ли дело, как одежа с запасцем:

похудеешь — ничего; раздобреешь — также не беда: все впору!

Левшин нашел в столовой комнате, той самой, в которой он любовался узорчатой скатертью, боярина, приходского священника и человек десять очередных холопов, из которых каждый смотрел в глаза Юрию Максимовичу, ожидая его приказаний. В одном углу, на низенькой скамеечке, сидел безобразный мужик, небольшого роста, толстый, неуклюжий, с короткими кривыми ногами и огромной головою. Перед ним стояла на полу большая деревянная чашка, а рядом с ней другая поменьше, подле которой лежала огромная борзая собака, любимый волкодав боярина. Толстый безобразный мужик был тот самый шут Тришка Пузырь, о котором Ферапонт говорил уже Левшину. В старину редкий боярин не держал при себе несколько шутов: одни из них были просто дураки или полоумные, а другие занимались этим ремеслом по собственной охоте или, лучше сказать, по расчету. С ними шутили иногда бесчеловечным образом: их дразнили, мучили и, ради господской потехи, стравливали меж собой, как собак; но зато сытно кормили, поили вином и не заставляли ничего делать. Были еще и другие боярские смехотворы, которые хотя ничем не отличались от прочих слуг, однако ж балагурили, подшучивали и умели рассказывать сказки с разными прибаутками, не всегда остроумными; да ведь наши предки, не так, как мы, за умом не очень гонялись. К этому последнему разряду можно отнести и неутомимых плясунов, которые по целым часам расстилались вприсядку, гудочников, балалаечников, удалых запевал и разных других доморощенных гаеров и скоморохов, которыми в старину набиты были дома всех богатых людей.

— Милости просим! — сказал Куродавлев, встречая ласковой улыбкою своего гостя.— Коли пьешь водочку, так прошу покорно!

Один из слуг подал Левшину на серебряном подносе золотую чарку, другой налил в нее из штофа водки, и оба низко поклонились гостю. Левшин отказался.

— Ну, коли не пьешь водки, молодец,— сказал боярин,— так мы почнем с тобой заветный боченочек фряжского. Мне прислал его прошлого месяца Кирилла Андреевич. Больно хвалит: оно, дескать, идет из Угорской земли, и сладенько, а забористо, и нашим ржаным хлебцем попахивает. Ну, отец Егор, благослови трапезу!..

Священник прочел молитву. Боярин сел за стол и посадил подле себя с правой стороны Левшина, а с левой отца Егора. Первое самое блюдо был огромный студень; потом начали подавать похлебки, а там блюдо пирожков подовых на торговое дело, сырники и пирог рассольный. Сначала боярин Куродавлев вовсе не походил на радушного хозяина, который славился хлебосольством и веселым обычаем. Он сидел, насупив брови, ел очень мало и не посылал подачек ни шуту Тишке, ни любимой своей борзой собаке, которые, как голодные волки, посматривали исподлобья на сытный стол своего боярина. Изредка только Куродавлев потчевал своих гостей и приглашал их допивать стаканы, в которые беспрестанно подливали шипучий мед. Вот уж дело доходило до жарких, а боярин все не начинал беседы и хмурился час от часу более.

— Нет! — промолвил он наконец,— и еда на ум нейдет. Ну, Дмитрий Афанасьевич, привез ты мне весточку! Подумаешь, когда это было, чтоб за воровское изменничье дело по голове гладили?... Да этак всем ворам и крамольникам такую дашь повадку, что и житья-то в Москве не будет! Кто и говорит: государь Петр Алексеевич еще молоденек, где ему справиться с этими разбойниками, да бояре-то чего смотрели?.. Иль они опять принялись за прежнее, как при царе Василии Иоанновиче,— заводить всякие смуты, измены и предательства, да под шумок в мутной воде рыбу удить!.. Эх, кабы воля да воля, так я бы сегодня же покатил в Москву!

— Да разве ты, Юрий Максимович, не волен ехать в Москву? — спросил Левшин.

— Волен то волен: я ведь не опальный какой, а все-таки без царского указу не поеду.

— Не прогневайся, боярин, коли я тебя спрошу: зачем же тебе царский указ, коли ты не под опалой и волен ехать, куда хочешь?

— Затем, Дмитрий Афанасьевич, чтоб не попятиться. Коли я при царе Федоре Алексеевиче был обижен, так что за след ехать теперь без царского указа в Москву? Пожалуй, еще скажут: «Вот-де приехал боярин Куродавлев с повинной головою!»

— А дозволь спросить, Юрий Максимович, что ж это за случай такой был?

— Да такой-то случай, что не приведи Господи! — прервал Куродавлев, и глаза его заблестели.— Хотели учинить смертную обиду, поруху всему роду нашему,

бесчестие и позор на веки веков! Да вот я тебе все перескажу, Дмитрий Афанасьевич,— продолжал боярин, махнув рукою, чтоб ему не подавали жареного гуся.— В первый год царствования государя Федора Алексеевича, накануне Вербного воскресенья, прислали ко мне от разряда поддьяков Ваську Мясникова да Ваську Буслаева, со сказкою: «быть, дескать, боярину Юрию Куродавлеву на Вербное воскресенье вверху у царского стола, а стол-де будет без мест. А за столом-де будет князь Дмитрий Трубецкой, Федор Бутурлин, князь Григорий Пронский и ты, боярин Юрий Куродавлев». Как так?..— подумал я.— Неужели я в последних?.. Да ведь мне вовсе не приходится сидеть под князем Григорьем Пронским... Мы, Куродавлевы, также ведем свой род от князя Святослава, что сидел на Проне. У князя Юрия Пронского было четыре сына: князь Федор Рыба, да князь Иван Баранья Голова, да князь Юрий Куродав, да меньшой князь Дмитрий без прозвища; от князя Юрия пошли Куродавлевы, а от князя Дмитрия, теперешние Пронские — так я не токма по службе деда и прадеда, да и по роду то старше его... Вот я с теми же поддьяками и ударил челом Федору Алексеевичу: что мне князя Григория Пронского меньше быть неуместно. «А мы, дескать, государь, холопи твои Куродавлевы, кому в версту, тому в версту, а кто нас меньше, тот меньше, и ни в каком случае нельзя тому быть больше нас». Гляжу, этак часика через два — шасть ко мне на двор разрядный дьяк Иван Уланов... Милости просим!.. «Указ, дескать, тебе боярину Юрию Куродавлеву, от великого государя идти заутра безотменно вверх и местами не считаться. Велено быть без мест, так и порухи большим родом твоему отечеству в том не будет. А ты бы государя не кручинил и садился бы за стол под князем Григорьем Пронским». Вот я опять ударил челом: «Лучше бы, дескать, государь, ты меня, холопа своего, велел казнить смертию, а меньше князя Григория быть не велел... Да мне же, дескать, государь, за хворостию и недугом ни в каком случае в город ехать нельзя». Жду, пожду — ответа нет. Ну, думаю, видно, царь-государь взмиловался! На другой день, после ранней обедни, приехал ко мне Кирилла Андреевич Буйносов и говорит: «Велено, брат, тебя, коли ты станешь упорствовать и отговариваться хворостью, привести неволею к Красному крыльцу в простой телеге, на одной лошади»... «Так что ж? — сказал я,— в этом никакой порухи роду моему не будет: не

я поеду, а меня повезут».— «Послушай, Юрий,— начал опять говорить Кирилла Андреевич,— не гневи государя!.. Не ровен час!.. Смотри, чтобы тебе не быть разорену и сослану!» — «В разоренье и ссылке волен Бог да Государь,— молвил я,— а уж меньше Гришки Пронского мне не бывать!» — «Эй, полно, Юрий Максимович!.. Ну, коли грехом Государь прогневается не путем, да за твое непослушание укажет тебя высечь в подклети батогами?» — «Так что ж? Власть его царская: что хочет, то и делает, а уж я своей волею ниже Гришки Пронского ни за что не сяду!» Вот этак, около полуден, приехал ко мне разрядный дьяк Кобяков, а с ним двое поддьяков. Как я сказал, так и сделал: сам не пошел из дома, а вывели меня под руки, посадили в телегу и привезли к Красному крыльцу. Как меня вынули из телеги, я тут же на первой ступеньке лег, да и лежу: отнялись, дескать, вовсе ноги — нейдут! Делать-то нечего! Кликнули народу, внесли меня на крыльцо, а там в столовую палату и посадили неволею за стол рука об руку с Пронским. Лишь только меня покинули, я тотчас со скамьи, да и бряк оземь!.. Пускай же лежу под лавкою, а не похваляться вору Гришке, что я сидел за царским столом ниже его!.. Велено меня поднять, посадить опять силою на скамью и во весь стол держать под руки двум разрядным дьякам... Пожалуй себе!.. Это воля царская, лишь только бы моей-то воли не было!.. После стола приказано мне идти домой... Ну вот, думаю, отделался!.. Так нет!.. Мошенник Гришка ударил на меня в бесчестье челом царю-государю!.. Этак дня через два, в обеденную пору, пожаловал ко мне опять разрядный дьяк Иван Уланов и с ним два пристава. Дьяк объявил мне государев указ, что велено меня выдать головою князю Григорию Пронскому... Что будешь делать,— воля царская!.. Повели меня, доброго молодца, пешечком, через весь Китай-город на Лубянку, где у Пронского свой домишко; народ останавливается, все смотрят, как ведут меня под руки, словно колодника — за караулом!.. Пришли!.. Ввели меня на двор, поставили на нижнее крылечко и послали доложить хозяину. Пронский поломался, повыдержал меня с полчасика на крыльце, гляжу — идет!.. Такой радостный, ухмыляется! «Погоди, мошенник Гришка! — думаю я про себя,— будет и тебе тошно!..» Дьяк Уланов начал ему речь говорить: «Великий-де государь указал и бояре приговорили боярина Юрия Куродавлева за то, что он не хотел быть вместе с тобою у царского стола,

выдать тебе за такое боярское бесчестье его, Куродавлева, головою». Пока дьяк Уланов объявлял царский указ, я стоял, как вкопанный, ни словечка!.. а как он свою речь кончил, так я молвил про себя: «Слава тебе, Господи — вытерпел!.. Ну, теперь, Гришка, держись!..» А он перед дьяком так и рассыпается!.. «Я, дескать, на царском жалованье бью челом и земно кланяюсь за его государев великий оборон. А тебя, Юрий Максимович,— промолвил он,— прошу отведать моего хлеба-соли».

— Спасибо на твоем хлебе! Пусть им давится, кто хочет! — сказал я, да и пошел его позорить!.. Уж маял, маял!.. Всю подноготную высказал: как прадедушка его был в Зарайске губным старостой, как его высекли плетьми и сослали в Березов за то, что он мирволил ворам и разбойникам; как дедушка при царе Федоре Иоанновиче наушничал и был на побегушках у думного дьяка Щелкалова, а дядюшка, князь Петр, при царе Михаиле Федоровиче, изменил под Вязьмой, и как его за эту измену били кнутом... Все вычел дотла!.. А там надел шапку, да и со двора. В тот же самый день я ударил челом государю, чтоб он дозволил мне, по хворости и ради моих домашних делишек, ехать на житье в Мещовскую вотчину, а государь изволил сказать: «Пусть, дескать, едет, куда хочет». Вот я приехал сюда и живу себе,— не то что под опалою, не то что в милости, а так, ни то ни се!.. Ну, Дмитрий Афанасьевич, видишь ли теперь, что мне вовсе не след ехать в Москву без царского указа?

— Вестимо, Юрий Максимович,— сказал Левшин,— коли не хочешь, так зачем ехать. А дозволь мне спросить тебя,— продолжал он,— я что-то в толк не возьму: как мог ты позорить князя Пронского? Ведь не он тебе, а ты ему был выдан головою.

— В том-то и дело, любезный!... Иль ты не знаешь, что тот боярин волен того боярина, которому он выдан головою, лаять и бесчестить всякою бранью, а тот ему, за его злые слова, ничего чинить не смеет; а кто бы над таким выданным человеком за его брань учинил какое убойство или бесчестие, тому бы самому указ был против того вдвое за тем, что он бесчестит не того, кто выдан ему головою, а того, кто прислал его, сиречь самого царя.

— Вот что!.. Ну, этого я не знал, Юрий Максимович.

— Да мало ли вы чего не знаете?.. И где безродным стрельцам знать наши боярские родословные дела. Ведь разрядные-то книги не про них написаны. У вас какие

места?.. Посмотришь, у иного стрелецкого головы батюшка был поддьяком, а дедушка земским ярыжкой; а кто был его прадед, так он и сам этого не знает... Да что об этом толковать!.. Выпьем-ка лучше угорского, что ржаным-то хлебцем попахивает!... Тебя, отец Егор,— промолвил Куродавлев шутя,— я им потчевать не стану: идет оно из еретичной земли, а ты особа духовная, так тебе не след его пить, выкушай лучше вишневки; я и сам пью это заморское вино — так, ради прихоти. То ли дело наша православная наливочка!.. Эй, подавайте кубки!

Хозяину и гостям подали небольшие серебряные кубки, немного поболее нынешних хрустальных бокалов. Куродавлеву и Левшину налили в них венгерского, а отцу Егору вишневки. Хозяин встал; гости, разумеется, последовали его примеру. Держа в руке кубок, боярин отошел на средину комнаты и сказал:

— За здравие и благополучное царствие великого государя...

— Великих государей наших! — прошептал священник.

— Ох, не могу привыкнуть! — сказал боярин.— Ну, делать нечего: за здравие великих государей наших: Петра Алексеевича...

— Иоанна Алексеевича! — прервал опять священник.

— Эх, полно, отец Егор! — вскричал с нетерпением Куродавлев.— Ведь это не ектенья!.. Ну, ин просте: за здравие великих наших государей и всего царского рода!.. Да дай, Господи, батюшке нашему, Петру Алексеевичу, скорей подрасти и прибрать к рукам всех крамольников, зачинщиков всяких смут; да и тех,— промолвил вполголоса боярин,— которые исподтишка им мирволят!

Когда хозяин и гости осушили до дна свои кубки, Куродавлев приказал их снова наполнить и предложил выпить за здравие святейшего патриарха, потом за благоденствие всего царства русского, а там за здравие Кириллы Андреевича Буйносова. Один заздравный кубок сменялся другим, и вот к концу стола — грешно сказать, чтоб хозяин подгулял, однако ж порядком раскраснелся, и гости стали также поразговорчивее и веселее.

— Эге! — молвил боярин.— Да я никак Тришку и Буяна вовсе забыл. Что, Пузырь, хочешь есть?

Тришка покосился исподлобья на своего барина и прохрипел:

— Нет, не хочу. Зачем мне есть? Я ведь и так проживу.

— А что и в самом деле,— прервал Куродавлев,— на что тебе, Тришка, есть? Жил бы себе так — не евши!.. Сбирайте со стола!

— Постой, постой! Что вы? — закричал шут.— Ах ты, глупая голова! да что ж я делать-то буду, коли есть не стану?

— Правда, правда! Эй! Отнесите им этого поросенка!.. Да смотри, Пузырь, не задели Буяна.

Вероятно и голодная собака опасалась того же, потому что, не дожидаясь раздела, схватила на лету жареного поросенка, когда его подали Тришке, и кинулась вон из комнаты.

— Ай да Буян! — промолвил с громким хохотом Куродавлев.— Что, брат Тришка, прозевал?.. А поросенок то был какой!

— Ну, что ты зубы-то скалишь, жид этакий,— заревел Тришка.— Тебе хорошо: вишь, разъелся, как бык,— раздуло бы тебя горой!.. Уродина этакий!..

— Ну, ну, не гневайся! — прервал боярин, умирая со смеху.— Дайте ему вот эту утку с груздями... Да смотри, Пузырь, коли ты всю ее не съешь, так я тебя двое суток кормить не велю.

— Небось, Максимыч! — закричал Тришка, схватив с жадностью утку.— Небось! Я тебе да Буяну одни косточки оставлю.

Шут принялся убирать утку, ворча и передразнивая все приемы голодной собаки, которая гложет кость; а боярин, помолчав несколько времени, обратился к священнику и сказал:

— Знаешь ли, батька, какие слухи идут о новом мещовском воеводе?.. Говорят, будто бы он раскольник.

— И я слышал об этом, Юрий Максимович,— отвечал отец Егор.— Мне рассказывал мещовский соборный псаломщик, что их новый воевода хотя и бывает по праздникам в соборе, да во всю службу ни разу лба не перекрестит, к святым иконам не прикладывается, и лишь только иерей возгласит: «Благословение Господне на вас»,— так он тотчас и вон из церкви. Видно, затем, чтоб к кресту не подходить.

— Ах, он еретик проклятый!.. Да прах его возьми!.. Ну-ка, Дмитрий Афанасьевич,— выпьем еще по последнему!.. За чье бы здоровье?.. Э!.. Да ведь ты человек молодой — жил всегда в Москве, а там красавиц-то не

перечтешь,— что звезд на небе!.. Уж, верно, и у тебя, добрый молодец, есть зазнобушка... Да полно, Дмитрий Афанасьевич, не красней! Ты человек холостой, в годах, так как же тебе не смышлять о невесте?.. Ну, выпьем за ее здоровье!.. А как бишь ее зовут?.. Что, брат, молчишь!.. Ну, коли не хочешь сказать, так выпьем просто за здравие твоей суженой!..

Опорожнив последний кубок, боярин оборотил его вверх дном и поставил к себе на голову, в доказательство того, что в нем не осталось ни капельки. Все поднялись из-за стола. Священник прочел опять молитву; потом, поблагодарив хозяина за хлеб за соль и благословя его и Левшина, отправился домой. Куродавлев, по тогдашнему русскому обычаю, собрался отдохнуть, а Левшин пошел в свою светлицу и хотя не имел привычки спать каждый день после обеда, но, утомясь от скорой езды и проведенной без сна ночи, последовал охотно примеру своего хозяина.

VII

Левшин проспал бы до самого вечера, если б его не разбудил Ферапонт.

— Пора вставать, Дмитрий Афанасьевич,— сказал он, толкнув под бок своего барина.— Посмотри-ка в окно: уж солнышко-то на закате.

— Неужели в самом деле?— промолвил Левшин, вскочив с постели и протирая глаза.

— Право слово так!.. Ну, батюшка,— продолжал Ферапонт, надевая на Левшина зипун, в котором он был за обедом: коли тебя так же угостили, как меня, так я тебе скажу!.. Вот уж, подлинно, разливное море!.. По стакану вина, по ковшу браги, щи богатые, каша с маслом, пироги с мясной начинкой... Эко житье, подумаешь, здешним холопам!.. Дела, почитай, никакого, пей себе вволю, ешь до отвала и спи, сколько хочешь!.. Да уж зато, Дмитрий Афанасьевич, и они все до единого лягут головами за своего боярина. Зыкни только он, батюшка, так каждый на рогатину полезет!.. Ну, дай Господи, нам подольше здесь погостить!.. Так отъедимся, Дмитрий Афанасьевич!..

— Эх, полно, Ферапонт! Ты только об еде и думаешь.

— А что ж, батюшка?.. Еда дело доброе. По милости твоей я всем доволен: служба моя льготная, жены и детей

нет, так о чем же думать?.. Коли тебя и в будни кормят пирогами, так и ешь себе на здоровье пироги, а об завтрашнем дне не загадывай!.. Придет нужда, сама скажется. По мне вот как, Дмитрий Афанасьевич: привел Бог пожить в довольстве, так ешь, пей и гуляй себе, добрый молодец; пришла нужда — не горюй, воля Божья!.. Русский человек всегда так: коли есть что в печи, все на стол мечи! а коли нет, так и на том спасибо! Выпил водицы, закусил сухариком, да и слава тебе, Господи!

— Не прогневайся, господин честной,— сказал дворецкий Кондратий, входя в комнату,— что осмелился к тебе прийти за моим собственным делом!

— Милости просим! — отвечал Левшин.— Что тебе надобно, любезный?

— А вот что, Дмитрий Афанасьевич! Мы ведь здесь в глуши ничего не знаем, что делается в престольном граде, в нашей матушке, богоспасаемой Москве... Вот мы здесь недавно целовали крест одному царю-государю Петру Алексеевичу, а там наслали указ, чтоб целовать крест и братцу его, Иоанну Алексеевичу. Да еще же поговаривают, что вряд ли мы не будем целовать креста и старшей их сестрице, царевне Софье Алексеевне. Что ж это такое, батюшка!.. Я пришел ударить челом твоей милости, чтобы ты рассказал мне, что у вас в Москве-то понаделалось. Говорят, будто бы стрелецкое войско вовсе вышло из послушания и были великие смуты и мятежи. Правда ли все это?

Левшин рассказал в коротких словах Кондратию о всех злодействах мятежных стрельцов, об их измене, неслыханном буйстве и посрамлении святыни в лице первых сановников церковных и самого святейшего патриарха. Когда Левшин кончил свой рассказ, старик дворецкий, человек грамотный и усердный поборник православия, принялся так же, как боярин Куродавлев, осыпать ругательствами сослуживцев Левшина, с тою только разницей, что тот вовсе не церемонился и позорил их всех, не думая о том, что его слушает стрелецкий сотник. Кондратий, напротив, при каждом новом ругательстве низко кланялся, говоря: «Не погневайся, батюшка!.. Не осуди меня, старика, за правду!.. Не при тебе будь слово сказано!» Более всего Кондратий досадовал на стрельцов за то, что они почти все были преданны расколу. «Чего ждать путного от этих еретиков! — говорил он.— Вот и здесь, Дмитрий Афанасьевич, того

и гляди, что будет беда. Засело их в здешних лесах видимо-невидимо! Еще хорошо, что у них завелись разные толки и нет согласия меж собою, а то бы они всю здешнюю сторону заполонили. У них же есть и коновод, какой-то книжный человек, Андрей Поморянин, о котором и, Бог весть, что рассказывают. Кто он таков, никто не знает, а такую силу взял над своей братьей, раскольниками, что и сказать нельзя!.. Прежний Мещовский воевода хотел было унять здешних еретиков: перепись начал им делать, беглых ловить, да зато не долго и усидел на воеводстве. Теперь в Мещовске воеводою Федор Степанович Токмачев — такой же еретик, как и Андрей Поморянин, с которым он живет душа в душу. Поговаривают также, что будто бы этот Поморянин выдает за нового-то мещовского воеводу свою родную дочь».

Левшин побледнел.

— Мне это сказывал,— продолжал дворецкий,— мой кум, Тихон Фаддеич Масеев, мещовский купец, у которого я останавливаюсь, а ему об этом сам воевода говорил: «Ты, дескать, Фаддеич, добудь мне из Москвы жемчужные рясны да запястья с камушками: невесту хочу одарить. Я, дескать, вдовец, борода у меня с проседью, а она девка молодая, так надо чем-нибудь ей угодить».

— И он сказал Масееву, что женится на дочери Андрея Поморянина? — прервал с живостью Левшин.

— Нет, батюшка, да Фаддеич-то смекает, что должно быть так. Недаром, дескать, по всему городу об этом слухи идут, не даром и раскольники, которые живут в Мещовске, зазнались так, что к ним и приступу нет. При прежнем воеводе — говорит кум — бывало в крестовый ход они, окаянные, сидят по домам, а теперь так вовсе не прячутся: стоят себе на улице да зубы скалят!.. Мы, православные, когда духовенство проходит с хоругвями и святыми иконами, молимся и кладем земные поклоны, а они, проклятые, и шапок не ломают!.. Вот, батюшка Дмитрий Афанасьевич, до чего мы дожили! Э! Да как я заговорился с твоею милостью: вон и солнышко-то где!.. А у меня дела с три пропасти!.. Прощенья просим, Дмитрий Афанасьевич! Благодарствую тебе, батюшка, что ты не погнушался мною, стариком, и изволил со мною побеседовать! Дай Бог тебе много лет здравствовать.

— Ты слышал, Ферапонт? — промолвил Левшин, когда дворецкий вышел из светлицы.

— Слышал, Дмитрий Афанасьевич.

— Ну, не правду ли я говорил, что Господь не судил мне быть счастливым?

— Эх, батюшка, охота же тебе всему верить!.. Да мало ли что от безделья болтают? У мещовского воеводы часто бывает Андрей Поморянин, у него есть дочка-невеста, так вот их и обвенчали!.. Ну, ты сам рассуди: статочно ли дело, чтобы царский сановник — воевода породнился с этим балахонником?.. Ты — дело другое: и чин-то твой поменьше, и Софья-то Андреевна пришлась тебе по сердцу.

— Да кому она не придется по сердцу, Ферапонт?

— Кому!.. Да разве ты не слышал, что мещовский-то воевода в годах?.. А ведь пожилой человек не то что молодой: коли он захочет жениться, так станет искать себе ровни. Да вот хоть я, батюшка: в старые годы я бы на Дарью и взглянуть не захотел, а теперь мне что за дело, что с лица-то она не больно смазлива — была бы хорошей работницей... Вот так-то и мещовский воевода, станет он искать пригожей невесты: была бы только знатного рода, да приданые-то сундуки потяжеле, а красота что, батюшка!.. Последнее дело!.. Под боярской шапкой и глупая голова умна, под золотой фатой и рябая девка красавица!.. Да ты не кручинься, Дмитрий Афанасьевич,— продолжал Ферапонт, глядя с участием на своего господина.— Времени-то еще много впереди. Ведь дочку замуж выдать — не пирог спечь. Вот я в воскресенье повидаюсь с Дарьей и, может статься, привезу тебе добрую весточку...

— В воскресенье!.. А теперь еще пятница...

— Так что ж?.. Всего два денечка. Потерпи, батюшка!.. Да что это?.. Посмотри-ка, Дмитрий Афанасьевич!.. Видишь, перед господским двором, на лугу, собираются мужички и бабы: видно, хотят в хороводы играть. Мне сказывали, что, опричь соколиной и псовой охоты, это любимая забава боярина... Да вот никак и он сам изволит сюда идти... Ну, так и есть!

— Что, гость дорогой,— сказал Куродавлев, подойдя к открытому окну,— отдохнул, что ль?

— Отдохнул, Юрий Максимович.

— Так не хочешь ли взглянуть на наши деревенские забавы?.. Милости просим за ворота, на луг!

Левшин вышел вместе с боярином на обширный луг, посреди которого огромный сибирский кедр, раскинув свои роскошные и благовонные ветви, прикрывал, как шатром, дубовую скамью и стол, на котором стояла

серебряная братина, наполненная медом, в ней плавал небольшой позолоченный ковш, а подле стояли две кружки, также серебряные.

— Прошу покорно сюда, Дмитрий Афанасьевич! — сказал боярин, садясь на скамью.— Здесь, любезный, моя красная площадь, только на ней никто не бунтует, а все веселятся.

Весь луг перед господским двором кипел народом. Все были одеты по-праздничному, то есть женщины в кумачных сарафанах и белых поневах, мужчины в красных и синих рубашках; на иных были сермяжные кафтаны внакидку, на других белые холстяные азямы; замужние крестьянки были в нарядных кичках, девушки в повязках, а все мужчины без исключения в войлочных шапках или шляпах без крыльев, совершенно сходных с теми, которые и теперь еще носят в Белоруссии.

— Ну, что, за чем дело стало? — сказал Куродавлев.— Что они толкутся на одном месте, словно бараны?.. Эй, Демка!..— продолжал он, обращаясь к одному из своих челядинцев.— Скажи бабам-то, что ж они не поют и в хороводы не играют!.. Иль нет... постой... я их расшевелю!.. Подавай сюда Федьку Козла!

Федька Козел, детина лет тридцати пяти, вышел из толпы слуг. Взглянув на его худощавое лицо, с раздавленным плоским лбом, выдававшимися вперед челюстями, длинным горбатым носом и небольшой остроконечной бородкой, не трудно было догадаться, почему его прозвали козлом. Он держал под мышкой гудок.

— Слушай, Федька! — сказал боярин: — ступай-ка туда к бабам, да хвати плясовую. Вишь, они сегодня что-то жмутся.

— Ничего, батюшка Юрий Максимович,— сказал Федька Козел, натягивая струны на своем гудке.— Видно, засмотрелись на его милость, небывалого гостя. Да ведь все дело в почине; вот как я затяну бычка, так ноги-то у них порасходятся.

Гудочник сказал правду: лишь только струны заскрипели под его бойким смычком, и он сам начал пошевеливаться и потряхивать своей козлиной бородкой, все пришло в движение. Рассыпанные по лугу крестьяне столпились в одну кучу, примкнули к бабам, и вот в несколько минут составилось с полдюжины хороводов. Федька Козел перебегал от одного хоровода к другому, подлаживал на своем гудке под песни, свистел соловьем и морил со смеху баб своими прибаутками.

Около часу продолжались эти беспрерывные потехи, хороводные песни не умолкали ни на минуту. Лишь только где оказывалось небольшое охлаждение, являлся Федька-гудочник, и в тот же час песни и пляски начинались снова. Во все это время Куродавлев не говорил почти ничего: он смотрел с улыбкой удовольствия на забавы своих крестьян, хохотал от всей души и при каждом новом шутовстве гудочника, пил мед и подчевал им беспрестанно своего гостя... Вот наконец неутомимый Федька Козел выбился из сил и присел отдохнуть на траву; многие из крестьян последовали его примеру; песни затихли, и хороводы стали понемногу расходиться. В эту самую минуту подошли к боярину два мужика и повалились ему в ноги.

— Что вы, братцы? — спросил Куродавлев.

— Пришли к тебе, батюшка! — сказал один из них, вставая.

— Вижу, что пришли, да кто вы такие?

— Белопоместные крестьяне, батюшка, из Бобровской волости.

— А, соседи!.. Ну, что вы, ребята?

— Челом бьем, государь Юрий Максимович, рассуди нас.

— Да что я вам за судья?.. У вас есть своя управа. Коли вы суда просите, так шли бы к земскому голове.

— Нет, кормилец! — сказал другой крестьянин, — куда нам идти на суд к земскому голове, ведь к нему без приноса и глаз не кажи: либо свинку, либо барана, а уж с поросенком и не ходи!.. Мы, батюшка, люди бедные, — знаешь, этак подумали, да и стали на том, чтоб идти к тебе, Юрий Максимович... Как ты, кормилец, нас рассудишь, так тому и быть.

— Ну, хорошо!.. Только слушайте, братцы: коли вы пошли ко мне на суд, так чур после не пенять!.. Ну, кто из вас на кого жалуется?

— Я, батюшка! — сказал первый мужик. — Вот мы с Андрюшкой ходили вдвоем на медведя; уговор был шкуру пополам. А как у нас дошло до дележа, так он попятился и шкуру-то берет на одного себя.

— Ну, все ли ты сказал?

— Все, батюшка.

— Ладно!.. Теперь ты, Андрюшка: был ли у вас уговор шкуру пополам?

— Был, кормилец.

— Так зачем же ты пятишься?

— А вот изволь выслушать: на прошлой неделе Васька — сиречь он, батюшка,— завернул ко мне, да и говорит: «Андрюха! я обошел медвежью берлогу, близехонько отсюда, в Хотисинской засеке. Хошь идти?» «Изволь, мол!.. Мне не впервые ходить на медведя — пойдем!» Вот мы взяли по рогатине да по топору и пошли. Как стали мы подходить к берлоге, слышим — ревет косолапый. Кажись, мы шли против ветра, а он все-таки почуял, что до его шкуры добираются. Я глядь на Ваську,— а на нем и лица нет!.. «Что ты, брат? — молвил я,— никак тебя страх берет?.. Эй, Васька, не робей!.. Ведь медведь-то этого не любит».— «Нет, дескать, я не робею, а меня что-то знобит».— «То-то знобит!.. Смотри, Васюк, не выдавай!.. Вот слышим в лесу-то захрустело, словно вихрем деревья ломает. «Чу,— сказал я,— прямехонько идет на нас!» Смотрю, Васька-то уж назад поглядывает. Ну! думаю, худо дело!.. выдаст он меня! Так и есть!.. Лишь только Мишка-то нас завидел да поднялся на дыбы, Васька бросил рогатину, да давай Бог ноги!

— Ах, трусишка проклятый! — прошептал боярин.— Ну, а ты что?

— Я, батюшка, взял на себя зверя, перекрестился, да хвать его рогатиной под левую лопатку.

— Так, так!.. Ну, что, медведь-то полез на рогатину?

— Сначала полез, батюшка, так и прет!

— А ты ратовище-то рогатины себе под ногу?

— Вестимо, кормилец!

— Так, так!.. Ну, что, медведь начал около тебя кругу давать?

— Да, батюшка!.. Уж он кружил, кружил!.. и ратовище пытался сломить, да, слава тебе, Господи — устояло!.. А кровь-то из него так и хлещет!.. Как он дал этак кругов тридцать, да вовсе из сил-то выбился, так вдруг как заревет в истошный голос,— и пошел прямо по рогатине на меня, а я топор из-за пояса, хвать его по морде — вот он и повалился.

— Ну, Андрюха,— сказал Куродавлев, глядя с удовольствием на крестьянина,— ты, я вижу, человек бывалый!

— Как же, Юрий Максимович, на том стоим!.. Ведь и батюшку-то моего медведь сломал, и дедушка умер калекой, а меня еще покамест Господь миловал,.. Ну вот, кормилец, как я медведя-то убил, да и думаю: за что ж я с Васькой поделюсь?.. Ведь он меня руками выдал.

— Эх, брат! — прервал второй крестьянин. — С кем греха не бывает?.. Что будешь делать — сробел!.. А ведь все-таки уговор-то был пополам, и медведя не ты соследил, Андрюха, а я.

— Да ты полно, Васюк, нишкни! Вот как его милость нас рассудит.

Куродавлев призадумался.

— Ну! — сказал он, помолчав несколько времени, — послушайте, ребята: у вас не было выговорено, что тот, кто сробеет и не пойдет на медведя, тому нет части в шкуре?

— Нет, батюшка, лгать не хочу, — сказал Андрей, — об этом и речи не было.

— А коли не было речи, да он же тебя и на зверя навел, так делать-то, брат, нечего, — делись!

— Вот слышишь, Андрюха? — вскричал с радостью Василий. — Я ведь говорил тебе, что моя правда!

— Слышу-ста! — промолвил Андрей, почесывая затылок.

— Благодарствую тебе, государь Юрий Максимович! — продолжал Василий, повалясь в ноги, — что ты, батюшка, изволил так рассудить!

— А вот, посмотрим, скажешь ли ты мне спасибо, — прервал Куродавлев. — Эй, ребята! возьмите-ка этого гостя, да сведите-ка на конюшню.

— На конюшню! — повторил с ужасом Василий. — Зачем, батюшка?

— Затем, чтоб отодрать тебя нещадно батогами.

— Помилуй, кормилец, — за что?

— За что?.. Ах ты, мошенник этакий! еще спрашивает за что?.. Да коли ты сам напросился идти вдвоем на медведя, так как же ты мог выдать своего товарища?.. Да знаешь ли ты, что в нашем охотничьем быту за такое дело порют вашу братью до полусмерти?.. Нет, любезный! пошел ко мне на суд, так не прогневайся, задам я тебе зорю!.. Ведите его!

— Батюшка! — завопил Василий, которого двое слуг схватили под руки, — отец родной, помилуй!.. И от шкуры отступаюсь!

— Ага, голубчик! видно, своей-то жаль?.. Да нет! Что тебе следует — бери, а уж дерку тебе зададут!.. Кондратий, ступай с ними, да при себе — знаешь... путем!

— Государь Юрий Максимович, — сказал другой крестьянин, когда увели его товарища, — взмилуйся, не

прикажи его наказывать! Я от него ничего не хочу; коли он дележа не просит, так Бог с ним.

— Нет, братец, нет!

— Да что толку-то, кормилец?.. Как его не пори, а он смелее не будет. Уж, видно, таким уродился.

— Так не берись за гуж, коли не дюж!.. Ведь ты бы, чай, один на медведя не пошел?

— Не пошел бы, батюшка.

— Вот то-то же!.. А вышло, что ты один с ним возился. Ну, кабы зверь-то тебя сломал — за что?

— Так, батюшка, так!.. Да что мне за прибыль, что его отдерут батогами: ведь тогда шкуру-то придется делить с ним пополам?.. Благо он от нее отступился, так помилуй его, кормилец!

— А что тебе за медведя давали?

— Два рубля, батюшка.

— Два рубля?.. Ну, хорошо: чтоб ты не был в убытке, вот тебе рубль. Да полно — не кланяйся!.. Эй, Федька Козел!.. Что у вас там все стало?.. Еще не время по домам расходиться. Ну-ка, молодицы: «заплетися, плетень», а не то: «мы просо сеяли!»

Игры опять начались, и этак через четверть часа привели назад крестьянина Василия. Он посматривал не очень весело.

— Что, брат,— сказал Куродавлев,— будешь ли вперед ходить на медведя?

— И детям и внучатам закажу, батюшка!

— Дурачина ты этакий!.. Хорошо, что Бог помиловал, а то долго ли до греха!.. Другой на тебя понадеется, да и пропадет не за денежку.

— Правда, кормилец, правда!.. Знай сверчок свой шесток!.. Ну, где мне на медведя ходить — пропадай он совсем, проклятый!

— Вот этак-то лучше!.. Ну что, ребята: так ли я вас рассудил?

— Так, батюшка, так,— отвечали оба крестьянина в один голос.

— Довольны ли вы?

— Довольны, батюшка!

— Демка! поднеси им по чарке вина... Ну, теперь ступайте с Богом!.. Э! Да никак еще гость пожаловал!.. Кондратий, поди-ка посмотри, кто это там тройкой в телеге у ворот остановился.

Кондратий возвратился через несколько минут и доложил боярину, что приехал из Мещовска земский дьяк.

— Из Мещовска!.. Зачем? — спросил Куродавлев.

— Не ведаю, батюшка,— отвечал Кондратий.— Он говорит, что прислан к тебе от мещовского воеводы Токмачева.

— Вишь, какой боярин — послов рассылать!.. Мог бы и сам облегчиться да приехать, коли дело есть... Ну, позови его!

Приезжий, человек пожилых лет и весьма некрасивой наружности, подошел тихими шагами к боярину, снял шапку и поклонился.

— Что ты, голубчик,— спросил Куродавлев,— зачем пожаловал?.. Говори!

— Боярин Юрий Максимович! — начал говорить дьяк, повторив свой поклон,— мещовскому воеводе и стольнику, Федору Степановичу Токмачеву, ударили челом на тебя, боярина, соседи твои, куклинские поместные люди, что ты, Юрий Максимович, изволишь самовольно охотиться в их дачах, и лута их топчешь, и птицу бьешь, и красного зверя выводишь, и тем им, куклинским поместным людям, чинишь обиду и крайнее разорение...

— Врут они, дурачье! — прервал Куродавлев.— Стану я в их однодворческих дачах охотиться!.. Ну, а коли случаем я травлю зверя да он из моих дач перебежит в чужие, так мне шапку снять да поклониться ему, что ль?

— Мещовский воевода и стольник Федор Степанович Токмачев,— продолжал дьяк, не отвечая на вопрос Куродавлев,— присудил их челобитье записать, а к тебе, боярину, послать земского дьяка с указом...

— С указом? — повторил Куродавлев, нахмурив брови.— Вот что!.. Ну, что ж его милость, господин мещовский воевода и стольник, мне, холопу своему, изволит указывать?

Не обращая внимания на эту насмешку, дьяк вынул из-за пазухи небольшой бумажный свиток и подал его Куродавлеву.

— Ну! — сказал боярин, развернув столбец.— Видно, вам делать-то нечего!.. Смотри, пожалуй, сколько наваракали!.. да этого и в сутки не прочтешь!.. Скажика лучше мне на словах, что тут написано?

— Коли изволишь, так и на словах скажу,— молвил дьяк.— Тут написано, боярин, чтобы тебе напредь сего в чужих дачах не охотиться и соседей не обижать; а коли ты, боярин, против сего воеводского указа ослушным учинишься, то да будет тебе ведомо, что взыщут с тебя за

потравленного зверя, за побитую птицу и за потоптанные луга, без всякого обыска и разбора, втрое против того, что куклинские поместные люди станут сами показывать, сиречь им сполна за все их потери и убытки, да по стольку же на царскую казну и богадельный приказ.

— Вот как! — прошептал Куродавлев, и глаза его засверкали.— Ну, что,— продолжал он,— ты все пересказал?

— Все боярин.

— Нет, не все!.. Ты забыл мне сказать, что твой воевода рехнулся. К кому он тебя прислал — а?.. К однодворцу, что ли, или к посадскому?.. Ах он неуч проклятый!.. Холоп!.. Да знает ли он, что такое Юрий Максимович Куродавлев?.. Мошенник этакий!.. Вишь, боярин какой!.. Токмачев!.. И откуда этаких хамов в воеводы-то набирают?.. А ты, голубчик, о двух, что ль, головах, что приехал ко мне с таким указом от своего воеводишки?.. Да знаешь ли, что я с тобой сделаю?..

Дьяк побледнел.

— Батюшка боярин,— промолвил он дрожащим голосом,— не изволь на меня гневаться — я что!.. человек маленький, что мне прикажут, то я и делаю.

— Доложи своему раскольнику-воеводе,— сказал боярин, вставая,— что я и своих-то дач в двое суток не объеду, так стану ли по чужим дачам таскаться; а коли мне вздумается и мещовского воеводу Токмачева травить собаками, да он из моего леса перебежит в чужой, так я на это не посмотрю. Да перескажи ему это слово в слово — слышишь?

— Слышу, Юрий Максимович!

— Вот его указ! — продолжал Куродавлев, раздирая на части столбец.— На, вот тебе... на... подбери все кусочки да отвези к своему воеводе и стольнику, пусть он ими подавится!.. И скажи ему от меня, Юрия Максимовича Куродавлева: «Коли, дескать, ты, холоп Федька Токмачев, по твоему собачьему обычаю, начнешь еще такие же грамоты писать ко мне, царскому боярину, так ты от меня и в Мещовске не спрячешься — я и там тебя, голубчика, достану... Ну, теперь, чтоб и духу твоего не пахло!.. Вон отсюда, приказная строка!

Дьяк исчез.

— Фу, батюшки! — промолвил боярин, помолчав несколько времени,— час от часу не легче!.. Экие времена!.. Господи, Боже мой! Вот до чего я дожил: какой-то холопий сын Токмачев шлет ко мне дьяка с указом!.. Да

этого в старину не посмел бы сделать и калужский воевода... И я не велел заковать в кандалы этого дьяка, не отодрал его плетьми!.. Эх, устарел я — смирен стал!.. А все-таки не приведи Господи этому мещовскому воеводе повстречаться со мною!.. Провал бы его взял — сквернавец этакий! совсем меня растревожил. И веселье на ум нейдет!.. Да тебе же и пора, Дмитрий Афанасьевич, в баню, а там еще надо поужинать; только не погневайся, дорогой гость, коли я ужинать с тобой не стану: мне что-то нездоровится... Прикажи накрыть стол у себя в комнате... Прощай, любезный!.. Тьфу ты, пропасть! — промолвил боярин уходя.— Ну стоит ли эта гадина, этот Федька Токмачев, чтоб я так сердился?.. А все-таки жаль — видит Бог жаль, что он теперь у меня не под руками!

Левшин отправился в баню, потом поужинал и лег спать. Так кончился первый день, проведенный им у боярина Юрия Максимовича Куродавлева.

VIII

Другой день прошел почти так же, как первый, с тою только разницей, что поутру боярин тешил своего гостя соколиной охотой и за обедом не рассказывал уже о своем местничестве с князем Пронским, а продолжал позорить мещовского воеводу и подарил серебряный алтынник Тришке за то, что этот догадливый шут, на боярский вопрос: хочет ли он познакомиться с Федькой Токмачевым, отвечал: «Нет, Максимыч! я со своей братьею, дураками, не знаюсь». Вечером Куродавлев вышел опять со своим гостем на луг, на котором собрались по-прежнему удалые молодцы, пригожие молодицы и девицы красные, песенки попеть, поиграть в хороводы и покачаться на колысках: так назывались в старину висячие качели. На этот раз, вероятно по приказанию боярина, хороводы кончились забавами, которые напоминали олимпийские потехи древних греков. Дворовые люди и крестьяне бегали взапуски, боролись в охабку и в одноручку, бились в кулачки один на один и, наконец, составили кулачный бой стена на стену. Эти кулачные бои имели в старину свои правила, законы и представляли довольно верную картину настоящего боя. Обе стороны маневрировали, то подвигались

вперед, то отступали назад; перед каждою стеной рассыпаны были, как застрельщики, отбойные бойцы; к ним высылали с обеих сторон подкрепления, и все это оканчивалось обыкновенно общей свалкой, а потом совершенным расстройством и бегством одной из стен... Все участвующие в кулачном бою должны были драться с непокрытыми головами: кто надевал шапку, тот становился лицом неприкосновенным, и его, точно так же, как лежачего, не дозволялось бить никому. Само собою разумеется, что и тот, кто был в шапке, не смел уже никого ударить; в противном случае его избили бы до полусмерти.

Хотя Ферапонт был страстный охотник до борьбы и кулачного боя, однако ж не принимал никакого участия в этих молодецких потехах, а присоединился к толпе зрителей, которые, почти все без исключения, состояли из стариков, ребятишек и баб.

— Ведь это твой служитель, Дмитрий Афанасьевич? — сказал боярин, взглянув нечаянно на Ферапонта.

— Где, Юрий Максимович? — спросил Левшин.

— А вон там, подле баб.

— Да, это мой слута Ферапонт.

— Экий ражий детина!.. Да что это он так коверкается.

В самом деле, Ферапонт, не замечая, что на него смотрит Куродавлев, делал какие-то знаки своему барину, кивал головой и, наконец, поманил его просто к себе рукою.

— Эй ты, Ферапонт! — закричал боярин,— кого ты это к себе манишь?

— Никого, батюшка Юрий Максимович! — отвечал Ферапонт, выступая вперед и кланяясь боярину.

— Так что ж ты рукою-то к себе махал?

— Так, батюшка,— муха!.. привязалась, проклятая! — молвил Ферапонт, подмигнув значительно своему боярину.

— Что ж ты, брат,— продолжал Куродавлев,— стоишь там с бабами да смотришь?.. Мне сказывали, что ты силач. Коли не хочешь к стене пристать, так вызови кого-нибудь.

— Нет, батюшка Юрий Максимович, мне что-то сегодня нездоровится.

В эту самую минуту раздался на лугу громкий голос: «Нечестно, дворовые, нечестно!.. Лежачего не бьют!»

Вслед за этим поднялся общий крик, посыпались ругательства. «Стойте грудью, братцы! — кричали мужики.— Бейте холуев!» — «Сюда, молодцы, сюда! — заревели дворовые,— катайте сермяжников!» Противники кинулись друг на друга, обе стороны смешались, и началась ужасная свалка. «Эге! — шепнул боярин, вставая,— да они уж расходились непутем!.. Эй, вы! — зыкнул он своим молодецким голосом,— ребята, шабаш!» Лишь только прогремел этот приказ, все затихло. «Кто смеет бить лежачего?» — продолжал боярин, подойдя к присмиревшим бойцам. Сотни голосов отвечали на этот вопрос: одни обвиняли, другие оправдывались. «Молчать,— закричал Куродавлев.— Никто ни гугу!.. Говори ты, Мирошка Козырь!..— промолвил он, обращаясь к широкоплечему мужику с растрепанной рыжей бородой и огромной шишкой на лбу. «Помилуй, государь Юрий Максимович! — сказал мужик.— Изволь сам рассудить: при мне Пахомку Лысого твои дворовые сбили с ног, да и ну его, лежачего, валять не на живот, а на смерть!»

— Врет он, батюшка! — прервал один из дворовых,— вовсе не лежачего. Он было хотел прикинуться — упал! Да мы его подняли: двое держали под руки, а третий бил. А били его за то, что он ударил Митьку Сурка, а ведь Митька-то Сурок был в шапке.

— Давай сюда Митьку Сурка и Пахомку Лысого! — сказал Куродавлев. Двое бойцов, один с подбитым глазом, другой с разбитыми скулами, вышли вперед. Дворовые и мужики обступили плотной толпой своего боярина — и суд начался.

Левшин воспользовался этой минутою: он подошел к своему слуге.

— Дмитрий Афанасьевич,— шепнул Ферапонт.— Пожалуй-ка, батюшка, сюда.

— Да что ты? — спросил Левшин.

— А вот как отойдем поодаль, так я тебе скажу... Пожалуй сюда, батюшка!.. Вот за амбары-то, там никого нет.

— Ну, что такое?.. Говори скорей! — сказал Левшин, когда они зашли за угол огромных барских житниц.

— А вот что, Дмитрий Афанасьевич: я хотел в воскресенье ехать в Федосеевский скит, чтобы повидаться с Дарьей...

— Ну, да!.. Так что?

— А то, что ехать мне будет незачем.

— Как незачем?
— Да, батюшка!.. Ведь Дарья-то здесь.
— Здесь?..
— Пешком пришла; говорит, что ей надо с тобой повидаться?
— Где она?
— Да там, за боярским огородом, в коноплях.
— Так пойдем же скорей!
— А вот пожалуй со мной.

Ферапонт повел своего боярина вдоль плетня, из-за которого поднимался целый лес яблонь и вишневых деревьев.

— Ну, что, видишь, батюшка? — сказал Ферапонт.— Вон в красной душегрейке — это Дарья. Эка девка-бой, подумаешь!.. Еще хорошо, что я успел ее перехватить, а то вот так прямехонько к тебе и ломит!.. Мы с ней только словечка два-три перемолвили... Вишь, хозяин-то, Андрей Поморянин, согнал ее со двора... Уж как она его позорит — Господи!.. И с дочкой-то своей он что-то недоброе хочет сделать... Да вот она сама тебе все перескажет...

Дарья, увидев Левшина и Ферапонта, вышла к ним навстречу.

— Здравствуй, Дарья! — сказал Левшин.— Ну, что ты?

— Что, батюшка? — промолвила Дарья, всхлипывая,— ведь злодей-то меня выгнал!.. Выгнал, кормилец!.. «Ступай, дескать, куда хочешь!» А куда я пойду?.. Человек я одинокий: ни роду, ни племени. Есть одна тетка, да и та в Казани... Злющий этакий! Чтоб ему самому издохнуть где-нибудь под елкой, жиду проклятому!..

— Да уж не бойся, Дарья,— прервал Левшин,— я тебя не покину. Ну, что Софья Андреевна?

— Что, батюшка!.. Коли ты не выручишь, так пропала ее головушка!.. Да вот я тебе все расскажу. Как ты, батюшка Дмитрий Афанасьевич, изволил от нас уехать, в том же самый день, около полуден, пожаловал к нам из Мещовска какой-то приказный, от тамошнего воеводы Токмачева; хозяин принял его с честию, отвел к себе в образную да там с ним и заперся. Вот я думаю себе: «О чем это они втихомолку толкуют меж собой?.. Дай-ка послушаю! Рядом с образной есть покоец, в котором Андрей после обеда отдыхает,— я и шмыг туда!.. Подкралась потихоньку к двери да ушком-то к замочной щелке. Что же ты думаешь я услышала, Дмитрий Афа-

насьевич?.. Хозяин-то просватал свою дочку за мещовского воеводу, а тот прислал ему сказать: привези, дескать, ее в воскресенье ко мне в город, а уж у него все будет готово. Лишь приедете, так тут же и к венцу: надобно, дескать, этим делом круто повернуть; если сказать ей вперед, так чего доброго, она еще, пожалуй, заломается — начнет говорить, что я ей не ровня, да то, да се; а как вдруг из повозки да в церковь, так этак будет лучше: девка не успеет и опомниться. «Ах, злодеи! — подумала я.— За что они Софью-то Андреевну сгубить хотят? Ведь этот Токмачев ей в дедушки годится! Да, говорят, уродина какой: горбатый, плешивый!..» Вот, слышу, приезжий прощается с хозяином; я скорей от дверей да к окну и ну тереть тряпицей стекла. Андрей проводил гостя, вернулся назад и говорит мне: «Ты что здесь, голубушка, делаешь? Зачем пришла?» — «А вот, батюшка, стеклышки протереть».— «То-то стеклышки!.. Да напрасно трудишься, любезная; изволь-ка забрать свои пожитки, да чтобы сегодня же тебя здесь не было!.. Слышишь?» Я так и обомлела!.. «Как, батюшка!.. Ты меня гонишь вон?» — «Да, матушка — не прогневайся!» — «Помилуй! За что?» — «А так! Чтоб ты на огород-то приезжих молодцов не водила... Да что с тобою толковать; пошла, пошла!» Я было в слезы... куда! Повернул меня, да и в шею!.. Ну, батюшка, хоть я человек смирный, а зло меня взяло!.. Выгнать бесприютную сироту!.. Что он, мошенник, какие знает за мной художества?.. Я девка честная!.. Небось Марфутку-то не выгонит, скаред этакий! «Постой же! — думаю,— коли ты гонишь меня вон как собаку, так я же тебе, голубчик, и сама насолю!» Вот я к Софье Андреевне... Сидит, пригорюнившись, моя горемычная... Уж так мне ее жаль стало!.. «Что ты так призадумалась, красавица моя? — сказала я.— Уж не чует ли твое сердечко, что тебя выдают замуж за этого старого лешего мещовского воеводу Токмачева?..» — «Как!» — вскрикнула Софья Андреевна. «Да, родимая, послезавтра, сиречь в воскресенье, батюшка отвезет тебя в город да тут же и под венец». Софья Андреевна всплеснула руками и покатилась словно мертвая. Я попрыскала ее водицей — очнулась моя голубушка! да только не на радость: ухватила меня руками за шею, припала к плечу, да так рекой и льется!.. «Эх, матушка! — сказала я,— что толку-то плакать: ведь на это не посмотрят; а коли хочешь, я тебе помогу».— «Да как же ты мне поможешь?» — промолвила она

сквозь слезы. «А вот как: я пойду к Дмитрию Афанасьевичу: село Толстошеино отсюда верст тридцать, так я завтра же с ним увижусь. Была бы только твоя воля, а уж он тебя выручит; и коли дело на то пошло, так в воскресенье ты выйдешь замуж, да только не за этого старого хрыча — чтоб ему, проклятому, последним зубом подавиться!» — «Да как же это?» — спросила Софья Андреевна. «Вестимо как!.. Дмитрий Афанасьевич приедет сюда тайком вместе со мной, ты к нам выйдешь»... — «Как! — молвила Софья Андреевна,— я убегу от моего отца, выйду замуж без его благословения»... — «Эх, матушка! — сказала я,— это дело поправное: теперь не благословит, так благословит после; не целый же век станет гневаться... Кто и говорит — на первых порах посердится, а там, глядишь, и помилует. Ну, а коли ты выйдешь за этого старого пса Токмачева, так что тебе и в отцовском благословении?.. Ведь постылый-то муж — беда, матушка! А он же, проклятый, чего доброго, проживет аридовы веки!.. Эй, Софья Андреевна, не послушаешься меня, станешь у себя локотки кусать!» Куда! Моя Софья Андреевна и руками и ногами! «Как, дескать, бежать из родительского дома — да этакую беглянку сам Бог не благословит». Я и то, я и се... нет, под лад не дается!.. «Ну, матушка,— молвила я,— воля твоя, как хочешь: ведь не меня выдают замуж, а тебя. Ступай за Токмачева: может быть, он тебе полюбится. А я все-таки пойду к Дмитрию Афанасьевичу. Ведь твой батюшка меня выгнал, так авось он, кормилец, куда-нибудь меня пристроит. Да только как сказать ему?.. Ох, Софья Андреевна, губишь ты молодца! Я, знаю, он не переживет этого горя».— «Что ты говоришь?» — сказала Софья Андреевна. «Да, матушка, да! не переживет: коли сам на себя рук не подымет, так, уж верно, зачахнет с тоски. Да тебе что до этого: ты, сударыня, будешь воеводшей, выйдешь замуж с отцовским благословением, и коли дойдет до тебя слух, что Дмитрия Афанасьевича не стало, так тебе старый муж и поплакать о нем не даст — сохрани Господи!.. Ну, прощай, матушка, когда-то Бог приведет увидеться».

— Что ж, Софья Андреевна? — прервал Левшин.

— Опешила, батюшка!. Ухватилась за меня, да в слезы!.. Мало ли что было — дело девичье: и жаль тебя, и страшно, и хочу, и не хочу, а все-таки покончила тем, что велела тебе сказать, что завтра, сиречь в воскресе-

нье, перед светом, когда еще в скиту все будут спать, она выйдет из огорода задней калиткой в лес и поедет с тобою, куда ты хочешь; лишь только с уговором: чтоб ты завтра же с ней и обвенчался.

— Завтра! — повторил с восторгом Левшин. — Неужели, в самом деле, завтра она может быть моей женою?

— Будет, батюшка, только мешкать не надо... Коли ты завтра чем свет не поспеешь к ней на выручку, так не прогневайся!..

— Едем, Ферапонт! — вскричал Левшин. — Скорей, скорей!

— Едем!.. Да на чем, Дмитрий Афанасьевич? Ведь нам за таким делом не верхами же ехать. Не знаю, мой Донец, а твой Султан в упряжи никогда не хаживал, и повозки у нас нет.

— Эх, Ферапонт... Да неужели нельзя достать на селе.

— Как не достать, за деньги все достанешь.

— Так что же ты?.. Ступай скорее!

— А что проку-то, Дмитрий Афанасьевич, коли мы Софью Андреевну увезем, да некуда будет с нею деваться?.. Ведь мы здесь не дома, батюшка!.. Ступай-ка лучше да поклонись боярину, он, говорят, и сам смолоду на все ходок был, так уж верно тебе поможет; а коли поможет — так дело в шапке.

— В самом деле, Ферапонт, пойду, расскажу ему все, как отцу родному, авось он меня не покинет.

— Ступай, батюшка!.. А ты, Дарьюшка, пойдем-ка со мной; я сведу тебя на село к знакомому мужичку; ты у него отдохнешь и щей похлебаешь. Здесь тебе непригоже оставаться: ведь все дворовые-то народ продувной, как раз на зубки подымут.

Когда Левшин вышел опять на луг, то с первого взгляда заметил, что во время его отсутствия получено какое-нибудь известие, которое обратило на себя особенное внимание Куродавлева. Толпы дворовых и крестьян, теснясь с любопытством около своего боярина, составляли обширный полукруг, посреди которого Куродавлев расспрашивал о чем-то двух пожилых мужиков, вооруженных толстыми дубинами. Когда Левшин подошел, один из этих мужиков говорил:

— Да, батюшка! Матюху Беспалого больно избили; мы насилу довели его до села; полно, будет ли жив.

— Да точно ли это хотисенские крестьяне? — прервал боярин.

— Как же, кормилец! Мы их знаем. Ведь эти хотисенские все поголовно такие озорники, что не приведи Господи!.. При тебе они стали потише, а напреж сего не проходило года, чтоб они в нашем лесу порубок не делали.

— Да как же они смеют?..

— Ну вот, поди ты!.. Стоят на том, что это въезжий лес...

— Въезжий лес?.. Ах, они, мошенники!.. Да ты бы им сказал, что покойный мой батюшка, и дедушка, и прадед владели этим лесом...

— Пытался говорить, кормилец, да они орут свое. «Это, дескать, лесная дача отведена на всех соседей; в ней, дескать, всякий человек волен лес валить». Матюха-то Беспалый, мужик задорный, сцепился с ними ругаться, слово за слово — он одного из них по зубам, а они его в дубье!.. Кабы мы его не выхватили, до смерти бы убили...

— Въезжий лес! — повторил боярин.— Вот я им дам въезжий лес!.. Да много ли их.

— Многонько, кормилец: на двадцати подводах приехали, человек за тридцать будет.

— Только-то? Кондратий, посади побольше народу на коней, да пеших человек тридцать с села наряди.

— С оружием, батюшка?

— Нет, просто с дубинами. Коли эти озорники ударятся бежать, так ты поймай кого-нибудь, да припутни хорошенько, захвати у них побольше лошадей: пусть себе походят после да покланяются!.. А коли на драку пойдут, так валяй их в мою голову — слышишь?

— Слушаю, батюшка.

— Да у меня чтоб все дрались начистоту, а не то что ударил, да сам и за куст!.. Я, брат, этого не люблю: драться так драться!.. Коли кто из наших попятится или пролежит за кочкой, так задай ему такую баню, чтоб он до новых веников не забыл — слышишь?

— Слушаю, Юрий Максимович!.. Да только, батюшка, воля твоя, теперь уж поздненько, и коли свалка будет в лесу, так не досмотришь, кто из наших сбердил.

— Экий ты, братец, какой!.. Да неужели ты не знаешь, что кто дерется молодцом, тому и самому на орехи достанется?

— Вестимо, батюшка.

— Так ты как вернешься домой, осмотри всех: на ком нет боевых знаков, того и пори: уж верно за кустом пролежал.

— Слушаю, батюшка.

— Ну, ступай же!

— Юрий Максимович,— сказал Левшин, когда боярин перестал говорить с Кондратием,— я было хотел тебе челом ударить: у меня есть до тебя кровное дело, да ты теперь так растревожен, тебя рассердили...

— Кто? — прервал боярин.— Эти хотисенские воришки?.. И, Дмитрий Афанасьевич! стану я об этом думать. У нас такие проказы зачастую бывают. Дело соседское, разберемся полюбовно. Вот как им нагреют порядком затылки да отберут лошадей, так они сами придут с повинной головой.

— Не прогневайся, Юрий Максимович, коли я буду просить тебя...

— О чем?

— А вот о чем, боярин: если ты мне не поможешь, не выручишь меня, так я сгибну и пропаду навеки.

— Ого! Так это дело не шуточное!.. Говори, Дмитрий Афанасьевич, говори!.. Я все готов для тебя сделать... Деньги, что ль, тебе нужны — бери, сколько хочешь.

— Нет, Юрий Максимович, деньгами тут не поможешь.

— Так чего же ты хочешь?

— Я хочу жениться, боярин.

— Жениться!.. На ком?

— На одной девице, с которой познакомился в Москве.

— В Москве!.. Так что ж я могу для тебя сделать?

— Все, Юрий Максимович!.. Коли ты только захочешь...

— В Москве! — повторил боярин.— Постой-ка, молодец!.. Да у меня в Москве есть племянницы невесты... Уж не нарохтишься ли ты ко мне в родню!.. Ну, Дмитрий Афанасьевич, коли я отгадал, так не прогневайся — этому не бывать... Нет, нет, любезный! — продолжал Куродавлев, не давая Левшину молвить ни слова.— Проси у меня, чего хочешь, а об этом не заикайся!.. Дружба дружбой, а родство родством...

— Да выслушай, боярин, я...

— Знаю, любезный, знаю!.. У тебя есть и хорошее поместье, и сам ты молодец отличный, да твоя службишка-то поскудная — всему делу помеха. Уж я тебе толковал: кто своей волей, а не по царскому указу пошел в стрельцы, тот забудь и думать породниться с нашей

братьею, родословным боярином. Кому охота сделать такую поруху всему роду своему и отечеству.

— Да позволь слово вымолвить,— сказал почти с нетерпением Левшин.— Та, на которой я хочу жениться, девица простого рода, и ты ее вовсе не знаешь.

— Не знаю?.. А коли не знаю, так о чем же ты меня просишь?

— А вот выслушай, я все тебе расскажу.

Левшин начал свой рассказ с того, как он увидел первый раз Софью в Мещовском подворье и как полюбил ее, не зная, кто она такова; потом рассказал, каким неожиданным образом он познакомился с отцом ее, Андреем Поморянином, и как этот Поморянин объявил ему наотрез, что никогда не выдаст за него своей дочери.

— А, вот что! — прервал Куродавлев.— Ты, верно, думаешь, что я скорей твоего уломаю этого раскольника? Ну, коли так — изволь, Дмитрий Афанасьевич?.. Я сам отправлюсь к нему сватом.

— Это не поможет, Юрий Максимович: он уж просватал свою дочь...

— Право?.. Ну, коли просватал, так делать-то, брат, нечего; видно, тебе не судьба на ней жениться.

— Нет, боярин: лишь только бы ты мне помог, а то уж я ее выручу. Она прислала мне сказать, что если я завтра, чем свет, не увезу ее из отцовского скита и не обвенчаюсь с нею, так завтра же ее выдадут замуж за постылого человека.

— Так ты хочешь, чтоб я помог тебе увести ее из родительского дома?.. Эх, Дмитрий Афанасьевич, не хорошо! Без отцовского благословения проку не будет!.. Правда, теперь она раскольница, а как выйдет за тебя, так будет православной... Да и батюшка-то ее не Бог знает кто!.. Чай, купчишка или посадский, а не то еще — беглый дьячок или расстрига какой, так не велика беда, коли его дочка выйдет за стрелецкого сотника... А все, как подумаешь — увести родную дочь у отца!.. Да и тебе-то что за охота напрашиваться в зятья к этому раскольнику?!. Ты — православный, а он уж верно просватал свою дочь за такого же еретика, каков он сам...

— Да, Юрий Максимович, ее выдают замуж за мещовского воеводу...

— Как!.. За этого скверпавца Токмачева?..

— Да, боярин.

— Так ты у него хочешь отбить невесту?.. Ну, это иная речь!.. Изволь, любезный — помогаю... Тебе надо поспеть туда чем свет... А далеко ли этот скит отсюда?

— Верст около тридцати.

— Так мешкать нечего!.. Эй, Демка! ступай скажи, чтоб сейчас запрягли тройкой мою дорожную кибитку. В корень Беркута на пристяжку Сокола да Ласточку — проворней!.. Это, любезный, башкирки — взглянуть не на что, а такие кони, что и цены нет!.. Им шестьдесят верст не кормя — нипочем!.. Ты ступай туда полегоньку, перед светом будешь; а оттуда, как дело спроворишь, катай по всем по трем!.. лишь бы на козлах-то сидел молодец, а то уж только держись!

— Я возьму с собой Ферапонта.

— Ну, этот малый дюжий — сладит!.. А я без тебя все приготовлю. Ведь мы девишника справлять не станем: из кибитки да и к венцу, а там за веселье... Ну, что?.. Так ли, Дмитрий Афанасьевич?..

— По гроб не забуду твоих благодеяний, Юрий Максимович!.. По милости твоей я буду самым счастливым человеком в свете.

— Самым счастливым!.. Давай Господи! Только вперед, любезный, не загадывай. Как проживешь с женой лет десять, так скажи тогда. Ведь и я был также женат, и мне на первых порах казалось, что я живу с Авдотьей Саввишной словно в раю земном; а там как пошло хуже да хуже... Э! Да что говорить об этом! Дай Бог ей царство небесное — все мы люди, все человеки!.. Пойдем-ка, Дмитрий Афанасьевич, да, пока запрягут лошадей, перехватим чего-нибудь... Ведь твой будущий тесть утощать тебя не станет, так не худо запастись.

Через полчаса лихая тройка въехала на боярский двор и, повинуясь могучей руке удалого Ферапонта, остановилась, как вкопанная, перед крыльцом. Левшин сел в кибитку, заехал на село, чтоб взять с собой Дарью, и лишь только Ферапонт, желая пощеголять своим удальством перед нареченной невестою, поослабил вожжи, коренная рванулась вперед, пристяжные подхватили и, как из лука стрела, с визгом помчались вдоль озера.

— Эки черти! — шепнул Ферапонт, сдерживая одной рукой всю тройку.— Кажись одры, а так и рвут!.. Ну, батюшка! — продолжал он, оборотясь к своему барину.— С ними дремать-то нечего: звери, а не лошади!

IX

Утренняя заря едва стала заниматься и ни одна звездочка не потухла еще на темно-синих небесах, когда Левшин и его спутники, миновав Федосеевский скит, то есть деревушку, в которой жили перекрещеванцы, стали приближаться к цели своего путешествия. Доехав до березовых рощ, окружающих со всех сторон скит Андрея Поморянина, они остановилась.

— Ну, что, голубка — спросил Ферапонт вполголоса Дарью,— куда нам теперь?

— А вот ступай направо-то по дороге.

— Да не лучше ли здесь подождать? Ведь по заре-то как раз услышат конский топот.

— Небось, не услышат, теперь все спят.

— А сторож?

— Чай, также спит... Ведь эту неделю сторожем-то Архипка, его очередь.

— Архипка!.. Вот этот рыжий парень, что ты на святках видела?..

— Ну, да!.. Соня такой!.. Бывало, нет чтобы обойти ночью разика два кругом скита — храпит себе, да и только!.. Третьего дня хозяин уж щунял, щунял его за это...

— Вот то-то и есть!.. Ну, коли его нелегкая понесет сегодня?

— Да нет!.. Ведь он такая дрянь, что и сказать нельзя!.. И Дуняшка-то его такая же, только бы дрыхнуть!.. За что хлебом кормят!

— Ну, что, батюшка! — продолжал Ферапонт, обращаясь к своему барину,— что нам, подъехать к самому огороду или нет?

— А вот мы с Дарьей пойдем пешком,— молвил Левшин, выпрыгнув из кибитки,— а ты ступай потихоньку за нами.

Когда Левшин прошел шагов двести по дорожке, изрытой глубокими колеями, Дарья сказала ему шепотом:

— Вон, батюшка, за толстой-то березой должна быть калитка. Побудь-ка здесь, а я пойду посмотрю, дожидается ли нас Софья Андреевна. Коли она тут, моя голубка, так я вместе с ней и приду... Да смотри, батюшка, стой смирно... Хоть я и не чаю, чтоб этот увалень, Архипка, стал ходить дозором, да ведь кто знает: тут-то его черт и дернет!

Левшин остался один: позади него, шагах в десяти, остановился Ферапонт с лошадьми. Кругом все было так тихо, что Левшин не только чувствовал, но даже слышал каждое биение своего сердца. Кто не испытал на себе самом эту неизъяснимую тоску тревожного ожидания, эту томительную лихорадку души, это болезненное, почти безумное состояние, в котором минута кажется нам годом, а день целой жизнью — да! кто не испытал этого на самом себе, тот не поймет никогда, что чувствовал Левшин, стоя неподвижно на одном месте около часа. То ему казалось, что Софья, эта кроткая, боязливая девица, никогда не решится на такой смелый поступок; то думал он, что она занемогла; то приходило ему в голову, что Андрей догадался и увез ее в Мещовск. «Вот уж утро, а ее нет как нет! — прошептал он наконец с отчаянием.— Боже мой, Боже мой!.. И чего я жду, чего надеюсь?.. Безумный! Да разве ты не знаешь, что тебе не суждено быть счастливым?.. Ступай-ка лучше да похорони себя заживо,— авось под черной рясой замрет в тебе на веки ретивое!.. Помаялось оно, понатерпелось горя — будет с него!»

Вдруг послышалось ему что-то похожее на тихий шелест отдаленных шагов... Да! так точно!.. Кто-то медленно и робко крадется по лесу... У Левшина занялся дух. Его с головы до ног обдало холодом. Еще несколько минут — и участь его решена навеки!.. Напрасно нетерпеливый взор его силился проникнуть в глубину леса — он не видел ничего... Но вот шорох становится слышнее, вот близехонько хрупнула сухая ветка... «Нет, я не могу идти далее»,— раздался в десяти шагах от него этот знакомый, очаровательный голос. Левшин вскрикнул, бросился вперед, и полумертвая Софья упала без чувств в его объятия.

— Софья! друг мой! ты ли это? — повторял Левшин, прижимая ее к груди своей.

— Она, Дмитрий Афанасьевич, она! — шепнула Дарья.— Да мешкать-то нечего — наговоритесь после.

— Боже мой! она без памяти!

— Очнется, батюшка!.. Неси ее скорей в повозку!

В самом деле, прежде чем Левшин донес Софью до кибитки, она пришла в себя.

— Садитесь поскорей! — молвил Ферапонт.— Вот уж заря-то, почитай, совсем занялась. Время, батюшка, время!

Софья и Дарья поместились в кибитке, Левшин присел на облучок.

— Ну что, сели? — спросил Ферапонт, подбирая вожжи.

— Стой! — раздался грубый голос и рыжий широкоплечий детина, выскочив из-за куста, схватил под уздцы лошадей.

— Архипка! — вскрикнула Дарья.

— Эй, братцы, сю-да!.. воры! — заревел сторож, продолжая удерживать лошадей.

— Отцепись! — закричал Ферапонт,— а не то стопчу!

— Сюда, ребята, сюда!

— Батюшки, перебудил он всех! — шепнула Дарья.

— Ах, ты упрямая башка! — молвил Ферапонт.— Ну, так смотри же, брат, держись!.. Эй вы, соколики!

Вся тройка рванулась вперед, и сторож, отброшенный шагов на десять в сторону, упал между кустов. Вихрем понеслись удалые кони, как сплошной частокол замелькали по обеим сторонам высокие деревья, кибитка запрыгала по колеям, и минут через пять наши путешественники, оставив позади себя березовые рощи, выехали на проселочную дорогу, которая вела в скит перекрещеванцев.

— Ну, что, батюшка,— спросил Ферапонт, сдерживая лошадей,— встал он или нет?

— Кто? — подхватила Дарья.— Архип-то рыжий?.. Вестимо встал — что ему сделается?.. Разве ты не видел, что он упал в кусты?

— Ну, так зевать-то нечего — за нами будет погоня. Эй, вы!

Левшину некогда было и словечка перемолвить со своей суженой; он смотрел заботливо по сторонам и беспрестанно остерегал Ферапонта. Изгибистая и неровная дорога была местами до того дурна, что даже и при тихой езде повозка могла весьма легко опрокинуться, а они мчались то вскачь, то шибкой рысью. Изредка только удавалось Левшину взглянуть на Софью, которая сидела, закутавшись в свою фату, и горько плакала. Дарья не утешала ее; напротив, она шептала ей время от времени:

— Плачь, матушка, плачь!.. Невесты всегда плачут... Вот как и мне Господь приведет идти под венец, так ты меня не изволь уговаривать — ревкой буду реветь!.. Нельзя, Софья Андреевна. Как можно невесте не плакать: все добрые люди осудят!

Благодаря искусству Ферапонта и заботливой осторожности его барина, все шло покамест благополучно:

повозка ни разу не опрокинулась, и вот наконец путешественники, или, вернее сказать, наши беглецы могли вздохнуть свободно. До перекрещеванского скита оставалось не более полуверсты, а там уж начиналась широкая и гладкая дорога, вплоть до самого полусела Куклина. Вдруг лошади на всем бегу остановились, коренная попятилась назад, а пристяжные начали храпеть и кидаться в стороны... «Ахти,— шепнул Ферапонт,— никак медведь!» Он едва успел выговорить эти слова, как шагах в двадцати перед ними раздался болезненный рев, и огромный медведь, облепленный со всех сторон медовыми сотами и усыпанный бесчисленным множеством пчел, перебежал через дорогу. «Ага, вор косолапый! — промолвил Ферапонт.— Не станешь вперед таскаться по пчельникам».

— Держи лошадей-то, держи! — закричал Левшин. Но испуганные кони вышли совершенно из повиновения. Несмотря на все усилия Ферапонта, они свернули с дороги и как шальные бросились прямо в лес. Проскакав шагов сто по кустам и мелкой поросли, они врезались в самую середину леса; повозка задними колесами задела за сосну, лошади остановились, но колеса разлетелись вдребезги, и кибитка упала набок. К счастью, никто не ушибся, и когда Левшин высадил из повозки своих спутниц, то увидел, что из них гораздо более испугалась Дарья, чем Софья.

— Господи Боже мой! — вопила толстая девка,— что с нами будет!.. Ведь медведь-то нас всех переест!..

— Эх, Дарья, нишкни! — прервал Ферапонт.— Небось! Он никого не съест.

— Чу! Слышишь, как он ревет?.. Ах, батюшки! Никак идет сюда!.. Ну, пропали наши головушки!

— Да что тебе дался медведь?.. Говорят тебе — небось!.. Ему теперь не до нас; ему бы поскорее до водицы добраться, а не то пчелы-то закусают до смерти. Ну что, батюшка,— продолжал Ферапонт, обращаясь к Левшину, который суетился вокруг кибитки,— что колесы?

— Одни ступицы остались.

— Ну, вот-те бабушка и Юрьев день! Что ж нам теперь делать-то, Дмитрий Афанасьевич?

— Вестимо, что!.. Ведь отсюда близехонько скит перекрещеванцев; ступай купи у них телегу.

— Да они, пожалуй, заломят и Бог знает что.

— Все равно! У тебя деньги есть, давай, что просят.

— Нет, Ферапонт,— сказала Дарья,— хоть вовсе не ходи: теперь все еще спят, а коли где и достучишься, так тебя ни за что в избу не впустят. Ведь здесь такой народ, что не приведи Господи!

— Э! Знаешь ли что, Дарьюшка?.. Пойдем-ка вместе к твоей знакомой старушке, Аксинье Никитичне...

— Да ее нет дома. Я вчера к ней заходила. Ушла за пятнадцать верст и домой-то вернется разве сегодня к вечеру.

— Ну, плохо дело!.. Мы будем здесь валандаться, а Андрей Поморянин, того и гляди, что нагрянет сюда с целой ватагой... Постой-ка, постой!.. Ведь избенка этого безумного Павла — тот, что хотел нас в дождевой воде перекрещивать — кажись, близехонько отсюда? Попытаться разве... Не ровен час: иногда и дурак сослужит службу лучше умного... Ты, батюшка, останься здесь, только смотри, чтоб нас и слышно не было... Как знать, неравно вдруг нагрянут. А чтоб и лошади стояли смирно, так пощиплите травки, да дайте им перехватить, а я пойду, толкнусь к этому шальному.

Ферапонт не ошибся в своем предположении, избушка перекрещеванца Павла была шагах в трехстах от того места, где их разбили лошади. Он тотчас узнал ее по огромной плетушке с дождевой водой, которая стояла по-прежнему у самых ворот. Ферапонт стукнул по окну.

— Кто там? — раздался в избе звонкий голос Павла.

— Я, батюшка,— я!

— Да кто ты?

— Знакомый.

Окно растворилось, и Павел высунул из него свою косматую голову.

— Здравствуй, отец Павел! — сказал Ферапонт.— Мне надо с тобой словечко перемолвить.

— Да ты кто таков?

— А вот помнишь, третьего дня проезжие — еще ты утоваривал нас креститься в дождевой воде.

— Ну, так что ж?

— А то, батюшка, что мне надо об этом путем с тобой потолковать. Уж, полно, не правду ли ты говоришь, отец Павел?

— Ну, коли ты хочешь об этом со мной побеседовать, так милости просим.

Павел отпер ворота и, введя своего гостя в избу, пригласил его сесть на лавку под образами, но Ферапонт низко поклонился и промолвил смиренным голосом:

— Нет, отец Павел, изволь-ка садиться в передний угол, ты ведь наставник, а я что? я и постою.

Павел, который во всю жизнь свою не мог попасть ни к кому в наставники, обомлел от радости; он вытащил из-под лавки рогожку, разостлал ее на полу, потом снял с полки толстую книгу в кожаном переплете, разогнул ее и положил на стол, а сам, поместясь под образами, погладил с важностью свою жиденькую бородку и сказал:

— Ну, коли ты прибегаешь ко мне яко суетный и избираешь меня в свои отцы духовные и наставники, так и приемлю тебя с любовью. Я вижу, ты желаешь покаяться в грехах твоих — кайся, чадо, кайся!

— Вот тебе раз! — подумал Ферапонт.— Ах, ты шельмец этакий, еще хочешь исповедовать!..

— Ну, что ж ты, чадо? — продолжал Павел.— Преклони колена и кайся во грехах своих!

— Нет, батюшка! — прервал Ферапонт,— эта речь впереди. Я хотел только сказать тебе, что третьего дня мы с барином торопились в село Толстошеино, так нам некогда было тебя послушать, а все-таки нас раздумье взяло... Немного ты слов сказал, отец Павел, а все они у меня и у моего барина крепко в голове засели.

— Право?

— Как подумаешь — подлинно правда: вся земля осквернена!

— Уж я тебе говорю!.. Живого местечка не осталось. Куда ни оборотись, все мерзость запустения!

— Истинно так!.. И барин мой говорил то же.

— А коли вся земля предана скверне, так как же текущие по лицу его воды могут оставаться неоскверненными.

— Так, так!.. И барин мой говорит то же.

— А ведь окрещенных в оскверненной воде надо опять перекрещивать?

— Надо, батюшка, надо!

— Ну!.. А в чем же ты их станешь крестить?.. Ан дело-то и выходит, что одна только и есть вода, непричастная сему злу — вода небесная.

— Сиречь дождевая?.. Вот и барин мой говорит то же.

— А коли так, зачем же дело стало?.. Где твой барин?.. Подавай его!.. Я вас сейчас окрещу.

— Нет, отец Павел, погоди!.. Дай нам прежде подумать да приготовиться — ведь это дело не шуточное.

— Эй, не откладывайте!.. Благо вы попали на правый путь... Что тут мешкать, коли у меня есть про вас крещенье истинное, и отпущение грехов, и спасение душевное...

— Так, батюшка, так!.. А есть ли у тебя телега?

— Телега! На что тебе?

— Да вот дело какое, отец Павел, мой барин был нареченным женихом дочери Андрея Поморянина.

— Как!.. Этого пришельца... отщепенца окаянного, который называет нас еретиками?

— Да ведь дочь-то вовсе не в батюшку, и она тоже говорит, что барин.

— Ой ли?

— Как же!.. Ведь за этим и дело встало. Андрей как-то подслушал, что мой барин уговаривался с его дочерью взять тебя в наставники — вот и пошла потеха!.. Батюшка, как он осерчал!

— Эка зависть, подумаешь!.. Мало ли у него учеников-то, разбойник этакий!

— Ну, вот поди ты!.. Поднял такой крик, что святых вон поноси!.. Уж он позорил, позорил тебя!.. Что, дескать, этот Павел — дурачина, мужик безграмотный!

— Безграмотный?.. Врет он, нечестивец этакий!.. Вишь, учен больно!.. Да я плевать хотел на его сатанинскую мудрость! Что мудрость земная?.. Прах!

— Вот и барин мой говорит то же, да он-то свое несет. «Коли, дескать, ты едешь в ученики к этому лапотнику Павлушке Калмыку, так не выдаю за тебя дочери; пошел вон из дому!» Ну, делать нечего, вот мы и поехали в село Толстошеино: там у барина моего есть приятель; а сегодня чем свет поехали к Андрееву скиту да дочку-то у него и сманили.

— Право?.. Дело, ребята, дело!.. Ай да молодцы!.. Ништо ему, еретику проклятому!

— Да вот, отец Павел, какой грех случился: недалеко от твоей избы медведь перебежал через дорогу...

— Медведь?.. Так вот что?.. То-то я слушаю, что это Жучка у меня на пчельник воет как за язык повешенная...

— Кони-то у нас молодые,— продолжал Ферапонт,— испугались, кинулись в сторону, изломали повозку — вот мы теперь и сидим, а того и гляди, что за нами погоня будет.

— Да вы куда едете?

— В село Толстошеино.

— А кони ваши где?
— Там, с барином, в лесу — близехонько отсюда.
— Телега-то у меня есть — и знатная телега.
— Мы тебе за нее заплатим, отец Павел.
— Зачем!.. Ведь вы скоро опять ко мне будете?
— Как же!.. Дай только нам свадьбу отпировать, а там все к тебе приедем.
— Так вы захватите ее с собой.
— И то дело!.. А ты нашу повозку побереги. Да только, пожалуйста, отец Павел, поторопись!.. Ведь Андрей как раз нагрянет с народом, а нас всего двое.
— Ну, пойдем!
Когда они вышли на двор, Ферапонт, не мешкая, осмотрел телегу и принялся уже тащить ее со двора, как вдруг остановился и стал прислушиваться.
— Постой-ка на минутку,— шепнул он, выпуская из рук оглобли.— Что это как будто б ветром наносит?.. Чу! Слышишь?
— Да, слышу!.. Сюда едут и, кажись, очень шибко.
— Ну, так и есть! Отец Павел, запри-ка ворота да пойдем в избу. Коли они остановятся да станут тебя расспрашивать...
— Небось! Уж я знаю, что им ответить.
Не прошло двух минут, как этот глухой шум превратился в громкий и внятный конский топот; можно было ясно различить, что довольно многолюдная толпа всадников скачет по лесу. Вот они поравнялись с избою Павла... «Стой!» — закричал кто-то повелительным голосом. Павел выглянул в окно: подле самой завалинки стояла телега, запряженная тройкой пегих лошадей, а кругом нее человек десять верховых.
— Послушай-ка, любезный,— сказал человек пожилых лет, который сидел в телеге,— проехала здесь повозка тройкою?
— Проехала,— отвечал Павел.
— Куда?
— Да прямо по дороге в Куклино... Ведь здесь другой езды нет.
— А давно они проехали?
— Да не так, чтоб давно, а уж, чай, далеко впереди — гонят так, что и Господи!
— Пошел! — закричал пожилой человек. Тройка помчалась, а вслед за ней понеслась вся толпа всадников.
— Ну, вот и след простыл,— сказал Павел.

— Да что в этом толку? — прервал Ферапонт.— Ведь другой дороги в село Толстошеипо нет, кроме Куклинской?

— Нет.

— Эх, плохо дело!.. Вот, говорят, беглому одна дорога, а погонщикам много — ан выходить дорога-то у нас одна; или мы их догоним, или они с нами повстречаются, а уж нам их не миновать. Да нет ли, Павел, какого-нибудь проселка?

— И дорога есть другая, да только зимняя.

— Где?

— А вот, не доезжая до околицы поворот налево. Зимой дорога знатная, все лесом, почитай, вплоть до села Толстошеина, а летом больно плохо; два раза Брынь надо переезжать, и болотца есть.

— Да лишь бы только была какая ни есть езда, а то кони у нас добрые, вывезут.

— Ну, коли так, ступайте с Богом! Не знаю, как дальше, а верст десять проедете хорошо. Я вчера ходил по этой дороге навестить знакомого старца. Он живет в лесу один.

— Как и летом и зимой?

— Да!.. Зимой он живет в землянке, а летом спасается на сосне... Такой строгий старец!..

— На сосне!.. Уж это не Пафнутий ли?

— Да, старец Пафнутий. Он сказывал мне, что третьего дня по этой дороге проехал один мужичок порожняком, так, авось, и вы проедете. Лето стоит жаркое, чай, болотца-то повысохли, а через Брынь, где хочешь ступай, везде брод... Только, смотрите, не сбейтесь с дороги. Сначала просека пойдет все прямо, а там как в первый раз переедете Брынь, так не доезжая до сосны, на которой живет Пафнутий, поворот в село Толстошеино, а прямо-то пойдет дорога в село Боброво.

— Ну, делать нечего! — сказал Ферапонт.— Коли нет сапогов, так и лапти в чести. Прощай покамест, отец Павел! Я пойду возьму телегу.

— Пойдем я помогу тебе.

— Не трудись, батюшка, я свезу один.

— Вдвоем-то лучше; да я же хочу перемолвить словечко с твоим барином.

— После, отец Павел, после!.. Успеете наговориться, а теперь сходи-ка лучше к себе на пчельник.

— А что?

— Да за медведем-то, что перебежал нам дорогу, гнались пчелы, и он весь испачкан в меду,— так не у тебя ли он это спроворил.

— А что ты думаешь! — вскричал Павел.— Ведь другого пчельника здесь нет... Ну, так и есть! — продолжал он, кинувшись опрометью из избы.— Проклятый! Чай, он все пеньки у меня перевалял!

Ферапонт очень обрадовался, что успел отделаться от этого Павла, которого он не желал сводить со своим барином.

— Фу-ты, батюшки! — молвил он, выходя на двор,— насилу отвязался. Беда, кабы он пристал к барину: ведь тот, пожалуй, все дело бы испортил. Ну, теперь за работу!

Ферапонт впрягся в телегу и, как добрый конь, довез ее в две минуты до того места, где лежала на боку их повозка. Он нашел всех в большой тревоге.

— Ферапонт,— сказал торопливо Левшин,— что это за люди проскакали по дороге?.. Уж не погоня ли?

— Да, батюшка.

— Что ж нам делать? Ведь дорога-то одна?

— Нет, Дмитрий Афанасьевич! — отвечал Ферапонт, спеша запрягать лошадей.— Мне добрый человек показал дорогу. Мы выедем по ней прямехонько к селу Толстошеину. Говорят, больно плоха, да Бог милостив, авось проедем как-нибудь!

Через несколько минут все было готово. Наши путешественники выбрались потихоньку из леса и, доехав до околицы Федосеевского скита, повернули налево в узкую просеку, по обеим сторонам которой тянулся бесконечный ряд огромных доревьев. Внизу, поросшая высокой травою дорога была еще покрыта густою тенью, но на высоких вершинах этих вековых сосен играли уже первые лучи восходящего солнца.

X

Встреча с медведем до того перепугала Дарью, что когда они въехали в эту темную и пустынную просеку, ей стали поминутно мерещиться то огромные медведи, то целые стаи косматых волков. С трепетом озираясь кругом, она творила про себя молитву и вскрикивала всякий раз от ужаса, когда в лесу раздавался шорох

или хрустел валежник под ногами какого-нибудь зверя. Впрочем, эти опасения разделял с нею — разумеется, до некоторой степени — и сам Ферапонт; он замечал, что лошади время от времени пугались, храпели и робко прижимали к головам свои чуткие уши. Софья, напротив, казалась гораздо спокойнее и даже веселее прежнего; по крайней мере, она уже не плакала. Пока Ферапонт беседовал с Павлом, то есть старался выманить у него телегу, Левшин успел обо всем переговорить со своей невестой. Теперь она знала, что у боярина Куродавлева все готово для их свадьбы и что через несколько часов она уже будет не беглянкой, а законной супругой Левшина. Конечно, для нее очень было прискорбно идти замуж без отцовского благословения; но она и тут утешала себя мыслию, что рано или поздно отец простит ее; а сверх того Софья решилась на этот отчаянный поступок потому только, что ей ничего другого не оставалось делать. «О, я никогда бы не вышла из отцовской воли! — думала Софья,— и если б батюшка не хотел меня выдать за этого мещовского воеводу, то, может быть, я умерла бы с горя, а все-таки не обвенчалась бы ни с кем без его благословения».

Когда наши путешественники проехали верст около шести по этой, хотя и ровной, но зато вовсе не торной дороге, Ферапонт, заметив, что лошади начинают уставать, перестал их понукать и дал волю идти шагом.

— Вот,— сказал он,— дорога, кажись, гладкая, а как раз лошадок уморишь. Нам хорошо, да им-то каково бежать целиком: ведь колеса по траве вовсе не катятся... Правда, гнать нам нечего: мы здесь с Андреем не встретимся.

— А что, дорога все будет этакая? — спросил Левшин.

— Да Бог весть! — отвечал Ферапонт, посматривая вдоль просеки.— Говорят, впереди есть болотца и Брынь надо переезжать. Ведь летом по этой дороге никто не ездит.

— Так проедем ли мы?

— Проедем как-нибудь. Ну, может статься, разика два-три и побьемся. Как попадешь в трясину, так не скоро выедешь. Правда, мне говорили, что вчера еще один мужичок проехал порожником по этой дороге, так, авось, и нас Господь пронесет.

— Говорили!.. Да кто тебе говорил?

— А вот этот перекрещеванец, Павел.

— Так ты у него и телегу-то купил?

— Нет, не купил: он мне так ее дал.

— Вот что... Да как же это он?

— А так же!.. В том-то и дело, Дмитрий Афанасьевич, как погладишь дурака по шерсти, так он за тебя в воду полезет. Кабы я не сказал этому полоумному, что хочу идти в его веру, так он бы меня и на двор не пустил.

— Так ты ему сказал, что хочешь перекрещиваться?

— Как же, батюшка!.. Я сказал, что и ты желаешь взять его в свои наставники.

— Что ты, в уме ли, Ферапонт?.. И как у тебя язык повернулся...

— Да что ж мне было делать, Дмитрий Афанасьевич?.. Коли на правду не возьмешь, а на силу взять нельзя, так пришлось подыматься на хитрости. Иль ты думаешь, мне весело было, когда этот сермяжник выдумал меня исповедовать.

— Исповедовать?

— Да, батюшка!.. Насилу отвязался. Вытащил какую-то книгу и рогожку мпе подослал, чтоб я стал на колени; да так и пристает — лапотник этакий!.. «Кайся, чадо, кайся!» Вот ты, Дмитрий Афанасьевич, смеешься, а мне вовсе не до смеху было. Кабы воля да воля, так я бы этого Павлушку-богохульника отучил исповедовать, а тут делать-то нечего, и зло берет, да поневоле кланяешься и говоришь этому замарашке: «Батюшка, отец Павел!» Вот то-то и есть, Дмитрий Афанасьевич, недаром пословица: «неволя пляшет, неволя скачет, неволя песенки поет».

— Ступай-ка, Ферапонт, скорей,— прервал Левшин.— Мы так, пожалуй, целый день протащимся.

— Куда целый день!.. Лишь только бы не сидеть где-нибудь в болоте, а то коли и все шагом поедем, так будем дома прежде полуден. Ну что, сердечные, вздохнули?.. Эй вы!

Несмотря на свою усталость, лошади приняли дружно и побежали шибкой рысью.

— Э! Да что это? — промолвил Ферапонт, когда они проехали еще версты две.— Никак Брынь?.. Ну, так и есть!.. Дмитрий Афанасьевич,— продолжал он, сдерживая лошадей,— возьми-ка, батюшка, вожжи, а я пойду поищу, где нам переехать.

Ферапонт возвратился через несколько минут, неся в руках свою обувь.

— Ну, что? — спросил Левшин. — Есть ли брод?

— Знатный, батюшка! Не глубоко, в одном только месте по пояс, а то все по колено.

— Так садись скорее.

— Нет, Дмитрий Афанасьевич, лошадей-то надо выпрячь.

— А что?

— Да с нашей стороны спуск больно плох. Видно, весной большая вода была, весь берег подмыло. Такой обрыв, что не приведи Господи!.. В поводу-то лошадей мы как-нибудь переведем, а уж телегу надо на себе спустить.

— Ах! батюшки! — вскричала Дарья. — Да нам-то как же?.. Неужели по воде идти?

— Зачем? Вы только спуститесь с берега, а там садитесь опять в телегу, уж я вас перевезу. Да ты не изволь тревожиться, матушка Софья Андреевна! — промолвил Ферапонт, обращаясь к невесте своего боярина. — Мы и не такие возы на себе важивали. Что в вас обеих тяги-то много ли!.. А я однажды, за спором, сороковушу с водой на берег вывез.

Левшин перевел по одиночке лошадей через Брынь, а Ферапонт, привязав к телеге вожжи, спустил ее почти с отвесного берега в воду, потом помог сойти Софье и Дарье, усадил их опять в телегу и повез на себе через Брынь.

— Ну! — прошептала Дарья, поглядывая с невольным уважением на своего суженого, — послал мне Господь женишка!.. Посмотрика-ка, Софья Андреевна, словно лошадь везет, да хоть бы раз поднатужился!.. Вот это молодец: уж не Архипке рыжему чета!

Когда лошадей опять запрягли, Ферапонт, желая вознаградить потерянное время, погнал их снова рысью. Не прошло и четверти часа, как они выехали на небольшую луговину, посреди которой росли отдельной куртиной несколько сосен. Одна из них была необычной толщины, и ее ветвистая вершина не подымалась остроконечной пирамидой кверху, но раскидывалась во все стороны огромным шатром. Просека, которая оканчивалась этой поляной, начиналась снова на ее противоположной стороне. Поравнявшись с сосновой куртиной, Ферапонт остановил лошадей.

— А что, Дмитрий Афанасьевич, — сказал он, — как ты думаешь: прямо, что ль, нам ехать?

— Да разве ты не видишь: вон просека-то перед нами.

— Вижу, батюшка, вижу!.. Только не здесь ли где-нибудь поворот в Толстошеино? Кажись, нет. Я посматривал и направо и налево.

— Так, видно, мы еще до поворота не доехали.

— Видно, что так!

— Внимайте, путники, внимайте! — закричал кто-то пронзительным и диким голосом. Этот внезапно раздавшийся в пустынном лесу человеческий голос заставил невольно содрогнуться Левшина и Ферапонта. Софья побледнела, а Дарья вскрикнула с ужасом: «Батюшки — леший!»

— Чего ради блуждаете в сих дебрях! — раздался опять тот же самый голос.— Или желаете обрести смиренного старца Пафнутия, и святой беседою его очистить оскверненные грехом сердца ваши?

— Э! Да это Пафнутий,— прошептал Ферапонт.— Ну, помнишь, батюшка, запощеванцев?.. Да откуда он нам кричит?.. А, вот он!.. Посмотри-ка, Дмитрий Афанасьевич, вон на сосне... видишь, он сидит как сыч в дупле!.. Подержи-ка, батюшка, лошадей, а я сойду с ним поговорить, авось он нам укажет, где поворот.

Ферапонт снял шапку и подошел к толстой сосне. Из дупла, которое было сажени две от земли, выглядывало знакомое уже нашим читателям худощавое, зверское лицо, с полоумными, сверкающими глазами.

— Бог помощь, отец Пафнутий! — сказал Ферапонт, кланяясь в пояс.— Я привез тебе поклон от федосеевского старца, отца Павла.

— Да ты-то сам, чадо, мимо грядешь,— прервал Пафнутий,— или пришел в сию пустыню ради меня, труженика и благовестника истинной веры?

— Нет, батюшка. Я теперь еду в село Толстошеино, да скоро вернусь назад и уж тогда послушаю твоих речей. Я затем и поехал зимней дорогой, чтобы отвести тебе от отца Павла поклон, да и самому мне хотелось тебе поклониться.

— Пафнутий поглядел недоверчиво на Ферапонта и сказал:

— В село Толстошеино!.. А почто грядешь ты, чадо, в сей вертеп льва рыкающего, в сие жилище слуги и сподвижника антихристова?

— Послали, батюшка: дело подневольное; велят, так поедешь.

— А кто сей муж, что сидит у тебя на возу с покрытой главою?

— Это, батюшка, недужный человек, слепой и немой. Мне приказано отвести его в село Толстошеино.

— А юные отроковицы, с ним сидящие?

— Сестра его и работница... Теперь, отец Пафнутий, скажи пожалуйста: ведь прямо-то просекой дорога куда пойдет?

— В некую весь, селом Бобровым именуемую.

— А где же поворот в Толстошеино?

— Обратися вспять, чадо! Зришь ли тамо четыре древа, их же березами нарицают?

— Четыре березы?.. Вижу, отец Пафнутий, вижу.

— На восточной стране оных, среди мелкодревесия, и обретается путь, ведущий в сие гнездилище разврата и нечестия, глаголемое село Толстошеино.

— Так мы поворот-то проехали! Ну,— промолвил Ферапонт, надевая шапку,— спасибо тебе, старинушка, что ты голос подал! Кабы не ты, так мы сбились бы с дороги, так же, как мы у тебя запощеванцев отбили?

— Как! — вскричал Пафнутий.— Так это вы, богоотступники окаянные?

— Мы, дедушка, мы! Счастливо оставаться!

— Ах вы святотатцы проклятые!.. Еретики, разбойники, душегубцы!

— Врешь ты, сыч этакий,— прервал Ферапонт уходя.— Мы не в тебя, старый черт, мы живых-то людей голодом не морим!

— Умолкни, буеслов нечестивый! — завопил неистовым голосом раскольник.— Да будет часть твоя с Каином и Иудою и три краты окаянным наставником вашим, Андреем Поморяниным!

— Экий злющий,— шепнул Ферапонт, подходя к телеге.— Словно цепная собака — так и надседается!

— Да постигнут вас все казни египетские! — продолжал кричать Пафнутий.— Да пожрет вас в живе адский пламень, и ни единая капля воды да не прохладит богохульных уст ваших.

— Тьфу ты, старый хрен! — сказал Ферапонт, отплевываясь.— Над тобой бы самим и тряслось, филин этакий! Вишь, что сулит, проклятый! — промолвил он, садясь на козлы и поворачивая лошадей.

Доехав до берез, они отыскали поворот в село Толстошеино и потащились шагом по дороге, которая была до того узка и изрыта корнями сосен, что по ней невозможно было ехать иначе. Долго еще доносились до их слуха

дикие вопли Пафнутия, который продолжал бесноваться и осыпать их проклятиями.

— Что это он так осерчал? — спросил Левшин.

— Да вот что, батюшка,— отвечал Ферапонт.— Он меня не признал, а я, как выпытал от него, куда нам ехать, так и напомнил ему о запощеванцах.

— Охота же тебе дразнить сумасшедших.

— Нельзя, Дмитрий Афанасьевич!.. За что же я перед ним шапку-то снимал, да кланялся ему в пояс?.. Чего доброго, этот гордец стал бы думать, что я и взаправду приходил к нему на поклонение.

— Да ведь Павел же думает, что ты хочешь быть его учеником.

— То — дело другое, батюшка! Павел дал нам телегу, из беды нас выручил — так пусть себе и потешается. А этот что?.. Дорогу-то показал!.. Да и воля твоя, батюшка: Павел просто человек убогий, шальной, а этот Пафнутий не человек, а дикий зверь!.. Чу! Слышишь ли, Дмитрий Афанасьевич — он все еще орет!.. Эко горло, подумаешь!.. Ну! не диво, что этот еретик живет в лесу один: коли он этак часто покрикивает, так медведи-то и волки, чай, верст за пять крутом дрожкой дрожат!

Наши путешественники переправились вторично без большого труда через речку Брынь и проехали благополучно трясины, по которым в летнюю пору почти всегда не было никакого проезда. На этот раз догадка перекрещеванца Павла оправдалась на самом деле: от сильной и постоянной жары болота во многих местах вовсе пересохли, а в других окрепли до того, что колеса оставляли на них едва заметный след. Но, несмотря на это, им нельзя было ехать скоро по усеянной кочками и крупным валежником дороге, или, лучше сказать, целику, который в зимнее только время превращался в гладкую и ровную дорогу. Солнце было уже довольно высоко, когда Ферапонт, посмотрев внимательно вперед, сказал своему барину:

— Ну вот, Дмитрий Афанасьевич,— слава тебе, Господи! — сейчас выберемся из этой трущобы. Видишь, прямо между деревьями?.. Теперь позаслонило кустами. Вот опять мелькнула... Это большая дорога, батюшка!.. А посмотри-ка левее, вон за елкой-то, высокая кровля с трубой. Ведь это боярская винокурня... Всего с версту до села осталось.

В самом деле, они выехали через несколько минут на большую дорогу, и почти в то же самое время

послышался в близком от них расстоянии конский топот. Ферапонт невольно осадил лошадей.

— Господи! — вскрикнула Дарья.— Вон скачут прямо к нам... Ну, попались мы!

— Постой-ка, постой! — молвил Ферапонт.— Да это едут от села... верно, к нам навстречу... Ну, так и есть: Кондратий Тихоныч?..

Ферапонт не ошибся: к ним подъехал, в сопровождении трех верховых, дворецкий боярина Куродавлева. Увидев незнакомых людей, Софья опустила свою фату. Как ни любила она Левшина, но в эту минуту чувство стыда было в ней сильнее самой любви: ей совестно было глядеть на свет Божий. Ей казалось, что все должны были смотреть на нее с этим обидным любопытством, с этой насмешливой улыбкой, которая только что не говорит: «Ай да дочка! Потешила батюшку!.. Теперь ушла от отца, а там, глядишь, и от мужа убежит!..»

— О! зачем я не умерла от тоски! — шептала про себя бедная девушка, заливаясь слезами.— Уж один бы конец!.. А теперь... Боже мой, Боже мой!.. Да разве легче для меня не сметь взглянуть на добрых людей и по сто раз на день умирать со стыда!

Левшин соскочил с телеги, а Кондратий спешился, подошел к нему и сказал почтительным голосом.

— Здравствуй, батюшка Дмитрий Афанасьевич! Уж мы тебя ждали, жали!.. Юрий Максимович начинал тревожиться и выслал меня к вам навстречу... Он приказал тебе доложить, чтоб ты пожаловал к нему, а для твоей суженой отведена изба у старосты. Там ее примут и уберут к венцу сенные девушки, а боярская кормилица, Матрена Никитична, вместо посаженой матери благословит ее святой иконой. В свахи большие с осыпалом наряжена моя старуха, а в меньшие свахи ключница Игнатьевна. Боярин изволил сказать, что он у тебя посаженым отцом, и хочет снарядить твою невесту, как свою дочь родную. Отец Егор уже давно вас в церкви дожидается, а сам боярин не будет в поезде; а как вы обвенчаетесь, так встретить вас у себя с хлебом-солью. Он прежде венца,— промолвил вполголоса Кондратий,— не желает видеть твоей суженой: боится, что ей будет стыдно.

В продолжение этого разговора Дарья, которая также, ради девичьей стыдливости, опустила фату, шептала Софье:

— Смотри же, Софья Андреевна, когда станут тебя одевать к венцу да начнут косу расплетать, так ты, моя голубушка, тут-то себя покажи — так и разрывайся!

Левшину подвели верховую лошадь; он присоединился к поезду и, проводив свою невесту до старостина двора, который был в двух шагах от церкви, отправился к боярину Куродавлеву.

XI

Левшин нашел боярина в его любимом теремном покое.

— Добро пожаловать, Дмитрий Афанасьевич,— вскричал Куродавлев, идя к нему навстречу.

— Ну, что твоя суженая? Привез ли ты ее?

— Привез, Юрий Максимович.

— Ай да молодец!.. То-то потеха будет в Мещовске!.. Чай, Федька Токмачев затеял пир во весь мир!.. Гостей назвал!.. Исхарчился!.. Ан вот тебе и невеста!.. Что, взял?.. По усам текло, да в рот не попало... мошенник этакий!.. А я, Дмитрий Афанасьевич, начинал уже побаиваться... Да что вы, шагом, что ль, ехали?

— Туда ехали скоро, Юрий Максимович, а назад, почитай, все шагом, насилу дотащились.

— Как так?.. На этой тройке?

— Что ж делать: дорога-то больно плоха. Ведь мы ехали зимним путем.

— Зачем?

— За нами была погоня, а повозка-то у нас сломалась. Вот пока мы сидели, притаясь в лесу, погонщики взяли у нас переду. Мы после кое-как телегу достали, да ехать-то нам нельзя было по одной с ними дороге.

— Вот что!.. Так за вами была погоня!.. А знает ли Андрей Поморянин, что это дело ты спроворил?

— Как же!.. И меня и слугу моего видел сторож.

— Ну, так мешкать нечего!.. Чай, будущий твой тесть знает, что ты гостишь у меня, и уж, верно, сюда пожалует. Ступай-ка, Дмитрий Афанасьевич, принарядись на скорую руку, да и к венцу!.. Коли вас успеют повенчать прежде, чем он приедет, так и все концы в воду!.. Вот этак-то будет лучше,— продолжал боярин, когда Левшин вышел из покоя,— а то ведь, в самом деле, как скажешь отцу: да, дескать, любезный,

дочка твоя здесь, и я, посторонний человек, хочу выдать ее замуж; а тебе, дескать, родному ее батюшке, до этого и дела нет. Хочешь с нами пировать — милости просим, а не хочешь — так со двора долой! Да этого сказать и язык не поворотится!.. Вот дело другое, как повенчались, так уж тут и батюшке говорить нечего: в жене волен муж, а не отец.

— Эй! Кто там?

В комнату вошел дворецкий.

— Кондратий,— молвил Куродавлев,— пошли-ка сказать, чтоб невесту скорей наряжали; да готова ли колымага, в которой повезут ее к венцу?

— Как же, Юрий Максимович, она уж давно стоит у старосты на дворе.

— А много ли вершников будет в жениховом поезде?

— Всего пятнадцать человек. Впереди Андрюшка Барсук поедет с тулумбасником, за ним шестеро вершников попарно, там жених с двумя дружками, а позади еще шестеро вершников.

— Эх, маленько!.. Ну да так уж и быть. А жених на чем поедет?

— На своем аргамаке, батюшка; только мы оседлали его твоим кизылбашским седлом с каменьями; плат под седлом из травчатого аксамита, науз из витого золота, а поводная цепь — серебряная.

— Хорошо!.. Теперь ступай, да поторопи жениха, мешкать нечего.

Оставшись один, Куродавлев подошел к окну, из которого был виден двор, озеро, церковь и все село; он с приметным беспокойством посматривал на дорогу, которая шла по той стороне озера.

— Вот, так и жду,— прошептал он,— что этот Андрей Поморянин нагрянет ко мне как снег на голову!.. Э! Да вот уж кто-то едет, тройкою в телеге... Ахти, никак он!.. Кажись, в телеге сидит старик... Вот шибко поехали... Авось мимо... Нет! Заворачивают на плотину... сюда едут!.. Ну, так и есть!!! Верно, Андрей Поморянин!.. Эй, Степка! — продолжал боярин, растворив сенную дверь.— Сбегай проворней — узнай, кто это ко мне приехал?

Через несколько минут слуга воротился и доложил Куродавлеву, что приехал передовой боярина Кириллы Андреевича Буйносова.

— Как! — вскричал с радостью Куродавлев,— друг сердечный, Кирилла Андреевич?.. Ну, не ждал я так

скоро дорогого гостя!.. Милости просим. Вот кстати-то пожалует!.. В посаженые отцы его к молодой... Да, хочет или не хочет, а уж угорское-то винцо мы с ним покончим!.. Веди сюда передового.

— Вот он, Юрий Максимович,— сказал дворецкий, введя в покой Савельича, этого досужего пчеловода и костоправа, который был некогда раскольником и жил в работниках у Андрея Денисова.— А я, батюшка,— промолвил Кондратий,— пришел доложить тебе, что жених готов и сейчас едет в церковь.

— Да вот и поезд тронулся,— прервал Куродавлев,— а вот и жених... Экий молодчина, подумаешь!.. Любо-дорого взглянуть!.. И осанка-то какая!.. Ну, похож ли он на стрелецкого сотника?.. Эх, жаль!.. А что, брат,— продолжал боярин, садясь в кресла и обращаясь к приезжему,— как тебя зовут?

— Антошка Савельев, батюшка.

— Ну что, Савельич, ты далеко оставил своего барина?

— Нет, государь Юрий Максимович, много, если версты четыре переду взял. Лошадки-то у меня поплоше боярских, да и больно поумаялись.

— Так друг-то мой сердечный того и гляди прикатит?.. Да как же он это пустился в дорогу: ведь путь не близкий, а он мне писал, что не может встать с постели?

— Да, батюшка! Кирилла Андреевич изволит зашибить правую ножку, и на первых-то порах я думал, что не скоро встанет; да видно, что это мне так с испуту показалось.

— Тебе?

— Да, Юрий Максимович, ведь боярина-то я пользовал.

— Вот что! Так ты человек досужий?

— Знаем кой-что, кормилец. Я таки за мой век много косточек повыправил.

— Так ты костоправ?.. А руду метать умеешь?

— И это маракуем. Коли надо твоим лошадкам кинуть кровь, прикажи, батюшка; а коли часом и тебе самому надо будет жилку открыть...

— Нет уж, брат, спасибо!.. Вот разве как-нибудь ногу или руку вывихну...

— Дай-то Господи, батюшка!.. Уж я бы тебе послужил...

— Что ты, что ты?— прервал с громким смехом боярин.— Вот о чем Бога молит!

— А что ж, государь Юрий Максимович?.. Коли тебе на роду написано вывихнуть ручку или ножку, так уж лучше при мне: ведь разные костоправы, батюшка, какому попадешься...

— Да лучше, брат, никакому. А скажи мне, что Кирилла Андреевич совсем, что ль, выздоровел?

— Нет, батюшка, все еще изволит прихрамывать; а подождать не хотел: что-то больно к тебе торопился.

— Знаю, знаю!.. Да порадовать-то его будет нечем.

— Юрий Максимович! — сказал дворецкий, входя торопливо в комнату,— сейчас въехал на двор вот этот раскольничий-то голова...

— Кто?.. Андрей Поморянин?

— Да, батюшка.

— Ступай проворней... прими его со всяким почетом.

— Как, батюшка!.. Этого еретика?

— Да, да!.. Как самого дорогого гостя — слышишь?

— Слушаю, сударь! — пробормотал дворецкий, с трудом скрывая свое негодование.

— Введи его в большую расписную палату: оттуда он ничего не увидит; да попроси его обождать минутки две, а там как я к тебе пришлю, проводи его сюда. Ну, ступай проворней!

Куродавлев подошел опять к окну.

— Да что ж это они едут не едут? — сказал он с приметным нетерпением.— Что за увальни такие!.. И зачем я не приказал им ехать рысью!.. Вон плетутся как!.. Ну, слава Тебе, Господи,— доехали!.. Вошли в церковь... Теперь за невестой дело станет!.. Эх, проваландаются они вплоть до вечерен!.. Ведь эти девки перед венцом — беда!.. Чай, ревет теперь в истошный голос, а мои-то дуры, чем бы ее скорее снаряжать, глядишь — также голосят!.. Ох, эти бабы! Как примутся вопить да причитать, так их ничем не уймешь!.. А! Вот никак зашевелились... отворяют ворота... вот невеста выехала!.. Благо церковь-то близко... Вот и свахи принимают ее из колымаги... ведут на паперть... Ну, теперь можно!.. Послушай-ка, Савельич, пошли сенного мальчика сказать Кондратию, чтоб он ввел сюда приезжего гостя, а сам подожди в сенях: мне еще надо будет с тобой словечка два перемолвить.

Оставшись один, боярин начал ходить взад и вперед по комнате. Несмотря на свою природную отвагу, он очень был встревожен. Да и было отчего: в первый раз

еще в жизни познакомился он с чувством, вовсе ему неизвестным. Что грех таить: у боярина Юрия Максимовича Куродавлева сердце замирало от страха; и тот, кто не дрогнул бы стать один против целой толпы врагов, не мог подумать без ужаса, что он должен остаться с глазу на глаз с каким то Андреем Поморянином, ничтожным раскольником, безоружным. Но этот раскольник был обиженный отец — этот старик пришел требовать от него своей дочери. Как ни старался убедить себя Куродавлев, что он делает доброе дело, помогая православному жениться на раскольнице, что он возвращает духовной пастве одну из ее заблудших овец и что лучше было для невесты Левшина покинуть отца, чем остаться навсегда отлученной от истинной церкви — но все это было напрасно. Неумолимая совесть говорила свое; она шепнула ему: «не ради доброго дела ты отнимаешь дочь у отца — нет! а ради того, чтоб отомстить мещовскому воеводе. До сей поры ты не краснел ни перед кем, Куродавлев; кому ты не смел глядеть прямо в глаза? А теперь... Ну-ка, Юрий Максимович, не моргни, любезный, когда глаза раскольника встретятся с твоими; не покрасней, когда этот старик начнет с тобой говорить о своей дочери»...

— Да что ж это такое? — прошептал боярин, стараясь ободрить себя.— Ведь девку-то не я сманил, да и Левшин увез ее не насильно... А коли дочка сбежала с молодцом, так еще батюшка должен мне спасибо сказать, что я поторопился этот грех венцом прикрыть... Чу! Да вот никак он идет! — промолвил Куродавлев, садясь в кресла.

Двери распахнулись настежь, и Андрей Поморянин, войдя в комнату, низко поклонился хозяину.

— Милости просим, сосед любезный! — сказал Куродавлев, привставая.— Ведь мы, чай, с тобой соседи?

— Да, боярин, я живу недалеко отсюда.

— Очень рад с тобой познакомиться.

— Не о знакомстве речь, Юрий Максимович,— сказал почтительным голосом Андрей.— Где нам, простым людям, вести знакомство с таким знаменитым сановником.

— И полно, любезный! — прервал Куродавлев.— Что тут разбирать чины, дело соседское.

Желая чем-нибудь задобрить Андрея Поморянина, Куродавлев решился отступить от своих правил, и несмотря на то, что гость его был в простом сером балахоне, он пригласил его садиться.

— Нет, Юрий Максимович,— сказал Андрей,— я и постою. Непригоже мне сидеть перед тобой: я не гость твой, а челобитчик.

— Все равно! — возразил Куродавлев.— Может быть, тебе не в привычку сидеть перед нашей братией, боярами?.. Да ведь у нас не Москва, любезный, мы здесь живем попросту... Вон скамеечка, придвинь-ка ее сюда да садись, голубчик!

В продолжение этих речей, которые, казалось, сильно потревожили Андрея, угрюмое лицо его покрывалось ярким румянцем. Он не тронулся с места, не вымолвил ни слова; но что-то похожее на исполненную неприязни и презрения улыбку изобразилось на бледных устах его.

— Да полно, не чинись! — продолжал боярин.— Уж коли я тебя прошу, так садись, братец!

Та же самая улыбка была ответом боярину, но на этот раз Андрей его послушался: он молча взял, только не скамью, а точно такое же кресло, на каком сидел хозяин, поставил против него и опустился в него так небрежно, с такой свободой, как будто бы весь свой век сиживал в боярских креслах.

«Ах, он балахонник! — подумал Куродавлев.— Вишь, как плюхнул!.. так и развалился — словно перед своим братом!.. Мог бы и на кончике посидеть, охреян этакой!»

— Юрий Максимович! — сказал Андрей, не обращая никакого внимания на весьма заметное неудовольствие хозяина,— я приехал просить твоей защиты.

— Говори, любезный, говори!

— Кто не знает в нашей стороне, боярин, что ты не даешь потачки ни ворам, ни разбойникам, стоишь горой за правду и не покривишь душой не токмо ради знакомства и приязни, но и ради собственного живота своего.

«Ну! — подумал Куродавлев,— с ним держи ухо востро!.. Вишь, какой лисой подъезжает!»

— Я и подумать-то не смею,— продолжал Андрей,— чтоб ты захотел помогать в деле воровском какому-нибудь разбойнику... Ведь лучше всякого знаешь, боярин, что тот, кто мирволит недобрым людям, и сам недобрый человек, а кто помогает и дает приют отъявленным ворам и разбойникам, тот сам такой же точно вор и разбойник, как они.

Вся кровь бросилась в лицо Куродавлева.

— Да о каких ты это говоришь разбойниках? — промолвил он едва внятным голосом.— Я, брат, обиняков не люблю!.. Говори прямо!

— Изволь, боярин!.. Прямо, так прямо. Меня ограбил стрелецкий сотник Левшин, который живет в твоем доме.

— Ограбил!.. Что, ты, братец, в уме ли?

— Да! — продолжал Андрей, вставая, — ограбил!.. Ты спросишь, может быть, боярин: «А что он у тебя украл? Серебро, что ль, из сундука вытащил, коней свел, кладовую подломал, деньги отнял?..» Деньги! Да если б он обобрал меня до последней копейки, поджег дом, разорил вконец, пустил бы по миру в одной рубашке — так я махнул бы рукой и сказал: «Бог с ним! И деньги, и добро, и дом — все дело наживное!.. А не наживу, так что ж?.. Земное достояние — прах!.. Но этот злодей украл у меня единственную дочь, сделал меня на старости сиротою, погубил душу христианскую!..

— Погубил душу! — вскричал Куродавлев, обрадовавшись, что может на что-нибудь опереться. — Уж не душу ли твоей дочери, которая с ним убежала?.. Нет, голубчик, погоди!.. Она будет законной супругою Левшина и православной христианкою. Слышишь ли, господин Поморянин — православной!

— Я пришел к тебе не о вере состязаться, — прервал Андрей. — Кто б я ни был по-вашему: раскольник, татарин, жид, а я все-таки отец и говорю тебе, боярин Куродавлев: отдай мне мою дочь!

— Да небойсь, Андрей, дочь твоя не пропадет!.. Послушай, любезный, — продолжал Куродавлев ласковым голосом, — ведь ты знаешь пословицу: «снявши голову о волосах не плачут». Уж коли дочь твоя бежала с молодым парнем, так на что она тебе?.. Да я бы на твоем месте перекрестился, что она замуж выходит за Левшина. Ведь после такого дела кто на ней женится?

— Это моя забота, боярин; захочу, так выдам ее замуж.

— Чай, за мещовского воеводу?.. Чего доброго этот срамец на все пойдет!.. Да какая жизнь-то ее будет? Вечный попрек!.. Эй, любезный, не упрямся!.. Ну, сам скажи: чем Левшин ей не жених?

— Нет! — вскричал Андрей. — Я никогда не соглашусь...

— Экий ты какой! — прервал Куродавлев. — Сам не умел сберечь дочери, так чего тут — не соглашусь!.. Уж если прежде тебя не спрашивались, так теперь и подавно спрашиваться не станут. Да и что ты этак упираешься?.. Коли ради того, что Левшин не ваш брат старообрядец...

— Нет, Юрий Максимович, это — другая речь.

— А коли другая, так о чем же и говорить?.. Левшин отличный молодец, человек родословный, поместный!.. Не будь он стрелецким сотником, так и я бы не задумался с ним породниться...

— Да если тебе, Юрий Максимович, бесчестно породниться со стрелецким сотником, так почему же ты думаешь, что я захочу выдать за него мою дочь?

— Что, что? — промолвил Куродавлев.— Эк, куда хватил!.. Ты, голубчик, говори, да не заговаривайся!.. Разве я то, что ты?

— А почему ты знаешь, боярин, кто я?

— Кто ты?.. Да, не прогневайся, любезный, я, чаю, ты или беглый дьячок, или поп-расстрига; ну, а может статься, и гость московский. Там вашей братии много развелось.

— Нечего делать! — прошептал Андрей.— Да не вменит мне Господь, что я нарушаю обет мой!.. Нет, Юрий Максимович, я не поп-расстрига, не беглец, а такой же родовой человек, как и ты. Отец мой был окольничий, Яков Яковлевич Денисов, а я старший сын его, Андрей.

— Андрей Яковлевич Денисов, племянник князя Мыщецкого?

— Да, боярин.

— В этом сером балахоне?

— А на что ваши парча и бархат тому, кто гнушается всей земной роскошью. Это рубище, этот серый балахон,— моя труженическая ряска, боярин, и я не променяю ее на все ваши золотые ферязи.

— Денисовы! — повторил Куродавлев, стараясь что-то припомнить.— Постой-ка, Андрей Яковлевич!.. Да тебе все-таки нечего браковать Левшина: ведь, помнится, твоя родная сестра вышла не за боярина!

— Нет. Она была замужем за стрелецким головою, Афанасьем Левшиным?

— Как!.. Так дочь твоя...

— Двоюродная сестра стрелецкому сотнику, Дмитрию Афанасьевичу Левшину.

— Двоюродная сестра! — повторил с ужасом боярин.— Ах, батюшки!.. Эй, кто там? Все сюда!

В комнату вошли: дворецкий, Савельич и двое слуг.

— Бегите скорей в церковь! — закричал Куродавлев.— Скажите отцу Егору, чтоб остановил венчание!.. Да ну же!.. поворачивайтесь!

Двое слуг кинулись опрометью вон, а дворецкий и Савельич остались в комнате.

— Как! — молвил Андрей.— Так они уж в церкви?

— Да уж, чай, и повенчаны!.. Ну наделали мы дела!.. Господи Боже мой! Брат и сестра!.. Что теперь делать!.. Придется подавать челобитную в патриарший приказ да развенчивать!.. Экий грех, подумаешь!.. Экий грех!.. Да и ты, Андрей Яковлевич... Ну, что ты ломался!.. Сказал бы прямо: они, дескать, двоюродны... Да постой-ка, любезный,— продолжал Куродавлев, посматривая недоверчиво на своего гостя.— Ведь я тебя не знаю, так ты, пожалуй, и сказку плетешь... Полно, правда ли, что ты Денисов и что дочь твоя двоюродная сестра Левшину?

— Дозволь мне, государь Юрий Максимович, словечко вымолвить,— сказал Савельич, выступая вперед.— Его милость доподлинно Андрей Яковлевич Денисов. Когда еще он изволил жить в Выгорецком ските, за Онегою, я был у него служителем и на Вятку вместе с ним ездил... Да неужели-то, батюшка Андрей Яковлевич, ты не изволил опознать меня?..

— Семен Савельич? — промолвил Денисов, нахмурив брови.

— Я, сударь,— я.

— Так он точно Денисов? — сказал Куродавлев.

— Истинно так! — отвечал Савельич.— Только дочка-то его вовсе не родня Дмитрию Афанасьевичу.

— Не родня?.. Так Левшин ему не племянник.

— Как же! Родной племянник да Софья-то Андреевна не родная ему дочь: она приемыш!

— Кто смеет это сказать? — прервал вспыльчиво Денисов.

— Я, батюшка,— молвил Савельич.

— Ты?.. Изменник проклятый, беглец, отступник от истинной веры, предатель!..

— Да ты, сударь, не изволь так лаяться — я правду говорю. Я еще покамест живой человек, и память-то не вовсе сгибла. Как теперь гляжу: ты привез в Выгорецкий скит девочку годков трех и строго всем наказал не говорить ей, что она приемыш. «Пусть, дескать, бедная сиротинка думает, что я — родной ее батюшка».

— Ты лжешь, Иуда окаянный!

— Эх, полно, кормилец!.. Какой у тебя быть дочери: ведь ты и женат-то никогда не был.

— Фу, батюшки,— промолвил Куродавлев, поглаживая свою широкую грудь.— Как гора с плеч!.. Так вот дело-то какое!.. Они вовсе не родня?.. Ну, перепутал ты

меня, Андрей Яковлевич!.. Эку штуку выкинул!.. Да как прикинулся: родная дочь, да и только!.. Теперь не прогневайся, любезный, мы ухаживать за тобой не станем: хочешь благословить свою нареченную дочь — милости просим! А не хочешь — так Бог с тобой!.. Савельич, ступай-ка, скажи, чтоб их довенчивали... Да только правду ли ты говоришь?

— Помилуй, государь мой, Юрий Максимович! Захочу ли я взять на душу такой грех — избави Господи!

— Ну, так ступай же проворней!

— Приемыш! — прошептал Денисов. — Да разве та, которую я вспоил и вскормил, нянчил на руках своих, называл своею дочерью?..

— Все-таки не двоюродная сестра Левшину, — прервал Куродавлев. — А что ты вспоил и вскормил ее, так это не диво, любезный. В ваших скитах будут поить и кормить всякого, лишь только бы привести в свою веру. Вот и ты думал сделать то же, и тебе не хотелось, чтоб эта сиротинка была православною, а Господь-то сделал по-Своему. Да полно, Андрей Яковлевич, — не кручинься! — продолжал Куродавлев, — а попируй-ка лучше с нами. Я же жду с часу на час друга моего сердечного, Кириллу Андреевича Буйносова. Вот, любезный, не тебе уж чета — понатерпелся горя. Было у него одиннадцать дочерей, а ни одной не осталось: десять померло, а одиннадцатая, крестница моя — пропала без вести, здесь, в наших Брынских лесах.

Денисов вздрогнул.

— Здесь, в Брынских лесах? — повторил он.

— Тому назад ровно пятнадцать лет.

— А что... Разве ты об этом слыхал?

— Нет! — отвечал отрывисто Денисов. Он снова задумался, и вдруг мрачное лицо его прояснилось, глаза заблестели, и злобная улыбка мелькнула на устах. — Вот, — сказал он, — твой приятель Кирилла Андреевич Буйносов, хоть барин большой, а, чай, выдал бы свою дочь и за стрелецкого сотника, лишь бы она отыскалась.

— За стрелецкого сотника!.. Чтоб моя крестница, дочь боярина Буйносова, была какой-нибудь стрельчихой?.. Сохрани Господи!.. По мне лучше век не находись... Да к чему ты это говоришь?

— Так.

— Нет, видно, что-нибудь недаром.

— Ну, — продолжал Денисов, как будто бы говоря с собою, — видно, детей в Брынских лесах теряют частехонько.

— А разве и твой приемыш?..

— Да, Юрий Максимович! я эту девочку нашел в здешнем лесу, также лет пятнадцать назад и, кажись, об эту пору.

— Об эту пору?

— Да. Я из здешних мест ехал тогда за Онегу; вот этак недалеко от села Беликова...

— От села Беликова?..

— Да. Гляжу, лежит под кустом девочка лет трех или четырех в красной кофточке...

— В красной кофточке?.. Что ты говоришь?..

— Правду, боярин. Сначала я думал, что она мертвая — не дышит, а там, как ее поднял да поотогрел, так она и глазки раскрыла. Вот,— подумал я,— видно, Господь сжалился над моим сиротством и посылает мне детище. Завернул ее в кафтан и увез с собой.

— Господи! — вскричал Куродавлев.— Неужели в самом деле?..

— Право так! — продолжал спокойным голосом Денисов, взглянув украдкой в окно.— Всю дорогу она была без памяти, а там, как очнулась и стали ее расспрашивать, так начала что-то лепетать, да мы разобрали только, что ее зовут Сонюшкою.

— А не было ли у нее чего-нибудь на шее? — прервал, едва дыша, боярин.

— Как же!.. У ней висел на шелковом гайтане обделанный в серебро финифтяный образок с ликом преподобной великомученицы Варвары.

— Боже мой!.. Боже мой! — вскричал Куродавлев.— Это она!.. Точно она!..

— Она!.. Кто она, боярин?

— Моя крестница — дочь Кирилла Андреевича Буйносова!

— Неужели в самом деле?.. Так ее-то теперь венчают со стрелецким сотником?

— Господи Боже мой!.. Кондратий, беги!..

— Что его трудить, боярин,— прервал Денисов, указывая на окно.— Вон, посмотри, молодые-то из церкви уж едут.

— Обвенчаны! — завопил неистовым голосом Куродавлев.

— Да, Юрий Максимович... И развенчивать их не станут: они ведь не родные. А вот, кажется, и батюшка ее изволит ехать.

— Подлинно, в самое то время, как свадебный поезд, переехав через плотину, стал приближаться

к господскому двору, на противоположном конце села показался длинный ряд повозок.

— Это Кирилла Андреевич,— сказал Кондратий, глядя в окно.— Точно, он!.. Вон едет впереди его летний возок, обитый красным сукном.

— Эх, жаль!—промолвил Денисов.— Не успеет он принять молодых с хлебом и солью!

— Молодых!—повторил отчаянным голосом Куродавлев.— Ну! снял я себе голову с плеч!.. Что мне теперь делать?.. Что сказать Кирилле Андреевичу?.. Как показаться ему на глаза?.. Фу, батюшки!.. Смерть моя!.. Ноги не держат!..—промолвил боярин, задыхаясь. Он опустился в кресло и закрыл руками лицо.

С полминуты продолжалось молчание. Денисов торжествовал. Он смотрел с такой радостной улыбкой, с таким наслаждением на отчаяние Куродавлева, что, казалось, в эту минуту вовсе не жалел о потере своей нареченной дочери.

— Правду ты говорил, Юрий Максимович!—промолвил он наконец.— Истинно, все наши земные помыслы прах и суета. Думал ли я, что мое доброе заплатится мне злом?.. Вот и тебе также, боярин, больно не хотелось, чтоб твоя крестница была стрельчихой, а Господь-то сделал по-Своему—да еще как!.. Ты сам снарядил ее к венцу!..

— Молчи, проклятый!—закричал боярин, вскочив с кресла.— Все это сказки, вздор, выдумки! Эта девка никогда не была дочерью Буйносова. Ты от кого-нибудь слышал, да и сплел все это нарочно, чтоб только осрамить меня и моего друга... Да нет, голубчик, не на того напал!.. Слушай, Кондратий: если как-нибудь дойдет до Кириллы Андреевича—коли кто ни есть из наших вымолвит хоть одно словечко—заикнется сказать, что этот приемыш—дочь боярина Буйносова, так я и тебя и его живым в землю закопаю!.. Слышишь?.. А, ты, господин родословный человек в сермяжном балахоне,—продолжал Куродавлев, обращаясь к Денисову,— ступай, куда хочешь, да рассказывай свои сказки, а здесь, в моем доме, чтоб сей же час и след твой простыл!.. Милости просим вон отсюда, коновод раскольничий!

— Не гони, Юрий Максимович: сам пойду!—сказал Денисов, взглянув с неизъяснимым презрением на Куродавлева.— Благодарствую тебе, боярин, за угощенье, ласковый прием и радушные проводы. Дай Господи и тебе встречать всегда таких же хлебосолов!

— Проклятый еретик! — прошептал Куродавлев, когда Денисов вышел вон.— Кондратий, прими молодых и приведи их в расписную палату.

— В расписную палату?.. Да ведь стол-то накрыт...

— Молчи и делай, что тебе приказывают!

— Слушаю, батюшка!.. Только воля твоя... не прогневайся, кормилец!.. Ведь, кажись, в самом деле...

— Дурак!.. Да разве жена какого-нибудь стрельца может быть дочерью Кириллы Андреевича... Ступай!.. Вон он сердечный,— продолжал боярин, подойдя к окну.— Видно, сердце в нем не чует, что родная дочь его у меня в доме?.. Не поехал бы он шажком!.. И что это я так заторопился?.. Венчай да венчай!.. Вот и повенчали! Эх, Юрий Максимович! не кривить бы тебе душою, не выдавать бы замуж дочери без отцовского благословения! Так нет! дай-ка я путем насолю этому сквернавцу Токмачеву!.. Ан вот тебя лукавый-то и попутал!.. А какая была бы радость!.. Какое веселье!.. Уж то-то был бы для тебя гостинец, друг сердечный!.. Ты ко мне в двери, а родная-то твоя — твоя Сонюшка к тебе на шею!.. Ох, да ведь она уж не девица Буйносова, а стрелецкая женка Левшина!.. Нет, нет! Лучше ему век не знать, что дочь его нашлась: ведь уж он привык к своему горю... Что ж это возок-то его остановился?.. Кто-то подъехал к нему на тройке... соскочил с телеги... Ахти! Да это никак... так и есть... мошенник Денисов!.. Зарежет он меня без ножа!.. Они разговаривают... Вот Кирилла Андреевич машет руками... кричит что-то своим людям... Ну, поскакали!!! Все знает!

XII

Через несколько минут возок, обитый красным сукном, вкатил на господский двор и подъехал к крыльцу, на котором стоял уже Куродавлев. Он принял сам из возка боярина Буйносова.

— Здравствуй, друг сердечный,— говорил он, обнимая Кириллу Андреевича.— Милости просим!

— Где она! Где она? — промолвил дрожащим голосом старик Буйносов, вырываясь из объятий своего друга.

— Она!.. Кто она?

— Дочь моя!.. Дитя мое!..

— Тише, мой друг,— тише!.. Что ты это говоришь?.. Ведь, пожалуй, эти, дурачье, поверят!.. Войдем, любезный, в покои, войдем!.. Мы уж там потолкуем об этом...

— Чего тут толковать! — вскричал Буйносов.— Она здесь, у тебя...

— Да успокойся, Кирилла Андреевич!.. Пожалуй, пожалуй!

Куродавлев схватил под руку своего гостя, провел его через переднюю и столовую, затворил за собою все двери и, войдя с ним в первую приемную комнату, по-нашему гостиную, сказал:

— Ну вот, теперь отдохни, любезный друг,— садись!

— Да где же она?..

— Садись!.. Мы поговорим...

— Эх, Юрий Максимович!.. Да что ж, уморить, что ль, меня хочешь?

— Говорят тебе, садись!.. Не сядешь, так я тебе и отвечать не стану.

— Ну, ну, изволь!.. Вот я сижу.

— Послушай, друг сердечный,— сказал Куродавлев, садясь подле Кириллы Андреевича,— ну что толку без пути радоваться, коли, может статься, вовсе нет никакой радости?..

— Что ты говоришь!..

— Ну, да!.. Мало что нам кажется на первых порах, и так и этак, а там, как порассмотришь да порассудишь хорошенько — так ой, ой, ой!.. в такой бы просак попал, что и, Господи... Вот и мне было сгоряча показалось: ахти, мол, уж не крестница ли это моя?.. А как подумал путем да припомнил все — ан и выходит: вовсе не то!

— Да как не то, когда мне сейчас рассказал обо всем тот самый, кто нашел ее, вспоил и вскормил, как родную дочь!..

— А знаешь ли, кто это тебе рассказывал и что это за человек такой?.. Да ему здесь и малый ребенок ни в чем не поверит!.. Ведь это отъявленный мошенник и еретик, Андрюшка Поморянин!

— Что нужды, кто бы он ни был!

— Да и почему ты думаешь, что этот найденыш точно твоя потерянная дочь?

— Как почему?.. Он ровно пятнадцать лет тому назад нашел ее в здешнем лесу...

— Эко диво!.. Да здесь, почитай, каждый год дюжины по две ребятишек в лесу находят. Ведь ты не знаешь, какие здесь водятся раскольники: иные детей-то своих

нарочно в лесу покидают. «Пусть, дескать, они гибнут от диких зверей — мученики будут!» Ну, рассуди сам, что хорошего, если бы ты при всех начал целовать и назвал бы своею дочерью какого-нибудь раскольничьего подкидыша?

— Но этот Поморянин говорил мне, что девочке было на взгляд годка три или четыре, что она была в красной кофточке...

— В красной кофточке!.. Эка невидаль!.. Да ведь и старый и малый, все поголовно носят красные кофты.

— Да это все еще ничего! Он сказал мне, что у девочки был на шее финифтяный образок с ликом святой великомученицы Варвары, что он и теперь еще на ней... А ведь ты сам благословил свою крестницу таким образом.

— Вот то-то и дело, что нет!.. Я точно благословил ее, да только образом святой Веры, а не Варвары.

— Господи! — промолвил с ужасом Буйносов.— Да нет, нет! Ты забыл!

— Ох, любезный! то-то и беда, что не забыл... Ты постарее меня, память становится у тебя плоха, а имена-то сходны меж собою: Вера, Варвара — вот ты и перепутал!.. А я как теперь помню...

— Боже мой, Боже мой! — простонал бедный старик.— Неужли ты порадовал меня для того только, чтоб мне горчее стало жить на белом свете.

Он закрыл руками глаза, и крупные слезы потекли по его бледным щекам.

— Ах, я окаянный! — прошептал Куродавлев.— Ну, наделал я дела!.. А что, мой друг,— продолжал он, помолчав несколько времени,— говорил ли тебе еще что-нибудь этот Андрюшка Поморянин.

— Нет! — отвечал Буйносов.— Он только успел вымолвить то, что я тебе пересказал; да объявил мне, что эта девица у тебе в доме.

«Девица!» — подумал про себя Куродавлев и сказал вслух:

— Вот что!.. Так он не сказал, что она повенчана?

— Вера!.. Варвара! — повторял Буйносов.— Ох, кажется, Варвара!.. Да постой!.. Лучше всего... позволь, любезный.

Кирилла Андреевич вскочил, вышел в переднюю и сказал дворецкому Кондратию:

— Послушай, братец, попроси у этой приезжей, что у вас теперь в доме, финифтянный образок, который она носит на шее.

— Да на что тебе? — спросил с приметным смущением Куродавлев, когда гость его возвратился опять в приемную.

— Как на что? — отвечал Буйносов.— Я хочу сам видеть. Почем знать: коли ты, мой друг, точно помнишь, что благословил свою крестницу образом святой Веры, так может статься, этот Поморянин ошибся, когда сказал мне, что на этом образке лик великомученицы Варвары.

— Помилуй, любезный!.. Да неужели в пятнадцать лет они не рассмотрели, какая святая написана на образе?

— Эх, Юрий Максимович!.. Кто тонет, тот и за соломинку хватается!

Через несколько минут Кондратий возвратился, неся бархатную ладанку, привешенную к шелковой тесьме. Куродавлев предупредил Кириллу Андреевича. Он выхватил ладанку из рук Кондратия, вынул из нее образок, взглянул на него и, казалось, совершенно успокоился.

— Ну вот,— сказал он, передавая образок Буйносову,— посмотри сам.

— Да,— промолвил с отчаяньем Буйносов,— так и есть: великомученица Варвара!

— И образок-то вовсе не такой! — подхватил Куродавлев.— Вспомни хорошенько: ведь у того, которым я благословил крестницу, были только краешки серебряные, а этот весь в серебро обделан. Подай-ка его сюда.

— Погоди! — сказал Буйносов, осматривая кругом образок.— Ты мне что-то напомнил... Да, так точно!.. Я сам отдавал его обделать в серебро... И зачем бишь?.. О, дай Бог память... А! помню! помню!.. Для того, чтоб надпись не стерлась... Постой!

И прежде чем хозяин мог догадаться, что хочет делать Буйносов, он с живостию молодого человека выхватил из кармана дорожный ножик, отогнул им края у серебряной спинки образа, снял ее... Вот на задней стороне иконы открылась надпись, и Кирилла Андреевич прочел громким голосом: «Сей святой иконою великомученицы Варвары благословить крестницу свою, девицу Софью Буйносову, боярин Юрий Максимович Куродавлев».

— Ну, Юрий Максимович! — вскричал Буйносов,— веришь ли теперь, что это моя дочь?

Куродавлев молчал. Бледный, с поникшей головой стоял перед Буйносовым, как стоит уличенный преступник перед своим неумолимым судьею.

— Что ж ты молчишь?—продолжал Буйносов.— Иль не веришь, любезный?.. На вот—прочти!

— Ну!—прошептал Куродавлев,—нечего делать!.. Кирилла Андреевич!—молвил он, повалясь в ноги своему гостю,—прости меня, Бога ради!

— Что ты, что ты?.. Бог с тобой!—вскричал Буйносов.—Да встань, пожалуйста!

— Нет, не встану, пока ты меня не простишь!

— Прощаю, братец, прощаю!.. Да в чем?

— Ох! Страшно вымолвить!

— Господи!.. Да что ж такое?

— Какими глазами мне на тебя взглянуть?.. Что я наделал!.. Друг мой... Кирилла Андреевич!.. ведь я, не зная, что это твоя дочь, выдал ее замуж!

— Замуж!.. За кого?

— Вот в том-то и дело!.. Язык не повернется вымолвить!

— Да говори, Бога ради!

— Ее сейчас обвенчали.

— С кем?

— Ну, резать, так резать!.. Я обвенчал ее с присланным от тебя стрелецким сотником...

— С Левшиным?

— Да!.. Теперь ты все знаешь. Вот тебе моя голова, делай с нею, что хочешь!

— Фу, батюшки!—промолвил Буйносов, перекрестясь.—Слава Тебе, Господи!.. А я уж думал и Бог знает что!.. Ну, Юрий Максимович, напутал ты меня.

— Напутал!—повторил Куродавлев.—Да чего тебе еще?.. Иль ты не слышал?.. Стрелецкий сотник...

— Так что ж?

Этот вопрос до того поразил Куродавлева, что он несколько времени не мог вымолвить ни слова.

— Батюшки!—прошептал он наконец,—да он никак с радости-то обезумел?.. Что ты это, друг сердечный?.. Христос с тобою!

— Чему ж дивишься?—сказал Буйносов.—Отец Левшина был моим задушевным приятелем... Он сам молодец прекрасный... Левшины люди родословные...

— Хороши родословные!—прервал Куродавлев.— И батюшка и сынок—оба стрельцы!

— Стрельцы, да не изменники; а по мне тот, кто служит верой и правдой царю-государю—где бы он ни служил... да вот, хоть, например, стрелецкий полковник Сухарев...

— Ну, что по-твоему?.. Чай, нашему брату будет в версту?

— А почему же нет?

У Куродавлева руки опустились.

— Эге! — промолвил он, глядя на своего гостя, — как вы там в Москве-то онемечились!.. Ну!.. Так тебе ничего, что твоя дочь стрелецкая сотничиха?

— Ничего.

— Ну, а коли тебе ничего, так мне и подавно!.. Ведь Софья-то Кирилловна моя крестница, а не дочь родная.

— Да что об этом говорить?.. Веди меня скорей к ней...

— Постой!.. Ведь надобно же ей сказать, кто она такая, а то ведь ты ее перепугаешь: кинешься к ней на шею, закричишь, заплачешь... Побудь немного здесь. Я сам приведу к тебе молодых... Эки времена! — продолжал шепотом Куродавлев, идя во внутренние покои. — Я думал, что с ног его срежу, а он как ни в чем не бывало!.. Стрелецкий сотник ничего... ну!..

Прошло несколько минут; разумеется, каждая из них не имела конца для Буйносова. Несколько уже раз хотел он бежать навстречу к своей дочери, искать ее по всему дому, проклинал медленность Куродавлева, и вот наконец в соседних покоях послышались скорые шаги, двери растворились; молодая женщина, с закинутой назад фатою, вбежала в комнату и с радостным криком бросилась в объятия Буйносова.

— Дочь моя, дитя мое!.. Сонюшка, друг мой! — не говорил, а рыдал старик отец, прижимая к груди своей ту, которую он давно уже оплакал.

А Софья... о, в эту минуту она была совершенно счастлива! Все прошедшее воскресло в душе ее. Вот этот другой отец, который являлся ей иногда как будто бы во сне — вот его родные, милые черты!.. Эти детские воспоминания не мечта, — нет! Этот тайный шепот сердца не обманул ее: она не дочь Андрея Поморянина!

Я не стану описывать, или, вернее сказать, я не могу описать вам, что чувствовали отец и дочь при этом неожиданном свидании. Как ни богат, ни роскошен язык русский, но он так же, как и все языки земные, беден и мертв, когда дело идет о том, чтобы описать эту чистую, непорочную радость души, это тихое, неизъяснимое блаженство, которые сближают землю с небесами; но там они вечны, а здесь эта радость, это блаженство — минутные гости. Там Господь Бог дает их даром, а здесь почти всегда мы покупаем их страданьем целой жизни.

Когда первый восторг свидания прошел, Буйносов обнял с нежностью Левшина и назвал его своим милым сыном. Хозяин хотя и поморщился, однако ж не сказал ни слова и пригласил всех в самую обширную комнату своего дома. Там был накрыт стол и дожидался священник. После молитвы, отец Егор надел на молодых венцы, которыми они венчались в церкви, а хозяин посадил их рядом на кресла, обитые богатой парчой. Перед ними стоял, по обычаю наших предков, огромный свадебный каравай, начиненный всякими сластями. По правую руку Левшина Юрий Максимович посадил священника, Буйносов сел рядом с дочерью, а подле него поместился хозяин. За креслами князя и княгини — так называли в старину всех молодых — стоял, светлый, как медный грош, наш давнишний знакомец Ферапонт. Он не мог наглядеться на своих молодых господ, перемигивался с Дарьей, которая, вместе с другими сенными женщинами, выглядывала из-за двери, и ухмылялся по временам так выразительно, что шут Тришка отвел его после обеда в сторону и сказал:

— Ну, брат Ферапонт, какие ты рожи корчил за столом!.. Нечего сказать — мастерище!.. Выучи меня, пожалуйста, голубчик!

Когда хозяин выпил несколько кубков знаменитого угорского винца за здоровье своего друга, Кириллы Андреевича и деток его, то стал немного повеселее.

— А ведь надо сказать правду,— молвил он, толкнув локтем Буйносова,— любо на молодых-то посмотреть — парочка! Хороша твоя дочка, друг сердечный, да и Дмитрий Афанасьевич — экий писаный красавец!.. Эх, жаль! Не служи только этакий молодец в стрелецком войске...

— Да он уж в нем не служит,— прервал Буйносов.

— Как?

— Да он приписан к царской охоте. Государь Иван Алексеич изволил мне обещать пожаловать его в свои начальные сокольники.

— Прямо в начальные сокольники?.. Ну, это полегче... А все, любезный, хоть дойди он до чина старшего подсокольничьего, так и тут станут говорить: «Что, дескать, он ходит таким козырем — оглянулся бы назад... Теперь, дескать, он шапку-то заломил, а напреж сего не велик был человек. Служил-де в стрельцах, и батюшка его был стрелецким головою».

— Да полно об этом толковать,— сказал Буйносов.— Эх, брат Юрий Максимович, зажился ты в своих

Брынских лесах... Пора тебе приехать в Москву проветриться. Там уж не об этом речь идет. У государя Петра Алексеича пображивают в головушке свои замыслы. У него только тот и боярин, кто по-боярски служит, сиречь не жалея живота своего. А лежебок-то он не очень жалует — не прогневайся.

— Послужили и мы! — сказал Куродавлев.— И если б меня не обидели...

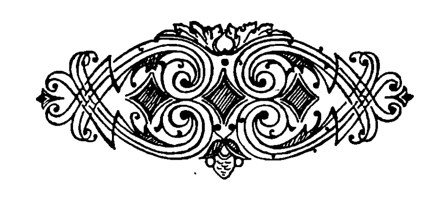
— Обидели?.. Вот то-то и есть!.. Да погоди, любезный, дай только подрасти государю Петру Алексеичу: у него бояре местами считаться не станут.

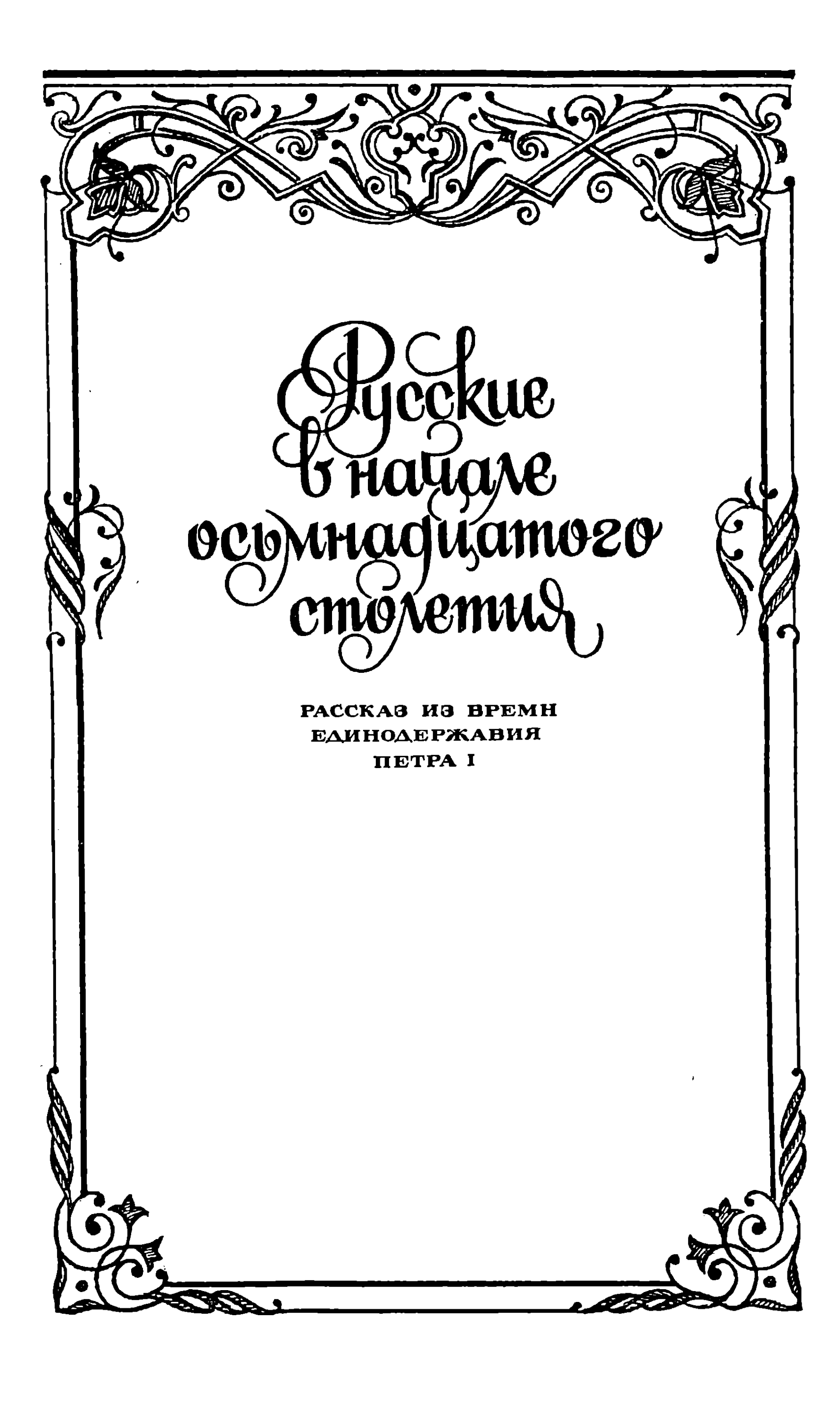
— Право?.. Да ведь батюшка-то его, царь Алексей Михайлович, не глупей его был, а в наши боярские дела не вступался.

— А этот вступился!.. Вот попомни мое слово, повернет он все по-своему.

— Что ты говоришь?.. Да не дай Господи дожить до этого!

— А вряд ли не доживем,— прошептал боярин Буйносов, принимаясь за новый кубок угорского вина.



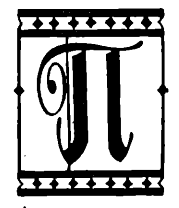


Русские в начале осьмнадцатого столетия

РАССКАЗ ИЗ ВРЕМН
ЕДИНОДЕРЖАВИЯ
ПЕТРА I

Часть первая

I



режде чем я приступлю к рассказу, мне должно поговорить с моими читателями о положении, в котором находилась Россия в эпоху, избранную мною для этой повести.

Последний стрелецкий бунт, вспыхнувший во время отсутствия царя Петра Алексеевича, имел самые гибельные последствия для этого своевольного и мятежного войска; главные зачинщики и участники мятежа были казнены, а остальные сосланы в Сибирь, расселены по отдаленным городам, и стрелецкая рать, некогда знаменитая, исчезла навсегда с лица земли русской. Вместе с прекращением политического существования этих русских янычар уничтожилось и пагубное влияние на умы властолюбивой царевны Софьи Алексеевны. Шведский король Карл XII, разбитый наголову близ Полтавы, едва мог спастись от плена, убежав в пограничный город Бендеры. Вся армия его была истреблена, и на берегах Невы нашим рабочим людям помогали шведские солдаты сооружать — на их же собственной земле — вторую столицу царства русского. Рига, Ревель и вся Лифляндия признавали над собой верховную власть государя Петра Алексеевича; Польша, исполняя его волю, призвала снова на царство изгнанного ею короля Августа II. Предатель Мазепа убежал с Карлом XII в Бендеры; почти все малороссийские православные казаки отступились от своего опозоренного изменою и заклейменного церковным проклятием гетмана. Одним словом, из всех внешних и внутренних врагов России, вредящих ее возвышению, устройству

и возрастающей силе, оставался один только враг, но самый упорный. Этот враг была почти общая, безотчетная привязанность русских ко всем древним обычаям и предрассудкам старины. Следствием этой слепой привязанности были: неподвижность, презрение ко всему иноземному, невежественная спесь и закоренелое упрямство, всегда враждебное всем переменам и улучшениям, если они хотя бы несколько противоречат существующим обычаям, иногда совершенно нелепым, но которые обыкновенно оправдываются известным изречением: «Так, дескать, искони важивалось — в старину бывало; а стариков умней не будешь». Одна самодержавная воля Великого Петра могла осилить этого последнего врага и заставить русских хотя нехотя, а все-таки перешагнуть через заветный рубеж, который отделял их так долго от всех других народов Европы. Все покорилось этой могучей, непреклонной воле; она возбуждала иногда боязливый ропот спесивых бояр, упрямых граждан, суеверной черни, но давно уже не встречала нигде явного сопротивления. Люди, приверженные к старинным обычаям, отстаивали их с жаром в своих семейных кругах — осуждали шепотом указы царские, восставали втихомолку против разных нововведений, называли их богопротивными, но никто не смел говорить об этом вслух; времена мятежей прошли; Петр Алексеевич был уже не вторым царем русским, а государем единодержавным, не юношей неопытным, но знаменитым победителем Карла XII — этого венчанного богатыря, перед которым некогда трепетала вся Европа. Несмотря, однако ж, на это, по-видимому, спокойное состояние России, нельзя было не заметить, что в ней происходило что-то необычайное: этот домашний ропот, который тихо разливался в народе — это тревожное ожидание каких-то новых и небывалых перемен волновало все умы, и даже люди дальновидные и умные, начинавшие уже понимать, чего желает государь Петр Алексеевич, шептали про себя, покачивая головами: «Дело-то, дело! Да крутенько он, батюшко наш, за него принимается». И надобно сказать правду: мы едва ли можем осуждать многих из современников Петра Великого за то, что они если не делом, так мыслью грешили, осуждая непонятные для них действия этого необъятного, всеобъемлющего гения, которого и мы, вкусившие уже от плодов, им посеянных, не можем еще вполне оценить.

В 1711 году, в одну темную февральскую ночь, шагах в двухстах от Серпуховской дороги, в богатом и большом селе Вздвиженском, светился огонек; его трудно было заметить проезжим людям, потому что погода была бурная, снег валил хлопьями и сильный ветер с метелицею бушевал в чистом поле. Этот огонек светился в бревенчатом, крытом соломою господском доме, в котором жил помещик или, верней сказать, *отченник* села Вздвиженского, окольничий Максим Петрович Прокудин. Чтобы провести как-нибудь время до ужина, Максим Петрович, приютясь в самом теплом покое своих барских хором, изволил забавляться в шашки с любимым своим челядинцем и дворецким Прокофием Кулагою. Максим Петрович сидел в обитых кожею широких и спокойных креслах; дворецкий лепился кое-как на узенькой скамеечке. Барин был человек пожилых лет, дородный и видный собою, довольно приятной наружности, с окладистой темно-русой бородою, которая, впрочем, начинала уже местами серебриться. Он был одет по-домашнему, в цветной шелковой рубашке с косым воротом и покрытом узорчатой камкою калмыцком тулупе нараспашку. Дворецкий был также человек немолодой, с широким рябым лицом, реденькой бородкою и огромным красным носом. Сверх суконного кафтана с козырем на нем надета была затасканная шелковая ферязь с оборванными петлицами, которую он только что удостоился получить с барского плеча за свою усердную и верную службу. У дверей покоя дремал, прислонясь к стене, длинный, неуклюжий детина в смуром кафтане; он держал в руке жестяные щипцы, вроде тех, которые и теперь еще употребляются по церквам; следовательно, нетрудно было отгадать, что главное занятие этого парня состояло в том, чтоб снимать с двух сальных огарков, которыми освещалась вся комната.

— Ну что ж ты, Кулага? — сказал Максим Петрович, взглянув с довольным видом на своего дворецкого.— Или пришло в тупик, что некуды ступить? Да полно, братец,— ходи как-нибудь!

— А вот пойдем, батюшка,— промолвил дворецкий, подвигая вперед шашку.

— Так ты вот как... хорошо!.. А мы вот этак!.. Что, брат, опять призадумался?

— Призадумаешься, батюшка,— прошептал Прокофий, почесывая затылок,— дело-то плоховато!.. Вишь, она куда, озорница,— в доведи лезет!.. Нечего делать, пойду так.

— А я так... Фу, батюшки! — промолвил Максим Петрович, посматривая на окна, — что это на дворе-то?.. Господи Боже мой!

— Да, сударь, разыгралась погодка!

— То-то, чай, теперь в поле — светопреставление: и снег и метель; а мороз-то сам по себе... Ну что ж ты, пошел, что ль?

— Пошел, батюшка.

— И я пошел... Чу, слышишь, как воет ветер?.. Ох, дорожным-то людям теперь... помилуй Господи!

— Истинно так, батюшка Максим Петрович, — бедовое дело!.. Собьешься с дороги, заедешь в сутроб, да коли одежонка-то плохая, так и читай себе отходную... Изволил ступить?

— Ступил.

— А коли ступил, так — не погневайся, батюшка, — фук!..

— Как так?.. Постой, постой!.. За что́ ты взял мою шашку?..

— Не взял, сударь, а фукнул.

— За что́?

— А за то, чтоб она брала, коли ей приходится брать. Вот я двинул сюда мою шашку, а твоя стояла здесь, — так ей приходилось брать назад.

— Так, так!.. Ну, нечего делать, — прозевал!.. А игра-то была какая богатая!.. Да постой, любезный! Хоть ты у меня и фукнул шашку, а я все-таки прежде твоего в доведях буду... Вот мы этак... Пошла!

— А мы, сударь, вот эту тронем.

— Трогай себе, трогай... а уж на выручку не поспеешь... Пошла дура!

— Изволил ступить?

— Ступил, братец!

— Так не прогневайся, батюшка, — фук!

— Как?.. Еще?.. Тьфу ты, пропасть какая!.. Да что это у меня глаза-то в затылке, что ль?.. Нет, не могу играть, не то в голове... Степка!.. Смотри-ка, Прокофий, смотри!.. стоя спит!.. Эй ты, болван!

Детина, который дремал, прислонясь к стене, вздрогнул и кинулся, как шальной, к столу, чтоб снять со свечей.

— Тише ты, дурачина! — закричал Максим Петрович. — Что ты бельмы-то выпучил да лезешь, словно угорелый какой!.. Полно-полно!.. Погасишь!.. Ну так и есть!.. Эка уродина, подумаешь!.. а уж борода растет!

— Да что ему борода, батюшка,— прервал дворецкий,— у него борода-то выросла, да ума не вынесла. Я уж тебе докладывал: что́ его держать во дворе: он и в пастухи-то навряд годится.

— Эх, Прокофий, стыдно, брат!.. Ну, кто говорит: сына не за что и хлебом кормить, да отец-то служил мне тридцать лет верою и правдою... Эй ты, простофиля!.. пойди, скажи... Да нет,— переврешь, дурак!.. Пошли Андрюшку.

Через полминуты вошел в комнату здоровый и рослый детина лет тридцати; все платье его было в снегу.

— Что ты это, братец,— спросил Максим Петрович,— иль валялся по снегу?

— Никак нет,— отвечал слуга,— я ходил сейчас на погреб.

— И тебя этак занесло?.. Ну, видно, погодка!

— Не приведи Господи, батюшка, и снизу и сверху, метет.

— Темно?

— Зги Божьей не видно.

— И холодно?

— Холодновато, батюшка,— сильно морозит.

— Ну, худо дело!.. От нашего села вплоть до самого Шарапова вовсе жилья нет.

— Да, Максим Петрович, по большой дороге нет.

— Вот то-то и дело: долго ли до греха! Ведь на прошлой неделе подняли же проезжего мужичка — замерз, беднята; и добро бы еще в поле, а то у нас на задах. Послушай, Андрюшка, возьми с собою кого-нибудь, ступайте за околицу да поближе к большой дороге разведите огонь.

— Слушаю, батюшка!.. Только ветер-то больно силен...

— И, полно, братец!.. Вязанки две сухих березовых дров, да лучины побольше... а огонь донесете в фонаре... Ступай! Этак будет лучше,— продолжал Максим Петрович,— на огонек-то всякий поедет.

— Да, сударь,— сказал дворецкий,— коли лошадки не вовсе еще из мочи выбились. Чай, теперь и большую дорогу занесло сугробами, так целиком-то далеко не уедешь. И то сказать: кого нелегкая понесет в такую непогодь; ведь метель-то началась еще засветло.

— Ну, Прокофий, не говори! русский человек на том стоит: ему все трын-трава! Куда немец носа не покажет, а он туда ломит себе наудалую: авось, дескать, проеду — Господь пронесет!

— Да, сударь, что правда, то правда. И я, бывало, в старину хаживал чрез Оку по вешнему льду; из-под ног вода брызжет, а тебе и горюшки мало. Что, дескать, в самом деле: двух смертей не бывает!.. Что ж, батюшка: ведь мы еще игру-то не кончили,— прикажешь?

— Нет, Прокофий, будет! Уж я тебе говорил: не то на уме.

— Ну, как изволишь! — сказал дворецкий, вставая.— Да не погневайся, батюшка,— промолвил он, помолчав несколько времени,— дозволь спросить: что это тебя так тревожит?.. Вот ты другой день все как будто бы задумываешься... Или эта грамотка, что прислал к тебе вчера с ходоком из Москвы приятель твой, Лаврентий Никитич Рокотов?..

— Да,— прервал Максим Петрович,— хорошие получил я от него весточки! есть чему порадоваться!..

— А что такое, батюшка?

— Худо, брат Прокофий, больно худо!.. Мы здесь живем в глуши, у нас все по-прежнему: тишь да гладь да Божья благодать. А кабы ты знал, что на Москве-то делается...

— А что, сударь?.. Неужели опять стрельцы завозились?

— Вот до глухого вести дошли — стрельцы!.. Да об этих мятежниках давно и речи нет. Мы и прежнего-то срама не переживем... Помилуй, братец, кто нынче станет бунтовать против помазанника Божия?..

— Так что ж, батюшка? Уж не швед ли опять поднялся на святую Русь?

— Куда ему!.. И король-то их без вести пропал: говорят, в плену у турского салтана.

— Так все ли здорово в Москве?.. Не мор ли, батюшка?..

— Что мор! Господь казнит, Господь и помилует; а там, глядишь, опять пойдут времена благодатные.

— Да что ж такое, сударь?..

— А вот что, любезный,— продолжал Максим Петрович, понизив голос,— мне пишет Лаврентий Никитич, что наш православный государь... ох, страшно вымолвить!.. Наш батюшка, царь Петр Алексеич... совсем онемечился.

— Что ты говоришь, батюшка! — вскричал Прокофий.— С нами сила крестная!.. Да как это может быть?

— Да, любезный! Он такие дела затевает, что не приведи Господи!.. Хочет, чтоб мы перенимали все у немцев.

— У немцев?.. Вот еще!.. Что нам у этих еретиков перенимать!.. Да давно ли этих паскудных немцев и в царских-то указах позорным именем называли?..

— Вот то-то и есть!.. А теперь посылают боярских детей в еретичные земли учиться немецким обычаям, хотят нас нарядить в разнополые немецкие кафтаны... обрить бороды...

— Обрить бороды! — воскликнул Прокофий.— Нет, батюшка, уж этого-то никак нельзя! Ведь мы православные, а не басурманы какие!

— Ну вот поди ты!..

— Да я хоть сейчас голову на плаху!.. Господи Боже мой, и что это нашему батюшке Петру Алексеевичу дались эти немцы?.. Что они, обошли, что ль, его?

— Эх, Прокофий! лиха беда поддаться демонской прелести, а там все пойдет как по маслу. Вот кабы государь не изволил ездить за море, так ничего бы не было, все осталось бы по-прежнему; а теперь как он набрался немецкого духу, так и слышать ничего не хочет. Да уж пускай бы помаленьку, не торопясь,— мы бы, старики, свой век отжили, а там что Бог велит!.. Ну, может статься, и в самом деле есть что перенять у немцев. Вот, примером сказать, хитрость ратную, корабельное плавание — то, другое; да это бы полегоньку, исподволь... а то вынь да положь!.. Вчера наш брат, русский, и якшаться с немцем не хотел, а сегодня ступай к нему под начал... Ну, да что об этом! выше лба уши не растут. И кабы мне не было надобности ехать в Москву, так я бы рукой махнул.

— А разве ты, батюшка, в Москву собираешься?..

— Что же делать, братец: и не хочешь, да едешь. Ты знаешь, что мою племянницу, Ольгу, люблю как дочь родную.

— Как не знать, батюшка!.. Да и кого же тебе любить? Она сиротка, выросла на твоих руках, а у тебя от покойной твоей сожительницы деток не осталось. Да ведь ты изволил говорить, что Ольга Дмитриевна по весне сама к нам сюда пожалует.

— Нет, брат, до весны-то далеко, а теперь ее в Москве у моей дуры сестры ни за что не оставлю. Того бабы-то, подумаешь! Подлинно правда, что у них волос долог, да ум короток. «Отпусти, дескать, батюшка братец, племянницу ко мне погостить! Ведь она у тебя живет в захолустье, свету Божьего не видит!» Вот тебе и отпустил!

— Так что ж, сударь?.. Ведь сестрица твоя, Аграфена Петровна...

— Да, была когда-то баба путная — русская барыня; а теперь хуже всякой немки стала.

— Как так?

— А вот достань-ка там за образами грамотку Лаврентия Никитича, — я тебе прочту, что он о ней пишет.

Прокофий вынул из-за образов довольно толстый свиток и подал его своему господину.

— Сначала-то, — сказал Максим Петрович, развертывая длинный столбец, — Лаврентий Никитич пишет ко мне о приезде государя Петра Алексеевича в Москву, о новых указах царских, о посылке дворянских детей в неметчину, о шутовском немецком наряде; а вот здесь... нет!.. это он пишет о своей меньшой дочери... вот что: «Крестница твоя, Максим Петрович, Катюшка, премного тебе челом бьет и твоего отеческого благословенья просит. Она будет у нас большая грамотница: доучивает теперь заутреню; а напрежь сего учил Катюшку Макарка, наш приходский пономарь, и он, кутейник, меня обманывал: не доуча заутрени, часы начал учить. А нынче учит Катюшку Успенского собора псаломщик Григорий, — и я ученьем его зело доволен. Еще ж, друг сердечный, хотя мне весьма прискорбно говорить тебе об этом, а делать нечего, должен сказать: сестрица твоя Аграфена Петровна и племянница Ольга Дмитриевна свели дружбу с Ягужинскими, а те их вовсе с толку сбили и теперь о них — не при тебе будь слово сказано — идут такие непригожие речи, что все наши и знаться с ними не хотят. Они изволят щеголять в каких-то заморских фуро[1], повадились ездить в Немецкую слободу, и даже говорят, что будто бы дошли до такого окаянства, что на прошлой неделе в немецкой кирке[2] были...» Что, брат Прокофий, каково?

— В немецкой кирке! — повторил Прокофий, всплеснув руками.

— Слушай, слушай! — продолжал Максим Петрович. — «Сестрица твоя — и это я доподлинно знаю — наняла двух немчин; у одного твоя племянница обучается разным еретичным наукам и басурманским наречиям, а другой учит ее играть на каких-то клавироцымбалдах — сиречь заморских гуслях...» Что, брат Проко-

---

[1] Узкое прямое платье (от *фр.* fourreau).

[2] Церковь (от *нем.* Kirche).

фий,— а?.. Вишь, нашли какую гуслистку!.. Да слушай, слушай — то ли еще будет!.. «Еще ж скажу тебе, друг сердечный, что у нас завелись в Москве бесовские сходбища, они прозываются ассамблеями. Чаще всего бывают эти ассамблеи в Немецкой слободе у голландского купца Гутфеля. Вот съедутся к нему и наша братья, дворяне с женами и дочерьми, и всякая немецкая сволочь. И тут уж, любезный, не жди себе никакого почета: что знатная барыня, что немецкая купчиха — все едино: сядут они все рядышком; а этот чертов сын, Гутфель, как боярин какой, учнет похаживать да подчевать сластями наших барышень и своих немок; а там, как сберется их побольше, затрубят в трубы, заиграют на фиолях, молодые ребята-офицерики и немцы всякие подлетят к барышням, разберут их по рукам и пойдут пляски! Начнется всякое требесие, шум, гам, веселье, ну, ни дать ни взять, Содом и Гоморра в лицах. А дураки-то отцы и мужья, как будто бы не их дело, заберутся в особый покой, читают куранты, играют в шахматы, тянут пиво да вместе со старыми немцами табачище жрут. И по этим-то сатанинским игрищам Аграфена Петровна изволила всю зиму таскаться с твоей племянницей, которая, слышал я стороною, познакомилась там с каким-то гвардейским фенриком,— сиречь прапорщиком, и говорят, будто бы этот фенрик очень за нею ухаживал». Ухаживал!.. Слышишь, Кулага?

— Слышу, батюшка.

— Ну что, брат,— продолжал Максим Петрович, перестав читать,— ехать ли мне в Москву?

— Как не ехать, батюшка! Ведь надобно же нашу барышню выручить из этого омута. И что это с государыней Аграфеной Петровной сделалось?

— Воля, братец!.. Кути себе как хочешь: муж на службе царской в Азове, Бог весть когда назад вернется. Правда, и он хорош!.. Чай, радехонек, что жена его подружилась с Ягужинскими: «Теперь, дескать, у меня рука есть!»

— А я так, батюшка, очнуться не могу. Эко непотребство, подумаешь!.. Какой-нибудь немчура, чумичка проклятый! чай, у себя дома-то булки пек, а теперь с боярской дочерью, с племянницей твоей, изволит поплясывать!.. Нахалы этакие!.. Как ходу-то им не было, так небось были тише воды ниже травы; а как посадили их за стол, так они и ноги на стол.

— Постой-ка, постой, Прокофий! — прервал Максим Петрович, вставая. — Чу!.. Слышишь?.. Никак ворота заскрипели?..

— Да, сударь, — сказал дворецкий, подойдя к окну. — Кажись, кто-то въехал на двор.

— Кого это Господь дает?.. Ступай-ка, Прокофий, проведай. Коли приятель — милости просим, коли проезжий — также добро пожаловать! Вели переменить свечи, водки приготовь да проворней сварить сбитню с имбирем, чтоб проезжим-то людям было чем душу отвести. Чай, они, голубчики, больно прозябли.

— Все будет готово, батюшка.

Хозяин, оставшись один, свернул бережно длинный столбец, пригладил бороду и уселся опять в свои широкие кожаные кресла.

II

Спустя несколько минут дворецкий возвратился, неся в руках пару резных железных подсвечников, в которые вставлены были цельные сальные свечи.

— Ну, что? — спросил Максим Петрович.

— Проезжий, батюшка, военный и, кажись, начальный человек.

— Один?

— Нет, сударь. При нем служивый, — видно, денщик.

— Что, они очень продрогли?

— И, Господи!.. Насилу говорят. Служивые-то люди туда и сюда, а ямщик еле жив. Я велел втащить его в людские сени да оттирать снегом: совсем окоченел, сердечный! Ну, сударь, надоумил тебя Господь! Кабы ты не изволил приказать развести огонь за околицею, так пить бы им горькую чашу.

— А что, разве проезжие-то на огонек к нам выехали?

— Как же! Они с дороги сбились да плутали все по полю.

— Что, этот офицер парень молодой?

— Да, батюшка: ему, чай, и тридцати годков не будет.

— Ну что ж, зови его сюда.

— Просил пообождать. «Я, дескать, поразомнусь и отогреюсь немного, а то язык не шевелится».

— Ты проведал, кто он таков?

— Спрашивал у служивого: Василий Михайлович Симский, прапорщик Преображенского полка; такой красивый собою, ловкий детина, и по всему видно, не из потешных каких, а роду хорошего. Сейчас спросил, как зовут тебя по имени и по отечеству.

— Вот что!.. Симский... Мне что-то сдается... сам, что ль, я знавал или слыхал о каких-то Симских,— не помню хорошенько. Ступай, Прокофий, скажи, чтоб ему изготовили постель в предбаннике. Покои-то в доме красивее, да в них холодненько. Денщика сведи в людскую; коли пьет, так поднеси ему добрую красоулю вина, а коли нет, так напоить сбитнем, а там чем Бог послал.

— Будет сыт, батюшка.

— Ямщика также, как он совсем оттает, напоите, накормите и спать положите; а лошадок его вели убрать Парфену, да чтобы задал им побольше овсеца. Ну, ступай, и коли проезжий офицер пообогрелся, проси его сюда.

— Слушаю, сударь... Да вот никак он и сам изволит идти.

Долговязый Степка растворил дверь, и в комнату вошел молодой человек лет двадцати пяти. Этот проезжий был действительно замечательной наружности. Несмотря на багровый цвет его лица, которое горело от мороза, нельзя было не назвать его красавцем. Его черные глаза блистали умом и веселостию, а длинные шелковистые волосы расстилались крупными кудрями по широким плечам. На нем был мундир темно-зеленого цвета, весьма похожий на нынешние короткие однобортные сюртуки, с тою только разницею, что он был без воротника, на груди не сходился и что у него спереди на фалдах были большие клапаны, вырезанные по краям городками, а на руках широкие разрезные обшлага. Этот мундир был с медными золочеными пуговицами; под ним суконный камзол и нижнее платье, также темно-зеленые. На шее белый холстинный галстук с висячими концами, а на ногах высокие, по самое колено, сапоги с небольшими раструбами. Все украшение этого не слишком затейливого наряда состояло в том, что мундир, камзол, клапаны и обшлага обшиты были по борту золотым галуном, пальца в полтора шириною.

Максим Петрович встал.

— Милости просим, Василий Михайлович! — сказал он, идя навстречу к своему гостю — Эй, Степка, стул!

— Зело благодарствую вам, высокопочтеннейший Максим Петрович,— промолвил офицер, кланяясь хозяину,— что вы меня, странного человека, изволили укрыть от холода и непогоды!

— Помилуй, батюшка, да за это нечего и спасибо сказать. Просим садиться.

— Всепокорнейше благодарю!

— Да зачем же на скамейке? Вот стул.

— Все равно, Максим Петрович. Нижайше прошу вас, не извольте себе чинить ради меня никакой турбации[1].

— Турбации! — повторил про себя Максим Петрович, взглянув с удивлением на офицера.— Ну что, Василий Михайлович,— продолжал он,— поотогрелся ли ты? Ведь погода-то не приведи Господи!

— Истину изволите говорить: совершеннейшее подобие морского штурма, или, паче сказать, смятение всех элементов.

— А по нашему просто: метель. Дозволь спросить: откуда путь держишь?

— Из Санкт-Петербурга. Ездил по указу начальства в Смоленск и Калугу; теперь пробираюсь в Москву.

— Так ты, сударь, не из здешней стороны?

— Нет, Максим Петрович, прошу экскузовать[2]! Я родом из Москвы, а служу теперь...

— Знаю, знаю: по-нынешнему, в царской гвардии, а по-старинному — в опричниках.

— Не прогневайтесь, Максим Петрович,— сказал офицер, улыбаясь,— я против этого протестую. Опричня была при государе Иоанне Васильевиче, а лейб-гвардия учреждена государем Петром Алексеевичем по примеру всех царствующих потентатов[3].

— Потентатов! — прошептал опять про себя Максим Петрович, нахмурив брови.— Так ты, Василий Михайлович,— молвил он, помолчав несколько времени,— недавно из этого... как бишь вы его зовете?.. Санк-Санк.. Не прогневайся, молодец, я по-немецкому-то не горазд. Ну вот из этого бурха-то...

— Из Санкт-Петербурга. Я выехал оттуда на прошлой неделе.

— Ну, что у вас там поделывается?

---

[1] Беспокойства (от *лат.* turbare).
[2] Извинить (от *фр.* exuser).
[3] Государей (от *фр.* potentat).

— Мало ли что: строят всякие здания, проводят каналы...

— И все идет успешно?

— Да, Максим Петрович! Поистине, доложу вам: Санкт-Петербург, яко некий парадис, процветает и, наподобие преизрядного младенца, каждодневно возрастая, всякими инвенциями [1] украшается.

— Не осуди меня, старика,— прервал Прокудин,— ты, молодец, изволишь такие мудреные речи проговаривать, что я тебя и в толк не возьму. Ну вот, примером сказать, уподобляешь ты вновь созидаемый град какому-то парадису,— а что такое парадис?

— Парадис? Это иноземное слово; оно соответствует нашему слову: земной рай.

— Вот что! Так на что ж ты, говоря с русским человеком, называешь земной рай по-немецки?

— Привычка, Максим Петрович. У нас в Санкт-Петербурге все так говорят.

— Видно, под стать к вашим немецким кафтанам. Послушай, Василий Михайлович: я человек старый, никаким заморским хитростям не обучался, так нельзя ли тебе говорить со мною попросту?

— Прошу прощенья, Максим Петрович. Я мыслил...

— Что и мы, деревенские, также онемечились. Нет, батюшка, где нам! Мы все такие же неучи, какими были прежде. Ну, скажи-ка мне, Василий Михайлович, что у вас там строят?

— Царский дворец, адмиралтейство, фортецию — сиречь крепость.

— Крепость! Что ж, она сооружается наподобие Московского Кремля?

— Нет, Максим Петрович. Эта крепость строится по заморским чертежам, без башен, со многими бастионами и болверком — сиречь с выступами и с земляным раскатом.

— А что, обывательские-то дома прибавляются?

— Словно грибы растут.

— Не диво! Ведь по царскому указу все зажиточные дворяне должны там строить дома. Вот и мне на старости придется выстроить домишко; да только вряд ли я в нем новоселье буду справлять. Приказано строить — построю; а живи в нем кто хочет.

---

[1] Выдумками (от *фр.* invention).

— Напрасно, Максим Петрович. Почему ж вам не приехать, хоть недельки на две, взглянуть на ваш дом, полюбоваться нашим Санкт-Петербургом...

— Нет, батюшка! коли я в Москву не могу собраться, так поеду ли к вам, за тридевять земель в тридесятое государство. Да и что мне у вас смотреть?

— Мало ли что? Вот, например, вы побывали бы там в кунсткамере.

— А что это, батюшка, такое?

— Это особый дом, в котором показывают всякие редкости.

— А, знаю, знаю!.. Еще недавно объявляли царский указ, чтоб со всех сторон присылали туда всяких уродцев. Вот мне сказывали: в прошлом месяце послали к вам из Серпухова мертвого теленка о пяти ногах,— эка вещь!.. Да я и живого-то теленка о пяти ногах видеть не хочу,— что тут за краса такая?..

— Ну, так посмотрели бы море.

— Море? Вот невидаль! Я смолоду служил в Астрахани воеводским товарищем и видел море-то почище вашего,— море Хвалынское!

— Поглядели бы, как иноземные гости к нам на кораблях приходят.

— Иноземных гостей и в Москве много, и корабли-то мне не в диковинку. Покатался я вдоволь по морю Хвалынскому, вплоть до самого Дербента ходил на парусах.

— Да это все не то, Максим Петрович! Что ваши волжские струга! Вы посмотрели бы на нашу гребную флотилию, галеры, осьмидесятипушечные корабли, покатались в шлюпке по Неве... Да что по Неве! У нас такое обилие вод, что можно весь город объездить в лодке.

— А пешком-то ходить, видно, не приходится: в болоте увязнешь.

— Нет, Максим Петрович: у нас, почитай, все большие улицы вымощены булыжником.

— Не диво: городишка маленький, рук много, а за булыжником дело не станет. Мне рассказывали, что у вас поля-то все усыпаны голышами: ни пахать, ни косить нельзя. А что, молодец, правду ли мне также говорили, будто бы в вашей стороне не русский народ живет, а какие-то латыши?

— Теперь и русских много.

— Что ж, эти латыши по-латыни, что ль, говорят?

— Да, речь у них совсем иная.

— Ну, нечего сказать: далеконько же этот новый городок поотшатнулся, и я — не прогневайся, Василий Михайлович,— мыслю так, что ему никогда не бывать знатным городом.

— Напрасно вы это изволите думать: Санкт-Петербург и теперь уж город нарочитый, и коли он сделается царскою резиденциею, сиречь столицею, так не диво, если с первопрестольным градом поверстается...

— С Москвою?.. Эк хватил!.. Нет, Василий Михайлович, далеко кулику до Петрова дня!.. Ну, может статься, по времени, ваш новый городишка будет не хуже города Архангельска, но чтоб он с Москвою когда поравнялся — не моги этого и думать.

— Да ведь и Москва, Максим Петрович, не всегда была такая, как теперь.

— Москва!.. Москва-то, любезный, нечто другое: она и великому Царьграду в версту будет!.. Ее, нашу матушку, не три дня строили!.. Вишь, скорохваты какие! Тяп да ляп,— ап и другая Москва готова. Нет, молодец, погоди!

В комнату вошли двое слуг, один с серебряным подносом, на котором стояли три полуштофика и две позолоченные чарки; другой с закускою, то есть с хлебом, паюсною икрою и жирным балыком.

— Прошу покорно! — сказал хозяин.— Какой прикажешь? Вот травничек, зорная...

— Нижайше благодарю! — отвечал Симский, кланяясь.

— Да выкушай, гость дорогой! А коли не хочешь ни травника, ни зорной, так милости просим отведать вот этой... отличная анисовка!.. Говорят, наш батюшка Петр Алексеевич изволил ее жаловать, так вам, верным его слугам, непригоже от нее отказываться... Выкушай за его здоровье, и я с тобой выпью чарочку.

Хозяин и гость налили себе по чарке анисовой водки, выпили стоя за здоровье царя русского, закусили; потом, когда слуги вышли, Максим Петрович завел речь о мундире, в котором был его гость.

— Что ж это, батюшка,— спросил он,— праздничный, что ль, это кафтан, или уж вы всегда в таких празументах ходите?

— У нас нет других мундиров,— отвечал Симский.

— Подумаешь: ну чем этот немецкий кафтан лучше нашего?.. Спереди вся грудь раскрыта, сзади затылок нечем прикрыть — и коротенько, и узенько!.. Сапоги выше колен...

— Да это по-походному,— прервал Симский,— а на стоянке мы сапогов не носим.

— Право!.. Так в чем же вы ходите?

— В башмаках и зеленых чулках.

— Чулках!.. Летом?

— И летом и зимою.

— И зимою!.. Да как же это?.. Ведь русский мороз чулочки-то не очень жалует.

— Ничего, Максим Петрович. Ну, как больно холодно, можно поддеть?..— Вестимо, можно. Да на что ж людей-то морочить? Я, дескать, и по морозу в чулках похаживаю! А глядишь: под чулками-то онучи намотаны.

— Что ж делать, Максим Петрович! Уж коли за морем так одеваются...

— За морем-то, говорят, тепло, а у нас холодно... Ах ты, Господи Боже мой!.. Вот оно и впрямь выходит, что немцы-то нас умнее. Русский человек хоть замерзни, да одевайся по-немецки; а поди-ка уговори какого-нибудь немца, чтоб он надел наш полушубок,— как бы не так!.. Он тебе тотчас скажет: «Нет, брат, спасибо. Наша земля не ваша, у нас в русском полушубке-то задохнешься!» Ну, а на головах-то что вы носите?.. Вот этакие шапки, что ль?..

— Нет, Максим Петрович, это по-дорожному, а на службе мы носим шляпы с пригнутыми полями.

— А, знаю, знаю!.. У меня проездом был один немецкий купчина в этакой шляпе; ни дать ни взять — пирог без начинки. По морозцу в ней не далеко уедешь! Хорошо еще, что вы теперь волосы отпускаете: все-таки есть чем уши прикрыть.

— А когда бывают парадные строи, так волосы-то у нас еще длиннее.

— Как так?

— Да, Максим Петрович: мы сверх своих волос надеваем пудреные парики.

— Пудреные парики? Что это за вещь такая?

— Париками называют накладные волосы, а коли они посыпаны пудрою, сиречь мукою, так их зовут пудреными.

— Ну, хитро придумано!.. На свои родные волосы надевать чужие, да еще мукой их посыпать!..

— Так уж везде заведено, Максим Петрович.

— Везде!.. Да пускай себе немцы хоть круглый год святки справляют, а нам, православным, грешно рядиться такими халдейцами и тратить понапрасну дар Божий.

— Я вижу,— сказал, улыбаясь, Симский,— что вам все эти новинки не по сердцу.

Прокудин взглянул недоверчиво на своего гостя и повторил вполголоса:

— Не по сердцу... не то что не по сердцу... Коли так угодно нашему батюшке Петру Алексеевичу, так воля его царская — мы все рабы его: что прикажет, то и делаем... а это так, между слов скажешь иногда... Человек же есть: посумнишься, подумаешь... «Что, дескать, ради чего это, на какую потребу?..» Да вот хоть, примером сказать, поговаривают, будто бы не токмо вам, людям ратным, но и всем православным указано будет бороды брить и носить немецкое платье. Но будь же милостив — скажи мне, ради чего это?

— А вот ради чего, Максим Петрович: государю Петру Алексеевичу желательно, чтоб мы, русские, ни в чем не были хуже наших соседей немцев и других иноземных народов.

— Да чем же мы их хуже?

— А тем, Максим Петрович, что они по своей эдюкации[1] и науке, во всяком деле больше толку знают, чем мы. Навигация, ратное дело, свободные художества и многие другие хитрости, в которых мы еще не искусились, находятся у них в преизрядном процветании; так любы ли нам немцы или нет, а перенимать у них следует. Вы скажете, может быть: «На что, дескать, нам все эти хитрости,— ведь мы жили же без них». Не те времена, Максим Петрович! То было в старину, а теперь без науки не далеко уйдешь. Да вот хоть в деле ратном: давно ли нас шведы походя били, а как мы понаучились от немцев, так и сами стали их поколачивать, да еще как!.. Нет, Максим Петрович, воля ваша, а нам, русским, нельзя не перенимать у немцев. Вот как наберемся от них ума-разума, так, может статься, и сами других поучим. Ведь это, сударь, круговая порука и обижаться этим нечего.

Прокудин улыбнулся.

— Ну, молодец,— сказал он,— много ты наговорил, а все-таки не дал ответа на то, о чем я тебя спрашивал. Наука сама по себе — и мы, старики, знаем пословицу: «Ученье свет, а неученье тьма», да у нас речь шла вовсе не о том; я спрашивал тебя, ради чего должны мы,

[1] По своему образованию (от *фр.* éducation).

православные, одеваться как еретики и брить себе бороды? Да неужели государь Петр Алексеевич изволит думать, что коли русский человек отмахнет себе бороду, так в нем от этого ума прибудет? А если вместо ферязи натянет на себя кургузый кафтанишко, так станет хитрее всякого немца?

— Нет, он этого не думает.

— А коли не думает, так в чем же перед ним провинились наши бороды и почему русское одеяние, которым не гнушались наши предки, хуже этого общипанного заморского платья?

— Да это, Максим Петрович, не что иное, как препарация, сиречь приготовление или, так сказать, начало. Чтоб перенять что-нибудь у немцев, надобно иметь с ними обхождение, не чуждаться их; а какое может быть у нас общение с иноземцами, коли между ими и нами не будет даже и наружного подобия? Вы сами знаете, что в старину мы, русские, презирали иноземцев, смеялись над ними, называли погаными и даже за людей-то признавать не хотели,— и все это не потому только, что они другой веры, а больше потому, что они явно отличались от нас своим платьем, обычаями и бритою бородою. Теперь, как мы сами будем брить бороды и одеваться как они, так мало-помалу свыкнемся с ними, перестанем их чуждаться, и нам будет вовсе не зазорно учиться у них тому, чего мы еще не знаем и что нам зело знать надлежит. Да вот хоть, например, случалось мне принимать к нам в полк рекрутов, сиречь новобранцев; пока они еще в своих сермяжных зипунах, в лаптях и с бородами, так глядят медведями на своих товарищей солдат, да и те на них не больно ласково посматривают; а как их обреют да оденут в мундиры, так они как век с ними жили: все разом переймут, откуда возьмется и удаль и сметка солдатская, ну, словом, вовсе переродятся. Так изволите видеть, Максим Петрович, что значит платье-то! Оно, кажись, ничего, а посмотришь — нет! тот же человек, да не тот.

— Вижу, Василий Михайлович, вижу! Так вот оно что: немцы-то солдаты, а мы новобранцы... Так, батюшка, так!.. Да только вот что: бород-то много на святой Руси, а не у всякого руки на самого себя подымутся, так всех-то брить от казны тяжеленько будет.

— И, Максим Петрович, была бы на это воля царская!

— Воля царская! — прервал Прокудин.— Не прогневайся, молодец: борода-то не что другое — с ней не вся-

кий захочет расстаться. Нет, Василий Михайлович, не знаю, как вы, люди молодые, а мы, старики, не то думаем... Да, батюшка, да! В голове моей царь волен, а в бороде нет!.. Что ухмыляешься? Всеконечно так!.. Пусть себе бреют бороды эти заморские еретики... им что! Они, чай, и Бога-то не знают... А чтоб у православного рука поднялась на такое искажение образа Божия... нет, любезный! Уж коли желаешь кого осрамить, так прежде сними с него голову, а там и ругайся над ним как хочешь... Да что об этом говорить! — продолжал Прокудин, вспомнив, что человек, с которым он беседует, вовсе ему незнаком. — Мало ли что болтает народ. Наш благоверный царь Петр Алексеевич — государь милостивый: может статься, ему и в голову не приходило насильно брить нам бороды. И к чему насильно? Охотников найдется много. Один оскоблит себе рыло, чтоб на немца походить, другой ради того, чтоб выслужиться... Ведь нынче не прежние времена: столбовые-то люди повывелись... Эй, Степка, вели накрыть здесь стол. Милости просим, Василий Михайлович, поужинать с нами чем Бог послал. Да не прогневайся, поваришка-то у меня простой, у немцев не учился.

Во время ужина Прокудин начал снова расспрашивать своего гостя о Петербурге и слушал его с большим вниманием; но когда Симский сказал между прочим, что широкая и многоводная Нева по красоте своей может назваться первой русской рекою, он прервал его и промолвил, улыбаясь:

— Конечно, Василий Михайлович, конечно! Где нашим старым рекам: Волге, Дону и Днепру равняться с вашею новой рекою!.. Правда, по этой речонке, что мы Волгой зовем, проедешь, почитай, все царство русское. Да это что!.. То ли дело ваша Нева!.. Говорят, будто бы она вытекает из Ладожского озера и течет вплоть до самого моря немецкого — сиречь невступно шестьдесят верст. Эка речища, подумаешь!

— Однако ж по ней большие корабли ходят.

— Как же, батюшка! Недаром говорится: «Большому кораблю большое плаванье». Ведь шутка вымолвить — шестьдесят верст!.. Поди-ка пройди их! Ну, да Бог с ней! Пусть она лучше нашей кормилицы Волги, так же как ваш новый город лучше нашего первопрестольного града — перед вами!.. А кстати о первопрестольном граде: что ты, батюшка, поживешь-таки в Москве?

— Недолго, Максим Петрович, с неделю, может быть.

— Сиречь до великого поста? Что у тебя там, знакомые, что ль, есть или сродственники?

— Знакомых довольно, а близких родственников один только дядя. Я у него и остановлюсь.

— А кто твой дядюшка?

— Стольник Данила Никифорович Загоскин.

— Данила Никифорович?.. Старинный, батюшка, приятель! И отцы-то наши меж собою хлеб-соль важивали. Ну вот, Василий Михайлович, примером сказать, твой дядюшка — худо, что ль, послужил и словом и делом нашим царям-государям? Ты, чай, знаешь, что во время стрелецкого мятежа и нестроения Данила Никифорович в Коломенском походе, в Савине монастыре и в разных других местах, не жалея живота своего, стоял за царей православных? Я сам читал в царской жалованной грамоте, как он пришел в скорых числах, многолюдством и, видя в царствующем граде мятеж, стоял с бояры и воеводы крепко, мужественно и верно, по своему отечеству и по породе, за что и жалован многими отчинами и всякой милостию царской. Уж нечего сказать: верный слуга Петра Алексеевича, да к тому ж и ума палата — а все-таки старины придерживается, не ходит в немецком платье и бороды не бреет.

— Давно бы обрил,— сказал Симский, улыбаясь,— кабы не тетушка Марфа Саввишна...

— Нет, молодец! — прервал с жаром Прокудин,— видно, ты плохо дядю-то своего знаешь. Конечно, он любит и даже чтит свою благочестивую супругу, но уж верно бы не послушался ее, когда бы она не дело ему советовала. Данила Никифорович человек умный, видно, смекнул, что русская борода ни уму, ни науке, ни службе царской не помеха; и я голову мою прозакладаю, что он не променяет своей бороды ни на какие почести и хоть век останется стольником, а уж ни за что не наденет немецкого кафтана!.. Ну, Василий Михайлович,— продолжал Прокудин, вставая,— коли голоден, так не осуди: я не ждал сегодня такого дорогого гостя.

— Помилуйте, Максим Петрович! — сказал Симский, низко кланяясь хозяину,— да вы изволили меня так оттрактовать, что я и слов не нахожу для моего благодарения: поискали вашей лаской, накормили и напоили досыта.

— Ну, коли сыт, батюшка, так и слава Богу!.. Да не пора ли тебе отдохнуть, Василий Михайлович? Ты, я чаю, сегодня больно умаялся...

— Да, Максим Петрович, признательно вам доложу...

— Так с Богом!.. Кулага, вели проводить его милость в опочивальню да приходи скорей назад,— и мне уж время на боковую. Прощай, молодец, до завтра!

— Я завтра отправлюсь чем свет,— сказал Симский,— так вряд ли с вами увижусь. Не прикажете ли чего в Москву?

— Кланяйся от меня дядюшке.

— Буду кланяться. Прощенья прошу, Максим Петрович!

— Спокойной ночи, Василий Михайлович, приятного сна!

Когда Прокудин, помолясь Богу, начал раздеваться, Прокофий спросил его, понравился ли ему проезжий служивый.

— Как тебе сказать,— отвечал Максим Петрович,— парень бойкий и собой молодец, да не нашего поля ягода.

— А что, сударь?

— А вот что, братец: имя-то у него русское, да речь-то полузаморская, а душа, я чаю, вовсе немецкая.

— Эка жалость, подумаешь! А ведь молодец и роду, сударь, хорошего. Денщик мне сказывал, что батюшка вашего гостя был казанским воеводою и оставил сынку-то своему знатные поместья.

— А все бы я за него племянницы ни за что не выдал. Ее и теперь дура сестра таскает с собой к этому немцу Гутфелю, а с таким мужем она, пожалуй, и к обедне-то станет ездить в немецкую кирку... Ну, ступай, Кулага! — примолвил Прокудин, ложась на широкую скамью, которая заменяла ему постель,— да пошли ко мне Егорку слепого, он начал еще на прошлой неделе рассказывать мне сказку о каком-то новгородском богатыре и царевне Прекрасе. Никак не могу дослушать: лишь примется рассказывать, тотчас и засну, видно, уж сказка такая.

Через несколько минут вошел в комнату сказочник Прокудина, Егорка слепой. Он доплелся ощупью до первого угла, прислонился к стене и начал:

— Вчера, государь Максим Петрович, я досказал тебе, как новгородский богатырь, дворянин Заолешанин, побил наголову все поместное войско поганого царя Аспаруха и как он, поганый царь Аспарух, бежал в свой крепкий град Буюслан и засел в нем за тремя каменными стенами в своем высоком тереме. Изволишь помнить, Максим Петрович?

— Помню, помню!.. Рассказывай небось!

— Слушаю, батюшка!.. Ну вот, сильный, могучий богатырь Заолешанин погулял и понатешился, потоптал своим удалым конем рать басурманскую, разметал ее по широким степям и гнал ее, не отдыхаючи, вплоть до самого града Буюслана. Тут он дал маленько вздохнуть своему борзому коню, снял с него уздечку позолоченную, дал пощипать травки в заповедных лугах, напоил водицею из царского студенца любимого, а там вскочил на него опять соколом и учал ездить вкрут высоких стен; затрубил в свой рог серебряный и крикнул зычным голосом: «О, ты гой еси поганый царь Аспарух! Коли сердце в тебе молодецкое, выходи со мной помериться во чисто поле, а не выйдешь — разорю твой крепкий град дотла, раскидаю твои высокие стены по макушку, сорву с могучих плеч твою буйную головушку и отвезу ее в тороках во святой град Киев ребятишкам на потешище и посадским бабам ради игрища». Вот кричит он день, кричит другой, кричит третий... Тут рассказчик остановился, стал прислушиваться, помолчал несколько времени, потом махнул рукою и, пробираясь вдоль стены, вышел потихоньку вон из комнаты.

III

Солнце было уже близко к полудню, когда Симский, переменив лошадей в Подольске, миновал наконец село Коломенское и стал приближаться к Москве. День был ясный, погода тихая, воздух легкий и прозрачный,— словом, одни только наносные бугры снега, которыми покрыта была большая дорога, напоминали о прошедшей бурной ночи. Вот вдали проглянул и начал подыматься Иван Великий, забелелись соборы и обрисовался на светло-голубых небесах опоясанный своею зубчатой стеною, усеянный башнями и обставленный царскими палатами, высокий холм кремлевский; потом зачернелась необозримая громада зданий, в которой сливались в одну сплошную и волнистую полосу бесчисленные избы простых обывателей, церкви, монастыри, брусяные хоромы зажиточных людей и каменные боярские дома с их вышками и теремами.

— Ну что, Демин,— сказал Симский своему денщику, который сидел на санном облучке рядом с ямщиком,— видишь Москву?

— Вижу, Василий Михайлович.
— Бывал ли ты в ней когда-нибудь?
— Никогда не бывал.
— Так ты, видно, родом не из понизовья?
— Никак нет, Василий Михайлович, и я, и батюшка мой, и дед, и прадед — мы все родом из Великого Новгорода.
— Ого, брат Демин! Да ты, я вижу, человек родословный: все родство свое помнишь.
— Как не помнить! Ведь батюшка мой был человек грамотный, а прадедушка служил господину Великому Новгороду, в Шалонской пятине, в селе Александровском, волостным старостою.
— Вот что! Ну, а как тебе, Демин, отсюда Москва кажется?
— Хороша, Василий Михайлович! Ни дать ни взять как наш батюшка Великий Новгород, и Кремль, кажись, такой же; чай, только этакого собора нет, как наша святая София.
— А вот приедешь, так посмотришь.
— Что это там вдали белеется? — спросил Демин ямщика, указывая на круглую башню, к которой наши путешественники быстро приближались.
— Вон энта-то, с черной верхушкою? — отвечал ямщик.— Это Калужские ворота.
— Ворота!.. Что ж, за ними уж и Москва пойдет?
— Ну да,— Замоскворечье.
— Ого! Вот налево-то от Кремля — Москва же?
— Как же — Москва! Вот прямо Белый город, полевсе Чертолье, а там слободы.
— А направо-то?.. Неужели это все Москва?
— Коли не Москва, а то что ж?
— Что, новгородский уроженец,— сказал Симский, заметив удивление своего денщика,— видно, спеси-то в тебе убыло.
— Ну,— прошептал Демин,— никак и впрямь Москва-то побольше будет Новгорода!.. У, батюшки!.. Вон еще вдали забелелись церкви... Ах, Господи, да ей и конца нет!..
— Конец-то есть,— прервал ямщик, помахивая кнутом.— А неча сказать, коли мне придется вас везти от Калужских ворот до Немецкой слободы, так я лошадок-то больно упарю.
— Небось, брат,— сказал Симский,— дальше Знаменки не поедем.

— До Знаменки только?.. Ну это что! — рукой подать... Эй вы, други!

Наши путешественники въехали Калужскими воротами в ту часть Земляного города, или *Скородома*, которая, по своему местному положению, называлась и теперь еще называется Замоскворечьем. Кругом них царствовала мертвая тишина, изредка только попадались им какие-то нищие в лохмотьях, которые, однако ж, не просили милостыни, а, робко озираясь кругом, пробирались сторонкой вдоль домов, по большей части совершенно разоренных. Одни из этих прохожих, видя, что в санях сидят люди служивые, одетые на немецкую стать, отворачивались и даже прятались за углами домов; другие, напротив, останавливались и, гордо посматривая на проезжих, провожали их взорами, в которых незаметно было ничего приязненного.

— Что это, брат, — шепнул Демин, толкнув локтем ямщика, — едем мы городом, а людей не видим, и куда ни поглядишь, все пустые да разоренные дома. Вот хороминка преизрядная, а посмотри-ка: окна выбиты, двери настежь... вона опять домишко на боку... ворот нет, одни вереи остались... А это что?.. Кажись, не горело, а весь дом с корня разорен. Что ж это такое?

— Да хозяев-то нет дома, — отвечал ямщик.

— Куда ж они подевались?

— А кто их знает. Чай, перебрались все на Божедомку, а оттуда разбрелись по погостам.

— Сиречь померли... Что ж это такое? Или у вас мор был?

— Мор не мор, а много буйных головушек легло. Мы, служивый, едем теперь стрелецкой слободой.

— Вот что!.. — прошептал Демин, робко посматривая кругом.

В продолжение этого разговора ямщик, который ехал до того все прямо улицей, поворотил налево и, миновав обширный луг, выехал на Серпуховскую улицу. Тут стали с ними встречаться довольно часто и проезжие, и проходящие. Вот мимо наших путешественников промчался на красивом аргамаке боярский сынок в собольей шапке и бархатном зипуне с золотыми петлицами; вслед за ним проехала московская барыня в своем зимнем экипаже, то есть в обитом красным сукном огромном ящике, поставленном на длинные дровни. Этот неуклюжий возок запряжен был гусем в две лошади, из которых переднюю вел под уздцы конюх; позади, на

полосках, стоял слуга, а впереди шли, разумеется шагом, два *скорохода*. Вслед за этим чинным поездом прокатил на лихой тройке в красивых пошевнях молодой купчик, а за ним протащился шажком архимандрит соседнего монастыря, в длинных лубочных санях, у которых не было кучерского места, потому что кучер, или, по-тогдашнему, *повозчик*, правил лошадью, сидя на ней верхом.

— Ну вот здесь полюднее,— сказал Демин,— а все не то, как у нас в Новгороде. Там почитай всегда и на Софийской стороне, и в Славянском конце народ так и кишит.

— Погоди, служивый,— прервал ямщик,— как выедем на бойкое место, так ты не то заговоришь. Здесь что! А вот как подъедем к Берсеньевскому мосту, так пронеси Господи! В базарный день проезду нет, а пуще обозы; иной раз всю улицу запрудят — ни взад ни вперед! А сунься-ка наудалую, так тебя разом вверх копыльями!.. Да вот посмотри-ка вперед... вишь, как они дерут порожняком!.. Эва на!.. Ряда в четыре едут.

В самом деле, с каждым шагом вперед, на улице становилось теснее. Кому из московских жителей случалось ехать в базарный день от Москворецкого моста по Пятницкой, тот знает, что такое эти бесконечные обозы, а особливо едущие порожняком, которые скачут иногда сломя голову, потому что лошадьми или вовсе никто не правит, или правят мужички под хмельком, для которых в эту минуту море по колено В течение последних двух столетий обычаи русских крестьян почти вовсе не изменились,— и в старину так же, как нынче, редкий мужичок, продав на базаре привезенный им товар, не завернет, бывало, в *царское кружало*, то есть в кабак; а уж если русский человек хватит лишнюю чарку, так вы его никак не заставите ехать по-немецки, то есть шагом или маленькой рысцою; он будет кричать, орать песни и скакать до тех пор, пока не одолеет его сон и вожжи не вывалятся из рук. Когда наши проезжие стали приближаться к Москве-реке, навстречу им, от Всесвятских ворот, хлынул один из этих безумных поездов. На переднем возу в нагольном тулупе нараспашку сидел рыжий детина, красный как маков цвет; заломив набекрень свою шапку, он гнал и в хвост и в голову саврасую лошаденку, запряженную в широкие розвальни. Вслед за ним неслись дюжины две порожних саней; в одних сидели и правили полупьяные, в других лежали и также правили вовсе пьяные мужики, а некоторые из подвод были

оставлены совершенно на волю лошадей; и, надобно сказать правду, эти добрые крестьянские лошадки вели себя гораздо благоразумнее людей: они должны были скакать поневоле, но по крайней мере не обгоняли друг друга и не кидались из стороны в сторону. Вся эта разгульная ватага, не обращая внимания на крик и угрозы других проезжих, мчалась вдоль по улице, наполненной народом, зацепляя и ломая все, что ей ни попадалось навстречу.

— Эк их черти несут! — прошептал ямщик, завидев издали этот обозный ураган.— Смотри-ка, смотри! всю улицу захватили, мошенники этакие!..

— Эй вы, мужичье!..— гаркнул Демин.— Иль не видите, кто едет?.. Держи к одной!

— Куда вы лезете? — закричал ямщик, грозя кнутом.— Ах вы, борноволоки этакие, обломы проклятые!.. Держи правей!.. Держи правей!.. Тише вы, тише... дери вас горой!.. Ах вы, разбойники!.. Ну!!!

Это последнее восклицание сделал ямщик, лежа уже на боку подле своей пристяжной; ее подшибли раскатившиеся розвальни передового обозника, которые в то же время опрокинули и сани проезжих. Прежде чем они успели справиться, на них наехали еще две подводы, смяли остальных лошадей, изорвали всю сбрую и сшибли с ног Демина, который хотел было своротить их в сторону.

— Держите их, держите! — заревел Демин, вскочив на ноги.

— Держите! — закричали многие из проходящих, не трогаясь с места.

— Держите! — повторили уличные ребятишки, прыгая босиком по снегу и помахивая своими спущенными рукавами.

Но держать было некому. Все кричали: «Держи, держи!», и все расступались, чтобы пропустить этих хмельных мужичков, для которых, как я уже сказал, в минуту разгула всегда бывает море по колено.

— Ну, правду ли я вам баил? — сказал ямщик, подымая вместе с Деминым сани и пристяжную лошадь.— Здесь, подле Всесвятских ворот, в базарный день бедовое дело! А на Берсеньевском мосту и того хуже: со всех сторон народ так и валит, вовсе проезду нет... Эге! — продолжал ямщик, осматривая лошадей.— Да сбруя-то вся хоть брось!.. Ах они шальные, пьяницы этакие!.. Смотри-ка, что понаделали!

— Да, брат,— сказал Демин,— постромки никуда не годятся...

— Что постромки!.. Ты посмотри-ка шлею на пристяжной... А дуга-то где?.. Оба гужа лопнули... Ну!.. Озорники этакие!.. Чтоб им до дому не доехать, проклятым!..

— Да нельзя ли как-нибудь связать, чай, с тобой веревки есть?

— Чего связать!.. Нет, уж делать нечего: побудьте здесь, а я как раз сбегаю.

— Куда?

— Да вот тут недалече живет у меня куманек,— покучусь ему, авось даст хомут на коренную.

— Так оставайся, Демин, здесь,— сказал Симский,— а я пойду пешком. Послушай-ка, любезный,— продолжал он, обращаясь к ямщику,— как ты управишься, так ступай на Знаменку. Ты знаешь там дом стольника Данилы Никифоровича Загоскина?

— Нет, батюшка.

— Ну, а знаешь ли ты на Знаменке дом князя Хованского?

— Большие каменные палаты... в три жилья... крыша такая узорчатая?

— Ну да!

— Как не знать.

— Так насупротив-то крытые гонтом бревенчатые хоромы...

— А! Знаю, знаю, батюшка! На дворе еще такая высокая голубятня, с длинным шестом, а на шесте-то петушок?

— Ну, так приезжай же туда.

— Ладно, батюшка, приеду.

Ямщик побежал к своему куму, а Симский, оставив при санях Демина, пошел к Всесвятским воротам. Эти ворота, сходные по своему зодчеству с нынешними Иверскими воротами, стояли на берегу Москвы-реки, у самого въезда на Берсеньевский мост, который назывался также и Всесвятским.

Этот мост, замененный впоследствии нынешним Каменным мостом, служил в то время единственным постоянным и надежным сообщением Замоскворечья с остальными частями города, потому что, вместо нынешнего Москворецкого моста, перекинут был через реку деревянный *живой* мост, то есть длинный плот без перил, по которому ездить не всегда было безопасно. Берсеньевский каменный мост был вовсе не щеголеватой

наружности, но зато весьма прочной постройки. На нем во всю длину выстроены были лавки, а под арками поднята вода, и у каждого быка стояло по водяной мельнице о нескольких поставах. На другой стороне Москвы-реки, против Всесвятских ворот, подымалась широкая четырехсторонняя башня с воротами, которыми, прямо с Берсеньевского моста, въезжали в Белый город. Эти ворота, которые давно уже не существуют, назывались Троицкими.

Симский с трудом мог продраться сквозь толпу проезжих и прохожих, которые теснились на Берсеньевском мосту; но ему еще труднее было попасть в Троицкие ворота, потому что, за исключением узкого проезда, все пространство между ними и мостом было загромождено шалашами, мазанками, выносными очагами, на которых пекли лепешки, скамьями и лавочками с разным мелочным товаром, с поношенным платьем, со всякою ветошью и ломаным железом. Продавцы этого хлама, называемые в старину не купцами, а *щепетильниками*, кричали во все горло, выхваляя свой товар и приглашая покупщиков. Посреди толпы шныряли сбитенщики со своими баклагами, разносчики гречневиков с конопляным маслом, медовой патоки с имбирем и знаменитого калужского теста без всякой приправы. Посадские бабы в коломенковых шубах и меховых шапках, горожанки в теплых ферезях с длинными рукавами, приказные в долгополых синих кафтанах, боярские слуги в нагольных тулупах и сотни разных праздношатающихся зевак лакомились этими сластями, толпились около лавочек, торговали, шумели, спорили и не давали никому прохода. Наконец Симскому удалось выбраться за Троицкие ворота. Оставив в левой стороне Крымский двор, он пошел вдоль стены Белого города; дойдя до Лебединого пруда, повернул мимо Царского сада, расположенного на берегу Неглинной, и вышел на Знаменку. Тут Симский должен был снова остановиться, потому что два обоза, из которых один тянулся от Чертольских, а другой от Арбатских ворот, съехались с третьим, едущим из Кремля, и захватили совершенно всю улицу. Тогда в Москве во многих местах, и почти на всех перекрестках, стояли нищенские избы или богадельни, в которых жили и питались мирским подаянием убогие и недужные люди. Эти богадельни служили также иногда приютом подкидышей, которые там и воспитывались, следовательно, почти всегда, как бесприютные сироты, поступали в число *нищей братии*, без которой и до сих пор наша доброхотная

и христолюбивая Москва обойтись не может. Чтоб выждать, когда просдут обозы, Симский остановился у одной из этих нищенских изб. У самых ее дверей, на завалине, сидели две старухи и грелись на солнышке. Обе они были в овчинных шубейках, которых покрыши составлены были из разноцветных полинялых лоскутов. У одной были на ногах истасканные коты, другая была обута в поношенные лапти.

— Ну вот, Федосьевна,— молвила старуха в котах, не замечая, что близехонько подле них стоит прохожий барин,— вот нам Господь Бог и весну дает. Эка теплынь, подумаешь!

— И, что ты, голубка! — отвечала старуха в лаптях.— Что даст Господь опосля великого поста, а теперь мы еще и блинков не ели, так до весны-то далеко. Да что твоя Настька, не вернулась?

— Нет еще, Федосьевна. О-хо-хо-хо, избаловалась она совсем! Вот и вчера, и третьего дня ходила, ходила, и в городе по рядам, и в Кремле по боярским домам, а что принесла? Две полушки, серебряную копеечку да полкалача!.. Ох, Федосьевна, обманывает она меня!

— И я то же мекаю, Кондратьевна. Да вот хоть нынче ночью мне не спалось,— слышу, она щелкает орехи. «Откуда это у тебя, Настька, орешки-то завелись, а?» — спросила я. «Добрые, дескать, люди подали». А я себе думаю: «Врешь, проклятая, купила!» Ну, где слыхано, чтоб милостыню подавали калеными орехами!

— То-то и есть, Федосьевна: приемыш все приемыш! А мало ли я с ней горя натерпелась! Вот ровно четырнадцать годков, как ее в Петров день подкинули; я взяла ее на свои руки, ноченьки целые не спала; выкормила рожком, сколько денег на молоко поистратила, а вот тебе и спасибо!..

Тут подошла к избе безобразная девчонка в лохмотьях, сверх которых висел у нее через плечо на мочальной веревочке сплетенный из лыка кошель.

— А, это ты, Настька! — сказала Кондратьевна.— Поди-ка сюда, поди!.. Да постой, постой! — продолжала она, схватив ее за руку.— Куда ты?

— В избу, бабушка, погреться,— отвечала девочка.— Я вовсе окоченела.

— Вишь, барыня какая,— окоченела!.. Мы и старухи, да в избе не сидим.

— Да полно, бабушка, отцепись,— пусти!..

— Погоди, голубушка, не замерзнешь. Ты мне скажи, где ты до этой поры таскалась?

— Мало ли где: в Чертолье была, у Арбатских ворот, здесь, по Знаменке, ходила...

— А много ли выходила?..

— Да что, бабушка,— видно, уж такой день выдался: никто не подает.

— Так ты ничего не принесла?

— Ломтика четыре хлебца.

— Только-то? А что я тебе говорила: как пойдешь по Знаменке, зайди неотменно на двор к боярыне Марфе Саввишне Загоскиной?

— Заходила, бабушка.

— Так тебе и там ничего не подали?

— Ничего.

— Врешь, врешь, негодная!.. Кто другой, а Марфа Саввишна всегда подает. Она — дай Бог ей много лет здравствовать! — нищую братию любит.

— Да у них, бабушка, в дому что-то нездорово.

— Нездорово?

— Видно, что так. Я сначала зашла с переднего крыльца, на крыльце стоит, пригорюнившись, дворецкий Сидор Иваныч. Бывало, он и сам всегда мне подаст, да еще по головке погладит, а тут как закричит: «Пошла, пошла,— не до тебя!» Вот я от него прочь да к девичьему крыльцу... постояла, постояла — никто нейдет. Думаю: взойду в девичью, мне не впервые. Взошла, гляжу — нянюшка Прокофьевна сидит да так и заливается слезами, на всех сенных девушках лица нет. Не дали мне словечка вымолвить: «Ступай, ступай! Бог подаст!..» — «Кормилицы,— сказала я,— доложите вашей барыне...» — «Куда докладывать! — молвила Прокофьевна.— До того ли ей теперь!» Да как вдруг завопит: «Ах ты, батюшка наш, Данила Никифорович, снял ты со всех с нас голову!» А ключница Матрена — такая злющая, завсегда лается, как вскинется на меня: «Убирайся, говорят, а не то я тебя голиком! Пошла, пошла!» Так по шеям меня и выгнала. Да пусти же меня, бабушка, в избу-то: я вовсе прозябла.

— Постой, постой! Дай-ка мне свой кошель.

— Да на что тебе? В нем, окромя хлеба, ничего нет.

— Добро, добро,— прошептала Кондратьевна,— я посмотрю... Ломоть, другой, третий... А это что? — вскричала она, вынимая из кошеля медовую сосульку и пряничного конька с золоченой гривою.— Это что?.. Ах ты, воровка-мошенница этакая!

Симский, который слышал весь разговор, не стал дожидаться конца этому розыскному делу. Ему было

вовсе не до того. Он любил своего дядю как отца родного, а если девочка говорила правду, так с Данилою Никифоровичем случилось какое-нибудь несчастие или он был при смерти болен. Несмотря на то, что на улице было еще очень тесно, Симский пустился бегом по Знаменке. Пробираясь между возов, он вышел кое-как на свободное место и с ужасною тоскою и замиранием сердца добежал наконец до обширного двора, посреди которого стояли длинные хоромы дяди его, заслуженного стольника Данилы Никифоровича Загоскина.

IV

Симский прошел всем двором, не встретив никого. В передней не было тоже ни души. Он вошел потихоньку в столовую; в этой комнате сидела под окном и горько плакала пожилая барыня, одетая по-домашнему: в штофной поношенной кофте и тафтяной юбке, которая была когда-то красного цвета. В то время давно уже вошли в употребление женские черевички, то есть башмаки; но эта барыня была обута, по старинному обычаю, в сафьянных сапожках, вышитых бисером. За поясом у нее висела связка ключей, а на голове надета была крутлая бархатная шапочка с меховым околышем.

— Ах, друг мой сердечный,— вскричала барыня,— Васенька!

— Здравствуйте, тетушка! — сказал Симский торопливо.— Что дядюшка?

Марфа Саввишна всплеснула руками, ухватилась за шею племянника и, опустив голову на его плечо, громко зарыдала.

— Ах, Боже мой, Боже мой! — проговорил Симский.— Да где же дядюшка?.. Покажите мне его.

— Пойдем, мой друг, пойдем,— сказала Марфа Саввишна, всхлипывая,— я тебе покажу его!.. Не узнаешь ты своего дядю! — продолжала она, заливаясь слезами.

«Господи! — подумал Симский, идя вслед за своею теткою,— так, видно, уж добрый мой дядюшка лежит в гробу?»

Пройдя несколько комнат, Марфа Саввишна отворила дверь небольшого покоя и промолвила едва слышным голосом:

— Ну вот, Василий Михайлович, гляди!

Симский, который воображал, что найдет в этой комнате своего дядю если не умершим, то, по крайней мере, при последнем издыхании, переступил с ужасом через порог, и вот что он увидел перед собою: старик лет шестидесяти пяти, но, по-видимому, довольно еще бодрый, сидел в креслах, обитых цветной камкою. Цирюльник, преважный немец с красной рожею и длинным носом, добривал бороду этому пожилому барину. Позади кресел стоял, как приговоренный к смерти, мрачный и угрюмый служитель с перекинутым через плечо белым полотенцем. Поодаль плакала втихомолку старая женщина, держа в руках серебряную лохань с рукомойником. На столе лежала полная пара немецкого платья и треугольная шляпа, а над ними висел на гвоздике огромный парик с длинными кудрями.

— Дядюшка! — проговорил с удивлением Симский.

— А, здравствуй, брат Василий! — вскричал Данила Никифорович. — Добро пожаловать!

— Так вы здоровы?

— Слава Богу.

— А я было как перепугался! Глядя на тетушку...

— Ты подумал, что мне уж отходную читают? Ну, что с ней будешь делать: ревет себе, да и только!

— Батюшка Данила Никифорович!..

— Что, матушка Марфа Саввишна, иль еще вдоволь не наплакалась?

— Да как мне не плакать? Ну посмотри на себя, на кого ты походишь?

— А что и в самом деле: чай, годков десять с плеч свалилось?.. Дайте-ка мне зеркальце!.. Ступай, любезный, — продолжал Данила Никифорович, обращаясь к цирюльнику, — скажи дворецкому, чтоб он тебе заплатил.

Цирюльник, как истый немец, вытер не торопясь свои бритвы, уложил их бережно в футляр, свернул бритвенный ремень и, поклонясь с той гордой важностью, которою вообще отличаются все немецкие ремесленники, вышел вон из комнаты.

— Ну что, Марфуша, — сказал Данила Никифорович, обтираясь мокрым полотенцем, — ведь этак-то гораздо лучше?

— Помилуй, батюшка, да что тут хорошего? А грех-то какой, грех!..

— И, полно, жена!.. Коли нет греха стричь волосы, так какой же грех обрить себе бороду?.. Ведь это все

едино. С нас будет и старых грехов, матушка, так новых-то выдумывать нечего.

— Мне, батюшка, где с тобою спорить: я баба глупая, а послушай-ка, что говорят умные люди.

— Умные люди! сиречь Максим Петрович Прокудин да Лаврентий Никитич Рокотов с братиею?..

— А что, разве они люди глупые?

— Нет, Марфа Саввишна, особенно Максим Петрович Прокудин крепко неглуп. Да ведь есть и старообрядцы люди очень умные, а заговори-ка с ними о православии, так они понесут такую околесную, что уши вянут.

— Вот вздумал с кем равнять своих приятелей!

— Да воля твоя, Марфа Саввишна, в чем другом, а в упрямстве они старообрядцам не уступят. Чай, по-ихнему без бороды и в рай не попадешь.

— А почем знать, батюшка? Что, если в самом деле...

— Слышишь, что тетка-то говорит? — прервал Данила Никифорович, улыбаясь. — Ну, племянник, худо нам с тобою будет!

— На него, сударь, не изволь ссылаться, — сказала с жаром Марфа Саввишна, — он человек служивый, хочет не хочет, а делай, что ему прикажут, этот грех не на нем. А тебя кто неволил? Ты ведь не служишь, живешь на покое, царского указа тебе не читали... Так из чего ж ты взял на душу этот грех? А коли, по-твоему, греха в этом нет, так ты бы хоть людей постыдился. Ну что ты теперь? На молодого парня не походишь, на старую бабу также, — ни дать ни взять немец-булочник, что нам хлебы ставит!.. Уж если ты не пожалел своих седых волос, так пожалел бы меня, старуху!.. Мне стыдно будет в люди показаться: все добрые люди станут на меня пальцами указывать. Ведь я, батюшка, жена твоя, твой стыд — мой стыд! И на что? и для чего?..

— Я уж тебе толковал для чего, да ты слушать меня не хочешь.

— Батюшка Данила Никифорович! не изволь на меня гневаться, может статься, я глупо скажу, а воля твоя: как ни толкуй, а по мне, что стриженая девка, что бритый мужик — все едино. Я уж не говорю о том, что скажет Лаврентий Никитич Рокотов: он теперь и знаться с тобой не захочет...

— Так что ж? Коли он любил не меня, а мою бороду, так Господь с ними!

— А что мне будет от Надежды Карповны, от Аполлинарии Степановны, от Нимфодоры Алексеевны?..

Батюшки мои!.. Да они меня со свету Божьего сживут, в гроб вгонят!.. «Что, дескать, Марфа Саввишна, ваш Данила Никифорович, говорят, бородку обрить изволил, немецкое платьице носит?.. Ну что, матушка, к лицу ли ему?» Господи, Господи! Как подумаю об этом, так у меня сердце и оторвется!..

— Ну что, Марфа Саввишна, никак опять собираешься плакать? Добро, добро, ступай-ка лучше да похлопочи, чтоб нашему дорогому гостю комнату приготовили. Ему после обеда не худо будет отдохнуть, чай, устал с дороги. Ступай, матушка!.. Ступай и ты, Еремей, я еще погожу одеваться. А ты, Прохоровна, оставь здесь рукомойник и лохань, а сама убирайся в девичью, да коли у тебя такая охота рюмить — так плачь там, будет с меня и жены... Поверишь ли, племянник,— продолжал Данила Никифорович, когда они остались одни,— замучили! Ревут да хнычут все утро, словно по покойнику.

— Зато я не плачу, дядюшка, а очень рад... нашего полку прибыло.

— Ну, брат Василий, не ждали мы тебя. Ведь и двух месяцев нет, как ты от нас уехал.

— Да, дядюшка, я и сам не чаял попасть так скоро опять в Москву. Теперь абшита[1] взять нельзя: наш полк выступил в поход.

— Куда?

— Покамест в Польшу. Князь Александр Данилович Меншиков оставил меня на время при себе. Недели две тому назад он послал меня с депешами в Смоленск и Калугу, дозволил завернуть на недельку в Москву, повидаться с родными, а там уж мне указано отправиться по прямому тракту к моей команде.

— Вот что!.. Ну, рад, мой друг, что мы с тобой хоть недельку поживем вместе. Вот уж масленица на дворе, блинков с нами поешь, повеселишься... А, да, кстати, о веселье: мне сказывали, что сегодня у твоего приятеля, Адама Фомича Гутфеля, будет вечеринка, по-вашему — ассамблея.

— В самом деле? — вскричал с радостию Симский.— Так уж позвольте мне, дядюшка, я сегодня к нему поеду.

— Ступай, мой друг! я затем и сказал тебе. Дело твое молодое, почему не повеселиться. Только знаешь ли что, племянник? В последний твой приезд ты не пропустил

[1] Отпуска (от *нем.* Abschied).

ни одной вечеринки; только, бывало, и слышишь: «Еду, дескать, к Адаму Фомичу на ассамблею». И теперь что-то не путем обрадовался. Уж не приглянулась ли тебе у Гутфеля какая-нибудь красоточка?.. Эге, брат! что ж ты этак покраснел?.. Неужели в самом деле?.. Мне сказывали, что у Гутфеля дочка такая пригожая... Послушай, племянник: я слышал от многих, что Адам Фомич старик добрый, богатый, знаю и то, что государь его жалует, а все-таки он купец и не нашей веры. Я человек не спесивый и немцев не чуждаюсь, а, не прогневайся, и я скажу: нашему брату, родовому дворянину, жениться на какой-нибудь купеческой дочке вовсе не приходится. Как бы муж ее ни любил, а все житье ей будет коротенькое: мужнина родня станет ее поедом есть, а посторонние будут смотреть на нее свысока, знаться с нею не захотят... Да еще и Гутфель-то захочет ли выдать свою дочь за русского: ведь они также крепко своей веры держатся.

— Помилуйте, дядюшка! да я и сам ни за что не женюсь на дочери Адама Фомича.

— А коли ты только так, ради одной потехи, хочешь бедную девку с ума свести, так это еще хуже. У нас на Руси за хлеб-соль и ласковый прием говорят спасибо, а ты хочешь... Эх, племянник, нехорошо!

— Да почему вы думаете?..

— Как не думать! Лишь только я об этом намекнул, так посмотри, как ты раскраснелся.

— Ну, дядюшка, делать нечего: я лучше отдамся вам на дискрецию[1] и всю правду скажу. Я точно повстречался у Гутфеля с одной девицею, которая зело мне по сердцу пришлась; но только эта девица русская и хорошего рода.

— Право? А кто ж она такая?

— Я видел ее три раза у Гутфеля; она приезжала к нему со своей теткой, Аграфеной Петровной Ханыковой.

— С Аграфеной Петровной Ханыковой, у которой муж на службе в Азове?

— Точно так, дядюшка.

— А племянницу-то как зовут, не Ольгой ли Дмитриевной?

— Да, Ольгой Дмитриевной.

[1] Милость (от *фр.* discrétion).

— Э, так это Запольская. Она так же, как ты, брат, круглая сирота: у нее нет ни отца, ни матери. Мы с ее родным дядею, Максимом Петровичем Прокудиным, старинные приятели.

— Ах, Боже мой!.. Да я у него вчера ночевал, и он еще велел вам кланяться. Да что ж это, дядюшка: коли вы с ними знакомы, так как же я ни разу их у вас не видал?

— Бабьи сплетни, братец! Жена моя стала выговаривать Аграфене Петровне, зачем она ездит в Немецкую слободу; та разгневалась, перестала к нам жаловать, а уж Марфа Саввишна сама ни за что на свете к ней не поедет.

— Ну что, дядюшка, не правда ли, что Ольга Дмитриевна...

— Да! Девица хорошая, умная и, говорят, очень благонравная. Ее осуждают, что она частенько по вечеринкам изволит ездить, и тетушку за это побранивают; а как их послушаешь, так они обе правы. Ольга Дмитриевна ездит з-тем, что это угодно тетушке, а Аграфена Петровна з-тем, чтоб племянницу повеселить,— так и выходит, что они обе ездят поневоле. Да пускай себе и по охоте,— беда небольшая. Пора нам перестать держать взаперти наших жен и дочерей; и добро бы еще это был коренной русский обычай, а то ведь нет: мы переняли его у татар.

— Так вы думаете, дядюшка...

— Да, брат Василий, да: она по всему тебе пара, и достаток есть.

— Так что ж, дядюшка?..

— Да вот изволишь видеть: Максим-то Петрович ей вместо отца родного, а он человек упрямый, держится старины и не очень жалует вашу братию — гвардейских офицеров.

— Помилуйте!.. Да он меня так обласкал, такую атенцию[1] во всем показывал...

— Это само по себе. Прокудин вовсе не походит на какого-нибудь Лаврентия Никитича Рокотова: тот не стал бы и говорить с тобою; а Максим Петрович мужик умный, большой хлебосол и всегда рад угостить проезжего человека, кто бы он ни был; но только вряд ли выдаст за тебя племянницу,— не то у него в голове. Он

---

[1] Внимание (от *фр.* attention).

часто мне говаривал: «Коли посватается за Оленьку человек добрый, степенный, хорошего рода, русский по имени, русский по обычаю,— так милости просим; а за какого-нибудь молодчика с бритой бородкою, который на немца смахивает, я ни за что ее не выдам». Да ты как вчера к нему попал?

— Вовсе нечаянно: меня загнала к нему метель.

— Ну что он с тобою поговорил?

— Да все смеялся над Петербургом.

— А ты?

— А я за него горой стоял...

— Ох, худо, брат!

— Потом начал позорить наш мундир, над немцами подшучивать.

— А ты?

— А я за них заступался.

— Ну, худо!.. Вот то-то и есть,— зачем ты с ним спорил?.. Молчал бы, да и только.

— Но разве я мог отгадать...

— Что Ольга Дмитриевна родная племянница Максиму Петровичу?.. Ну конечно, этого ты отгадать не мог. Да Максим-то Петрович тебе в дедушки годится, так пригоже ли тебе с ним заедаться? Я — дело другое: у нас с ним бой равный. А ты что перед ним?.. Молокосос. И что за беда старику уступить? Да пусть он себе говорит что хочет.

— Так поэтому, дядюшка, мне нечего и надеяться?

— Да, племянник, большой надежды нет... Впрочем, почем знать? Попытка не шутка, а спрос не беда. Я съезжу прежде поговорить с теткою, а там, пожалуй, и в деревню к Максиму Петровичу поеду, и если мы его уломаем, так теперь на слове положим, а там, как вернешься из похода, веселым пирком да за свадебку!.. Сегодня, может статься, ты опять увидишь ее у Гутфеля... Ведь вы, чай, там меж собой разговариваете?

— Как же, дядюшка, и танцуем и разговариваем.

— Так ты, братец, поразговорись с нею хорошенько, рассмотри ее порядком и себя ей покажи. Вот, подумаешь,— продолжал Данила Никифорович,— когда государь Петр Алексеевич изволил учредить эти ассамблеи и указал на них бывать и женам и дочерям боярским, так мало ли крику-то было: «Последние, дескать, времена наступили, антихрист воцарился! Уж коли православный государь заводит такие богопротивные сходбища, так чего ждать путного?» А прежние-то пирушки лучше,

что ли, были? Съедутся на вечеринку, начнется попойка; барынь и барышень нет, так стыдиться некого,— пей себе в мертвую чашу! А как нарежутся, так пойдут всякие непригожие речи, срамные холопские пляски, непотребные песни. То ли дело на этих ассамблеях. Как ты станешь бесчинствовать? Коли не постыдишься своей жены, так перед чужой будет совестно. Иной бы, пожалуй, хватил темную да вприсядку пошел, а тут нельзя! Выпьет стаканчик, другой — да и к сторонке. А это также разве безделица? Теперь ты приедешь на ассамблею, увидишь девицу, она тебе приглянется; ты с нею поговоришь, познакомишься и если задумаешь на ней жениться, так знаешь, на ком женишься; не то что прежде: бывало, ты свою невесту и в лицо никогда не видывал, а чтоб промолвить с нею словечко — да забудь об этом и думать! Под венцом она стоит в покрывале, кто ее знает,— может быть пригожа, а может статься, и рожа-то на стороне! Меня точно так же венчали... Да я-то еще слава Богу: моя Марфа Саввишна была красавица. Когда в опочивальне она встретила меня без покрывала да поклонилась в пояс, так у меня сердце запрыгало от радости! С другими не то бывало: иному сваха наговорит и Бог весть что: грудь лебединая, и брови собольи, и с поволокою глаза... а уж разумница-то какая! что слово скажет, то рублем подарит!.. А там, посмотришь, приедет от венца, заговоришь с нею — дура набитая, взглянешь на нее — батюшки, пугало огородное: рябая, кривая, носатая!.. Вот тебе и с поволокою глаза!.. Ну, пожалуй, после залучи к себе сваху, потешься, отломай ей бока, а что прибыли: жена не башмак, с ноги не сбросишь!..

— Так, дядюшка, так!.. Ассамблеи, а также и австерии поистине наиполезнейшие и зело премудрые учреждения. Ну, рассудите сами: какой я могу ожидать сатисфакции[1] от супружества с девицею, которую не только не знаю персонально, но и в глаза-то никогда не видывал? Ведь жена, как вы сами изволите говорить, не башмак, вы его не станете носить, коли он натирает вам мозоль, а с женою-то что будешь делать?..

— Да, любезный, какова попадется, а уж не прогневайся,— развенчивать не станут. Ну-ка,брат Василий,— продолжал Данила Никифорович, вставая,— пособи мне

[1] Удовольствия (от *фр.* satisfaction).

халат надеть, чай, пора обедать... Да вот, кажется, за нами пришли... Что ты, Фаддей, кушанье готово?

— Готово, батюшка,— сказал слуга с низким поклоном,— Марфа Саввишна изволит вас дожидаться.

— Пойдем, племянник, покушай на здоровье, а там приляг да сосни хорошенько. Ты с дороги-то ни на что не походишь; а ведь тебе, любезный,— промолвил Данила Никифорович, выходя вместе с Симским из комнаты,— следует явиться к Адаму Фомичу молодцом. Смотри, брат, чтоб все немки, глядя на тебя, разахались; только сам-то не больно за ними ухаживай,— помни, брат, охотничью пословицу: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь».

V

Симский отправился в шестом часу после обеда к Адаму Фомичу Гутфелю. Иноземный гость, амстердамский уроженец, Адам Фомич Гутфель жил на Кукуе, то есть в Немецкой слободе, против самой кирки, в собственном доме. Хотя этот длинный деревянный дом очень походил на обширные хоромы русского боярина, однако ж во многом напоминал родину своего хозяина. Особенно отличался он от других домов своими широкими равносторонними окнами, черепичной кровлею, подъездом с улицы и резными дубовыми дверьми с двумя огромными медными скобами, из которых одна, повешенная на петлях, заменяла колокольчик, то есть возвещала о приходе гостя, который мог постучать ею как молотком в приделанную к дверям медную бляху. Какой-то путешественник, говоря о голландцах, сказал, что они любят жить очень чисто и для того беспрестанно моют все на свете, исключая своих собственных рук. Не знаю, до какой степени справедливо это замечание, но во всяком случае Адам Фомич вполне оправдывал его собою. У него во всем доме не было ни пылинки: столы, стулья, поставцы — словом, вся домашняя утварь лоснилась и блестела, как будто бы ее сейчас привезли из лавки. Но зато он сам почти всегда ходил неряхою и его толстые красные руки вовсе не могли назваться опрятными даже и тогда, когда у него была ассамблея и он принимал гостей; но на этот раз Адам Фомич, видно, об этом позаботился. Его борода была выбрита гладко,

руки не запачканы, манжеты накрахмалены, и коричневый суконный кафтан с огромными пуговицами был почти так же чист, как цветной ковер, постланный в сенях и по всем ступенькам лестницы. Говоря о кафтане Адама Фомича, я упомянул только мимоходом о его огромных пуговицах, а они заслуживают особенного описания. Собственно сказать, это были не пуговицы, а весьма хитрой работы круглые медальоны с выпуклыми стеклами, под которыми очень искусно уложены были пестрые бабочки, красивые козявки, зеленые жучки и разные другие диковинные букашки: одним словом, это бортище пуговиц или, лучше сказать, этот голландский кунстштык[1] мог служить вывескою для знаменитой петербургской кунсткамеры. Отчего же Адам Фомич принарядился таким необычайным образом? Зачем стоял он в сенях у самого крыльца, несмотря на то, что на дворе было довольно холодно? Ради чего дородная его супруга, в пышном фуро из шелковой японской материи, вышла в переднюю комнату и держала в руках китайский лакированный поднос, на котором лежал хлеб, голландский сыр и стояла серебряная чарка с анисовой водкой?.. Читатель, может быть, позадумается, желая решить этот вопрос, но Симский, войдя в дом, сейчас догадался, что Адам Фомич ожидает к себе на ассамблею государя Петра Алексеевича. Вслед за Симским подъехал, в простых лубочных санях, царский комнатный писец Иван Антонович Черкасов[2]. Он вошел в сени и, обращаясь к хозяину дома, сказал:

— Государь мой Адам Фомич Гутфель! Его царское величество изволил прислать меня экскузоваться[3] перед вами. Сегодня он никоим родом не может у вас быть и ради того приказал мне: вместо себя, поклон вам отдать, поцеловать фрау Гутфель, выпить за ее здоровье кружку полпива и повеселиться на вашей ассамблее.

Проговорив эти слова, Черкасов чинно поклонился Адаму Фомичу, потом, чтоб исполнить в точности высочайшее повеление, облобызался с фрау Гутфель и пошел вместе с ними в приемную комнату. Эта приемная комната, лучшая во всем доме, была оклеена китайскими бумажными обоями, по углам стояли фарфоровые кув-

---

[1] Здесь: диковинка (от *нем.* Kunststück).

[2] Впоследствии барон и кабинет-министр государя Петра Алексеевича.

[3] Просить прощения (от *фр.* exuser).

шины с цветами, а в простенках висели овальные зеркала в золоченых узорчатых рамах. За этим покоем была обширная гостиная, которая в то же время служила и танцевальной залой. В третьей, и последней комнате, обитой голландскими кожаными обоями, стояли вдоль стен дубовые столы, на которых насыпаны были небольшими кучками амстердамский кнастер[1] и гамбургский вак-штап[2]. Тут же лежали глиняные голландские трубки, и сверх того на каждом столе поставлено было по нескольку оловянных кружек с полпивом; на одном только кружка была серебряная, и кругом, вместо простых деревянных стульев, стояли четыре стула и одно кресло, обитые пунцовым утрехтским бархатом. Разумеется, этот стол был приготовлен для государя и остался незанятым. Посреди комнаты, на круглом столе, разбросаны были немецкие газеты, которые в то время назывались по-русски *курантами*, а на особых столиках приготовлены были, для охотников, шахматные доски. Вообще, все комнаты освещались сальными свечами, а полы, исключая одной гостиной, усыпаны были мелким песком.

Войдя в гостиную, Симский увидел с первого взгляда, что в числе посетительниц ассамблеи не было Аграфены Петровны Ханыковой и ее племянницы. Почти все русские барыни сидели вместе, особнячком от немок, и резко отличались от них не только своим пышным нарядом, но и каким-то принужденным видом, чопорной осанкой и совершенной неподвижностью. Затянутые в длинные талии своих робронтов, они не смели пошевелиться и, казалось, приросли к стульям. Изредка только и разом все, как будто бы по команде, они поворачивали свои головки, чтоб взглянуть на входящих гостей. Потом те из них, которые были побойчее, перешептывались меж собою, а другие принимали снова свое неподвижное положение и продолжали молчать. Разумеется, в числе русских барынь не было старых женщин. На частные ассамблеи никто не был обязан ездить поневоле, следовательно, одни только *львицы* тогдашнего времени осмеливались так явно нарушать обычаи своих предков. Совсем не то происходило на немецкой стороне: там говорили довольно громко, смеялись, молодые вертлявые немочки задирали мужчин, разговаривали с ними;

---

[1] Трубочный табак средней нарезки (от *нем.* Knaster).
[2] Табак крупной нарезки (от *нем.* Wackstab).

пожилые голландки, из которых многие были в кофтах, вязали чулки, а даже одна старуха, теща Адама Фомича, преспокойно штопала бумажный полосатый колпак, вероятно, принадлежащий его тестю. Вот, наконец, вошел какой-то русский барин с молодой женою и двумя девицами; они показались Симскому гораздо развязнее и ловчее других — по крайней мере эти гости и говорили и двигались. Когда вслед за ними приехало еще несколько гостей, Адам Фомич, в сопровождении двух служанок, которые несли подносы, уставленные тарелками, начал потчевать дам всякими сластями, то есть цукатами, китайскими леденцами, марципанами и разными другими заморскими лакомствами. Симский, повертясь несколько времени в гостиной и не встречая никого из своих знакомых, прошел в угольную комнату. В ней находились одни только мужчины, и в том числе много русских, но они все без исключения были в немецких кафтанах. За одним столом сидел Черкасов и разговаривал с каким-то необычайно дородным барином, которому, вероятно, очень надоедал туго подтянутый галстук, потому что он вертел поминутно головою и даже запускал по временам за галстук пальцы, чтоб оттянуть и сделать хотя несколько просторнее этот проклятый немецкий ошейник, который мешал ему дышать свободно.

— Так, сударь Иван Антонович, правда, батюшка! — говорил он, повертывая головой.— Этот немецкий наряд, который я недавно еще ношу, истинно лучше нашего русского одеяния: и краса не та, и покою больше...

— Право? — прервал с насмешливой улыбкою Черкасов.— Так что ж вы, Андрей Алексеевич, беспрестанно вертитесь, как будто бы вам неловко?

— Привычка, Иван Антонович, привычка! Меня и маленького за это часто журили: все, бывало, верчу головою. А, смею вас спросить, по какой причине государь Петр Алексеевич не пожаловал сегодня к господину Гутфелю?

— Я думаю, для того, чтоб не соблазниться и не скушать чего-нибудь за ужином.

— Да разве его царское величество изволит недомогать?

— Нет, слава Богу, он здоров.

— Так почему ж ему не покушать? Гутфель кормит своих гостей хорошо.

— В том-то и дело, а государь уже четвертую неделю не изволит ничего кушать, кроме пустых щей, хлеба и гречневой каши.

— Что вы говорите?..

— Право так. Государь Петр Алексеевич хотел изведать на самом себе, достаточна ли для пропитания и полного продовольствия солдата отпускаемая для него казенная порция, и для этого в течение целого месяца решился питаться одним солдатским пайком.

— Скажите пожалуйста! Ах, Господи, да зачем же он изволит себя так изнурять? Приказал бы кому-нибудь из своих генералов...

— Нет, Андрей Алексеевич, у его царского величества обычай уж таков. «Изведаю, дескать, на себе самом, так это будет повернее». Ведь он же не послал в Голландию никого из своих генералов учиться корабельному художеству, а сам пошел в рабочие люди; зато уж его теперь никакой иноземный мастер не проведет; он тотчас ему скажет: «Врешь, немец! Я это дело не хуже твоего знаю».

— А что, осмелюсь вас спросить, господин фельдмаршал, Александр Данилович Меншиков, пожалует ли к нам в Москву?

— Не думаю,— отвечал сухо Черкасов, закуривая свою трубку.

— Жаль, очень жаль!

— А почему вы так об этом жалеете?— спросил Черкасов, глядя пристально на толстого барина.

— Да как же, Иван Антонович, я еще ни разу не удостоился его видеть и, признательно вам доложу, желал бы очень взглянуть на толь великого мужа.

Черкасов нахмурился.

— Да, сударь,— продолжал толстый барин,— дорого бы я дал, чтоб посмотреть на сего знаменитого полководца и верного слугу царского, который в столь короткое время...

— Попал в фельдмаршалы,— прервал Черкасов.— Ну, что ж тут диковинного? Государь волен жаловать кого хочет.

— Конечно, конечно! Да ведь жалует-то за дела...

— Неравны дела, Андрей Алексеевич: за иное дело как не пожаловать, а есть и такие дела, за которые следует по законам, несмотря на лицо, не токмо сослать в каторжную работу, но даже и весьма живота лишить.

— Неоспоримо есть, да ведь таковые люди достойное по своим делам и приемлют, а я говорю вам об Александре Даниловиче Меншикове.

— И я вам о нем же говорю.

— Как-с? — прошептал с ужасом толстый барин.

— Да так! Сегодня фельдмаршал, а завтра капрал.

— Кто-с?..

— Да тот, кто государя обманывает... Да что об этом говорить: коли Господь до времени терпит и царь покамест милует, так не наше дело!.. Только, право, не мешало бы господину фельдмаршалу почаще вспоминать пословицу: «Повадился кувшин по воду ходить...»

Андрей Алексеевич, который до того по милости своего галстука был ярко-пунцового цвета, вдруг побелел как мука; он робко посмотрел кругом, хотел что-то вымолвить, поперхнулся, начал кашлять и, не говоря ни слова, встал со своего места, а Черкасов взял со стола гамбургские газеты и принялся их читать. Меж тем Андрей Алексеевич подошел к двум господам, которые играли в шахматы; один из них, замечательный по своей необычайной худобе и быстрым лукавым глазам, играл, по-видимому, гораздо бойчее своего соперника, человека пожилых лет, в огромном парике с длинными кудрями и немецком светло-голубом кафтане.

— Шах и мат! — возгласил торжественно первый игрок, подвигая вперед пешку.

— Позвольте, позвольте!.. — прервал господин в голубом кафтане.

— Не беспокойтесь, Аркадий Тимофеевич: шах или мат! Хоть до завтрева думайте, вам ходу нет. Здесь конь, а там визирь... Ну, куда вы ступите?

— Ах, какая досада! Так вы мне делаете шах и мат пешкою?

— Да, не прогневайтесь, иногда простая пешка задаст такого шаху, что и визирь не очнется.

— Истинно так! — сказал толстый барин вполголоса. — Неравна пешка: вот хоть этот кабинетский писец Черкасов... Ну что такое писец?.. Не велика птица...

— Да ноготок востер! — молвил господин в голубом кафтане.

— Подлинно востер! Кабы вы послушали, что он сейчас со мною говорил...

— А что такое, батюшка Андрей Алексеевич? — спросил с любопытством худощавый барин.

— И теперь очнуться не могу!.. Как он изволил позорить... да ведь вслух!..

— Позорить? Кого?

— Страшно вымолвить!.. Александра Даниловича Меншикова!..

— О, Господи! — воскликнул с ужасом худощавый барин. — И он это говорил с вами?..

— Я, батюшка, сейчас ушел... видит Бог — ушел!.. Слушать не стал!..

— Смотри пожалуй! Эка дерзость, подумаешь!.. Ну вот, сведи знакомство с таким человеком — беда!.. Пропадешь ни за денежку!.. И добро бы еще особа какая!.. Дело другое князь Яков Федорович Долгорукий, князь Ромодановский... Шереметев... а то писец... мальчишка... слеток этакий!.. Да что он, о двух головах, что ль?..

— И одна, да, видно, хороша! — прервал господин в голубом кафтане. — Недаром он в такой милости у государя.

— Право?..

— А как же? Да смел ли бы он этак поговаривать... помилуйте!.. Мне сказывал Бартенев, сослуживец Черкасова, что он и в глаза-то Меншикову Бог знает что говорит. Вам, я думаю, известно, что Александр Данилович человек надменный?..

— Как же, батюшка... вельможа!

— Вот однажды он обошелся грубенько с Черкасовым, а тот ему при свидетелях напрямик сказал, что если бы о всех делах его узнал государь, так перестал бы он кичиться своей знатностью и презирать честных людей.

— И Меншиков это вытерпел?..

— Где вытерпеть!.. Разгневался, поехал жаловаться государю.

— Что ж было с Черкасовым?

— Да ничего.

— Скажите пожалуйста!.. Ну, я думаю, Александр Данилович не очень его долюбливает?

— Вероятно, только он держит это про себя. Мне рассказывал Крекшин, что однажды государь сильно изволил разгневаться на Меншикова и позвал его к себе в кабинет. Что там было, никто не видел, а слышать слышали. Меншиков, который подозревал в этом деле Черкасова, вышел из кабинета растрепанный, стал оправляться... вдруг — пырь ему в глаза Черкасов. Что ж вы думаете?.. Чай, Александр Данилович, сгоряча, взглянул на него зверем, ругнул?.. Ничуть не бывало, он пожал ему руку и сказал очень ласково: «Все ли вы, друг мой, в добром здоровье?»

— Ну!.. Так, видно, государь очень его жалует.

— Да так-то жалует, что я не подивлюсь, коли Иван Антонович махнет прямо из кабинетных писцов в кабинет-министры.

— Что вы говорите!..

— Право так.

— В кабинет-министры!.. Вот подлинно, кому какая судьба!.. А знаете ли что? — продолжал худощавый господин, обращаясь к толстому барину.— Мы с Иваном Антоновичем в свойстве: моя внучатная тетка была за его двоюродным... да еще, полно, не за родным ли дядею; а ведь стыдно сказать: мы с ним не знакомы... Все как-то не случалось: он в Санкт-Петербурге, я в Москве; он приедет в Москву, я в деревне... Ну, словно в гулючки играем!.. И жена мне сколько раз говорила:«Что это, батюшка, ты не познакомишься с Иваном Антонычем? Ведь мы с ним свои...» Послушайте, Андрей Алексеевич, благо случай вышел, сведите нас теперь.

— С моим удовольствием.

— Скажите ему просто: вот, дескать, Ардалион Михайлович Обиняков, племянник вашей тетушки, Ирины Савельевны Таракановой...

— Хорошо... пойдемте же...

— Постойте, постойте!.. Мне кажется... ну, так и есть: он изволит читать куранты, так мы ему помешаем... лучше после.

— Как вам угодно.

Меж тем Симский, выкурив трубку табаку, пошел опять в гостиную; в одно время с ним вошли в эту комнату, только с противоположной стороны, две новые гостьи: одна из них женщина лет под тридцать, довольно приятной наружности, другая в самом цвете молодости, то есть лет семнадцати, высокого роста, с темными голубыми глазами и очаровательным лицом, белым как снег и румяным как весенняя заря, одним словом прелесть собою. Адам Фомич и его супруга встретили их с приметным удовольствием. И надобно сказать правду — эти новые гости вовсе не походили на прежних. Вместо того чтоб поклониться слегка хозяйке и ее дочери, они просто расцеловались с ними. Разумеется, такое свободное обхождение показалось для многих совершенно неприличным. Чопорные русские дамы стали поглядывать друг на друга, ухмыляться, началась общая шепотня, и насмешки градом посыпались на этих новоприезжих барынь.

— Посмотрите, Матрена Дмитриевна,— шепнула одна толстая краснощекая госпожа, толкнув локтем свою соседку, молодую женщину, которая была бы очень недурна собою, если б ее лицо поменьше лоснилось от белил и огромные брови дутою были насурьмлены немного поискуснее,— посмотрите, Бога ради, ну на что это походит?.. Кто говорит, почему не приехать на ассамблею к какой-нибудь немецкой купчихе... Да надобно, чтоб она знала себя и разумела других, а обходиться с ней как с своей сестрой дворянкой... помилуйте!..

— Конечно, конечно!.. Ведь, пожалуй, эта немка сдуру подумает, что она и в самом деле нам ровня.

— Вон, к ним идет Адам Фомич... Господи, того и гляди, что они бросятся к нему на шею!

— Ах, что вы говорите, Ирина Никитична! — прервала Матрена Дмитриевна, закрываясь своим опахалом.— Как это вам не стыдно?

— Да от этой Ханыковой все станется!.. А племянница-то ее, Запольская... ах, какая бесстыдница!.. Посмотрите: расхаживает, улыбается, говорит... ну, точно у себя дома, девчонка этакая!..

— Вся в тетушку!.. Да куда это она кинулась?.. Ирина Никитична, посмотрите: сама подошла к этой старухе... вон что в углу-то колпак штопает... Матушки, матушки!.. Слышите ли? Ведь она говорит с нею по-немецки!

— Неужели?

— Видит Бог, так!..

— Скажите пожалуйста!.. Что ж, это для того, чтоб почваниться перед нами.

— Известное дело!

— Видишь какая!.. Вот бы ей кстати выйти замуж за какого-нибудь немца-булочника.

— А что вы думаете... я не поручусь!.. Уж коли она выучилась говорить по-немецкому, так почему ж и веру не переменить и замуж не выйти за немца?

— Конечно, конечно!.. Посмотрите, Матрена Дмитриевна, что это за молодец к ней подлетел?.. Кажется, гвардейский офицерик?

— А, знаю, знаю!.. Он давно уже за нею ухаживает... Фу, какой шаркун!.. Так и рассыпается!

— Да кто он такой?

— Мне сказывали, какой-то Симский... Что это он ей напевает?.. А, видно, что-нибудь такое... глядите, как она вспыхнула!

— Ну, это еще хорошо, Ирина Никитична, видно, совесть есть.

— Какая совесть!.. Вон видите: она прямехонько смотрит ему в глаза, говорит с ним... смеется... Фу, срам какой!

— От нее чего ждать, Ирина Никитична, девчонка глупая, да тетке-то как не стыдно, чего она смотрит?

— Помилуйте, до того ли ей!.. Поглядите, как ее облепили и немцы и русские!.. А она-то, матушка моя, так и коверкается, то с тем, то с другим!.. Ну, нечего сказать, хороша барыня!..

— И, Матрена Дмитриевна! муж в Азове, унять некому, так что ей, гуляй себе, да и только!

— А вот начинаются и танцы... Что вы, Ирина Никитична, минавею пойдете?

— Может быть.

— А если вас станут подымать на кондратанец[1]?

— Нет, Матрена Дмитриевна, покорнейше благодарю!.. В прошлый раз достался мне какой-то долгоногий немец, да прыгун какой... замучил, проклятый!.. Ни за что не пойду!

Через несколько минут во всю длину гостиной выстроились в два ряда все танцующие пары, кавалеры против дам. Две скрипки и одна флейта затянули что-то похожее на протяжную немецкую песню, и бал открылся неизбежным *церемонным* менуэтом, который впоследствии заменился крутлым, а потом уже теперешним длинным польским. Этот церемонный танец, в котором дамы беспрестанно приседали, а кавалеры поминутно кланялись, продолжался довольно долго. Разумеется, Симский танцевал с Запольской и, надобно сказать правду, весьма неудачно. Вместо того чтоб заниматься своим делом, он не спускал глаз с Ольги Дмитриевны, подымал правую руку вместо левой и почти всегда кланялся невпопад. В числе зрителей, которые сошлись со всех сторон посмотреть на танцы, находился также Ардалион Михайлович Обиняков, этот худощавый шахматный игрок, который успел уже познакомиться с Черкасовым. По-видимому, этот господин не обращал ни на кого особенного внимания, а меж тем исподтишка посматривал беспрестанно на Симского и его танцовщицу; при каждой новой ошибке Симского он улыбался с таким

[1] Кадриль (от *фр.* contredanse)

лукавством и так выразительно, что, казалось, хотел сказать: «А, голубчик! знаем мы, отчего ты ошибаешься!» Вот под конец и Ольга Дмитриевна стала ошибаться, сбилась с кадансу [1], потом забыла присесть и, вместо двух рук, подняла одну. Вертлявые глаза худощавого барина заблистали радостью; в них можно было прочесть, что в эту минуту он говорит про себя: «Ага, красавица, попалась... Подметил я тебя! Что, сударыня, видно, и тебе также не до танцев!»

Менуэт кончился; кавалеры раскланялись, то есть поклонились в сотый раз своим дамам; дамы также присели, разошлись, и посреди гостиной осталась одна только пара: хозяйская дочь и аптекарь Франц Карлович Цвибах, рыжий, худощавый немец высокого роста, с длинным бледным лицом, украшенным бесчисленным множеством веснушек, и со светло-серыми глазами, в которых выражалась если не спесь, то, по крайней мере, глубокое сознание собственного своего достоинства. Господин Цвибах был уже человек пожилой, но танцовщик неутомимый и совершенный мастер своего дела. Музыканты заиграли альманд, и эта образцовая пара пустилась в ход и начала выделывать необычайные штуки. Франц Карлович превзошел самого себя: он вывертывал таким неестественным образом руки своей танцовщицы, так хитро переплетал их со своими, делал такие чудные выверты и обороты, что нельзя было довольно надивиться его искусству; то, поднявшись на цыпочки, он изгибался, как змей, над своей дамою и заставлял ее кружиться у себя под плечом, то сам подвертывался к ней под руку, и все это не как-нибудь, а чисто, отчетливо, не отставая от музыки и не выпуская ни на минуту из рук своей танцовщицы, которая также с необычайной ловкостью выполняла все эти танцевальные кунштыки [2] и не сбивалась с каданса даже тогда, когда руки ее были совершенно выворочены. Все зрители, не исключая дам, встали со своих мест и, чтоб видеть поближе танцующих, обступили их со всех сторон. Одна только Ольга Дмитриевна, стоя позади толпы, не обращала на них никакого внимания; с нею разговаривал Симский.

— Да, Ольга Дмитриевна,— говорил он,— я привез вам весточку от дядюшки вашего, Максима Петровича; он, благодаря Богу, здоров.

---

[1] Ритма, такта (от *фр.* cadence).
[2] Здесь: танцевальные па (от *нем.* Kunststück).

— Когда ж вы у него были? — спросила Запольская.

— Вчера проездом. Он, по милости своей, укрыл меня от непогоды и оставил ночевать.

— Вчера!.. Так вы приехали сегодня?

— Сегодня поутру и, признательно вам скажу, зело утомлен моим вояжем; но, несмотря на фатигу [1], которую чувствую с дороги, не хотел пропустить сегодняшней ассамблеи, в том чаянии, что, может быть, увижу здесь персону, которую я желал бы видеть не только вседневно, но даже всечасно.

— Что ж, эта персона здесь?

— О, всеконечно здесь! — подхватил Симский.— Иначе я не остался бы ни минуты.

— Почему же? Разве вам здесь не весело? Вы, кажется, любите танцевать.

— Только не со всеми, Ольга Дмитриевна.

— А с этой персоной? — спросила, улыбаясь, Запольская.

— О, это для меня такая великая сатисфакция,— отвечал Симский, не смея взглянуть на Ольгу Дмитриевну,— что когда я нахожусь вместе с сей персоной на ассамблее, то уж никак не могу резолвоваться [2] поднять другую даму.

— Так как же вы со мной танцевали? — спросила с самым простодушным видом Ольга Дмитриевна.

Этот весьма естественный вопрос до того смутил Симского, что он совершенно растерялся. Вместо того чтобы отвечать что-нибудь Ольге Дмитриевне, он начал рассматривать огромный эстамп, который висел на стене, и проговорил, заикаясь:

— Ах, какой прекрасный купфер-штык [3]!.. Мне кажется, это изображение полтавской виктории... Не правда ли, Ольга Дмитриевна?..

— Право, не знаю,— отвечала Запольская с приметным замешательством.

Симский покраснел; глядя на него, Ольга Дмитриевна также вспыхнула, и они оба замолчали.

Не смейтесь над моим Симским, любезные читательницы: ведь то, что я вам рассказываю, происходило в 1711 году, то есть без малого полтораста лет тому назад; тогда наши молодые люди, не исключая и гвар-

---

[1] Усталость (от *фр.* fatigue).
[2] Решиться (от *нем.* resolvieren).
[3] Гравюра на меди (от *нем.* Kupferstik)

дейских офицеров, вовсе не умели изъясняться в любви и только осмеливались иногда намекать об этом обиняками, сторонкою, да и то с большой осторожностию. Чтоб отвечать на вопрос Ольги Дмитриевны, Симскому надобно было признаться, что она-то именно и есть та самая персона, для которой он приехал на ассамблею, то есть, другими словами, что он ее любит и желает быть ее мужем, а это было бы неслыханным нарушением всех приличий. В старину и круглый сирота не мог предлагать своей руки иначе, как через посредников, а человек с родством, дозволивший себе такое бесчинство, восстановил бы против себя не только всех родных и двоюродных дядей и тетушек, но даже и всех замужних сестриц до седьмого колена. Я уж не говорю о самой девице, которая, вероятно, сгорела бы от стыда и почла бы себя очень обиженной, если бы молодой человек сказал ей прямо в глаза, что хочет на ней жениться.

Вот наконец альманд кончился, и так благополучно, что не было никакой надобности посылать за костоправом. Вся толпа рассеялась, и к Симскому подошла Аграфена Петровна Ханыкова.

— Что я вижу? — вскричала она.— Это вы, Василий Михайлович?.. Опять в Москве?

— Знаете ли, тетушка,— прервала Ольга Дмитриевна,— Василий Михайлович был вчера у дядюшки Максима Петровича.

— У братца! — проговорила с приметным беспокойством Ханыкова,— Что ж, вы ему сказали, что познакомились со мною на ассамблее у Гутфеля?

— О нет! Я только сегодня узнал, что Максим Петрович вам родня.

— Вот что!.. Вы не слышали от него, собирается он в Москву или нет?

— Максим Петрович не изволил ничего об этом говорить, он все расспрашивал меня о Санкт-Петербурге...

— И, верно, очень с вами спорил?

— Да, у нас были небольшие диспуты. Кажется, ваш братец не очень жалует Санкт-Петербург?

— Ох, уж не говорите!.. Батюшка братец человек очень умный и почтенный, но такой старовер, что не приведи Господи!.. Вы долго у нас пробудете?

— Не больше одной недели.

— Только-то!.. Хорошо еще, что вы приехали к масленице, по крайней мере повеселитесь, покатаетесь... время будет прекрасное.

— А почему вы изволите думать, что погода будет хороша?

— Это напечатано в календаре, в прогностике[1] двенадцати месяцев.

— Прошу экскузовать меня! Не очень я верю сему прогностику, государыня моя!.. В этом же календаре напечатано, что в нынешнем месяце конъюкции[2] планет показывают добрую гармонию между всеми потентатами, однако ж войска наши находятся в походе, и, вероятно, несмотря на сию конъюкцию, мы побываем в гостях у турского салтана.

— Что вы говорите!.. Война с турком? А мой Степан Герасимович в Азове... Господи Боже мой!..

— Да вы не извольте предаваться напрасной турбации,— прервал Симский,— Азов нечто другое: ведь это зело крепкая фортеция, его взять не легко. И я мыслю так, что скорее мы будем в Царьграде, чем турки в Азове. Будьте благонадежны, Аграфена Петровна, этот прогностик повернее того, который напечатан в календаре.

— Ах, дай-то Господи!.. А, вот опять музыка заиграла?.. Кажется, кондратанец?

Тут подвернулся к Аграфене Петровне неутомимый Франц Карлович Цвибах и в самых отборных выражениях пригласил ее стать вместе с ним в первую пару. Один русский щеголь в бархатном кафтане разлетелся было к Ольге Дмитриевне, но Симский предупредил его и стал с нею во вторую пару.

— Опять вместе!— прошептал Ардалион Михайлович Обиняков, глядя на Ольгу Дмитриевну и Симского.— Уж, видно, у них все дело слажено... Вон и тетушка пошла выплясывать с аптекарем!.. Да она-то, голубушка, из чего бьется?.. Ведь от живого мужа нельзя выйти замуж и за немца... Ну,— промолвил Обиняков, потирая руки,— будет мне что порассказать Лаврентию Никитичу.

После этого танца Аграфена Петровна, у которой разболелась голова, отправилась домой вместе со своей племянницей, а вслед за ними уехал и Симский. Это последнее обстоятельство не укрылось также от бдительных взоров Ардалиона Михайловича, который, впрочем, остался до самого конца ассамблеи ради того, что у Адама Фомича Гутфеля эти вечеринки оканчивались всегда сытным и хорошим ужином.

---

[1] Прогнозе (от *греч.* prognóstikè).
[2] Сочстание (от *фр.* confonction).

VI

В Земляном городе, между Тверской улицей и Никитскою, в самом *тупике*, то есть в конце глухого переулка, стоял высокий брусяной дом с теремом и *рундуком*, или, по-нынешнему, террасой, над которой подымалась остроконечная кровля, подпертая двумя выделанными из толстых бревен огромными балясинами. Этот дом, принадлежащий думному дворянину Лаврентию Никитичу Рокотову, стоял посреди обширного двора, или, вернее сказать, огороженного поля, на котором во всяком немецком городе поместилось бы по крайней мере две площади, а при нужде и несколько улиц с переулками. Чтоб добраться обыкновенным ходом до хозяина дома, надобно было непременно пройти через запачканную переднюю, в которой оборванные холопы днем сидели на лавках, а ночью спали где ни попало: одни на конике, а другие вповалку на грязном полу. По праву рассказчика я могу вас избавить от этого, любезные читатели, и попрошу вас перенестись вместе со мною прямо в гостиную. Эту комнату можно было бы назвать, сравнительно с другими, довольно опрятной, если б в ней, хотя изредка, промывали стекла в окнах и хотя раз в году обметали по углам паутину, которая со дня кончины супруги Лаврентия Никитича, то есть ровно три года сряду, оставалась неприкосновенной. Хозяин дома, Лаврентий Никитич Рокотов, бодрый старик лет шестидесяти, среднего роста, дородный, с длинной бородой, крутым широким лбом, навислыми бровями и угрюмым лицом, сидел за сытным завтраком, на котором не было ни гданской водки, ни сыру, ни голландских сельдей, ни немецких колбас, а была просто добрая настойка, жирный пирог с визигой, вяленая астраханская шемая, икра, балык и целые пирамиды разнородных блинов. С ним сидел Ардалион Михайлович Обиняков, тот самый худощавый барин, который на ассамблее Адама Фомича Гутфеля подсматривал исподтишка за Симским и Ольгой Дмитриевной.

— Ну что, Ардалион Михайлович,— сказал хозяин,— ведь пирог-то на славу испечен.

— Да, Лаврентий Никитич, пирог диковинный!

— Не прикажешь ли еще?

— Всенижайше благодарю!

— Так милости просим блинков!.. Ну что, каковы?

— У, батюшки!.. Что это... так во рту и тают!

— Право?.. Да, подлинно хороши!.. Ай да Аксинья! Истинно скажу, такой отличной стряпухи во всей Москве не найдешь... Изволь-ка вот этих, с припекою... Ну, что?

— Преизрядные!..

— В самом деле? Пожалуй-ка сюда... Да, недурны, а все не то, что мои любимые... Вот откушай-ка этих, со снетками.

— Еще лучше!.. Пухлые, поджаристые!.. Вот это блины!.. Страшно есть, Лаврентий Никитич, того и гляди язык проглотишь!

— Не бойся, любезный, не проглотишь. Кушай на здоровье, кушай!.. И я тебе помогу... Да что ж ты, Ардалион Михайлович, с одним блином не сладишь?.. Эх, брат, с тех пор, как ты нарядился немцем, так и кушать-то стал по-немецки.

— Вы все еще, батюшка, изволите меня упрекать, зачем я по-немецки одеваюсь... Да помилуйте, Лаврентий Никитич! Уж я вам докладывал: что ж мне было делать? Неволя скачет, неволя плачет, неволя песенки поет. Я человек служебный, состою под властию, а, вы знаете, всем магистратским указано ходить в немецких платьях. Вот товарищ мой, Степан Иванович Спешнев, стал было отнекиваться, так его тот же час на порог да в шею.

— Так что ж?.. Не служи!..

— Не служи! Вам хорошо, батюшка, вы проживете и отцовским благословением. Ведь покойник-то счету не знал своим отчинам, а я человек бедный... жена, дети...

— Нет, любезный, я на твоем месте лучше бы с сумою пошел, стал бы питаться христовым именем... Ну, да и то сказать, человек на человека не приходит... Э, да что ж ты, любезный, перестал кушать?

— Нижайше благодарю, Лаврентий Никитич, будет!

— Так-то?.. Что ж это, первый блин да комом?

— Какой первый — помилуйте! Вот уж за полдюжину перешло.

— Эка важность!.. Кушай, любезный, кушай!

— Никоим родом не могу, Лаврентий Никитич, душа не принимает.

— Вот то-то и есть, братец, набаловался ты у этих немцев, ведь они, чай, гостей-то своих счетным зерном кормят. Вот, примером, вчера на бесовском сходбище, у этого собачьего сына, Гутфеля, уж верно также для гостей ужин был; чай, по ломтику протухлого сыра да

по селедке на брата — кушай на здоровье! А что, Ардалион Михайлович, как ты свой ломтик сыру скушал, так другого и не попросил?

— Кто? Я-с? Помилуйте, стану я эту немецкую дрянь есть! Я и на вечеринке-то у него был ради того только, чтоб пересказать вам...

— Да, да!.. Ну, что эта дура, Ханыкова, была там со своей племянницей?

— Была, Лаврентий Никитич.

— Срамница!.. Что ж, они плясали?

— Плясали, да еще как, батюшка: всех немок за пояс заткнули!

— Бесстыдницы этакие!

— Лишь только вошли, вся молодежь так к ним гурьбой и бросилась — и немцы и русские; а они с ними и пошли тара-бара,— и так и этак, и по-немецки...

— Как! Неужели по-немецки?

— Да, сударь! Я сам слышал.

— Вот до чего дошли!

— А пуще племянница — так и режет!

— Ну, пора дяде приехать!.. Я к нему писал. С сестрой Максиму Петровичу делать нечего — она отрезанный ломоть, а племянницу прибрать к рукам не мешает, ведь он ей вместо отца родного... Что, чай, молодежь-то около них очень увивалась?

— Да, сударь. За Аграфеной Петровною Ханыковой сильно ухаживал какой-то аптекарь, немец, а за Ольгой Дмитриевной Запольской вот этот офицерик, что месяца два тому назад...

— Так он опять сюда приехал?

— Видно, что так. Они все вместе изволили выплясывать. Сначала пошли минавею... Уж было чего посмотреть — смех, да и только!

— А что?

— Да как ж батюшка, чем бы им думать о своей пляске, а они друг на друга смотрят. Надо поклониться направо, а они кланяются налево. Она то вспыхнет, то побледнеет, а он, пострел этакий, глядит на нее, да так глазами и ест!

— Экий срам, экий срам!

— А там, как Аграфена Петровна собралась домой, так и он за ними следом, словно в одной колымаге приехали.

— Узнал ли ты, как зовут этого подлипалу?

— Спрашивал, сударь; говорят, какой-то... ну вот и позабыл! Помню только, что роду хорошего.

— Да ведь нынче не узнаешь, любезный. Ты отпустишь холопа на волю, а он твоим прозвищем станет называться. Теперь это нипочем,— как себе хочешь, так и прозывайся, истинно вавилонское столпотворение — смешение языков!

— Да, сударь, да, все перековеркано, Лаврентий Никитич,— продолжал Обиняков, смотря в окно,— к вам еще гость приехал... кажись, Герасим Николаевич Шетнев.

— Да, точно, это он... Эй, Ванька, вели подать свежих блинов!.. Я не ждал его сегодня... Видно, есть что-нибудь новенькое...

— Опять какая-нибудь немецкая выдумка, батюшка.

— А вот посмотрим.

В комнату вошел барин лет пятидесяти, в шелковой ферязи, из-за которой подымался вышитый золотом высокий козырь, то есть стоячий воротник кафтана, также шелкового. Герасим Николаевич Шетнев принадлежал к числу *недовольных* тогдашнего времени; он был человек не глупый, большой краснобай и отъявленный ненавистник всяких нововведений и перемен, сближающих православную Русь с этим окаянным Западом. Шетнев называл все эти преобразования немецким духом, и никто лучше его не доказывал, что этот немецкий дух есть дух антихристов. Он не сказал бы Петру Алексеевичу, как известный Кикин: «Ты говоришь, государь, что я умен да за то-то я тебя и не люблю: ум любит простор, а при тебе ему тесно». Нет! Шетнев любил, по его словам, резать правду, да только втихомолку, в круту искренних своих друзей; но зато уж когда он сидел с ними в огромном покое с запертыми дверьми, за версту от передней, то надобно было его послушать. О, как доставалось тогда всем: и ближним боярам, и немецким генералам, и этим выскочкам-временщикам, и самому старшому, которого, впрочем, он в этих случаях никогда не называл по имени.

— Милости просим, Герасим Николаевич! — сказал хозяин, идя навстречу к своему гостю.— Не ждал я тебя сегодня поутру.

— Здравствуйте, Лаврентий Никитич, здравствуйте! — промолвил Шетнев, садясь.— Фу, батюшки, устал!

— Устал? Отчего?

— Как отчего? Уж я сегодня ездил, ездил!.. Сейчас был на Крутицах у Ивана Ильича Чуфаровского. Я застал у него всех наших: князя Андрея Юрьевича Шеле-

шпанского, Абрама Васильевича Воропанова, князя Алексея Трофимовича Хворостинина, Софрона Саввича Возницына, Петрушку Сорокоумова... Поговорили, потолковали... Что, брат Лаврентий Никитич, час от часу не легче!

— А что?

— Да вот что: ты знаешь, что годов шесть тому назад наш батюшка — дай Бог ему доброго здоровья! — изволил обложить податью все дворянские бороды?

— Как не знать! Ведь и с меня, старика, берут по шестидесяти рублей в год за то, что я, православный, не хочу на поганого немца походить... Нечего сказать, дай, Господи, ему доброго здоровья!

— А вот Софрон Саввич Возницын говорит, что слышал от верных людей, будто б вместо шестидесяти станут брать с каждой бороды по сто рублей.

— Ну, это еще что! То не беда, коли на деньгу пошла: пожалуй, бери себе!..

— Бери себе! Хорошо, кому вмоготу; а вот Петруша Сорокоумов так и завыл.

— Скажи ему от меня: не горюй, дескать, не без добрых людей — помогут!

— И князь Шелешпанский больно переполошился.

— Князь Шелешпанский? Да он богаче меня.

— Богат, да не тороват. Ну, вот припомни мое слово: коли Возницын сказал правду, так этот скряга отмахнет себе бороду.

— Нет, любезный, хоть двести рублей наложи, так он и тогда сберет с крестьян рубликов триста прибавочного оброка, двести отдаст в казну, сто положит себе в карман, а уж бороды ни за что не обреет, — не такой человек. Я сегодня звал его к себе на блины... Что, он будет или нет?

— Будет. Он хотел было ехать вместе со мною, да Чуфаровский также масленицу справляет, а ты знаешь князя: как он наляжет на блины, так ты с ним что хочешь, хоть в дубье прими, — ни за что не отстанет.

— Да, русский человек, — любит покушать.

— Я ему говорю: «Полно, князь Андрей, что ты на блины-то навалился!» А он и ухом не ведет. «Пойдем, говорю, князь, пора!» А он молчит да убирает за обе щеки. Ну, нечего сказать, здоров есть! Как я стал прощаться с хозяином, так он между двух блинов пробормотал мне вдогонку: «Скажи, дескать, Лаврентию Никитичу, что я безотменно буду...» Ах, батюшки! Эка

память, подумаешь, совсем забыл! Как я к тебе ехал, так знаешь ли, кого обогнал?.. Максима Петровича Прокудина. Тащится нога за ногу в дорожной повозке, видно, прямо из своей серпуховской отчины.

— Слава тебе Господи, давно бы пора приехать!

— А что?

— Так, любезный, домашние дела. Ну что, нет ли у тебя еще чего-нибудь новенького?

— Есть, Лаврентий Никитич, есть!.. Да вот погоди... Не Прокудин ли это въехал во двор?

— Он и есть! — вскричал хозяин, вставая.

Через полминуты вошел в гостиную Максим Петрович Прокудин, в дверях встретил его с низким поклоном Обиняков, хозяин принял с распростертыми объятиями, Шетнев также с ним облобызался. Когда, после обыкновенных приветствий и вопросов о здоровье, все опять уселись, двери снова распахнулись настежь, и в комнату вошел князь Шелешпанский. Этот сиятельный барин, ведущий свой род от удельных князей Белоозерских, заслуживает особенного описания.

За несколько месяцев до смерти своего родителя князь Андрей Юрьевич Шелешпанский поступил из недорослей в московское *жилецкое* войско *новиком*. Ему было тогда с небольшим двадцать пять лет. Похоронив своего отца, он ударил челом об увольнении его на покой ради всегдашней хворости, многоразличных недугов и крайнего телесного бессилия. Князь Андрей Юрьевич обыкновенно жил в своей коломенской отчине и только изредка приезжал в Москву повидаться с родными, из числа которых был и Лаврентий Никитич Рокотов. Этого отставного новика можно было назвать видным и красивым мужчиной; он был роста высокого, широк в плечах и очень дороден: румяное, полное лицо его, опушенное небольшою окладистой бородкою, казалось, также издалека, довольно благообразным; но зато в круглых огромных глазах его, похожих на слуховые окна, выражалось какое-то тупоумие, которое, однако ж, он не всегда оправдывал своими поступками и делами. Пошлый дурак во всем, он был не только не глуп, но даже очень смышлен, когда дело шло о том, чтоб дешево купить или дорого продать. Князь Шелешпанский был известный лошадиный охотник, или, вернее сказать, барышник, то есть он любил не лошадей, а лошадиный торг так, как любят его и понимают все дюжинные барышники и цыгане. У него никогда не бывало завет-

ного коня. Он беспрестанно покупал, продавал, а всего чаще менялся лошадьми, и, надобно отдать ему справедливость, он был мастер этого дела. Никто не мог бы выгоднее его сбыть с рук испорченной лошади или променять какую-нибудь запаленную, разбитую клячу на доброго и здорового коня. Князь Андрей Юрьевич был очень богат и в то же время чрезвычайно скуп. Живя в деревне, он разъезжал по своим соседям, весьма редко угощал их у себя, а остальное время обедал и ужинал по очереди у своих крестьян. Однажды забрались к нему в кладовую как-то воры и украли тридцать окороков ветчины; это ужасное происшествие до того поразило князя Шелешпанского, что с тех пор, рассказывая о каком-нибудь случае, он всегда определял время покражею своей ветчины, то есть вместо того, чтоб сказать: «Это случилось тогда-то или в таком-то году», он обыкновенно говаривал, что это было или до покражи, или после покражи его ветчины.

— А, князь Андрей! здравствуй, любезный! — сказал Рокотов, обнимая своего гостя.— Хорош молодец. Обещался ко мне на блины, а поехал к Чуфаровскому!

— Ничего, Лаврентий Никитич, ничего,— проревел князь Шелешпанский,— нам не впервые в одно утро на двух блинах побывать, мы еще, благодаря Бога, постоим за себя.

— Любезный друг,— продолжал Рокотов, подводя Шелешпанского к Максиму Петровичу,— прошу познакомиться: приятель мой и родственник, князь Андрей Юрьевич Шелешпанский.

— Очень рад, батюшка, познакомиться с тобою,— сказал Прокудин.

— Просим любить и жаловать!..— пробормотал Шелешпанский.— Имя и отчества вашего не знаю...

— Окольничий Максим Петрович Прокудин,— прервал хозяин.

— Прокудин?.. Слыхали, батюшка, слыхали!

— Ну что ж, дорогие гости,— промолвил Рокотов,— блины горячие на столе, милости просим!

— Спасибо, Лаврентий Никитич,— отвечал Прокудин,— я уж поел.

— А ты, князь Андрей?

— Пожалуйте, пожалуйте!.. Я от этого никогда не отказываюсь.

Шелешпанский выпил добрую чарку настойки, присел к столу и начал действовать отличным образом.

Пока он справлялся с блинами, Лаврентий Никитич усадил своих гостей, и между ними начался следующий разговор.

Прокудин: Ну что, друзья сердечные, что у вас новенького?

Рокотов: Мало ли что? С тех пор, как государь Петр Алексеевич изволил пожаловать в Москву, у нас дня не пройдет без разных выдумок. Вот Герасим Николаевич хотел мне что-то сообщить...

Шетнев: Да, новая новинка, и вещь не шуточная. Слыхал ли ты, Лаврентий Никитич, что такое сенат?

Рокотов: Сенат?.. Нет, не слыхал.

Прокудин: Сенат?.. Постойте-ка!.. Ну да, я читал в книге о языческих царствах, что в древнем Риме был сенат, сиречь верховное судилище.

Шетнев: Так прошу знать и ведать, что сегодня учрежден в Москве правительствующий сенат.

Рокотов: Правительствующий, то есть который станет всем править?

Шетнев: Да, он будет и разрядные дела ведать, судить всякие тяжбы выше всех других приказов, и царскую волю объявлять, и указы рассылать...

Рокотов: Да это ни дать ни взять боярская дума...

Шетнев: Нет, любезный, сенат.

Рокотов: Да ведь в этом сенате будут заседать бояре?

Шетнев: Нет, Лаврентий Никитич, сенаторы.

Рокотов: А из кого же этих сенаторов понаделают?

Шетнев: Вестимо дело: из бояр.

Рокотов: Так и выходит по-моему, что боярская дума, что этот сенат...

Шетнев: Нет, любезный, разница превеликая: боярская-то дума, изволишь видеть, по-нашему — по-русски, а сенат — по-иноземному.

Рокотов: Что ж, от этого лучше, что ль, будет?

Прокудин: А как же! Посмотрите, как теперь дела-то пойдут.

Шетнев: Думных дьяков уже не будет, а вместо них будут обер-секретари.

Прокудин: Вот оно что! Слышишь, Лаврентий Никитич: вместо думных дьяков будут... как бишь их?

Шетнев: Обер-секретари.

Рокотов: Так что ж? Крапивное семя как ни называй...

Прокудин: Что ты, что ты, помилуй! Коли думного дьяка будут называть по-немецки, так уж к нему, брат, с приносом не ходи!

Рокотов: А почему ж нет?

Прокудин: Как это можно! Станет он взятки брать — сохрани Господи!.. Разве ты не знаешь: любого мошенника Ваньку назови Иоганном — тотчас уймется воровать!

Рокотов: Ах ты, Господи, Господи!.. Видно, нечего делать... А знаешь ли ты, Герасим Николаевич, кого в этот сенат посадили?

Шетнев (вынимая из-за пазухи исписанный лист бумаги): Как же! Вот у меня и список есть.

Рокотов: Чай, все заморская братья.

Шетнев: Нет, имена-то русские.

Прокудин: Читай, читай!

Шетнев (читая): Во-первых: граф Мусин-Пушкин...

Прокудин: Уж коли граф, так какой русский!

Рокотов: Кто, Пушкин?.. Хуже всякого немца.

Обиняков: А спесь-то, сударь, какая... Фу-ты, батюшки! С тех пор как он изволил побывать в Неметчине, так и приступу к нему нет.

Рокотов: Куда!.. Он теперь с нашим братом и говорить не захочет. За морем побывал, умен стал! Ведь там народ все ученый; от последнего мужика до знатного барина все говорят по-немецкому. Там все лучше нашего: и скот, и люди, и дома́... Что дома́! Там, дескать, и звезды-то светят ярче нашего русского солнышка.

Прокудин: Читай, Герасим Николаевич, читай!

Шетнев (читая): Тихон Стрешнев.

Обиняков: Задушевный друг Адама Фомича Гутфеля.

Рокотов: Свой своему поневоле брат.

Шетнев (читая): Князь Григорий Волконский, Михайла Долгорукий...

Прокудин: Князь Михайла Долгорукий?.. Первый из всех бояр обрил себе бороду.

Шетнев (читая): Григорий Племянников...

Рокотов: Хорош молодец!.. С немецким пастором хлеб и соль водит!

Шетнев (читая): Князь Григорий Волконский, Михайла Самарин и Василий Опухтин.

Рокотов: Василий Опухтин?.. Какой это Опухтин?

Шетнев: И я его не знаю.

Князь Шелешпанский (обтираясь салфеткою): Василий Опухтин?.. Мы с ним люди знакомые.

Рокотов: Ну что он за человек такой?

Князь Шелешпанский: Мужик добрый... плоховат немного. Вот тому годов пять... или нет!.. это уж было по покраже моей ветчины... года три или четыре... купил он у меня вороного жеребчика, статей не отличных и перед-

ком слабенек... У меня в возу ходил, а ему продал за персидского аргамака. Уж он им любовался, любовался!.. Такой простофиля, что и сказать нельзя!

Обиняков: Вот, подумаешь, кажись, чего лучше: вы, Максим Петрович, изволили заседать в старину в боярской думе; вы, батюшка Лаврентий Никитич, также; так чем бы хватать на улице и встречного и поперечного...

Рокотов: И, полно, Ардалион Михайлович, куда нам в сенаторы!

Шетнев: Правда, друг сердечный, правда! *(Встает.)* Ну, прощай, Лаврентий Никитич!..

Рокотов: Куда ты спешишь?

Шетнев: Да надобно, любезный, еще местах в трех побывать. Теперь еду на Берсеньевку, к Матвею Сидоровичу Баклановскому.

Обиняков: Так сделайте милость, Герасим Николаевич, довезите меня до дому, вам по дороге.

Шетнев: Изволь, братец, довезу. До свиданья, друг сердечный!.. Милости просим к нам, Максим Петрович! *(Шетнев и Обиняков уходят.)*

Князь Шелешпанский (вставая): И мне пора.

Рокотов: А ты, князь, куда?

Князь Шелешпанский: К Григорию Фаддеичу Таптыкову, он звал меня сегодня на блины.

Рокотов: Ну, князь, видно, у тебя жернова-то хорошо мелют. В одно утро на трех блинах!

Князь Шелешпанский: Да это что, Лаврентий Никитич! Так ли я, бывало, едал в старину. Вот однажды... давно уж, этак еще годов шесть до покражи моей ветчины, у князя Гагина, на завтраке, за спором дело стало; говорят мне: «Не съешь, дескать, князь, за один прием две дюжины блинов с припекою», а я говорю: съем! Вот подали блины, я присел, сначала полегоньку, а там как принялся вплотную,— пошел да пошел!.. Как теперь помню — так за ушами и пищит. Съел дюжину, съел другую,— кричу: «Подавай третью!» Что ж, сударь, как сели мы после обедать, так я как ни в чем не бывало! Полгуся съел да ни одной похлебки не пропустил, а их было до восьми!.. Нет, теперь уж не то!

Рокотов: И, князь! что Бога гневить, хорошо и теперь!

Князь Шелешпанский: Счастливо оставаться, Лаврентий Никитич!.. Прощенья просим, батюшка Максим Петрович! Прошу не оставлять меня вашей милостью!.. *(Целуется с Рокотовым и Прокудиным; потом, низко поклонясь обоим, уходит.)*

VII

— Уехали! — сказал Прокудин. — Теперь, Лаврентий Никитич, нам можно поговорить с тобой на просторе. Ну, любезный, получил я от тебя грамотку... И теперь очнуться не могу!.. Ты пишешь ко мне...

— Сущую правду, друт сердечный: Аграфена Петровна сгубит свою племянницу. Вот и вчера они были на ассамблее у этого колбасника Гутфеля, плясали с немцами, говорили по-немецкому и разные другие неподобные дела чинили. Около твоей сестрицы увивался какой-то аптекарь-немец, а с племянницей только что не целовался тот же самый офицерик, о котором я тебе писал. Эй, Максим Петрович, послушайте меня, увези отсюда племянницу!

— Я затем и приехал. Да что это с сестрой-то сделалось?

— Что сделалось? Вестимо что: плясать-то веселее, чем сидеть дома за рукодельем.

— Ну, так ли она была воспитана в отцовском дому!

— И, любезный, стоит только начать, а уж там лукавый поможет! Да ты с нею виделся или нет?

— Нет еще; я прямо к тебе взъехал.

— И хорошо сделал, Максим Петрович.

— Конечно, ей очень будет прискорбно, что я не хотел у ней остановиться...

— А Бог весть! Ты для нее теперь хуже всякого путала. «Вот, дескать, бука приехал какой! При нем нельзя будет и повеселиться!» Да и ты, Максим Петрович, не долго бы у нее нагостил: к ней шляются всякие немцы, а ведь ты их не очень жалуешь. И что тебе до сестры? Она замужем, сама себе госпожа... Ты подумай-ка лучше о племяннице.

— Думаю, Лаврентий Никитич, думаю, да не знаю, что придумать. Вот кабы она была девочка лет двенадцати, так увез бы ее к себе в деревню, да и концы в воду; а ведь Ольга Дмитриевна уж невеста, отведала волюшки, так с ней теперь и не сладишь. И то сказать: я человек вдовый, одинокий, ей не с кем будет у меня словечка перемолвить, с тоски умрет!.. Вот кабы Бог послал женишка...

— А что ты думаешь! Послушай-ка, Максим Петрович, тебе какого надобно жениха?

— Известное дело: я хочу, чтоб он был ровня моей племяннице.

— Сиречь роду хорошего, человек добрый, не старый, с достатком, а пуще всего наш брат русский.

— Ну да!

— Так изволь, друг сердечный, я тебе жениха поставлю. Он уж давно ищет себе невесту и меня об этом просил.

— А кто он таков?

— Ты сейчас его видел: князь Андрей Юрьевич Шелешпанский. Ведь он еще не женат.

Прокудин покачал головою.

— А что,— продолжал Рокотов,— чем же он худ? Собою молодец...

— Да,— молвил Максим Петрович,— что и говорить, высок и дороден.

— Природный князь...

— Что князь! Этим нас, любезный, не удивишь. Таких дробных князей, как он, у нас на Руси пудовками меряют.

— Человек богатый.

— Вот это не худо... Конечно, и племянница моя невеста богатая: я за нею укреплю все мое именье, и отцовского-то у нее довольно...

— Тем лучше, любезный, подавай нам! Маслом каши не испортишь.

— А что, обычаем-то он каков?

— Сущий ягненок! Малый тихий, рассудительный; ему еще и сорока годов нет, а такой степенный, что нашему брату старику под стать будет. Любит держаться старины, немцев терпеть не может...

— Вот что хорошо, то хорошо! А все, любезный...

— Что все?.. Уж не браковать ли хочешь? Помилуй, Максим Петрович!.. Коли князь Андрей не жених, так какого же тебе жениха надобно?

— Кто говорит, жених хороший, в поре, собой не дурен, да вот тут-то,— промолвил Прокудин, указывая на свою голову,— кажись, у него ветерок посвистывает.

— А что? По-твоему, глуп? Нет, любезный, ошибаешься! Конечно, он парень не речистый и смотрит увальнем, а попытайся-то его провести — трех дней не проживешь. Да, Максим Петрович, князь Андрей не краснобай, не фертик какой-нибудь, а человек дельный. Говорят, будто бы скупенек немного, да это не беда: скупость не глупость. Поглядишь, у другого из отцовских вотчин ни кола ни двора не осталось, а у него из двух тысяч родовых душ выросло четыре...

— Четыре тысячи душ?
— А поживет, так и восемь будет.
— Ну, конечно, такого женишка охаять нельзя, ты же его хвалишь...
— Так что ж? По рукам, что ль?
— Я не прочь от этого, Лаврентий Никитич, и если он приглянется моей племяннице...
— Приглянется?.. Вот еще!.. Да ей-то что до этого? Разве у нас на Руси невесты сами женихов себе выбирают? Как мы это дело меж собой уладим, так ты ей скажешь: «Племянница, я выдаю тебя замуж за князя Андрея Юрьевича Шелешпанского, мы уж с ним по рукам ударили». Вот и все!
— Конечно, любезный, конечно! У нас всегда так важивалось, и жених вовсе не знает, на ком женится, и невеста не ведает, за кого выходит замуж... Да полно, хорошо ли это?..
— Что, что?.. Хорошо ли то, чему нас учили отцы и деды?.. Максим Петрович, в своем ли ты уме?.. И как язык у тебя повернулся говорить такие речи?..
— Да ты не гневайся, а выслушай. И ты, чай, не купишь за глаза деревни? Дай, дескать, посмотрю сам, каковы угодья, то, другое...
— Вот куда тебя бросило!.. Да разве это то? Разве мужа-то покупают?
— Оно так! Да скажи-ка мне: женился ли бы на моей племяннице твой князь Шелешпанский, кабы за ней не было души христианской?
— Ну, вот еще!.. Да и ты не выдал бы ее за какого-нибудь нищего, а коли он богат и она с достатком, так о чем и толковать?
— Эх, Лаврентий Никитич, насмотрелся я на моем веку! Не приведи Господи жить с немилым человеком! Ведь век-то прожить — не поле перейти.
— А что же по-твоему, лучше б было жениха-то с невестою познакомить да спросить у них, любы ли они друг другу?
— А почему бы и не так?
— Ба, ба, ба!.. Максим Петрович, что это с тобой сделалось?.. Где ты набрался этого немецкого духа?
— Ну, вот уж и немецкого духа!.. Да я не знаю, как немцы-то и женятся, а говорю так по своему рассуждению.
— Полно, Максим Петрович, не хитри! Я вижу, брат, чего ты хочешь. Тебе захотелось из окольничих-то в сенаторы.

— Нет, Лаврентий Никитич, не обижай!

— Что не обижай! Не ты первый, не ты последний... Делать нечего, служи, любезный, служи двум господам!

— Эх, Лаврентий Никитич, ну как тебе не совестно? Ты знаешь, что я крепко держусь наших старинных обычаев, а это так на мысль мне пришло. «Что, дескать, это такое? И приятелем не будешь человеку, если прежде с ним не познакомишься; а ведь муж-то и жена не то что приятели: коли они не живут душа в душу, так житье-то их не больно завидное».

— Да неужели, Максим Петрович, по-твоему, коли детина личмянный приглянется девке, так он ей и муж?

— Кто говорит! Коли девица будет на одну мужскую красоту зариться...

— А ты думаешь на что? Станет молодая девка толковать о том, о чем мы теперь с тобой толкуем? Ей что за дело, есть ли у суженого достаток, хорошего ли он роду, каков обычаем,— был бы только молодец собою. У них только и речей: «Хорош, дескать, и пригож — по сердцу пришел!» А там, глядишь, пригожий-то муж хуже черта будет. Да вот, примером сказать, дай волю своей племяннице, так я голову мою прозакладаю, что она выйдет замуж за этого офицерика, который по вечеринкам-то около нее изволит ухаживать. А что он за человек такой, кто его знает?.. Чай, какая-нибудь голь беспоместная, а может статься, и холопский сын. Ведь нынче не узнаешь, и коли отдаешь в солдаты парня попроворнее, так кланяйся ему в пояс: «Будешь, дескать, батюшка, во времени, о нас, грешных, вспомяни!»

— Нет, Лаврентий Никитич! — прервал с жаром Прокудин,— я еще из ума не выжил, и хоть Ольга не дочь моя родная, а из послушания моего не выступит. Пока я жив, не бывать ей замужем за каким-нибудь прындиком в кургузом кафтанишке да с бритой бородою. Я хочу жить с племянником в ладу, а с заморским щеголем и полунемцем у меня никогда ладу не будет.

— Так-то говоришь, любезный, а все до поры до времени. Ведь этот молодчик, говорят, в большой милости у Александра Даниловича Меншикова, а может статься, и сам государь его жалует.

— Этим, Лаврентий Никитич, меня не прельстишь.

— Знаю, друг сердечный, знаю! Да если сам государь Петр Алексеевич возьмется за это дело? Ведь он уж много этаких бобылей переженил.

— А что ты думаешь?.. Чего доброго!.. Мне сказывали, что он за крестника своего, какого-то черномазого арапа, сиречь мурина, высватал знатную и богатую невесту.

— Вот то-то же! Ну, коли он сам, наш батюшка, пожалует к тебе сватом?..

— Сохрани Господи!

— Что ты тогда скажешь, а?..

— Вестимо что: его царская воля!

— Вот то-то и есть. Эй, послушайся меня, выдавай скорей племянницу замуж! У этих гвардейских офицериков, а пуще у царских денщиков, чутье хорошее,— как раз проведают о богатой невесте, да там и бух царю в ноги, а ему-то, нашему батюшке, то и с руки. Поди-ка, жалуй всех за службу поместьями!.. А тут что? Сосватал да женил на богатой девице — вот тебе, голубчик, и поместье!

— Правда, правда, любезный! дело статочное!..

— Да и где ты найдешь лучше жениха для твоей Ольги Дмитриевны? Князь Шелешпанский роду знаменитого, богат, парень добрый, он ее на руках станет носить, да и к тому же один как перст: у племянницы твоей ни свекра, ни свекрови не будет, кланяться некому; лишь только от венца, так и хозяйка в дому — барыня!..

— Так, так!

— Князь Андрей станет почитать тебя как отца родного. Ступай-ка, любезный, породнись с каким-нибудь нынешним молодчиком, так он тебе и слова не даст вымолвить; а этот зятем умничать не будет: что ты скажешь, то и свято.

Прокудин призадумался.

— Ну что, Максим Петрович,— продолжал Рокотов, помолчав несколько времени,— по рукам, что ль?

— По мне пожалуй! — отвечал Прокудин.— Ты так расхваливаешь своего жениха... а я тебе, друг сердечный, верю. Неужли ты захочешь погубить мою племянницу?

— Сохрани Господи!

— Вот то-то и есть!.. Я боюсь только, чтоб она не заартачилась.

— Вестимо дело, если ты скажешь ей об этом теперь. Здесь она изволит забавляться, по ассамблеям разъезжать, около нее ухаживают всякие молодчики... Ну, конечно, это веселее, чем выйти замуж, сидеть дома да хозяйничать. Ты прежде увези ее к себе в деревню. Вот

как поживет с тобой месяц-другой, так дурь-то из головушки выйдет.

— Полно, выйдет ли? Ведь она уж теперь поизбаловалась: ей будет у меня скучно...

— Тем лучше, Максим Петрович, того-то нам и надо!.. Коли ей скучно будет у тебя жить, так пойдет охотой замуж. От веселья веселья не ищут, а от скуки-то иногда и в петлю полезешь. Я здесь улажу все дело с князем, ты ей скажешь, что слово дал, а там, на Фоминой неделе, я прикачу к тебе с женихом, остановлюсь с ним на селе; ты свою невесту снарядишь, отвезешь в церковь, мы ее примем, да и под венец!.. Ну что головой покачиваешь? Конечно так.

— А если она заупрямится?

— Что на это смотреть, ты все-таки вези ее в церковь.

— Учнет плакать...

— И, Максим Петрович! девичьи слезы — вода! Известное дело: все невесты до венца плачут, уж это у них так заведено. Да будь же благонадежен, все уладится как нельзя лучше, увези только отсюда племянницу.

— Ну, хорошо. Мы еще об этом с тобой потолкуем,— молвил Прокудин, вставая,— а меж тем прикажи-ка заложить для меня сани, я поеду к сестре. Да не худо бы также принарядиться: на мне дорожное платье, а еще неравно у сестры гостей застанешь...

— А вот пожалуй со мною,— сказал Рокотов, также вставая.— Я провожу тебя до твоей половины, изволь там располагаться как у себя дома.

Теперь, пока Максим Петрович одевается, чтоб ехать к сестре, мы можем предупредить его, то есть отправиться на Покровку, к Аграфене Петровне Ханыковой. В то время Покровская улица была почти вся застроена княжескими и боярскими домами. В ней были дворы князей Пронских, Сицких, Мосальских, Волконских, Мещерских, Мордкиных, Куракиных, Лыковых и многих других. Несмотря на это аристократическое соседство, дом, в котором жила Аграфена Петровна, вовсе не мог назваться барским. Этот небольшой, чистенький домик, со светлыми окнами и красной черепичной кровлею, казался еще менее, но в то же время и красивее оттого, что рядом с ним стояли с одной стороны огромные уродливые хоромы сибирского царевича Андрея Кучумова, а с другой — ветхие, обросшие мхом и запачканные палаты князя Василия Тюменского. В одной

из комнат этого скромного домика сидели за рукодельем Аграфена Петровна и племянница ее, Ольга Дмитриевна Запольская; они обе обшивали кружевами атласное пунцовое фуро, в котором Запольская была накануне у Гутфеля.

— Ну вот, так и есть,— сказала Ханыкова, снимая с пальца наперсток,— ровнехонько пол-аршина недостает... Делать нечего! Ты помнишь, Оленька, лавку, в которой мы кружево покупали?

— Помню, тетушка.

— Так возьми с собою мамушку Григорьевну да Максимку на запятки и съезди в город. Я возок давно уж велела заложить. Оленька,— промолвила Ханыкова, вставая,— на-ка тебе платье-то... приподыми его кверху... вот так... Ну что, не правду ли я тебе говорила: совсем другое стало?

— Да, тетушка, только цвет...

— И, полно, радость моя, что такое цвет!.. Как будто бы у тебя двух алых фуро быть не может. Да уж поверь мне, жизнь моя, никому и в голову не придет, что ты была в нем на ассамблее у Гутфеля.

— А что, тетушка, завтра у Стрешневых простая вечеринка или также ассамблея?

— Ассамблея, мой друг.

— И много будет?

— Я думаю. Стрешнев вчера у Гутфеля звал к себе всю молодежь.

— Так поэтому у него будет и Василий Михайлович?..

— Симский?.. Как же! Стрешнев при мне его просил.

— Так он будет?.. Как я рада!

— Что ты, что ты, матушка, перекрестись!

— А что, тетушка?

— Ну можно ли девице такие речи говорить! Хорошо, что мы одни, а коли ты этак при людях промолвишься, ведь иной подумает и Бог весть что! Симский, конечно, молодец прекрасный и танцует хорошо, а всетаки тебе не след радоваться, что ты с ним увидишься у Стрешневых.

— Я это, тетушка, сказала... так...

— Вот кабы он был твоим женихом, так это дело другое, тогда такая и мера, а теперь ты знай себя... Да что об этом говорить!.. Все это пустячки, мой друг!.. Эти гвардейские офицеры любят только так... пошалберить, амурное словцо отпустить, а какие они женихи!.. Ведь

они у нас в Москве ни дать ни взять перелетные пташечки: сегодня здесь, а завтра и поминай как звали!.. Оленька, посмотри-ка, мой друг, кто это въехал к нам во двор?

— Не знаю, тетушка. Какой-то господин, только я его никогда не видывала.

— Лицо как будто бы знакомое, а хоть убей — не знаю кто.

— Здравствуйте, матушка Аграфена Петровна! — сказал Данила Никифорович Загоскин, входя в комнату.— Не прогневайтесь, что я вошел к вам без доклада: у вас в передней никого нет. Да что ж вы, Аграфена Петровна, изволите на меня так смотреть? И вы, сударыня Ольга Дмитриевна?.. Иль не узнали старинного приятеля?

— Возможно ли! — вскричала с радостию Ханыкова.— Это вы, Данила Никифорович?

— Я, матушка.

— Ах, как я рада! Насилу-то вы за ум взялись!

— А что, Аграфена Петровна, этак лучше?

— Как можно сравнить! Да вы теперь совсем другой человек.

— И жена говорит то же, да только не так.

— Привыкнет, Данила Никифорович.

— Вестимо дело, привыкнет когда-нибудь. А знаете ли что, матушка, бороду я себе обрил, а ведь часом и мне бывает ее жаль.

— И, полноте!

— Право так. Все как будто бы чего-то недостает. Я ж ее, мою голубушку, так холил!.. Ну, да что об этом!.. Не с бородою жить, а с добрыми людьми. Я приехал к вам, Аграфена Петровна, во-первых, ради того, чтоб повидаться с вами и с вашей прелюбезной племянницей, а во-вторых, матушка,— промолвил Данила Никифорович вполголоса,— у меня до вас и дельце есть.

— А что такое?

— Да мне бы нужно об этом с глазу на глаз поговорить с вами.

— Извольте, батюшка, извольте! Оленька, ну что ж ты в город-то не едешь. Пора!.. Ступай, мой друг.

Когда Ольга Дмитриевна вышла из комнаты, Данила Никифорович приметным образом смутился; он начал переминаться, кашлять и поглаживать рукою свой голый подбородок.

— Ну, вот мы теперь одни,— сказала Ханыкова,— извольте говорить.

— Ох, сударыня моя! — промолвил Данила Никифорович, — дело-то мое непривычное... не знаю, с чего начать...

— Что ж это такое?

— Не бойтесь, матушка, страшного ничего нет. Вот изволите видеть... как бы мне вам сказать... ну, так и быть, ведь в старину всегда этим начинали... Матушка Аграфена Петровна, у вас есть товар, а у нас купец.

— Как, Данила Никифорович, вы приехали ко мне сватом?

— Да, государыня, я приехал сватать вашу племянницу, Ольгу Дмитриевну Запольскую.

— За кого?

— Есть у меня родной племянник, такой же сирота, как и ваша Ольга Дмитриевна: отца у него убили под Нарвою, а старушка мать скончалась в запрошлом году. Он человек с достатком, малый прекрасный, на хорошей дороге, собой молодец... да что тут говорить: вы лично его изволите знать.

— Я его знаю? Да кто ж он такой?

— Василий Михайлович Симский.

— Симский!.. Так он ваш племянник?

— Да, матушка, сын родной моей сестры, Авдотьи Никифоровны. Ну что ж, каких вы о нем мыслей?

— Самых хороших, батюшка. Он молодец прекрасный, умный и, как мне кажется, истинно достойный человек.

— Так поэтому племянник может надеяться?

— Вот это речь иная, Данила Никифорович, на то отвечать я ничего не могу. Об этом извольте спросить у брата моего, Максима Петровича Прокудина, из воли которого Оленька никак не выступит.

— Я знаю, матушка, что Ольга Дмитриевна взросла на руках у вашего братца Максима Петровича и всеконечно должна во всем ему повиноваться, да неужели он отбракует такого жениха, как мой племянник?

— А Бог весть, Данила Никифорович. Максим Петрович человек нравный, не очень долюбливает нынешнюю молодежь, и коли он забрал себе в голову выдать племянницу за человека, который так же, как он, придерживается старины, бороды не бреет и в немецком платье не ходит, так не прогневайтесь!.. Он любит Оленьку как дочь родную, да зато хочет, чтоб и она его слушалась как отца родного.

— Ну, делать нечего,— надобно будет скакать к нему в деревню. А вы уж, Аграфена Петровна, сделайте милость, скажите об этом вашей племяннице.

— Что вы, Данила Никифорович, стану я об этом говорить Оленьке!.. Коли дело пойдет на лад, успею сказать и тогда, а коли из этого ничего не выйдет, так лучше, чтоб она вовсе не знала, что Василий Михайлович за нее сватался. Может статься, он и теперь ей нравится, да это все не то: мало ли молодцев на свете, обо всех плакать не станешь, а жених... сохрани Господи! да его век не забудешь!

— Правда, матушка, правда!.. Ну, дай Бог вам здоровья,— разумный вы человек, Аграфена Петровна!.. Да что и говорить: в этих делах наш брат мужчина не токмо перед вами — да и перед всякой женщиной дурак дураком!

В комнату вошел или, лучше сказать, вбежал слуга, он растворил настежь обе половинки дверей и проговорил торопливым голосом:

— Государыня Аграфена Петровна, Максим Петрович изволил приехать!

Ханыкова вспыхнула, Данила Никифорович также смутился.

— Здравствуй, сестра! — сказал Прокудин, входя в комнату.

— Ах, батюшка братец! — вскричала Ханыкова, кидаясь на шею к Максиму Петровичу,— вот уж я никак не ожидала...

— Я думаю, что не ожидала,— молвил Прокудин, взглянув исподлобья на Данилу Никифоровича.— Что, матушка, видно, не в пору гость хуже татарина?

— Ах, братец, боитесь ли вы Бога? Ну можно ли этак шутить!.. Как жаль, что Оленьки нет дома; она поехала с мамушкой в город кой-что себе купить, сейчас воротится.

— Здорово, друт сердечный! — сказал Данила Никифорович, подходя к Прокудину.— Ну что ты на меня смотришь?

— Да вот гляжу, батюшка! Откуда Господь шлет мне такого сердечного друга?

— Скажи пожалуйста!.. Так ты по голосу-то меня не узнаешь?

— Господи, Господи! — вскричал с ужасом Прокудин,— Данила Никифорович!

— Да, любезный, это я...

— Ты?.. Да, нет, нет! Это демонское наваждение!.. В этом немецком кафтане... с бритой бородою!.. Фу, батюшки, в глазах позеленело, ноги подкосились! — прибавил шепотом Максим Петрович, опускаясь в кресла, которые ему пододвинула Аграфена Петровна.

— И, любезный! — сказал, садясь подле него, Данила Никифорович,— есть от чего ногам подкоситься!

— Ну,— промолвил Максим Петрович,— этого-то уж я никак не ожидал!.. До меня слухи дошли, что сестра водит хлеб-соль с немцами и что они, проклятые, каждый день к ней таскаются. Ну, так и есть, подумал я, вот уж один немец налицо! Немец!.. Данила Никифорович!

— Эх, полно, Максим Петрович! Ну, что, в самом деле: погневался, пожурил, да и будет!

— А что, старинный друг и приятель,— продолжал Прокудин,— скажи-ка мне по совести... О, Господи! и спросить-то страшно... Да уж так и быть — режь одним разом!.. Что ты, Данила Никифорович, веру переменил?

— Веру?.. Что ты, что ты, перекрестись!

— Так еще не переменил? Слава тебе Господи!

— Помилуй, с чего ты взял?..

— С чего? Да не прогневайся, коли наш брат, старик, без всякого принуждения, а по своей собственной охоте пойдет на такое дело, так поневоле подумаешь, что ему в немецкую кирку захотелось.

— Эх, любезный!.. Ну как тебе не совестно, человеку умному, такие речи говорить? Да неужели по-твоему вся сила православия в нашей бороде? И коли я, по каким ли есть причинам...

— Так сделай милость,— подхватил Прокудин,— скажи мне, ради чего ты изволил оскоблить свою бороду?

— Изволь, скажу. Не знаю, захочешь ли ты понять меня, а коли захочешь, так поймешь. Господь Бог послал нам такого царя, какого еще до сих пор нигде не бывало. На войне — Александр Македонский; на суде — премудрый Соломон; в чужих краях — простой работник, поденщик ради того, чтоб перенять все хорошее и изведать не по рассказам, а на себе самом, что пригодно и полезно для нашей матушки святой Руси; дома у себя — хозяин, да еще какой! Ему нужды нет, что он трудится в поте лица и сеет то, что пожнут другие: «Я, дескать, умру, но Русь-то святая не умрет; теперь, может быть, на меня станут досадовать, роптать, да зато внучата спасибо

скажут». Ты себе, Максим Петрович, как хочешь ухмыляйся, покачивай головкою, а я все-таки буду говорить одно. Как свят Господь, так правда то, что наш батюшка Петр Алексеевич ничего не делает ради только одной прихоти или своей забавы, а если иное кажется нам непонятным, так это потому, что мы как дети: их учат складам, а они думают про себя: «Ради чего это заставляют нас твердить: буки аз — ба, веди аз — ва, что, дескать, это такое?» Ради того, деточки, чтоб вы грамоту знали: вот как станете сами читать, так и поймете тогда, зачем вас складам учили...

— Вот подлинно — век живи, век учись! — прервал Прокудин.— Недавно один премудрый молокосос толковал мне, что немцы — солдаты, а мы, русские — новобранцы; теперь ты мне изволишь говорить, что мы все, старики, безграмотные ребятишки и что нас, дураков, складам учат... Спасибо, любезный!

— Да это я говорю так, Максим Петрович, наприклад...

— И нечего сказать,— красно говоришь. А все-таки я не знаю...

— Зачем я бороду обрил? А вот послушай. На прошлой неделе завернул ко мне приятель, Иван Андреевич Бухвостов, и рассказал, что было при нем в Воронеже, когда государь Петр Алексеевич изволил там находиться. В самый день светлого воскресенья Александр Данилович Меншиков обрил всем магистратским членам бороды и одел их в немецкое платье. В соборе, у заутрени, государь, увидя их в этом наряде, так обрадовался, что с ними первыми похристосовался, благодарил, что они его для такого великого праздника порадовали, пригласил к своему столу, пил за их здоровье и во весь тот день был так весел, что и сказать нельзя. Вот у меня и пошло бродить в голове; думаю про себя: «Что это государю нашему так полюбилось немецкое платье?» Думал, думал, да вот что мне пришло на мысль: хоть я не ведаю, почему наш премудрый государь желает, чтоб мы все одевались по-иноземному, а уж верно тут что-нибудь да есть! Не стал бы он так налегать на это, кабы тут не было никакой пользы. Я стар, живу на покое, ни на что ему не пригоден, так дай же я ему, нашему батюшке, хоть этим послужу. Авось, глядя на меня, и другие тем же его потешат. Вот я заказал себе немецкое платье, а как мне вчера его принесли, так послал за цирюльником, да и отмахнул себе бороду. Ну, понимаешь ли

теперь, для чего я — твоими же словами скажу — оскоблил себе бороду?

— Понимаю, любезный! Ты уверен и не сомневаешься, что государь Петр Алексеевич знает лучше всякого, что для нас пригодно и полезно и что он, как истинный царь русский, любит свой народ паче всего на свете...

— Да! Видит Бог, я это думаю.

— Хорошо, любезный. Ну, а если б ты думал совсем другое? Если бы ты верил и не сомневался, что государь Петр Алексеевич, попущением божиим и в наказание за тяжкие грехи наши, предался вовсе немецкой прелести и любит не свой православный народ, а немцев, голландцев и всяких других еретиков, которые теперь, словно саранча, обсели всю землю русскую, так и ты бы, Данила Никифорович, так же, как я, стал чтить государя Петра Алексеевича как помазанника Божия и повиноваться беспрекословно его царским указам, но, уж верно, ты для его потехи не нарядился бы каким-нибудь заморским шутом и не стал бы кланяться в пояс всякому немецкому колбаснику потому только, что он немец.

— Да помилуй, Максим Петрович, с чего ты взял, что государь Петр Алексеевич больше любит немцев, чем нас?

— А коли нет, так зачем же он, наш батюшка, имя-то свое, говорят, подписывает по-иноземному, и новый город свой назвал по-немецки, и нас всех немцами поделать хочет?.. Да что об этом говорить: коли Господь Бог наслал казнь, так молчи и покоряйся.

— И то правда, друг сердечный, что об этом толковать! По-твоему, это гнев небесный, а по-моему — Божье милосердие, так мы во веки веков с тобой не поладим. Давай-ка лучше побеседуем кой о чем другом, любезный, а нам есть о чем поговорить. Знаешь ли что, Максим Петрович? Ведь я сбирался к тебе в деревню!..

— Милости прошу.

— У меня есть до тебя дело, и дело не шуточное; я сейчас об этом говорил с Аграфеной Петровной. Племянник мой, Василий Михайлович Симский, месяца два тому назад познакомился здесь, в Москве, с твоей сестрицею и с Ольгой Дмитриевной...

— Познакомился!.. И верно, на вечеринке, или, по вашему, на ассамблее, у этого... Сестра, как бишь зовут твоего приятеля-то?..

— Какого приятеля, братец?

— Ну, вот этого немца, у которого ты вчера с аптекарем плясала.

— У Адама Фомича Гутфеля? — прервал Данила Никифорович.— Да, любезный, мой племянник бывал у него на вечеринках вместе с твоей сестрицею и племянницей... Да ты уж не думаешь ли, что этот Гутфель какой-нибудь булочник?.. Нет, Максим Петрович, он человек именитый, к нему сам государь изволит жаловать...

— Как не жаловать!.. Ведь он немец.

— Что немец!.. Немцев много. Адам Фомич и человек хороший, и живет барином. Он здесь у всех в большом почете...

— Еще бы!.. Делать-то нечего, станешь почитать и татарина, коли он тебе господин!.. Так твой племянник познакомился с моей племянницей у этого Гутфеля?.. Знаю, знаю!.. Ведь он, сиречь твой племянник, как по вашему-то, фенрик[1], что ль?..

— А вот, Бог даст, скоро и подпоручиком будет.

— Так, так!

— Он третьего дня ночевал у тебя в деревне.

— Ночевал, любезный.

— Ну что, как он тебе кажется?

— Молодец прекрасный!

— Так он тебе приглянулся?

— Как же!

— А что, друг сердечный, если б он посватался за твою племянницу Ольгу Дмитриевну!..

— Так я долго не стал бы его маять, а тотчас бы сказал: этому не бывать.

— Как не бывать?..

— Да так!..

— Фу, батюшки! Как дубиной по лбу!

— Не прогневайся!

— Да ты хоть подумай, Максим Петрович, Симский роду хорошего...

— Знаю, знаю! Его батюшка был казанским воеводою.

— Человек богатый.

— И это знаю.

— Так почему ж?..

— Долго рассказывать, Данила Никифорович, да и на что? Ты спросил, я отвечал,— чего ж еще тебе?

— Батюшка братец! — промолвила робким голосом Ханыкова.

---

[1] Младший офицер, прапорщик (от *нем.* Fähnrich).

— Не твое дело, матушка! Покойная сестра, умирая, сдала мне с рук на руки свою дочь, завещала воспитать ее во всяком благочестии и страхе Божием, беречь и любить как родное свое детище. Что будешь делать! Согрешил я перед покойницей: не вполне соблюл ее приказание... Да Бог милостив, это еще дело поправимое... Теперь уж я с ней ни за что не расстанусь...

— Как, братец,— вскричала Ханыкова,— вы хотите Оленьку увезти в деревню?..

— Я затем и приехал, матушка.

— Так моему племяннику нечего и надеяться? — проговорил Данила Никифорович, вставая.

— Зачем не надеяться,— сказал Прокудин,— Бог в животе волен, а я человек смертный.

— Эка упрямая башка! — прошептал Загоскин.— Прощай, старинный приятель! — промолвил он, выходя вон из комнаты.— Нечего сказать, потешил ты меня!

— Ничего, любезный,— прервал Максим Петрович,— это дело обоюдное: мы, кажется, оба друг друга потешили. До свидания!

VIII

— Да, полно, Василий, кручиниться! И вчера ты целый день прогоревал, и сегодня словно в воду опущенный!.. Что, в самом деле, иль про тебя одна только невеста и была Ольга Дмитриевна Запольская? Ну, конечно, она девица хорошая, да, Бог милостив найдем и почище ее.

Так говорил Данила Никифорович, утешая Симского, которому он накануне объявил о своей неудачной попытке.

— У нас в Москве,— продолжал Данила Никифорович,— чего другого, а невестами-то хоть пруд пруди! Вот покамест ты будешь в походе под турком, мы постараемся, похлопочем да такую приищем тебе невесту, какой ты и во сне не видывал. Не правда ли, жена?

— Уж конечно, батюшка, не чета будет этой вертушке Запольской,— отвечала Марфа Саввишна.— И что тебе, Васенька, понравилось в этой девочке? Ну какая она будет хозяйка? Ей бы только вырядиться заморской куклою, поплясать да перед молодежью покобениться...

— Нет, тетушка,— прервал Симский,— напрасно вы это изволите говорить. Ольга Дмитриевна девица скромная и по своему отличному мериту[1] зело достойна всякого эстиму[2].

— Да ты как хочешь ее по-немецки-то хвали, а все-таки она не много получше своей тетушки! Да уж Аграфена Петровна — об ней что и говорить — отменный соболь!.. Ни стыда ни совести...

— И, полно, Марфа Саввишна! — прервал Данила Никифорович.— Ну за что ты ее так позоришь?.. Что она тебе сделала?

— Виновата, батюшка Данила Никифорович, согрешила!.. А, воля твоя, правду всегда скажу.

— И вы уверены, дядюшка,— сказал Симский,— что Максима Петровича нельзя никак умилостивить?

— Куда умилостивить!.. Приступу нет, так с дуба и рвет!.. «Не бывать этому!», да и только!

— Ну, видно, уж такое мое счастье!..

— Полно, брат Василий! Ты еще молод, твое счастье впереди.

— Ах, дядюшка, кабы вы знали, как мне грустно!.. Я и сам не думал, что так люблю Ольгу Дмитриевну... Нет, уеду поскорей, догоню мой полк, стану драться с турками... быть может, положу голову за святую Русь...

— Что ты, мой друг! — вскричала Марфа Саввишна.— Христос с тобой!.. Ну, как ты в самом деле себе напророчишь...

— Так что ж, тетушка? Я сирота, обо мне плакать некому.

— Спасибо, племянник! — прервал Данила Никифорович.— А мы-то тебе посторонние, что ль? Полно, брат, выкинь эту дурь из головы! Пойдем-ка лучше завтракать; у меня есть заветная бутылочка фряжского винца; выпьем чарки по две, так авось у тебя на сердце-то будет повеселее.

— Нет, дядюшка, у меня голова и без этого горит. Пойду лучше пройдусь пешком.

— Ну, ступай, мой друг. Да смотри же приходи к обеду.

— Приду, дядюшка.

Симский накинул свой форменный плащ и, сойдя со двора, повернул вниз по Знаменке к Кремлю. День был

[1] Достоинству (от *фр.* mérite).
[2] Уважения (от *фр.* estime).

ясный, погода теплая, разумеется по-зимнему; самый умеренный морозец, без ветру, не допускал только портиться санному пути и придавал воздуху какую-то особенную легкость и живительную прохладу. Все жители Москвы справляли масленицу, то есть веселились, гуляли и катались по улицам. На каждом шагу встречались с Симским разодетые в пух слободские девки, посадские бабы, городские мещане и мужички под хмельком, которые, обнявшись друг с другом и пошатываясь из стороны в сторону, *растабарывали* и *гуторили* меж собою. Тут целая гурьба веселых горожанок шла посередине улицы и пела, немного на разлад, но зато во все горло, плясовую песню, под которую разбитной детина, медленно подвигаясь перед толпою, расстилался вприсядку. Подле питейного дома лихие песенники, окружив самоучку-музыканта, отпускавшего удивительные трели на берестовом рожке, заливались в удалой бурлацкой песне: «Вниз по матушке по Волге». Тут же, в одном уголку, народ умирал со смеху, глядя на медведя, который плясал с козою, и несколько шагов подалее толпился вокруг лубочного балагана, в котором заморский *знахарь* глотал огромные камни, дышал огнем и жупелом, ел хлопчатую бумагу и делал разные бесовские штуки. Мимо Симского, в широких пошевнях, покрытых коврами, и расписных санях, мелькали поминутно московские барыни, богатые купчихи и гостьи иноземные; то проезжал рысцою обитый полинялым сукном рыдван на полозках, из которого выглядывали набеленные старухи в собольих шапочках; то вдруг, как птица, пролетал мимо всех разгульный молодец на борзом казанском иноходце; одним словом, все веселились, гуляли, и Симскому от этого стало еще грустнее. Чтоб не смотреть на эти забавы, в которых он не мог и не хотел принимать никакого участия, Симский, пройдя несколько шагов по Неглинной, повернул Троицкими воротами в Кремль. В то самое время, как он, пробираясь к соборам, миновал дворец Бориса Годунова, с ним повстречались парные сани и кто-то проговорил громким голосом:

— Здравствуй, Василий Михайлович!

Симский остановился, из саней выскочил молодой гвардейский офицер и бросился к нему на шею.

— Мамонов! — вскричал Симский, обнимая своего однополчанина.— Вот уж никак не ожидал! Я думал, что ты при полку.

— Нет, мой друг, я здесь в откомандировке. А ты какими судьбами?..

— Меня отпустили на недельку повидаться с родными.

— Так ты недолго здесь пробудешь?

— Еще денька два или три.

— А потом?

— Отправляюсь догонять полк.

— Счастливый человек!.. Да садись-ка, брат, в сани, поедем ко мне. Я живу близехонько, на Варварке, в доме дяди моего, Степана Ивановича Шеина.

Симский сел в сани к Мамонову. Через несколько минут они въехали во двор и остановились у небольшого кирпичного домика, вовсе не затейливой наружности.

— Вот, как видишь, Василий Михайлович,— сказал Мамонов, вылезая из саней,— палаты небольшие, да зато в них тепло,и я живу один-одинехонек. Милости просим!

Когда они вошли в сени, им послышались в передней комнате голоса; казалось, о чем-то спорили.

— Да погоди, тетка, сейчас вернется! — говорил кто-то басом.

— Чего годить! — раздался в ответ писклявый голос,— что мне, до вечерен, что ль, у вас дожидаться?

— Ну, так и есть! — сказал Мамонов, входя в переднюю.— Это Игнатьевна. Здравствуй, голубушка!

— Здравствуй, мой сокол ясный! — пропищала, кланяясь в пояс, пожилая женщина в штофной шубейке и бархатной, опушенной куницею шапочке.— Уж я тебя ждала, ждала!

— Так подожди еще немножко, мы с тобой поговорим.

— Ох, кормилец ты мой, часочки-то у меня счетные! Мне еще надо побывать у Спаса на Чигасах, а оттуда к Харитонию в Огородниках; не задержи меня, батюшка!

— Небось, Игнатьевна, не задержу.

Мамонов и Симский отдали денщику свои плащи и, пройдя через столовую комнату и небольшую гостиную, вошли в угольный покой, в котором стояло несколько стульев, большой шкап, резной дубовый стол и кровать с белым пологом.

— Садись, любезный! — сказал Мамонов, снимая с себя трехцветную шелковую перевязь, которая была у него надета по мундиру.

— Ого! Да ты в полном парадс,— сказал Симский,— шарф через плечо.

— Как же, Василий Михайлович: я был в Сенате; мне там читали царский указ.

— Указ? О чем?

— А вот, изволишь видеть: у нас теперь война с турком, и велено забирать на службу всех взрослых недорослей из дворян, неслуживших новиков и всяких разночинцев, которые еще молоды и здоровы, а под разными предлогами отбывают от царской службы и проживают в Москве. Вот как пошел перебор, так все эти тунеядцы, которым бы только на боку лежать да ничего не делать, и бросились вон из Москвы, кто куда попал. Меня для этого и прикомандировали к Сенату, чтоб я их везде отыскивал, хватал и представлял на службу; об этом мне и указ сегодня читали. Эх, Симский, счастлив ты: будешь драться с турками, станешь бить этих басурманов, в плен брать, а я... Правда, и я буду брать в плен матушкиных сынков, сорокалетних недорослей и этих мироедов, которые называют себя дворянами, а дворянской службы нести не хотят. Да какая мне будет от этого сатисфакция? Ведь уж тут доброй манерою не кончишь. Хлопот не оберешься, брани также. Все московские барыни, а пуще барышни, закидают меня каменьями... Ну, нечего сказать, вынулся мне жеребьек!.. Добро бы еще оставили меня в Санкт-Петербурге, а то живи здесь — в этом захолустье.

— Вот как!.. Так ты называешь Москву захолустьем?

— А как же прикажешь ее назвать? Неужели такой же резиденцией, как наш Санкт-Петербург? Нет, любезный: кто привык обходиться с людьми эдюкованными[1] и понасмотрелся иноземных обычаев, тому здесь какое житье? Так ли веселятся и проводят время в нашей резиденции!.. Конечно, и здесь бывают ассамблеи, да только ни дать ни взять — шарман-катеринки: заведут их — они, как будто живые, танцуют, не заведут — так просто сидят как разряженные куклы. А что за кавалеры!.. Посмотришь, иной одет как человек, в немецком кафтане, в парике, подымет даму как следует, а примется танцевать — фу, батюшки!.. В какие позитуры становится, что за ухватки!.. Так и смотришь, сейчас пойдет вприсядку!.. Заведешь с ним какую-нибудь конверсацию[2], он выпучит глаза, слушает и не понимает самых обыкновенных речей. Да что и говорить! В Москве не токмо народ ординарный, но даже люди принципиальные[3], только бороды себе выбрили, а рожи-то у них

[1] Воспитанными (от *фр* éduqué).
[2] Разговор (от *фр*. conversation).
[3] Знатные (от *фр* principal).

все немытые! Нет, Василий Михайлович, наша резиденция не то!

— Ну, конечно, Андрей Степанов; однако ж и Москва...

— Что Москва?.. Москва просто русский город.

— А разве наш Санкт-Петербург город не русский?

— Нет, любезный, извини!.. Санкт-Петербург город немецкий, знаешь, этак... как бы тебе сказать?.. Европа!.. А здесь что? И люди, и дома, и обхожденье — все на русскую старинную старь. Здесь, брат, и с деньгами пропадешь: ничего нет порядочного. Пива хорошего не отыщешь, изрядного голландского сыру не спрашивай, уж о добром гамбургском кнастере или старом францвейне[1] и не заикайся. Деревня, братец, деревня!

— Хороша деревенька!

— Велика!.. Да что в этом толку?.. Знаешь пословицу...

— Полно, Мамонов! Ты позоришь Москву, потому что тебе скучно, а скучно оттого, что ты в ней никогда не живал.

— И дай, Господи, никогда не жить! Знаешь ли, Василий Михайлович, чем я отвожу себе душу?.. Одна только забава и есть!.. Ты видел в передней старуху?

— Видел. Кто она такая?

— Самая знаменитая московская сваха, Федосья Игнатьевна по прозванию Перепекина.

— Сваха? Да разве ты хочешь жениться?

— И не думаю... Ну, брат, видно, здесь в Москве залежалых-то невест довольно. Недели две тому назад Игнатьевна явилась ко мне от какой-то вдовушки, которая видела меня у Гутфеля, и с тех пор отбою нет: что ни день, то новая невеста.

— И это тебя забавляет?

— А как же! Во-первых, каждый день смотр: то в том приходе, то в другом. Я, разумеется, всегда невесту отбракую, Игнатьевна разгневается, я начну ее поддразнивать, она примется меня ругать — потеха, да и только!.. А сверх того, если я проживу здесь месяца три или четыре, так уж верно всех московских невест поодиночке переберу; коли сам не женюсь, услужу приятелю. Да не хочешь ли, Симский, я тебе как раз невесту найду?

— Нет мой друг, моя невеста не здесь.

---

[1] Французское вино (от *нем.* Franzwein).

— А где же?

— Да Бог знает. Может быть, в чистом поле, а может статься, и под какою-нибудь турецкой фортецией: булатная сабля, свинцовая пуля, чугунное ядро — вот мои невесты, Мамонов, других суженых у меня не будет.

— И, полно братец! живой живое и думает. Да что это с тобою сделалось?.. Ты в самом деле грустен... Что ты, любезный, с похорон, что ль?

— Так, ничего... пройдет!

— А вот постой, я тебя развеселю,— сказал Мамонов, отворяя дверь в гостиную.

— Федосья Игнатьевна,— закричал он,— милости просим сюда!

Игнатьевна вошла в комнату, перекрестилась на икону и поклонилась низехонько хозяину и гостю.

— Садись-ка, любезная,к нам поближе,— продолжал Мамонов, указывая ей на порожний стул.

— Присяду, батюшка, присяду! — молвила Игнатьевна, садясь.— Не прогневайся, езды-то у меня много, а коней всего одна бессменная пара, да и так уж старенька, шестой десяток служит.

— Ну что ж, Федосья Игнатьевна, поговорим-ка о деле.

— Да как же это, кормилец, у тебя гость?

— Ничего, это мой задушевный друг: при нем все можно говорить.

— Так, батюшка, так!.. Ну что, сударь, ты вчера, как обедня отошла у Николы в Пыжах, изволил быть на паперти?

— Как же! Ведь ты меня видела?

— А видел ли ты, мой сокол ясный, барышню, с которой я шла рука об руку?

— Что ж, эта барышня та самая невеста, о которой ты мне говорила?

— Да, батюшка, да!

— Видел.

— Что, мое красное солнышко, правду ли я тебе сказала — красавица!

— Кто?.. Эта барышня? Эх, Федосья Игнатьевна, ну не грешно ли тебе так людей морочить? Что она за красавица?.. Набелена, нарумянена...

— Без этого нельзя, сударь: дело девичье... Да она и так, Бог с нею, такая белолицая, румяная, что и сказать нельзя!

— Нос в пол-аршина.

— Уж и в пол-аршина!.. Что ты, кормилец!.. Нос как нос, поменьше твоего будет.

— Я, Игнатьевна, дело другое: я мужчина и человек рослый, а она девица и собой-то больно невеличка.

— А что ж тебе, батюшка, Сухареву башню, что ль?

— Да воля твоя, Игнатьевна, по мне лучше Сухарева башня, чем этакий недоросток. Я жену в кармане носить не хочу.

— В кармане? Не упрячешь, батюшка!!

— Она же, кажется, на левую ножку изволит прихрамывать.

— Прихрамывать? Что ты, батюшка, перекрестись!

— И глазки-то у нее... не прогневайся, любезная...

— Что глазки?

— Да так! Немножко врозь посматривают.

— Что, что?.. Так она, по-твоему, коса?

— Есть грешок, Игнатьевна.

— Коса!! Да что ты, сударь, вчера до обедни-то не хлебнул ли?

— Двух передних зубков, кажется, нет.

— Тьфу ты, окаянный этакий! — вскричала старуха, вскочив со стула.— Да что ж ты, в самом деле, всех моих невест цыганишь, что я тебе дура, что ль, досталась?

— Ну, полно, Федосья Игнатьевна, не гневайся! — сказал Мамонов, усаживая ее опять на стул.— На-ка вот тебе за труды,— продолжал он, подавая ей два рублевика.— Что ж делать, коли мне так показалось.

— Показалось! — повторила Игнатьевна все еще несколько сердитым голосом.— Вишь, какой зубоскал!.. Чего тут показаться?.. Благо ты господин-то добрый и тороватый, а то бы я давно перестала к тебе жаловать!.. Вот то-то и есть: дали вам повадку, голубчики!.. Бывало, в старину, хочешь верь, хочешь не верь, а уж невесты тебе не покажут. Видишь, что выдумали: изволь товар лицом продать!.. А кто на вас угодит?.. То не так, другое не этак... Ох вы, баловники этакие!

— Да ведь так-то лучше, Федосья Игнатьевна. Теперь жених пеняй на себя, а прежде, бывало, за все отвечает сваха. Что, любезная, скажи-ка правду: чай, тебе иногда доставалось на орехи?

— Ну, конечно, батюшка, всяко бывало. Уж наше дело таковское. Бывало, угодишь, так матушке Федосье Игнатьевне челом; а не угодишь — так старую чертовку Игнатьевну позорят на чем свет стоит.

— А этак, случится, и потасовку зададут?

— Кому, сударь? Мне?.. Нет, батюшка, велико бесчестье заплатишь!.. Я ведь не посадская баба какая; мой покойный муженек служил поддьяком в холопьем приказе; ему подчас и бояре кланялись. И кабы не бедность моя, не стала бы я по вашей братье шататься... Ну что, молодец, так эта невеста тебе не люба?

— Нет, Федосья Игнатьевна, подавай другую.

— Подавай другую!.. Эва как поговаривает!. Да разве невесты-то блины?.. Подавай другую!

— На-ка вот тебе еще рублевик... Полно, голубушка, не скупись: что есть в печи, все на стол мечи!

— Спасибо, кормилец, спасибо!.. Ах ты, мой сокол ясный! Хотелось бы мне тебе послужить... Да ты, Андрей Степанович, человек-то бедовый!.. Видишь, какой привередник!.. Ну, так и быть — скажу! Уж только и ты, батюшка, не забудь меня, старуху. Есть у меня на примете невеста — и хороша, и пригожа, девица рослая, не то чтобы очень дородная, а этак, знаешь, наливное яблочко: свежая, румяная, глаза голубые, брови черные... Да это еще ничего,— богатство-то какое!.. Покойный ее батюшка тридцать лет сряду был якутским воеводою, а ведь там воеводам житье! От царя земного далеко, а царь небесный грешников милует, так делай что хочешь — своя рука владыка. Ты, чай, изволишь знать, Сибирь-то золотое дно. Там, говорят, из черных соболей нагольные тулупы носят, а простых куниц никто и даром не берет, так есть около чего ручки погреть!.. Да он таки и понагрел их, дай Бог ему царство небесное! Легко вымолвить: тридцать годов на воеводстве просидел!.. А дочка-то у него однаодинехонька осталась, делиться не с кем... Ну, что?. Неужели ты, кормилец, и эту невесту охаешь?

— А вот как посмотрю.

— Тебе бы все смотреть!

— Нельзя без этого, Игнатьевна... Э, да постой, любезная!.. Давно хочу тебя спросить: я недели две тому назад познакомился на ассамблее у Стрешневых с одной барыней — не знаешь ли ты ее? Аграфена Петровна Ханыкова...

— Как, сударь, не знать!.. Я у нее зачастую бываю. Приношу всякую всячину: то кружева и ленточки, то шелковые платочки. Ведь я человек бедный, батюшка, всем промышляю. Да что ты о ней изволишь спрашивать? Разве она овдовела?

— Нет, Игнатьевна: с ней живет племянница.

— Ольга Дмитриевна?. Вишь, ты какой!.. Губа-то у тебя не дура, батюшка!

— А что?

— Как что? Да Ольга Дмитриевна не то что всякая другая, это, сударь, нещечко! Собой красавица, богатство большое, родство знатное, ни отца ни матери... Нет Андрей Степанович, тут взятки-то гладки!

— И, полно, Игнатьевна! Коли Ольга Дмитриевна невеста...

— Невеста, сударь, невеста, да только не твоя.

— А почему ж не моя?

— Да потому, батюшка, что она уж просватана.

Симский побледнел.

— Просватана?—повторил Мамонов.—За кого?

— Ох, молодец, крепко-накрепко заказано не сказывать... А я все-таки скажу... назло ему скажу... скряга этакий!.. Я, батюшка Андрей Степанович, часто хаживала к одному богатому женишку, князю Андрею Юрьевичу Шелешпанскому; его уж давно разбирает охота жениться, и он также куда браковал невест; да только не так, как ты, кормилец: он все добивался богатой невесты. Вот я, сударь, и приискала ему одну купеческую дочку—лет этак под сорок и собою некрасива: рябая, черномазая... да зато вся в жемчугах; у отца чугунные заводы, рыбные ловли в Астрахани и всего только две дочери. Сегодня поутру я зашла об этом поговорить с князем Андреем Юрьевичем, а он мне и слова не дал выговорить. «Спасибо, дескать, Игнатьевна, за твою службу и труды, а я уж покончил; мой двоюродный братец, Лаврентий Никитич Рокотов, высватал мне богатую невесту. Вчера по рукам ударили, а на Фоминой будет и свадьба».—«Ах, батюшка,—молвила я,—да дай же порадоваться твоей радости,—скажи мне имечко нареченной; может статься, и я ее знаю». Князь Андрей Юрьевич учал отнекиваться, а я все приставала. Вот он помялся, помялся, да и сказал мне, что Максим Петрович Прокудин выдает за него племянницу свою, Ольгу Дмитриевну Запольскую и что уж это дело совсем поконченное. Как я стала с ним прощаться, так говорю ему: «Батюшка, милостивый князь, я много для тебя потрудилась, не одну пару чеботов истоптала и денно и нощно заботилась о том, как бы тебе угодить, не забудь же теперь меня на такой радости,—пожалуй мне, старой сиротинке, хоть что-нибудь на хлебец!» Ах, батюшки, как его, сударь, стало коробить!.. Инда в пот ударило! Учал он ходить по комнате и туда и сюда, гляжу: пошел к себе в чуланчик... Уж он там шарил, шарил!.. Вот

изволит опять идти — такой красивый, так и пышет! Подошел, да и сунул мне в руку... что ж ты думаешь, кормилец?.. Полтинник!.. Да еще проткнутый,— видно, с какой-нибудь мордовки! «На, дескать, Игнатьевна, у меня его не берут, а ты везде шатаешься, у тебя с рук сойдет».

— Неужели ты, Федосья Игнатьевна, взяла?

— Что ты, батюшка! Я этот дырявый полтинничек положила ему на стол, низехонько поклонилась да сказала: «Прими, батюшка, Христа ради!», а сама и вон. Вот, сударь, скряга-то! .

— Да, хорош! И за него выдают Ольгу Дмитриевну!

— Что ж делать! Андрей Степанович богат, природный князь и, нечего сказать, собою молодец.

— Право?

— У, батюшка!.. Детина такой ражий, дородный... что вы, молодцы! Обоих-то вас сложить, так его одного не будет.

— Вот как!

— Да, сударь, да!.. Не будь он такой скула, так нечего сказать, жених недюжинный!.. Э, да что толковать об этом шмольнике. Ты мне лучше скажи, батюшка, хочешь, что ль, посмотреть воеводскую-то дочку?

— Как же, Игнатьевна, хочу.

— Так изволь, сударь, знать, что она завтра будет у Троицы на Кулишках, после ранней обедни, милостыню нищим раздавать, и я с ней вместе буду.

— У Троицы на Кулишках! Где ж это?

— Ничего, батюшка, я твоему Федоту растолкую, так он тебя прямехонько довезет. Ну, мое красное солнышко,— промолвила Игнатьевна, вставая,— заболталась я с тобой!.. А дела-то у меня, дела, Господи Боже мой!.. Прощенья прошу, батюшка! Смотри же, не забудь, завтра после ранней обедни...

— Небойсь, Федосья Игнатьевна, не забуду. Прощай, любезная!.. Ну что,— продолжал Мамонов, обращаясь к своему гостю.— Какова моя сваха?.. Э, да ты никак стал еще грустнее!.. Что это с тобой?

— Так, что-то нездоровится.

— Катайся больше, любезный, так все пройдет. Знаешь ли что, Симский, приезжай завтра ко мне пораньше, поедем вместе смотреть воеводскую дочку.

— Нет, Мамонов, я сегодня в ночь или завтра чем свет уеду отсюда.

— Сегодня? Да ведь ты хотел пробыть в Москве еще дня два или три.

— Ни за что на свете!

— Что, брат, видно, правду говорил, видно, Москва-то не Санкт-Петербург?

— Да, мой друг! Мне скучно, мне тошно здесь... так душа и рвется! Скорей бы туда, где пули посвистывают и люди валятся как снопы!.. Вот как, Бог даст, догоню наш полк да под турецкими ядрами почерпну водицы в Дунае, так авось тогда на душе-то у меня будет повеселее. Прощай, Мамонов!

— Прощай, Симский,— сказал Мамонов, обнимая своего приятеля.— Коли Господь поможет тебе отличиться, так вспомни, друг сердечный, и пожалей обо мне. Я бы от тебя не отстал.

На другой день, рано поутру, из Калужских ворот выехала на Серпуховскую дорогу лихая ямская тройка. В открытых пошевнях лежал закутанный в медвежью шубу Симский, впереди на облучке сидел денщик его, Демин.

— Ну, что ж вы стали поперек дороги? — закричал ямщик, сдерживая лошадей.

Симский приподнялся. В пяти шагах от него стоял большой возок, двое слуг помогали кучеру перепрягать коренную лошадь.

— Возьми полевее,— сказал Симский,— их не переждешь.

Когда ямщик, своротя в сторону, поравнялся с возком и Василий Михайлович взглянул на открытое окно, из которого выглядывала какая-то барыня, то вся кровь его прилила к сердцу; эта барыня была Ольга Дмитриевна Запольская; подле нее сидел Максим Петрович Прокудин.

— Ну что ж ты? — сказал Демин ямщику.— Коли выбрался на торную дорогу, так ступай!

— Эй вы, соколики! — гаркнул ямщик.

Рысистая коренная легла в гужи, отлетные подхватили, и снежная пыль вихрем закрутилась из-под копыт удалых коней.

IX

Мы должны теперь расстаться на некоторое время с Василием Михайловичем Симским и воротиться опять в Москву. В то самое утро, когда Симский так неожиданно повстречался на большой дороге с Ольгой Дмитриевной, но только гораздо позднее, Аграфена Петровна

Ханыкова сидела у себя в гостиной с Ардалионом Михайловичем Обиняковым. Я думаю, читатели не забыли еще этого худощавого господина, которого люди неблагонамеренные называли приказной строкою, нахлебником, переметной сумой и даже подозревали, что он «язык», то есть тайный доносчик, готовый при случае *оговорить* и выдать руками своего родного брата. Разумеется, Аграфена Петровна не знала ничего об этом и, по случаю одного тяжебного дела, очень часто советовалась с Ардалионом Михайловичем как с человеком знающим и деловым.

— Так вы, батюшка, полагаете,— говорила она,— что, этак месяца через два, наше дело должно решиться?

— Да, Аграфена Петровна, по всему бы так следовало. Крепостные записи и межевые книги вами представлены, все справки собраны, и задержек формально никаких нет, а все-таки, может статься, дело ваше протянется. Слабенько вы изволите действовать, матушка Аграфена Петровна!

— Да что ж прикажете мне делать?

— Всякая тяжба, сударыня, требует хождения. Теперь дело поступило в отчинную коллегию,— так что ж зевает ваш поверенный? Надо попросить.

— Да я сама ездила к президенту, просила его...

— И, сударыня!.. Что президент!.. Дела-то вершат не президенты, а секретари.

— Что вы, Ардалион Михайлович! Хоть я и женщина, а все-таки кой-что знаю: у секретарей и голосов нет.

— Так, сударыня, так! Только вот что, когда вы изволите играть, примером сказать, на гуслях, так голосто подают они, а все-таки сила не в них, а в вас: что вы захотите, то они и заиграют.

— Так, по-вашему, Ардалион Михайлович, и председатель и судьи...

— Гусли, сударыня, гусли!.. Ну, Аграфена Петровна, не прогневайтесь, я вижу по всему, что ваш поверенный вовсе приказного порядку не знает и, кажись, дело-то без меня не обойдется.

— Ах, сделайте милость!

— Вот изволите видеть, матушка Аграфена Петровна, надобно, во-первых, одарить секретаря, у которого в руках ваше дело; не мешает также и протоколиста подмазать, чтоб оно ходче пошло; а там еще кой-кому: регистратору, актуариусу; так, может статься, и ближе

двух месяцев эта тяжба кончится в вашу пользу. Да уж положитесь во всем на меня, Аграфена Петровна, я это дельце обработаю... Не извольте только забывать одного, матушка: коли плохо сеешь, так и жатва бывает плоха.

— Андрей Степанович Мамонов приехал,— сказал слуга, войдя в комнату.

— Ты сказал, что я дома?

— Сказал, сударыня.

— Так делать нечего — проси!

— Здравствуйте, государыня моя Аграфена Петровна! — сказал Мамонов, входя в гостиную и кланяясь хозяйке.— Зело радуюсь, что нахожу вас в вожделенном здравии.

— И я также, государь мой Андрей Степанович,— отвечала Ханыкова, вставая,— с великой сатисфакциею вижу, что и вы совершенно здоровы, в чем я, признательно скажу, начинала уже сомневаться. В последний раз, на ассамблее у Стрешневых, вы дали мне ваш пароль [1] посетить меня, и вот уже скоро две недели...

— Прошу экскузовать меня, Аграфена Петровна: я несколько раз хотел к вам презентоваться [2], но все это время так был занят службою...

— То есть гуляли, веселились... Ну, да Бог вас простит!.. Прошу покорно садиться!

Обиняков взглянул исподлобья на Мамонова, лукаво улыбнулся и взялся за свою шапку.

— А вы куда, Ардалион Михайлович? — сказала Ханыкова.— Побудьте с нами.

— Коли вам это угодно, Аграфена Петровна,— промолвил Обиняков с той же самой двусмысленной улыбкою,— так я с моим удовольствием!.. Мне торопиться некуда.

— Я приехал к вам, государыня моя,— сказал Мамонов, садясь подле хозяйки,— во-первых, для того, чтоб отдать вам мой всенижайший респект [3], а во-вторых, чтоб поздравить...

— Поздравить? С чем?

— Как с чем? Ведь ваша племянница, Ольга Дмитриевна, выходит замуж.

---

[1] Слово (от *фр.* parole).
[2] Явиться (от *фр.* présenter).
[3] Почтение (от *фр* respect).

— Оленька выходит замуж! С чего вы это взяли?

— Я слышал от верных людей.

— Помилуйте! Да ее даже нет и в Москве: она уехала в деревню к своему родному дяде, Максиму Петровичу Прокудину.

— Может быть, Аграфена Петровна, вам не угодно разглашать о помолвке Ольги Дмитриевны и я поступаю весьма неполитично, говоря об этом, но, воля ваша, когда сам жених объявляет, что дело уже кончено...

— Сам жених!.. Ах, Боже мой! Да неужели в самом деле Максим Петрович, не сказав мне ни слова, просватал племянницу?

— И я также, сударыня,— прервал Обиняков,— слышал кой-что об этом стороною.

— Что вы говорите?!

— Я ужинал вчера у Лаврентия Никитича Рокотова, а у него был князь Андрей Юрьевич. Они изволили немного подгулять, и Лаврентий Никитич, этак между речей, проговаривал, что свадьбы дальше Фоминой недели откладывать не должно, а то, дескать, чего доброго, тетушка как-нибудь и разобьет. От этой, дескать, Аграфены Петровны Ханыковой все станется. А ведь, кажется, сударыня, окромя вас никакой Аграфены Петровны Ханыковой в Москве нет, а у вас одна только племянница Ольга Дмитриевна.

— Возможно ли! Так это правда?

— Видно, что так.

— Да за кого же ее выдают?

— За какого-то князя,— сказал Мамонов.— Вспомнить не могу... Шпанского!.. Гишпанского...

— Должно быть,— прервал Обиняков,— за князя Андрея Юрьевича Шелешпанского.

— Да, точно так!

— Ах, бедная Оленька!— вскричала Ханыкова, всплеснув руками.— Да ведь этот Шелешпанский совершенный мужик, дурачина!..

— Так вы его знаете?— спросил Мамонов.

— Я только один раз его видела. Года два тому назад он приезжал к нам торговать деревню. Господи Боже мой!.. Что за фигура, какие ухватки! А уж глуп-то как!. Представьте себе: для первого знакомства стал нам рассказывать, как у него украли ветчину, а там принялся хвастаться своим конским заводом, да такие речи начал говорить, что я из комнаты вон ушла... И я должна буду называть этого человека моим племянником!

— А почем знать, Аграфена Петровна? Ведь насильно венчать никого нельзя; и если этот жених не понравится Ольге Дмитриевне...

— Так она будет втихомолку плакать, зачахнет с горя, а все-таки выйдет за него замуж. Вы не знаете Оленьки: ведь это ангел во плоти; ей и в голову не придет, что она может не повиноваться своему дяде. Оленька же привыкла его любить и почитать как отца родного...

— Да что ж это вздумалось вашему братцу? Неужели он не мог найти лучшего жениха для своей племянницы?

— Женишок-то, сударь, хорош,— прервал Обиняков,— четыре тысячи душ.

— Нет, тут есть что-нибудь другое,— подхватила Ханыкова.— На одно богатство Максим Петрович никогда бы не польстился.

— Богатство само по себе, да ведь не худо и то, сударыня, коли мою родную племянницу станут княгиней величать.

— И, полноте, Ардалион Михайлович! Да что такое князь Шелешпанский?

— Шелешпанский! — повторил Мамонов.— Позвольте, позвольте!.. Да у меня, кажется, в списке есть какой-то князь Шелешпанский.

— В каком списке? — спросила Ханыкова.

— А вот изволите видеть: я здесь прикомандирован к Сенату ради того, чтоб забирать и рассылать по полкам всех дворян, которые или вовсе еще не служили, или еще в силах продолжать службу. По этой-то оказии и выдан мне регистр разным лицам, и, помнится, в числе их... Да вот постойте — я посмотрю...

Мамонов вынул из кармана исписанный кругом лист бумаги и начал читать про себя.

— Ну да,— вскричал он,— так и есть: «Князь Андрей Шелешпанский, тридцати осьми лет, по разрядам писан был в московском жилецком войске новиком, проживает в своих отчинах и бывает наездом в Москве». Ну что — он ли это?

— Он и есть,— сказал Обиняков.

— Так не беспокойтесь, Аграфена Петровна,— продолжал Мамонов,— что будет впереди, я не знаю, но по крайней мере теперь этому князю Шелешпанскому жениться будет некогда. Да что, он в Москве? — промолвил Мамонов, обращаясь к Обинякову.

— Как же! Я с ним вчера ужинал у Лаврентия Никитича Рокотова.

— А где он живет?

— Кто, сударь? Лаврентий Никитич?

— Нет, этот князь Шелешпанский?

— А кто его знает! Чай, где-нибудь на подворье... Помнится, он всегда останавливается по Троицкой дороге, у Креста.

— Да это все равно. Я завтра же велю его отыскать и сообщить ему, чтоб он ко мне явился.

— А что ж после будет? — спросила Ханыкова.

— Известное дело: коли еще молод и здоров, так послужи, голубчик!

— А где ж он будет служить?

— Да не опасайтесь, Аграфена Петровна, в Москве не останется. Я слышал, что он молодец собою.

— Да, сударь, — сказал Обиняков, — князь Шелешпанский человек рослый, повыше вас будет.

— Так, может статься, и к нам в Преображенский полк попадет, а не то в драгуны или в бомбардирскую роту. Не беспокойтесь, найдем место.

— Что ж, его примут офицером? — спросила Ханыкова.

— Из новиков да прямо в офицеры — помилуйте! За что? Послужит и солдатом.

— Ах, бедненький!

— Ну вот уж вы о нем и жалеть стали.

— Да как же, Андрей Степанович: подумаешь, человек богатый, привык жить барином, и вдруг — ступай, служи солдатом!

— Что ж делать, Аграфена Петровна. Я, кажется, ничем его не хуже, а годика три солдатом прослужил.

— Да вы еще были тогда очень молоды, а этому князю Шелешпанскому под сорок лет.

— Вольно ж ему было до сих пор лежать на боку. Да вы не горюйте о нем, Аграфена Петровна: служба пойдет ему впрок. Он, по вашим словам, и совершенный мужик, и дурачина, а посмотрите, как мы его вышколим, — не узнаете! Будьте спокойны, Аграфена Петровна, — примолвил Мамонов, вставая, — я этим делом займусь.

— Вы уж едете? — сказала Ханыкова, также вставая.

— Мне еще надобно кой-где побывать. Да сделайте милость, государыня моя, — продолжал Мамонов, очень вежливо и с большою ловкостию, пятясь назад спиною, —

не извольте принимать для меня никакой фатиги![1] Останьтесь, прошу вас!

— Как это можно, Андрей Степанович,—это моя облигация[2]: я хозяйка, а вы мой гость.

— Вы меня конфузите, сударыня! Да, по крайней мере, не извольте провожать так далеко.

— Помилуйте, что за далеко! Разве вы не знаете пословицы: «Для дорогого гостя и семь верст не околица»?

— Всенижайше прошу вас... без проводов, Аграфена Петровна!..

Однако ж Аграфена Петровна проводила своего гостя до самой передней.

— И вы также едете, Ардалион Михайлович?—сказала она Обинякову, который повстречался с нею в дверях гостиной.

— Пора, сударыня, время обеденное; чай, жена давно уж меня дожидается.

— Ну, Бог с вами, только смотрите же, не забудьте о моей тяжбе.

— Как это можно! Я на этих днях непременно у вас побываю.

— Сделайте милость!

Обиняков отправился, но только не к себе на Берсеньевку, а в Зарядье, к Андрею Юрьевичу Шелешпанскому, который никак не подозревал, что над его беззащитной головою сбирается такая ужасная гроза. Этот потомок удельных князей Белоозерских останавливался обыкновенно в одном из самых худших постоялых дворов Зарядья. Он занимал три небольших покоя, или, вернее сказать, одну грязную, запачканную комнату, разделенную натрое дощатыми перегородками. Первая комната служила лакейскою для двух холопов, которые, судя по их тощей наружности, были великие постники; во второй—князь Андрей Юрьевич принимал своих гостей, а в третьей, более похожей на теплый чулан, чем на комнату, он изволил спать ночью и отдыхать после обеда на высокой лежанке, которой недоставало только полатей, чтоб походить совершенно на самую простую крестьянскую печь. Нечаянный приезд Обинякова помешал любимому занятию князя Шелешпанского: он считал свои деньги, отбирал к стороне истертую мелочь и чистил кирпичным порошком серебряные рублевики.

---

[1] Не утруждать (от *фр.* fatiguer).
[2] Обязанность (от *фр.* obligation).

— Ах, батюшка Ардалион Михайлович,— вскричал он.— Как ты меня захватил!.. Сейчас... сейчас!.. Сочту после,— продолжал он, всыпая торопливо деньги в кожаную суму и кладя ее за пазуху.— Что это тебе вздумалось?

— Да надобно кой о чем поговорить с вами.

— Поговорить! О чем? Уж не хочешь ли опять торговать моих саврасых?

— Нет, сударь, дорого просите.

— Дорого?.. Что ты, Ардалион Михайлович, побойся Бога! За эту цену у меня их с руками оторвут. Таких коней на свете мало: трехвершковые казанки — да ведь это диковинка, любезный!.. Им на охотника и цены нет. Вот у меня была — давно уж, еще до покражи моей ветчины — такая же пара, так я взял за нее двести рублев чистоганом, да еще жеребчика в придачу, вот того самого, что я продал Опухтину за персидского аргамака.

— Да не о том речь, князь Андрей Юрьевич. Я приехал с вами поговорить о деле нешуточном. Во-первых, честь имею поздравить вас с невестой...

— С какою невестой?

— А как же?.. Ведь вы женитесь на племяннице Максима Петровича Прокудина.

— Кто это тебе сказал?

— Помилуйте, об этом вся Москва говорит.

— Неужели?.. Да от кого же это вышло?

— Видно, вы сами как-нибудь проговорились.

— Я только сказал об этом одной Федосье Игнатьевне Перепекиной... Ты знаешь ее?

— Сваху Игнатьевну? Как не знать! Ну, батюшка, нашли человека! Да вы бы еще взлезли на Ивана Великого да ударили в успенский колокол!

— Так это Игнатьевна разболтала?.. Ах она чертова тетка!.. А ведь как божилась, проклятая!.. «Никому, батюшка, не скажу, видит Бог, не скажу! Отсохни у меня правая рука по локоть, коли я кому ни есть хоть словечко вымолвлю!» Ну, делать нечего!.. Да и то сказать, пускай себе говорят, что князь Андрей Юрьевич Шелешпанский женится на Ольге Дмитриевне Запольской... Эка беда! Что она, краденая, что ль, какая?.. Невеста богатая...

— Так, сударь, так! Да вот изволите видеть: я сейчас был у ее тетушки...

— Аграфены Петровны Ханыковой?

— Да, князь. Ей при мне об этом сказали... Батюшки светы! Она так на стены и полезла... «Не хочу, да и только!»

— Вот еще! Да ей-то какое до этого дело? Она тут ни при чем.

— Помилуйте, родная тетка!..

— Так что ж? Не приедет ко мне на свадьбу?.. Да пожалуй себе не езди! Кума с возу, возу легче!

— Это бы ничего, князь, да у нее есть приятель, гвардейский офицер, Андрей Степанович Мамонов...

— Эка важность! Велика фря, гвардейский офицерик... Да что он мне сделает?

— Ну, сударь, не говорите! Знаете ли, зачем прислали в Москву этого Мамонова?

— А кто его знает.

— Ему указано от царя забирать и рассылать по полкам всех неслужащих дворян.

— Всех? Как всех?

— Ну, вестимо дело, сиречь тех, которые еще молоды и здоровы, а пуще-то всего молодых дворян, которые писаны были в новиках, а службы никакой не несли.

— Батюшка Ардалион Михайлович,— вскричал князь Шелешпанский, побледнев как полотно,— да ведь этак, пожалуй...

— Да, князь, и до вас доберутся. Этот Мамонов читал мне список дворян, которых потребуют на службу, а в нем и ваше имечко есть.

— Что ты говоришь?

— Был, дескать, писан в московском жилецком войске новиком, тридцати осьми лет; живет, дескать, праздно в своих отчинах и доселе облыжно показывал, что он человек недужный.

— Так и написано?

— Так, сударь. Я поспешил вас об этом уведомить, потому что завтра, а может быть и сегодня вечером, пришлют за вами.

— Неужели пришлют?

— Непременно.

— Ну, а коли я не поеду?

— Нельзя: возьмут насильно.

— Неужели насильно?

— А вы думаете, кланяться вам станут?..

— Ах ты, Господи!.. Вот дело какое!..

— Кажись, этот Мамонов,— продолжал Обиняков,— очень желает угодить Аграфене Петровне. Он при мне

говорил: «Уж вы не беспокойтесь, матушка: князь Шелешпанский не женится на вашей племяннице». Да еще как похвалялся, разбойник! Я, дескать, этого женишка ушлю туда, куда ворон и костей не заносил.

Бледное лицо князя Андрея Юрьевича покрылось багровыми пятнами, холодный пот выступил на лбу; он вскочил со стула и начал как шальной бегать по комнате, повторяя шепотом:

— Куда ворон костей не заносил! Вот тебе на!.. Фу-ты, нелегкая!.. Эка притча, подумаешь!.. Да что же этот проклятый Мамонов говорит,— промолвил он наконец, остановясь напротив Обинякова,— меня опять, что ль, новиком запишут?

— Какие, сударь, теперь новики! Об них давно нет и в помине. Вас запишут в драгуны или в какой ни есть пехотный полк солдатом.

— Как солдатом?

— Да так! Бороду обреют, наденут на вас лямку...

— Солдатом!.. Да ведь солдат-то бьют?

— Бьют, сударь.

— Да ведь этак, пожалуй, не ровен час, и меня палочьем вздуют?

— Вздуют, батюшка.

— Ах ты, Господи!—завопил Шелешпанский.— Отцы мои!.. Сударики!.. Кормильцы!.. Да что ж мне делать?

— Я вам, батюшка князь, объявил об этом заранее, а уж там как сами знаете.

— Постой, Ардалион Михайлович! Знаешь ли что?.. Дай-ка я себе растравлю руку или ногу...

— Так что ж? Вас отвезут в лазарет, сиречь в казенную больницу, а там как раз вылечат.

— Эко дело, подумаешь! куда ни кинь, все клин!.. Да нельзя ли хоть деньгами откупиться?..

— Деньгами? Нет, сударь, не такой человек этот Мамонов, его не подкупишь.

— И что ты, Ардалион Михайлович! Да кто же себе злодей? Станут мне деньги давать, а я не возьму?

— Вы дело другое, сударь: вы человек умный, а этот Мамонов что? шалопай, мотыга,— ему деньги нипочем. Да и что вы ему дадите? Ведь он богаче вас.

— Неужели?.. Ну, пропала моя головушка!.. Коли нельзя и деньгами взять, так делать-то нечего, ложись да умирай!

— Оно конечно,—молвил Обиняков, помолчав несколько времени,— дело-то плоховато... Тут надобно,

чтоб и волки были сыты, и овцы целы... Разве подняться на какие-нибудь хитрости?

— Ах, друг сердечный! — прервал Шелешпанский, — сделай милость, дай, батюшка, ума... приставь голову к плечам!

— Вот то-то, князь Андрей Юрьевич, теперь дай ума, приставь голову к плечам! А как в прошлом месяце я просил у вас взаймы двадцать пять рубликов, так и денег нет!

— Право не было!.. Видит Бог, не было!

— А теперь, кажется, есть: вы при мне считали. Одолжите, сударь, пятьдесят рублей, мне крайняя нужда.

— Да ведь это деньги-то не мои.

— Ну, коли не ваши, так и говорить нечего. Счастливо оставаться, батюшка!

— Постой!.. Куда ты?

— К Аграфене Петровне Ханыковой: она, верно, не откажет мне в пятидесяти рублях, барыня богатая...

— Помилуй, да на что тебе пятьдесят рублей?.. Ну, двадцать пять рублей куда ни шло! — продолжал Шелешпанский, вынимая из-за пазухи мешок с деньгами.

— Премного благодарю, батюшка князь, да мне этого мало, и коли пришлось занимать, так лучше занять у одного приятеля, чем у двоих... Прощенья просим, Андрей Юрьевич!

— Постой, постой! Ну, Ардалион Михайлович, недаром говорят, что ты крапивное семя! На, вот тебе, считай, — промолвил князь, высыпая деньги на стол, — возьми себе пятьдесят рублев... Да ведь ты мне их отдашь?

— Как же, князь! — отвечал Обиняков, отсчитывая себе пятьдесят рублевиков. — Непременно отдам, когда будут деньги... Ну, спасибо вам, князь Андрей Юрьевич, — помогли бедному человеку в нужде! — продолжал Обиняков. — Теперь мы поговорим о вашем деле. Коли забирают на службу всех дворян, так это потому, батюшка, что у нас война с турком, а вот как сделается с ним замирение, так тревожить никого не станут и дела-то пойдут по-прежнему. Нам бы только с вами как ни есть время протянуть, а там, Господь милосерд, все будет шито да крыто. Вся сила в том, князь Андрей Юрьевич, чтобы вы к Мамонову не являлись и чтоб вас, несмотря на это, нельзя было назвать ослушником.

— Да как же ты это сделаешь?

— А вот как: коли вы не знаете, что он вас требует, так вам нечего к нему и являться, — не правда ли?

— Ну, вестимо! Да ведь ты сказал, что за мной пришлют?

— За вами пришлют завтра, а вы уезжайте в деревню сегодня, да только не в ту, в которой всегда живете. Я слышал, что у вас около Москвы много отчин.

— Как же, все мои отчины около Москвы, одних сел до десяти будет.

— И все по разным дорогам?

— Все по разным: и по Тверской, и по Коломенской, и по Серпуховской, и по Владимирке есть, и по Остромынке...

— Ну вот изволите видеть!.. Поезжайте теперь в какую-нибудь отчину, а здесь оставьте верного человека. Лишь только я узнаю, что Мамонов проведал, где вы живете, я к вам тотчас гонца. Незваные-то гости на двор, а ваш и след простыл! «Уехал, дескать».— «Куда?» — «Да Бог весть — не то в Москву, не то в коломенскую отчину». А вы переезжайте в серпуховскую, а коли надобно будет, так в другую, в третью, а там в четвертую,— устанут за вами гоняться. Ну, а если каким ни есть случаем вас и захватят, так что ж? «Я, дескать, не знал, что меня требуют, и от царского указа не прятался; а ездил по моим отчинам». Да и как вас захватить? Я буду здесь сторожить, и коли вы сами зевать не станете, так будь этот Мамонов хоть семи пядей во лбу, а все-таки на своем не поставит. Ему же и без вас дела-то будет довольно, погоняется за вами, а там, глядишь, плюнет да скажет: «Черт его побери совсем!»

— Ну, Ардалион Михайлович, головка-то у тебя...

— Годится покамест, батюшка.

— Только вот что: как же я женюсь? Ведь свадьбе положено быть на Фоминой неделе.

— Здесь, в Москве?

— Нет, в серпуховской отчине Максима Петровича Прокудина.

— Так что ж? Тем лучше: в чужом селе и подавно вас искать не станут. Да еще до Фоминой недели много воды утечет, лишь только бы на первых-то порах вы не попались в лапы этому Мамонову. Известное дело: новая метла всегда чисто метет; теперь он сгоряча и рвет и мечет, а там, Бог милостив, уходится, голубчик! Только уж вы не мешкайте, батюшка, уезжайте скорей из Москвы.

— Чего мешкать... Эй, Фомка!.. Сидорка!

Двое слуг вошли в комнату.

— Скажите Андрону,— продолжал Шелешпанский,— чтоб скорей запрягал лошадей, мы сейчас едем. Ты, Сидорка, поедешь со мною, а ты, Фомка, останься здесь.

— Слушаю, батюшка! — отвечал Фомка с низким поклоном.

— Найми себе какой-нибудь уголочек, да смотри — подешевле! Харчевых я тебе оставлю. Будет с тебя копейки по две на день?

— Воля твоя, государь князь Андрей Юрьевич.

— Чего ж еще тебе?.. Скоро пост. Был бы только хлеб, а за водой и сам на реку сходишь. Смотри, каждый день являйся к Ардалиону Михайловичу и что он тебе прикажет, то и делай — слышишь?

— Слушаю, батюшка.

— Ну, ступайте же, помогайте Андрону запрягать лошадей, а я стану здесь укладываться. Да у меня смотри — живее!

— Прощайте, князь Андрей Юрьевич,— сказал Обиняков, вставая,— мы, кажется, все порядком уладили, теперь вам бояться нечего.

— Нет, Ардалион Михайлович, боюсь, крепко боюсь!.. Как подумаю об этом Мамонове, так меня вот так трясучка и начнет бить... У, батюшки, страсть какая! Пожалуй, еще пошлют под турка...

— Вестимо дело! Теперь с ним война, об этом уж и манифест объявлен.

— А ведь там, говорят, людей-то до смерти бьют.

— Да, батюшка, по головке не гладят.

— Вот то-то же!.. Уж ты сделай милость, Ардалион Михайлович, не зевай ради Бога! Лишь только узнаешь что-нибудь, мигом посылай ко мне Фомку.

— Да куда ж посылать-то?

— По Смоленской дороге, в село Сысоево: я теперь туда поеду.

— Так оставьте ж ему деньги на езду.

— Зачем? Дойдет и пешком: ведь всего только пятьдесят верст.

— Ну вот еще!.. Он пойдет пешком, а команда от Мамонова поедет на подводе,— что вы это!

— Да ведь он у меня ходок.

— Эх, князь, вот нашли время алтынничать. Ведь дело-то нешуточное!

— Ну, хорошо, хорошо!

— Прощенья прошу, князь Андрей Юрьевич... Ну что, сударь, послужил ли я вам?

— Как же, любезный! — сказал Шелепшанский, посматривая с горем на свой кожаный мешок с деньгами.— Ах ты, мошенник этакий! — прошептал он, когда Обиняков вышел вон из комнаты.— Послужил!.. Ну за что содрал с меня пятьдесят рублей?.. Отдам, дескать, когда деньги будут! Да когда у тебя деньги-то бывают, голь проклятая!.. А там еще для Фомки лошадей нанимай, плати за его харчи... Вот не было печали, да черти накачали! — промолвил князь Андрей Юрьевич, начиная укладывать в чемодан свое добро.— Эка притча какая!.. Копишь, копишь деньги: не доешь, не допьешь, сбираешь по копеечкам; а как пришла беда, так рубли нипочем!.. Ну, нечего сказать, выдался денек!

Часть вторая

I

«Летом деревня — рай»,— говорят все любители сельского быта, и в этом я с ними совершенно согласен; разумеется, если деревня, в которой я провожу лето, окружена рощами, а не голою степью, и перед моим веселым домиком расстилается не грязный, подернутый зеленью пруд, но изумрудный луг, усыпанный цветами, между которыми вьется игривая и светлая речка. О, конечно, такой сельский приют не грешно назвать земным раем, только не приведи Господи жить в этом раю зимою, а особливо человеку несемейному. Если он не умрет со скуки, то, уж конечно, можно сказать утвердительно, что люди от скуки не умирают. Вот, например, ночью подымется непогода; вы просыпаетесь поутру, протираете глаза и думаете: «Неужели еще ночь?» Нет, на дворе уж полдень,— да ваш дом занесло метелью, и огромные сутробы снега лезут к вам прямехонько в окна. Если иногда проглянет солнышко и улыбнется по-летнему,— не спешите к нему навстречу, потому что на дворе уж верно трескучий мороз. Полюбуйтесь этим солнышком сквозь двойные стекла и оставайтесь попрежнему в натопленных комнатах, в которых мы все,

как тепличные растения, должны прозябать большую часть нашей жизни. Если, наконец, вам надоест это искусственное тепло и вы захотите подышать свежим воздухом, надевайте на себя шубу, шапку, теплые сапоги и ступайте гулять, то есть ходить взад и вперед по утоптанной тропинке, которая ведет от барского дома к селу. Вероятно, эта прогулка не принесет вам большого удовольствия,— напротив, вам сделается очень грустно. Посмотрите вокруг себя: неужели эти голые, огромные метлы были когда-нибудь роскошными пушистыми деревьями, под тенью которых вы с таким наслаждением отдыхали в знойный полдень? Неужели это однообразное белое поле, эти наносные бугры снега, эти непроходимые сугробы — тот самый луг, на котором вы рвали цветы? А эта изгибистая дорожка, прорезанная глубокими колеями, та самая речка, в которой вы купались несколько месяцев тому назад? Согласитесь, что лучше сидеть дома, в теплой комнате, чем мерзнуть и смотреть на эти мертвые деревья, засыпанные снегом поля и это безжизненное солнце, которое, вместо тепла, обдает вас холодом. Но что ж вы будете делать дома? Читать беспрестанно нельзя: и голова устанет, и глаза заболят; а общества в деревне нет. Бывают иногда соседи, да и тут беда: на одного умного, приятного собеседника заберется к вам с полдюжины таких приятелей, для которых в городе ваши двери были бы всегда заперты, а тут отворяйте их настежь. Деревенский быт имеет свои собственные условия и законы. В городе вы можете одного гостя принять, а другому сказать, что вас нет дома,— попытайтесь это сделать в деревне... Да сохрани Господи! Вас закидают каменьями!.. Нет, круглый год жить в деревне можно только там, где солнце греет и зимой, где я могу и в декабре месяце открыть окно, сорвать на лугу цветок, покататься в лодке и отдохнуть под тенью густого дерева, покрытого зелеными листьями.

Вероятно, в старину зимняя деревенская жизнь была еще скучнее. Наши предки не знали этих отрадных минут, которыми дарят нас умственные занятия: словесность, музыка и все изящные художества; ничем не сокращаемые длинные зимние вечера должны были им казаться бесконечными. Вы можете судить поэтому, как весело было жить Ольге Дмитриевне в деревне Максима Петровича Прокудина. Бедная девушка тосковала, как ручная птичка, которая побывала на воле, полетала под открытым небом, полюбовалась на свет Божий и потом

попала опять в ту же самую тесную клетку, в которой томилась почти со дня своего рождения. Чтоб не зачахнуть с тоски, она старалась забыть о своем настоящем положении; изредка, да и то с какою-то безнадежной грустью, мечтала она о будущем; но зато беспрестанно думала о прошедшем, то есть о том счастливом времени, которое она провела в Москве, у своей тетки. Как часто, сидя за рукодельем, она переносилась мыслию на эти веселые ассамблеи Гутфеля, у которого в первый раз встретился с нею Василий Михайлович Симский. «Где он теперь? — думала Ольга Дмитриевна. — Помнит ли меня?.. Ах, нет! Чай, давно уж забыл!.. И зачем ему обо мне помнить? Может быть, мы уж век не увидим друг друга... Да и мало ли на белом свете девиц милее и пригожее меня... И что это мне казалось, что будто бы он... Да нет, если бы я пришла ему по сердцу, так уж верно бы он за меня посватался... Правду говорила тетушка: «Эти гвардейские офицеры — что им! Им бы только в Москве погулять, повеселиться да посмеяться над бедными московскими барышнями...» Так зачем же я беспрестанно о нем думаю? Отчего он мерещится мне и днем и ночью? Может быть, он теперь ухаживает за какой-нибудь красавицей... смотрит ей в глаза... любуется ею, а я... О, слава Богу, что это моя заветная тайна!.. Ну, если б кто узнал об этом? Избави Господи!.. Да мне бы тогда стыдно было и на людей смотреть!.. Нет, не стану о нем думать — забуду его!..» — повторяла про себя Ольга Дмитриевна, потом начинала плакать, тосковать и принималась снова думать о Симском.

В летнее время крутом Максима Петровича Прокудина жило много соседей. В десяти верстах от него была отчина Лаврентия Никитича Рокотова, несколько подалее — поместье Герасима Николаевича Шетнева и в весьма близком расстоянии пять или шесть господских усадеб, принадлежащих по большей части богатым помещикам; но зимою они все уезжали в Москву, за исключением только двух, которые жили безвыездно в своих деревнях. Один из них, бывший некогда комнатным стольником царя Алексея Михайловича, — Антон Кондратьевич Чередеев, дряхлый старик, разбитый параличом; другой — помещик тридцати душ, Карп Саввич Пыжов, служивший при царе Федоре Алексеевиче городским дворянином в Серпухове, лысый старик, весьма некрасивой наружности, не слишком грамотный, но человек очень добрый

и простодушный. Этот мелкопоместный дворянин вместе с приходским священником села Вздвиженского, отцом Филиппом, составляли зимою единственное общество Максима Петровича. К ним можно было присоединить и дворецкого, Прокофия Сидорыча Кулагу, который принимал иногда участие в общих разговорах, играл в шашки с барином, толковал с Карпом Саввичем Пыжовым о старине и осмеливался даже, как человек начитанный, рассуждать с отцом Филиппом о разных духовных предметах, в особенности о древних церковных книгах, которым он, несмотря на свое православие, отдавал явное преимущество перед новыми. Ольга Дмитриевна редко находилась при этих беседах. Она тотчас после обеда уходила в свою комнату, сначала принималась за работу, а там, покинув свое рукоделье, сидела иногда по нескольку часов сряду в каком-то забытьи и думала, разумеется, о том, о чем столько раз зарекалась думать. Так прошел весь великий пост. Вот, наконец, «эта седая чародейка», русская зима, понатешилась вдоволь; повеял весенний ветерок, зашумели снежные потоки, вода хлынула с гор, и все поля покрылись бесчисленным множеством быстрых ручейков. Вот появился первый гость весны, голосистый жаворонок, и начал перепархивать с одной проталинки на другую. Прошло еще несколько дней, и настал великий праздник Божий, и весь русский мир закипел жизнию и весельем. Казалось, что вместе с Христовым воскресеньем воскресло все — и люди и природа. Холмы опушились зеленью, озимые поля, сбросив свой снежный покров, разостлались роскошными коврами. На всех лицах сияла радость, все дышало любовью, и все, встречаясь друг с другом и восклицая: «Христос воскресе», обнимались, как родные братья.

В светлое воскресенье Максим Петрович, по старинному русскому обычаю, разговелся за одним столом со всеми своими *домочадцами*, потом вышел с Ольгой Дмитриевной на крыльцо, поклонился всему *миру*, который собрался на его барский двор, и перехристосовался поодиночке со всеми крестьянами, из которых каждый принес своим господам по красному яичку. К обеду Максим Петрович поджидал своего соседа Пыжова, но он не приехал. На другой день праздника, когда Прокудин садился за стол вдвоем со своей племянницей, Карп Саввич вошел в столовую.

— А, соседушка любезный,— вскричал Максим Петрович,— Христос воскресе! Милости просим откушать нашего хлеба и соли!

Пыжов облобызался с Прокудиным, с Ольгой Дмитриевной, со всеми служителями, которые на ту пору были в комнате, перекрестился и сел за стол.

— Что это, друг сердечный,— сказал Максим Петрович,— за что такая немилость? Когда это бывало, чтоб ты не обедал у меня в светлое воскресенье?

— Что ж делать, батюшка! — отвечал Пыжов, кушая, с прохладой и с расстановкою, сытную похлебку из гусиных потрохов.— Я и сам не чаял этого. Уж я отговаривался, отговаривался, да он пристал ко мне, как с ножом. «Ты, дескать, мой прихожанин, зачем тебе ехать к Максиму Петровичу? Разговейся у меня, а к нему и завтра поедешь».

— Да о ком ты говоришь?

— О Лаврентии Никитиче Рокотове.

— Как? Да разве он здесь?

— Здесь, батюшка. Третьего дня изволил приехать в свою отчину и завтра собирается к тебе.

— Милости просим.

— Ну, батюшка, дай Бог ему много лет здравствовать! Потешил он меня, старика.

— А что?

— Да вот что, Максим Петрович: глаза-то у меня становятся больно плохи; уж чего, кажется, крупнее акафистов киевской печати,— и те с грехом пополам читаю; что ж, он, мой кормилец, привез мне из Москвы какие-то стеклянные наглазники...

— Сиречь очки?

— Да, сударь, по-иноземному — окулары; знаешь, этак на нос надеваются. Немецкая выдумка, батюшка, а, нечего сказать, хитро придумано.

— Что ж, тебе в них лучше?

— Как же, батюшка, свет увидел!

— Вот что! Так стекла-то пришли тебе по глазам?

— Да как бы тебе сказать... не очень по глазам. Сначала все как будто бы застилало, да я фортель нашел.

— Какой фортель?

— А вот какой: как я начну читать, так книгу-то держу подальше, а наглазники спущу пониже да через них и смотрю. Ну, этак хорошо!.. Что ж ты, батюшка Максим Петрович, смеешься?.. Право так!

— Ах ты голова, голова! Да коли ты через них смотришь, так на что ж они тебе?

— Ну вот, поди ты! Я и сам в толк не возьму; а лучше, право лучше!.. Видно, уж так хитро устроено, и князь Андрей Юрьевич Шелешпанский тоже говорит: «Знать, дескать, тут есть пружина какая-нибудь».

— Князь Шелешпанский? Так и он здесь?

— Как же, батюшка!.. Приехал погостить к Лаврентию Никитичу. У него здесь недалеко и своя отчина есть. Фу, батюшки, богат!.. Куда ни поезжай кругом Москвы, все его отчины! И сам-то он какой молодчина!.. Вот бы тебе, государыня Ольга Дмитриевна, женишок! То-то была бы парочка!

— Что вы это, Карп Саввич,— прервала Запольская,— охота вам говорить!

— А что ж, матушка? Ты у нас девица на возрасте, невеста.

— Да полноте, как это вам не стыдно!

— Да что ж тут стыдного, Ольга Дмитриевна? Дело житейское. Не век же тебе сидеть в девках.

— А вам-то что до этого?— сказала с улыбкою Ольга Дмитриевна, стараясь обратить этот разговор в шутку.

— Как что, матушка?— подхватил Карп Саввич.— Да ведь ты наше красное солнышко; мы все Бога молим, чтоб он послал тебе суженого роду знатного, богатого, молодца собою и чтоб он человек-то был добрый. Ну кто говорит, и ты у нас, Ольга Дмитриевна, невеста первостатейная: и красотой, и умом, и богатством — всем наделил тебя Господь. Да и князь-то Шелешпанский не другим чета. Такие женишки, какой он, и в старину за углами не валялись, а теперь, не прогневайся, матушка, в сапожках ходят! Человек смирный, молодец собою, и, легко вымолвить — четыре тысячи душ! А в кладовых-то, говорят, отцовское серебро так ворохами и навалено; одних серебряных братин десятка два наберется, а разным кубкам, ковшам и позолоченным чаркам счету нет!.. Так как же, матушка, не пожелать тебе счастья, а нам, старикам, радости; то-то бы попировали на твоей свадебке!.. Ну, вот уж ты и нахмуриться изволила!.. А за что, матушка?.. Ведь это я любя говорю...

— Я очень вам благодарна, только сделайте милость...

— Ну, хорошо, сударыня, хорошо. Мы теперь об этом говорить не станем, эта речь впереди... Да я же,

видит Бог, ни с чего другого об этом заговорил, а так, матушка, к слову пришлось... И то правда,— промолвил вполголоса Пыжов, обращаясь к хозяину,— дело девичье!.. Ушки-то у них золотом завешены, и слышат, да не слышат, и любо, да не скажут!

После обеда Карп Саввич пошел отдохнуть. Ольга Дмитриевна хотела также уйти к себе в комнату, но дядя приказал ей остаться, посадил подле себя, приласкал, потом, помолчав несколько времени, сказал:

— Послушай, Оленька, ведь Карп Саввич-то дело говорил, и если б князь Андрей Юрьевич Шелешпанский за тебя посватался...

— Ах, что вы, дядюшка! — вскричала Запольская.

— А что, мой друг?.. И я также тебе скажу: ты уж, матушка, невеста,— не век же тебе в девках сидеть.

— Нет, дядюшка, я не хочу с вами расставаться.

— И я этого не хочу, мой друг. Да в том-то и дело: если б ты вышла замуж за князя Андрея Юрьевича, так мы бы никогда с тобой не расстались; он переехал бы на житье в здешнюю свою отчину, вы стали б ездить ко мне, я к вам...

— Да отчего вы думаете, дядюшка, что этот князь...

— За тебя посватается? А почем знать?.. Конечно, он жених недюжинный, да ведь Карп-то Саввич и про тебя правду сказал: таких невест, как ты, в Москве не много наберется... Ну что, мой друг, коли он в самом деле за тебя посватается?..

— Избави Господи!

— Что ты, что ты, Ольга Дмитриевна? Да уж это, не прогневайся, глупо! Ты его в лицо не знаешь, тебе говорят, что он молодец, ты слышишь о нем речи все хорошие и, ничего не видя, руками и ногами!.. Как будто бы тебя за какого-нибудь старого черта выдают замуж!

— Ах, дядюшка! Бога ради, не выдавайте меня замуж! И зачем вам торопиться?.. Я еще так молода...

— Да я-то стар, мой друг, и мне бы очень хотелось пристроить тебя, пока еще жив. На сестру у меня плохая надежда. Конечно, она баба добрая, да — не при тебе будь сказано — вовсе свихнулась: из русской барыни сделалась немкою да и тебя было совсем онемечила. Как подумаю, что бы сказала покойница, твоя мать, если б ты при ней поехала на пирушку к этому еретику Гутфелю?.. И зачем?.. Чтоб поплясать там с каким-нибудь колбасником или сорванцом, гвардейским офицериком, для которого что ты благородная и честная девица, что какая-

нибудь разбитная немка — все едино. Ну, да что об этом говорить: кажись, Бог милостив,— я успел еще в пору выручить тебя из этого омута... Не по грехам наказал меня Господь: ты все еще моя разумница, моя послушная и добрая племянница — милое дитя мое!.. Не правда ли, мой друг ты все еще любишь меня, как отца родного?

— О, конечно, как отца родного! — вскричала Ольга Дмитриевна, обнимая своего дядю.— И вам не грешно меня об этом спрашивать?

— Эх, Оленька! ты ведь человек молодой, а там, я думаю, чего тебе в уши-то не напевали? Да вот, примером сказать, кабы ты не жила у своей тетки, так, верно, бы не стала говорить, что не хочешь замуж идти, а, по русскому благочестивому обычаю, отвечала бы мне: «Воля ваша, дядюшка!..» Хочешь ли, я тебе скажу, что ты теперь думаешь? «Да зачем мне идти замуж? Мне и в девках не скучно. Вот поеду опять к тетушке, начну веселиться, ездить по пирушкам...» Да нет, Ольга Дмитриевна, ты напрасно это думаешь: не отпущу я тебя на житье к тетке, не видать тебя московским коршунам, моя чистая белая голубушка!.. Эх, что я говорю!.. Вот годика через три, как ты войдешь в совершенные лета, будешь полною госпожою, так, может быть, сама покинешь своего дряхлого дядю. «Пусть, дескать, этот старый ворчун умирает здесь на чужих руках, а я поеду в Москву плясать да веселиться у немца Гутфеля!»

Ольга Дмитриевна заплакала.

— Ну вот уж и в слезы! — проговорил Максим Петрович встревоженным голосом.— Ох эти мне слезы! И откуда они у тебя берутся?.. Да полно же, мой друг,— продолжал он, лаская свою племянницу,— не плачь, жизнь моя!.. И о чем тут плакать?.. Ведь это так — простой разговор!

— И вы могли сказать, дядюшка,— молвила сквозь слезы Ольга Дмитриевна,— что я покину вас на старости!..

— Ну, виноват, моя радость, виноват! прости меня, Бога ради!.. И как это непригожее слово сорвалось у меня с языка!.. Вот то-то и есть, друг сердечный, коли человек одинокий доживет до старости, так ему подчас и Бог весть что придет в голову!.. Ну, ступай, моя душа, к себе; мне пора уж отдохнуть, и ты также приляг, успокойся... Да полно же — перестань!.. Эх, худо дело,— прошептал Максим Петрович, покачивая головой и глядя вслед за уходящей племянницей.— Уж не опоздал ли я тебя увез-

ти из Москвы?.. Кто говорит: здесь житье скучнее московского, да от скуки этак не плачут... Ох мне этот гвардейский фенрик!.. Хорошо еще, что племянница не знает, что он за нее сватался.

II

На другой день, то есть во вторник на святой неделе, дворецкий и приказчик Максима Петровича, Прокофий Сидорыч Кулага, выехал на тележке осмотреть барские поля, которые тянулись версты на три по обеим сторонам большой Серпуховской дороги.

— Эка благодать Божья! — шептал он про себя, посматривая с радостью на яркую и густую зелень озимых полей.— Что, брат Ферапонт,— молвил он, обращаясь к седому старику, который правил лошадью,— каковы всходы?

— Да, батюшка Прокофий Сидорыч,— отвечал старик,— из годов вон!.. Давно я живу на свете, а таких озимей не видывал! Нечего сказать: коли Господь не нашлет какой невзгоды, так будем с хлебцем.

— Ферапонт,— прервал Кулага,— посмотри, что это впереди-то... на большой дороге... вон там из-за горки... кажись, кто-то скачет.

— Да, Прокофий Сидорыч, два вершника... А вон за ними катит кто-то на тройке вороных.

— В телеге?

— Нет, батюшка: кажись, в одноколке.

— Э, да это никак Лаврентий Никитич Рокотов!

— Он и есть, Прокофий Сидорыч. Вон передний-то вершник, на саврасом коне, куманек мой, Фомка Дерюгин.

Когда одноколка поравнялась с Прокофьем Кулагой, он спрыгнул с телеги и снял шапку.

— Постой! — закричал Рокотов.— Здорово, Кулага! Христос воскресе!

— Воистину воскресе, государь Лаврентий Никитич! — отвечал Прокофий с низким поклоном.

— Что, барин твой здоров?

— Слава Богу, сударь.

— Гостей у него нет?

— Никого нет, батюшка.

— Хорошо. Пошел!

Минут через пять Максим Петрович встретил своего гостя на крыльце. После обыкновенных дружеских приветствий и лобызаний Лаврентий Никитич сказал Прокудину:

— Ну вот, друг сердечный, мы, кажись, не запоздали. Готов ли ты, а мы, пожалуй, хоть накануне Фомина понедельника нагрянем к тебе со всем поездом.

— Помилуй,— прервал с приметным смущением Прокудин,— что это тебе так загорелось, любезный? До другого-то поста еще далеко.

— Эх, Максим Петрович, или ты не знаешь русской пословицы: «Куй железо, пока горячо»? Чего тут мешкать? Дальше в лес, больше дров. Мы с тобой по рукам ударили, жених налицо...

— Так что ж? Пусть он погостит у тебя неделек пять или шесть.

— Что ты, друг сердечный, легко вымолвить: шесть недель! Да ты этак моего парня вовсе замаешь: он так и бредит твоей Ольгой Дмитриевной. Хочешь верь, хочешь нет, а видит Бог — исхудал! Бывало, живет безвыездно в своей коломенской отчине, а теперь ему на месте не посидится: поживет в одном селе недельки две, а там переедет в другое, из другого — в третье, словно его кто-нибудь гоняет. Тоска, дескать, одолела, хлеба лишился!

— Да отчего ж, любезный? Ведь он моей племянницы и в глаза не видывал.

— Ну вот поди ты!.. Видно, уж я не путем ее расхвалил. Нет, Максим Петрович, откладывать нечего. Уж коли ты со мной порешился, так чем скорей, тем лучше.

— А Бог весть, любезный! Как поспешишь, да людей насмешишь.

— Как так?

— Да так! Я вчера пытался сторонкою намекнуть об этом племяннице...

— Ну что ж она?

— И руками и ногами!

— Чай, прежде хочет посмотреть своего жениха?

— Нет, об этом и речи не было.

— Так из чего ж она упрямится?

— Из чего? Вот в том-то и дело, друг сердечный. Ты говоришь, что князь Андрей с тоски умирает по моей племяннице, и она все тоскует да плачет, только, кажись, не о нем.

— Что ты говоришь?

— Да, любезный. Помнишь, ты мне рассказывал об этом гвардейском фенрике, сиречь прапорщике, который познакомился с нею у немца Гутфеля?

— Как же! Василий Михайлович Симский, племянник Данилы Никифоровича. Оба хороши — и племянник и дядюшка! Ты знаешь, что этот старый черт оскоблил себе бороду?

— Знаю, знаю!.. Да это что! У всякого свой царь в голове. Захотел осрамить себя на старости — его воля! А вот что худо, Лаврентий Никитич: мне сдается, что этот Симский не в добрый час свел знакомство с племянницей.

— А что?

— Вестимо что: Симский — молодец, собою красавец...

— Да неужели ты думаешь, Максим Петрович, что племянница твоя до того забыла весь девичий стыд...

— Что, не спросясь меня, полюбила этого Симского?.. Эх, Лаврентий Никитич! И не хотелось бы этого думать, да думается.

— И, полно, друг сердечный! Может ли статься, чтоб воспитанная в благочестивом доме, благородная и разумная девица полюбила заезжего детину, который сегодня здесь, а завтра Бог весть где!.. Да и он, чай, вовсе о ней не думает. Ведь эта петербургская молодежь на наших московских барышень и смотреть не хочет. Вот кабы он посватался за твою племянницу...

— Да то-то и беда, любезный, что он сватался.

— Неужели?

— Да, Лаврентий Никитич! Дядюшка его, Данила Никифорович, сам изволил сватом приезжать.

— Ну что ж, ты его порядком отбоярил?

— Да. Я сказал наотрез, что этому не бывать.

— А Ольга Дмитриевна знает, что Симский за нее сватался?

— Как это можно! Ее на ту пору и дома не было.

— Да Аграфена-то Петровна не сказала ли об этом племяннице?

— Сохрани Господи!.. Хоть она и очень поглупела, а все еще настолько-то у ней в голове толку есть, чтоб понапрасну девку не тревожить.

— Полно, так ли?

— Уж я тебе говорю. Сестра мне сама сказала, что она об этом Оленьке никогда не заикнется. Уж если, дескать, ей, бедной, не суждено быть за Симским, так лучше вовсе не знать, что он хотел на ней жениться.

— Ну, коли ты правду говоришь, так это еще дело поправное.

— И я то же думаю, только надобно за него умненько взяться. Круто повернешь — хуже будет, любезный! Теперь, может статься, она частехонько думает об этом Симском, а как пройдет месяц-другой, так дурь-то понемногу из головы выйдет.

— Эко дело, подумаешь! — прервал Рокотов.— Вот они — эти проклятые ассамблеи! Бывало, наша сестра, благородная девица, сидит у себя в терему, болтает с подружками о том о сем, погадает на святках о суженом, да, может статься, иногда, выходя из церкви, взглянет украдкою на какого-нибудь молодого парня — вот и все!.. А теперь, на этих бесовских сходбищах, обступят ее, мою голубушку, удалые молодцы, начнут подхваливать да всякие другие неподобные речи говорить,— так диво ли, что у нее голова-то кругом пойдет. Да вот хоть твоя племянница — почему ты знаешь?.. может быть, этот подлипало, Симский, давно уж ей сказал, что хочет на ней жениться?

— Ну, этого не думаю, любезный: племянница не стала бы таких речей и слушать; да и он какой бы ни был сорвиголова, а не посмел бы так обидеть благородную девицу.

— А кто его знает! Ведь нынешние-то молодые ребята не то, что мы были с тобою в старину, от этих пострелов всего жди... Да вот постой, любезный — ведь Ольга Дмитриевна с нами будет кушать?

— Вестимо дело: она у меня хозяйка в дому. Да ты не хочешь ли с нею поговорить?.. Избави Господи, ты все дело испортишь!.. Она сгорит со стыда...

— Да уж не бойся, Максим Петрович,я маху не дам... У меня есть кой-что в голове... и коли правда, что она ничего не знает, так погоди, любезный, будет как шелковая!

— Да ты скажи мне...

— Теперь ничего не скажу; а вели-ка, брат, подать водки да чего-нибудь закусить: я что-то очень проголодался.

Перед самым обедом Ольга Дмитриевна, желая угодить своему дяде, который очень любил все старинные обычаи, вошла в гостиную и взяла из рук слуги, который шел позади нее, небольшой серебряный поднос с двумя позолоченными чарками.

— Милости просим, Лаврентий Никитич! — сказал Прокудин.— Подавай, племянница!

— Ах ты, моя красавица! — молвил Рокотов, принимаясь за чарку. — Ну, стою ли я этой милости?.. Да это и дело то не девичье!

— Знаю, друг сердечный! — прервал Максим Петрович. — Вот кабы моя покойница была жива, так она бы поднесла тебе чарочку, а теперь не осуди, любезный, другой хозяйки у меня в дому нет.

Ольга Дмитриевна поднесла другую чарку Максиму Петровичу, похристосовалась с Лаврентием Никитичем и, пригласив к столу хозяина и гостя, пошла — не прогневайтесь, любезные читательницы, — не впереди них, а *вслед* за ними в столовую комнату. К концу обеда Рокотов начал говорить о московских новостях.

— Дошел ли до тебя слух, Максим Петрович, — сказал он, — что государя Петра Алексеевича, когда он изволил быть в польском городе Луцке, сильно схватил какой-то недуг?

— Помилуй Господи! А теперь-то что?

— Говорят, совсем оправился, а так было прихватило, что не чаяли ему, нашему батюшке, и в живых остаться.

— Скажи пожалуйста!.. Вот была бы напасть-то! И дома умирать не легко, а умереть в дороге...

— Да это будет когда-нибудь. Разъезжать-то он больно охоч, наш батюшка: сегодня в Архангельске, а там, глядишь, через неделю в Воронеже... В старину этого не бывало: наши православные цари всегда живали дома.

— Так, Лаврентий Никитич, да зато, чай, иногда за глазами-то и Бог весть что делалось. Ведь русский царь в своем государстве что хозяин в дому; а коли хозяин сам за всем не присмотрит, так пеняй на себя. Нет, этим наш батюшка Петр Алексеевич хорош: все хочет видеть своими глазами, все знать доподлинно; и сам не ленится, и других понукает. Нечего сказать — хозяин!.. Эх, если б он, наш кормилец, поменьше любил этих проклятых немцев!..

— Если б!.. Вот то-то и есть, любезный, кабы не тучи на небе, так мы бы солнышко видели... Ну, да что об этом!.. Поговорил бы я с тобою... — промолвил шепотом Лаврентий Никитич, поглядывая на слуг, которые суетились вокруг стола, — поспорил бы... да ушей-то здесь больно много... А знаешь ли ты, друг сердечный, — продолжал Рокотов, — какая была у нас в Москве богопротивная содомщина?.. Как ты думаешь: на первой неделе великого поста, у этого собачьего сына, Гутфеля,

была ассамблея с музыкой и со всякими бесовскими потехами! Знаешь, немецкую масленицу справлял.

— Да, уж верно, у него никого из русских не было?

— Вот то-то и дело! Говорят, что были.

— Не может статься...

— И я плохо этому верю, а мне называли... Ну-ка, отгадай, кого?.. Андрея Семеновича Юрлова с женою и с дочерью!

— Ах он старый хрыч... Да что, он перешел, что ль, в немецкую веру?

— Вот изволишь видеть: старик простоват, а мать баловница, видно, хотела свою дочку развеселить. Говорят, она больно тоскует по своему жениху.

— А разве дочка-то их помолвлена?

— Так ты об этом и не слыхал? Давно уж помолвлена. Ну, нечего сказать — убили бобра!

— А что?

— Правду говорят, любезный, что глупость-то подчас хуже воровства! Помолвили они свою дочь за гвардейского офицерика. Детина, говорят, видный собою, а такой ветрогон, что не приведи Господи! На другой день помолвки он поскакал догонять свой полк, который теперь в походе. Ну что б им, кажется, не сказать: «Ты, дескать, батюшка, сходи прежде под турка, а там, как вернешься жив и здоров, так мы об этом и поговорим с тобою». А то, рассуди сам, Максим Петрович: воротится он об одной руке или на деревяшке — тогда-то что?.. Попятиться и взять свое слово назад — дело не честное, да и дочку-то выдать за калеку большой радости нет; ан и выходит: сглуповали так, что и сказать нельзя. И чему обрадовались? Достатка большого нет, и, говорят, мальчишка пребеспутный. Он с первозимья был также в Москве и тогда еще втихомолку сватался за Юрлову, а в то же время, говорят, у Алексея Тихоновича Стрешнева старшую дочь с ума свел, разбойник! Да ты должен его знать, Максим Петрович, он родной племянник приятелю твоему, Даниле Никифоровичу.

— Родной племянник?

— Ну да!.. Как бишь его... дай Бог память... Да!.. Василий Михайлович Симский.

Ольга Дмитриевна побледнела.

— Оленька, что ты, мой друг? — вскричал Прокудин, вскочив со стула и подходя к племяннице.

— Так, дядюшка,— отвечала дрожащим голосом Ольга Дмитриевна,— голова очень болит.

— На-ка, мой друг, выкушай водицы... Ах, Господи, на тебе лица вовсе нет!

— Ничего... пройдет...

— Пройдет,— повторил Рокотов, вставая.

— Ступай, мой друг, к себе,— сказал Прокудин,— приляг да сосни, если можешь...

— Да, дядюшка... позвольте мне...

— Ступай, мой друг, ступай!..

Ольга Дмитриевна вышла вон из комнаты.

— Ах, Господи,— прошептал Максим Петрович,— как ее вдруг перевернуло!.. Эх, любезный!

— А что? — спросил Рокотов.

— Как можно этак... вдруг... не говоря доброго слова...

— Нет, доброе-то слово я сказал, посмотри, что будет!.. Да пойдем отсюда.

— Андрюшка,— молвил Максим Петрович,— ступай, проведай барышню — что она?

— Да что ты тревожишься? — продолжал Лаврентий Никитич, когда они вошли в гостиную.— Эка важность!.. Ну, поплачет денек, много другой — вот и все.

— Бедненькая!.. Эх, сестра, сгубила ты мою Ольгу Дмитриевну!

— И, полно, братец!.. Велика беда, что молодой девке приглянулся пригожий детина. Небось, любезный: теперь как она знает, что он помолвлен с другой, так в головке-то у нее бродить перестанет.

— Да что, этот Симский в самом деле женится на Юрловой?

— А почем знать, может быть, я ему и напророчил

— Так ты солгал, любезный?

— Солгал, Максим Петрович.

— Эх, Лаврентий Никитич, нехорошо!

— А почему ж нехорошо? Да разве ты не знаешь что ложь бывает иногда во спасение?

— Нет, я этого не знаю.

— Вольно ж тебе не знать. Мне сказывали, что это в какой-то духовной книге напечатано.

— Верно, в той же, в которой говорится: «Отруби по локоть ту руку, которая добра себе не желает»?

— Может статься.

— Нет, любезный, таких духовных книг не было и не будет. Не то заповедал нам Господь: он говорит, что всякая ложь есть от дьявола.

— Ах ты, святоша этакий! Ну что за грех солгать ради пользы? Ведь ты не хочешь выдать свою племянницу за этого Симского?

— Не хочу.

— Так не лучше ли, чтоб она вовсе о нем не думала? Что покачиваешь головою?.. Ну, добро, добро,— коли, по-твоему, это грех, так я беру его на свою душу.

— И что толку-то будет из этого?

— А вот погоди: дай ей денька два наплакаться досыта, а там заговори с нею опять о князе Андрее Юрьевиче, так увидишь, что она тебе ответит.

— Ну что, Андрюшка,— спросил Прокудин у слуги, который вошел в гостиную,— что Ольга Дмитриевна?

— Все слава Богу, батюшка. Нянюшка Федосья говорит, что барышня ни на какую болезнь не жалуется, а только прилегла на постель и втихомолку изволит плакать...

— Ступай!.. Ну, слышишь, Лаврентий Никитич, она плачет...

— Еще бы, и нашему брату в таком деле сгрустнется, а ведь она девица. Да пусть себе поплачет,— ничего, пройдет!

— Пройдет!.. Вестимо дело, все пройдет, да каково-то ей теперь?

— И, любезный! стерпится, слюбится.

— Хорошо, кабы так. Да точно ли ты уверен, что князь Андрей Юрьевич будет добрым мужем?

— Я, Максим Петрович, боюсь только одного, что он вовсе избалует жену. Такие добрые люди, как он, в диковинку.

— Это-то хорошо. По мне, доброта лучше разума, а все бы не мешало, если б он был...

— Так же умен, как твоя Ольга Дмитриевна?

— Ну хоть и не так же...

— Да что ты так за умом-то гонишься?. Ведь с умным мужем жена не барыня То ли дело, когда он по ее дудочке пляшет.

— Нехорошо и это, Лаврентий Никитич.

— Вестимо нехорошо, коли жена не умнее мужа; а ведь у твоей Ольги Дмитриевны ума-то на двоих мужей достанет. Увидишь, друг сердечный, заживут так, что любо! Князь Андрей будет во всем ее слушаться, да и она также иногда его послушается. Я уж тебе говорил, что он не простофиля же какой-нибудь; он смотрит только простячком, а где надобно, так вовсе не глуп. Ну

да что об этом говорить! Коли дело совсем сладится, так скажешь спасибо, и Ольга-то Дмитриевна не раз мне поклонится; а теперь не худо бы отдохнуть, любезный, а там и в путь.

— Как, разве ты у меня не ночуешь?

— Нельзя. Чай, теперь князь Андрей ждет меня не дождется. Я ему скажу, Максим Петрович, что на Фоминой неделе свадьба будет.

— И, что ты, Лаврентий Никитич, помилуй!

— Хорошо, хорошо!.. Приезжай ко мне этак денька через три, может статься, мы с тобой поладим

Лаврентий Никитич, отдохнув часа полтора, распрощался с Прокудиным и отправился обратно в свою деревню.

На другой день поутру Ольга Дмитриевна пришла в комнату к своему дяде. Она была так бледна, так исхудала в одни сутки, что Максим Петрович перепугался.

— Оленька, друг мой! — вскричал он.— Что с тобой?.. Да ты никак в самом деле больна?

— Нет, дядюшка,— отвечала Ольга Дмитриевна,— теперь, славу Богу, мне гораздо лучше.

— Лучше? Да отчего же ты так бледна?

— Я всю ночь не могла заснуть.

— И, верно, плакала?.. Посмотри-ка, глаза-то у тебя!..

— Теперь уж я не плачу, дядюшка. Всю ночь у меня болела голова и сердце что-то очень тосковало. Вот в самые заутрени я встала с постели, начала молиться пред иконою Божией матери; мне как будто бы сделалось полегче, а там все лучше да лучше, тоска прошла, и теперь я почти совсем здорова.

— Дай-то Господи!.. А все что-то смотришь невесело. Вот то-то и есть: тебе скучно, ты вовсе отвыкла от нашего деревенского житья.

— Привыкну опять, дядюшка.

— Нет, Ольга Дмитриевна, не привыкнешь Вот если б ты была замужем — дело другое: с добрым мужем везде весело.

— Да мне и с вами не скучно.

— Так-то говоришь, мой друг, а в самом-то деле у тебя, чай, все Москва на уме.

— О нет, дядюшка! Бог с ней совсем.

— Добро, добро!.. А знаешь ли что, Оленька? Ведь я тебе напророчил: князь Андрей Юрьевич Шелешпанский за тебя сватается...

Максим Петрович остановился и посмотрел с удивлением на свою племянницу. Да и было чему подивиться. «За тебя сватаются» — кажется, от этих слов у каждой девушки должно сердце замереть от радости или от ужаса, смотря по тому, кто сватается, а Ольга Дмитриевна преспокойно их выслушала, не обрадовалась, не испугалась, не переменилась в лице, ну точно как будто бы речь шла о какой-нибудь вовсе незнакомой ей девице.

— Да, мой друг, — повторил Максим Петрович, помолчав несколько времени, — князь Шелешпанский за тебя сватается.

— Слышу, дядюшка.

— Ну что ж прикажешь ему сказать?

— Что вам угодно.

— Так ты пойдешь за него замуж?

— Воля ваша.

— А коли моя, так послушай, мой друг: князь Андрей Юрьевич жених недюжинный; он роду знатного, человек молодой, одинокий, собою молодец; я слышу от всех, что он очень добр, а уж как богат...

— И, дядюшка! Мне все равно...

— Все равно? Даже и то, мой друг, если твой муж увезет тебя за тридевять земель или будешь жить почти вместе со мною?

— О нет! — вскричала Ольга Дмитриевна, кинувшись на шею к своему дяде. — Я не хочу с вами расставаться!

— Милое дитя мое, — сказал Прокудин, обнимая племянницу, — ну как же мне не любить тебя как дочь родную! Знаешь ли что, мой друг? Коли ты выйдешь замуж за князя Шелешпанского, так мы по зимам не будем жить в деревне. Ты человек молодой, любишь Москву...

— Москву!.. Нет, дядюшка, мне там будет скучно.

— Скучно? Да ведь ты о ней тосковала?..

— Да, дядюшка, сначала, а теперь я вовсе в Москву не хочу. Я хотела бы только повидаться с тетушкой...

— Вот кстати напомнила! Уж коли у нас дело идет на лад, так мы тетушку-то на свадьбу выпишем. Да нечего и мешкать: сегодня же пошлю к ней нарочного в Москву.

— Сегодня? — повторила встревоженным голосом Ольга Дмитриевна. — Так вы хотите?..

— Зачем откладывать, мой друг? Веселым пирком да за свадебку!

— Ах, дядюшка,— промолвила сквозь слезы Ольга Дмитриевна,— он только что посватался...

— Нет, мой друг... дело прошлое: ведь князь Шелешпанский сватался за тебя еще до великого поста. Уж если ты согласна выйти за него замуж, так что ж его, бедняжку, маить? За мною дело не станет: твое приданое готово... Вот мы этак в четверток на Фоминой неделе сделаем девичник, а в пятницу с божиим благословением...

Ольга Дмитриевна опустила голову на плечо к своему дяде и громко зарыдала.

— Что ты, что ты, мой друг! — вскричал Максим Петрович,— да успокойся, Бога ради!.. Коли хочешь, мы отложим свадьбу на месяц... на два... на три... как тебе угодно! Конечно,— продолжал он,— я желал бы... да и как мне, старику, не желать, чтоб это было поскорее? Ведь уж мне давно седьмой десяток пошел, станешь каждым денечком дорожить! Что будешь делать, вот и теперь: я здоров, слава Богу, а все мне кажется, что не доживу до этой радости, и как подумаю: ну, коли Господь Бог пошлет по душу, прежде чем я пристрою моего друга сердечного, так, поверишь ли, сердце у меня так и обольется кровью!

Ольга Дмитриевна подняла голову: в ее задумчивых голубых глазах выражалось какое-то грустное спокойствие; на длинных ресницах блестели еще слезы, но она уж не плакала. С полминуты продолжалось молчание... Вдруг бледные ее щеки вспыхнули, она взглянула с необычайным оживлением на своего дядю и сказала твердым голосом:

— Да, дядюшка, вы правду говорите: зачем откладывать.

— Так ты согласна, Ольга Дмитриевна?.. В будущий четверг...

— Как вам угодно, дядюшка!.. Теперь позвольте мне...

— Что, мой друг?

— Я пойду к себе... Да не бойтесь: я иду не плакать... нет, я хочу помолиться Богу, дядюшка.

— Ступай, мой ангел, ступай!.. Ну,— прошептал Максим Петрович, когда племянница его вышла вон из комнаты,— нечего сказать, хитер Лаврентий Никитич! Как он отгадал, что будет!.. Дай-то Господи, чтоб только в добрый час!.. Да что ж это сердце-то у меня... радуется, что ль, или тоскует?.. Кажись, как бы ему не радоваться, а все как будто бы щемит... Вот то-то и есть: идти-то

замуж она идет, да как идет!.. Бедняжка!.. То ли бы дело было... Эх, не бывать бы ей за князем Шелешпанским, если б этот пострел Симский не служил в Питере и не стоял, как за своих кровных, за этих окаянных, паскудных немцев!

III

В среду на Фоминой неделе, часу в пятом после обеда, народ гулял толпами по широкой улице села Вздвиженского. На барском дворе заметно было необычайное движение. Вся господская дворня занималась приготовлением к наступающему торжеству. Одни выкатывали из погребов бочки с пивом, другие ставили на дворе длинные столы для угощения *меньших братьев христовых*, то есть нищих, увечных и недужных, которые начинали уже понемногу собираться изо всех окрестных мест в село Вздвиженское на свадебный пир к боярину Максиму Петровичу Прокудину. Перед самым господским домом толпились в праздничных нарядах крестьянские старухи, молодые бабы и красные девицы; они смотрели в окна, как их барышня, государыня Ольга Дмитриевна, изволит справлять свой девичник.

— Смотри-ка, смотри! — молвила одна старуха, толкнув локтем свою внучку.— Вон видишь, за столом-то сидят?

— Вижу, бабушка.

— Это все боярские дочки.

— Да их что-то немного.

— Да, маленько!.. Вот две-то, что сидят подле нашей матушки Ольги Дмитриевны, с правой руки, дочки боярина Шетнева, а с левой... вон энта... белобрысая-то... это, кажись, внучка кадыковского барина, Карпа Саввича Пыжова... А уж других-то я не знаю.

— Чай, из Москвы понаехали. Да какие же они, бабушка, все пригожие!..

— Эх, дитятко! кому ж и быть-то пригожим? Боярские дочки сладко едят, живут в холе... что им делается!.. А все далеко им до нашего красного солнышка, нашей родной-то Ольги Дмитриевны, дай ей Господи много лет здравствовать!.. Эка пава, подумаешь!

— Бабушка,— прервала одна молодица,— да что ж это наша барышня-то... гляди-ка... кровинки нет в лице!.. И головку-то изволила понурить...

— Эх ты, глупая, глупая,— молвила старуха, покачивая головою,— да где видано, чтоб невеста ухмылялась? Чай, и ты на своем девичнике зубы-то не скалила?

— Кто? Она? — подхватила пожилая баба.— Да она на своем девичнике только что не плясала, словно не ее замуж выдавали.

— Ну, Авдотья,— сказала старуха,— так недаром же тебя муженек-то поколачивает! Коли ты такая озорница, что и в невестах не плакала...

— Эх, бабушка, да коли не плачется...

— Так ты бы хренку понюхала, дура этакая!.. Ведь старые люди говорят: коли девка в невестах не плачет, так наплачется вдоволь замужем.

— А что, Потапьевна,— спросила пожилая баба старуху,— что говорят о женихе?

— Да говорят, что он и собой молодец, и отчин много, и роду княженецкого...

— Ну, слава тебе Господи! А что, он завтра, что ль, приедет с поездом прямехонько в церковь Божию?

— Нет, Федосья, Прокофий Сидорыч говорил при мне батьке Филиппу, что жених приедет к нам сегодня и переночует здесь на селе со всем своим поездом. Для них... вон там за речкою, на верхнем порядке десять дворов отведено... Постойте-ка!..

— Что, бабушка?

— Никшни, Аксютка! Кажись, в дому-то собираются петь!.. Чу!

В комнате раздались звуки унылой песни, под которую подлинно трудно было невесте не заплакать. Сенные девушки запели:

Ласточка, касаточка,
Не вей гнезда во высоком терему:
Уж не жить тебе здесь и не летывать!..

— Что ж это они? — шепнула старуха.

— Да это, кажись, песня-то не свадебная, а подблюдная.

— Знать, обмишулились,— сказала молодица.

— Эй вы, голубки,— закричал крестьянский парень, подбегая к бабам,— что вы здесь глаза-то пялите?.. Ступайте за околицу.

— А что? — спросила старуха.

— Жених с поездом едет.

— Ой ли?

— Право так!

— То-то же! Ведь ты, Фомка, озорник, пожалуй, даром нас перебулгатишь!

— Вот те свят — едет! Весь народ и валит из села.

— Да что ж, он близко, что ль?

— Бают, уж выехал из господской засеки и подымается на горку.

В полминуты на барском дворе не осталось никого, и даже дворовые люди, покинув свою работу, пустились бегом за остальными мужиками, которые спешили все навстречу к жениху. У самой околицы приходский священник, отец Филипп, держа в руках крест, дожидался, со всем церковным причтом, суженого боярышни Ольги Дмитриевны. Позади него стоял, с хлебом и солью, дворецкий, Прокофий Сидорыч Кулага. Народ толпился по обеим сторонам дороги. Разумеется, все стояли без шапок. Прокофий Сидорыч, как человек опытный и бывалый, посматривал заботливо на православных, стараясь заметить, нет ли в числе их какого-нибудь *недоброго* человека. Вот толпа заколыхалась, народ расступился: старая, безобразная баба, опираясь на клюку, вышла вперед и остановилась на самой дороге. Прокофий Сидорыч нахмурился.

— Послушай-ка, Антон,— шепнул он дворовому парню, который стоял подле него,— ведь эта старуха... вот что вышла вперед... кажись, кадыковская ворожея, Савельевна?

— Да, Прокофий Сидорыч, она.

— Зачем пожаловала, старая чертовка!.. Знаем мы их!.. Поди-ка, скажи ей, чтоб она убиралась подобру-поздорову... нам этаких гостей не надобно... Погоди, погоди!.. На вот тебе алтын... сунь ей в руку, а то еще, пожалуй, разгневается, ведьма проклятая, всю скотину перепортит, чего доброго!.. Эй, Антон, постой!.. Ну хоть вовсе-то не гони ее,— провались она ставши! — а только отведи к стороне подальше от дороги... знаешь, чтоб глаз-то у нее до жениха не хватил.

— Слушаю, Прокофий Сидорыч, уж я ее спроважу.

— Ну, то-то же, смотри!

— Едут, едут! — раздались голоса из толпы.

Шагах в двухстах показались из-за горки два передовые вершника с белыми ширинками через плечо; за ними потянулся длинный поезд щеголевато одетых холопов Лаврентия Никитича,— их было до сорока: все они сидели на красивых конях и ехали попарно; потом ехали, также верхом, двое жениховых дружек, сыновья Гераси-

ма Николаевича Шетнева, а немного позади — князь Андрей Юрьевич Шелешпанский и Лаврентий Никитич Рокотов. Под первым красовался отличный персидский аргамак, белый как снег, с заплетенною гривою и перевязанным хвостом; второй сидел на вороном черкасском жеребце. На женихе была шапка мурмолка с собольим околышем, красный объяринный кафтан и парчовая ферязь с золотыми петлицами. Надобно сказать правду: князь Шелешпанский сидел молодцом на своем борзом аргамаке, и когда этот полный огня и жизни красавец конь начинал под ним играть, он сдерживал его могучей рукой и, как будто бы шутя и без всякого усилия, заставлял идти ровным и тихим шагом. Поезд оканчивался длинным рядом всякого рода повозок, в числе которых отличалась особенно обитая алым сукном огромная колымага с позолоченными колесами. В ней сидели посаженая мать князя Шелешпанского — супруга Лаврентия Никитича Рокотова, Герасим Николаевич Шетнев и сваха из мелкопоместных дворянок, которая должна была принимать молодых в опочивальне и осыпать их хмелем. Все мужики, завидя господ, примолкли и низко поклонились; бабы также поклонились, но только принялись болтать пуще прежнего.

— Посмотри-ка, Акулина,— молвила одна молодая баба,— с правой-то стороны жених, что ль, едет?

— Вестимо жених. С левой едет боярин Рокотов.

— Так это жених-то?.. Ну, неча сказать: сокол ясный!..

— Батюшки светы! — закричала другая молодица.— Какой на нем зипун-то!.. А сбруя-то на лошади... матушки!.. Никак литого серебра!

— Какого серебра! Разве самоцветного золота,— вишь, как на солнышке-то горит!

— Смотри, кума, смотри, как лошадь-то под ним прядает!.. Ну, молодец!

— У, батюшки, какой рослый, дородный!..

— Да личмянной какой!.. Гляди-ка, тетка, гляди, лицо-то у него так и пышет!

— Ну, послал Господь женишка нашей боярышне!

— Подавай ей Господи!..

— Эй вы, бабье! — закричал Кулага,— тише вы!.. Что вы так горланите, чечетки этакие... Тише, говорят!.. Наболтаетесь дома!

Подъехав к околице, поезд приостановился; князь Андрей Юрьевич сошел с коня, приложился к кресту

принял от дворецкого каравай, на котором стояла серебряная солонка, потом сел опять на своего аргамака, и поезд двинулся снова вперед. За ним кинулся весь народ. Старики плелись позади, молодые ребята забегали вперед и, останавливаясь на каждом крестце, встречали жениха низкими поклонами. Когда поезд поравнялся с господским домом, за ворота высыпала целая толпа сенных девушек, а из домовых окон высунулись головки приезжих барышень. Все они казались очень пригожими, вероятно, потому же, почему и звезды кажутся ярче, когда нет на небе светлого месяца: Ольги Дмитриевны не было в числе этих любопытных.

Максим Петрович, приняв жениха и почетных гостей в просторной избе своего старосты, пригласил к себе в дом Рокотова с женою и Герасима Николаевича Шетнева. Жених, сваха, дружки и все, составлявшие поезд, разместились по отведенным для них избам. Прокофий Сидорыч заправлял утощеньем. Различные наливки, вино, пиво и сладкие меды лились рекою. Сваха набила себе препорядочный мешок черносливом, винными ягодами, финиками и всякими другими иноземными сластями; жених выпил целую ендову имбирного меду и скушал фунтика три изюму; дружки также позабавились около сластей и посмаковали вдоволь прокудинской вишневки, которая под этим названием славилась во всем околотке. Об остальном поезде и говорить нечего. Прокофий Сидорыч не успокоился до тех пор, пока не уложил в лоск всех холопов Лаврентия Никитича; ему не удалось только справиться с одним ражим детиною, который, по привычке или по какой-то особенной способности, пил вино как простой квас, а пиво — как воду; впрочем, и тот хотя стоял еще крепко на ногах, но не мог уж вымолвить ни слова.

Вот этак часу в седьмом князь Шелешпанский, которому стало душно в избе, снял с себя ферязь и вышел в одном кафтане за ворота. К нему явился Прокофий Сидорыч.

— Что, батюшка князь,— сказал он,— не угодно ли тебе прогуляться?

— Нет,— отвечал Шелешпанский,— я сяду вот здесь, на скамеечке.

— Присядь, батюшка, присядь!.. Отсюда пригоже посмотреть на все стороны. Местечко дальновидное — на горке вышло: верст за десять кругом видно, и все село как на блюдечке.

— А что, старина,— сказал Шелешпанский,— ведь это село-то все ваше?

— Как же, сударь.

— Отчина или поместье?

— Отчина, батюшка. Жалована еще при дедушке Максима Петровича.

— Доброе село, доброе!.. Чай, этак домов до полутораста будет?

— Без малого двести.

— Вот как!.. А что, вон энти поля за большой дорогою — ваши?

— Наши, сударь.

— А чернолесье, которым мы ехали?

— Это господская засека.

— А вон вдали-то бор?

— Наш, батюшка, наш.

— Знатное село, знатное!.. Чай, у вас по речке-то луга заливные?

— Да, сударь, заливные. По той стороне верст на пять пойдет все пойма. Наша река невеличка, батюшка, а весной по ней хоть струга ходи. Вон ракитник-то на лугу — в полую воду одни вершинки видны.

— Знатное село!.. Кажись, и крестьяне у вас исправные.

— Да, сударь, благодаря, во-первых, Бога, а во-вторых, государя Максима Петровича, мужички у нас по миру не ходят. Много есть зажиточных, и разве редкий только по мясоедам-то пустые щи хлебает.

— Вот как!.. Ну, знатное село!.. А что это, направо-то, дорога куда пошла?

— В Москву, батюшка.

— Откудова ж мы приехали?

— От Серпухова.

— Так!.. Посмотри-ка, старина, кто это там по московской дороге едет?

— А кто их знает!.. Здесь езда не малая Бывает, временем, как в Москву повезут хлебец, так по дороге и денно и нощно тянутся обозы. Ведь Серпухов — город торговый, батюшка; пристань на Оке, а кремль-то никак почище был московского, весь из белого камня построен Теперь он поразвалился, а все еще местами как взглянешь на стену, так шапка с головы валится. Говорят, будто бы его строил царь Иван Васильевич,— не Грозный, сударь, а дедушка Грозного...

— Что это, брат,— прервал Шелешпанский, который, не слушая дворецкого, продолжал смотреть

с приметным беспокойством на большую дорогу,— эти проезжие-то, видно, не мимо едут?

— А что, сударь?

— Вон, видишь, своротили с большой дороги... едут сюда!

— Сюда?.. Так, может статься, это сестрица Максима Петровича.

— Кто? Аграфена Петровна Ханыкова?

— Должно быть, она. К ней посылали нарочного в Москву.

— Зачем?

— Что ты, батюшка князь!.. Как зачем? Ведь она родная тетушка твоей нареченной, так как ж ее не позвать на свадьбу?

— Так она знает, что завтра свадьба? — вскричал с ужасом князь Андрей Юрьевич.

— Как не знать.

— Ну! плохо дело!

— А что, сударь?

— Беда, да и только!

— Беда! — повторил с удивлением Прокофий Сидорыч.

— Да как же не беда! Ведь Аграфена-то Петровна скажет об этом Мамонтову.

— Какому Мамонтову?

— Ну вот этому — провал бы его взял!.. Ах, Господи... Смотри-ка, смотри!.. На четырех тройках!

— Да, сударь, это не Аграфена Петровна, а, кажись, люди служивые.

— Вот тебе раз! — вскричал Шелешпанский, вскочив со скамьи.

— Да, сударь. Вон остановились за околицей... говорят с мужичками... вон одна подвода поехала прямо к господскому дому... а с другой-то сошли служивые и стали возле околицы... А вон остальные-то две подводы, кажись, повернули сюда... Ну, так и есть!.. Видно, к старосте...

— А где живет староста?

— Здесь, батюшка. Это его изба.

Князь Андрей Юрьевич помертвел.

— Да вот уж они и едут,— сказал дворецкий.— Эк дерут!.. Видно, животы-то не свои.

Князь Андрей Юрьевич кинулся на двор и начал метаться по сторонам как угорелый. На все вопросы Прокофия Сидорыча он не отвечал ни слова, а только повторял прерывающимся голосом:

— Где ворота, где ворота?

— Ворота? — спросил дворецкий, который, видя необычайный испуг жениха, и сам также немного испугался.— Какие ворота?

— На зады, на зады!

— Да вот, сударь, перед тобою.

Шелешпанский распахнул ворота, выскочил на огород и ударился бежать.

— Батюшка князь! — закричал Кулага, стараясь догнать жениха.— Да постой!.. Куда ты?..

Добежав до плетня, который отделял огород от поля, Шелешпанский остановился.

— Уф!.. Задохся!..— промолвил Прокофий Сидорыч.— Да что это, сударь князь, куда ты изволишь бежать?

— И сам не знаю! Куда глаза глядят! Ну вот хоть в лес!

— В лес? Ах, Господи!.. Да от кого ж ты это изволишь прятаться?

— Как от кого? Ведь это приехал Мамонов!

— Так что ж?.. Да Бог с ним!.. Пускай он Мамонов... что тебе до этого?

— Да ведь он уж два месяца за мной гоняется.

— Гоняется?

— Ну да! Ведь у него указ есть схватить меня — да в солдаты.

— Как так?

— Да так! Слышь, велено всех новиков забирать на службу, и Аграфена-то Петровна с ними заодно... Ах, батюшки-сударики! Вот тебе и свадьба!

На заднем дворе избы раздался грубый голос:

— Эй, староста!.. Где староста? Подавайте его сюда.

Князь Шелешпанский полез через плетень.

— Погоди, батюшка! — закричал Кулага.— Тут болото: увязнешь по уши... Постой, постой!

Но Шелешпанский перекинулся со всего размаху через плетень, грянулся оземь и, к счастию, попал не в трясину, а между двух кочек, в грязную лужу, в которой он увяз только по пояс. Прокофий Сидорыч перелез бережненько через плетень и, придерживаясь за него, помог жениху выбраться на сухое место.

— Вот я говорил тебе, батюшка! — сказал он.— Тише, тише!.. Изволь ступить сюда... на кочку... вот так!..

— Ух, батюшки! — промолвил Шелешпанский, отряхиваясь как медведь, который вылез из болота.— Грязи-то на мне, грязи!.. А кафтанчик новенький, с иголочки...

— И, батюшка, сошьешь другой!.. Чу! Никак уже служивые-то по огороду ходят.

В самом деле, на огороде послышались голоса.

— Голубчик ты мой... родной,— прошептал князь Андрей Юрьевич, дрожа всем телом,— спрячь меня куда-нибудь!

— Да куда ж я тебя спрячу, батюшка,— сказал Кулага, почесывая затылок,— лес далеко, и идти-то до него все чистым полем. Вот кабы летом, так дело иное: засел бы в коноплях, так тебя наискались бы досыта; а теперь время весеннее, и в лесу-то спрятаться негде.

— Ух, батюшки! — проговорил, заикаясь, Шелешпанский.— Слышишь?.. Идут!

— Ну, делать нечего! — прошептал Кулага.— Ступай-ка, батюшка, вдоль плетня... вон там налево барское гумно... Все-таки лучше, чем здесь, на юру: там можно и в ригу, и меж одоньев завалиться — не вдруг найдут.

— Ступай же вперед, голубчик, ступай!

Пройдя шагов двести вдоль крестьянских огородов, они вошли калиткою на барское гумно.

— Ну вот, сударь,— сказал дворецкий,— хочешь где-нибудь за одоньем прилечь или в ригу?..

— Постой-ка, голубчик!.. Ведь это кладь соломы?..

— Да, сударь.

— Так я залезу в нее.

— Что ты, батюшка! ведь это хорошо минутки на две, а то задохнешься; да еще неравно с барского двора приедут за соломой, начнут валить ее на телегу да как хватят тебя вилами в бок... избави Господи! Вот разве, сударь, в овинную яму, так авось туда не заглянут.

— В самом деле!.. Ах ты, мой любезный!.. Голубчик мой!.. Пойдем скорее.

— Вот тебе раз! — вскричал Кулага, подойдя к овинной яме.— Лестницы-то нет!.. Да постой, батюшка, я спущу тебя на кушаке.

Прокофий Сидорыч снял с себя пояс, захлестнул один конец за туго подвязанный кушак Шелешпанского и начал его спускать потихоньку в яму.

— Ох, батюшка князь,— промолвил он, кряхтя,— грузен ты больно!.. Не сдержу... видит Бог, не сдержу!..

— Ничего! — сказал Шелешпанский,— пускай: внизу-то солома.

Кулага выпустил из рук кушак... князь Андрей Юрьевич повалился на солому, крякнул и встал на ноги.

— Ну, что, батюшка, не ушибся? — спросил дворецкий.

— Нет Ступай-ка теперь, голубчик, на барский двор, проведай, что там делается, да приди сказать мне.

— Ладно, сударь, я как раз сбегаю... Да послушай, батюшка,— промолвил Прокофий, воротясь,— смотри сиди смирно и, коли кто подойдет к овину, голосу не подавай... Как я приду, так первый тебя окличу

IV

В то самое время, как князь Шелешпанский прятался от служивых в овинной яме, к дому Максима Петровича подъехал на тройке молодой гвардейский офицер. Он соскочил с телеги и, войдя в переднюю, приказал доложить, что приехал по царскому указу поручик Мамонов; потом, сбросив с себя забрызганный грязью плащ, вошел в столовую комнату. Через несколько минут его попросили в гостиную. В этой комнате встретил его Максим Петрович; тут же, развалясь на креслах, сидел Лаврентий Никитич Рокотов, подле него, на стуле, Герасим Николаевич Шетнев, а несколько поодаль стоял, прислонясь к печке, Карп Саввич Пыжов. Когда Мамонов вошел в гостиную, Карп Саввич низехонько поклонился, Шетнев привстал, а Лаврентий Никитич не тронулся с места. На побледневшем лице Карпа Саввича ясно изображались сильный испуг и самая рабская, безусловная покорность; хотя в глазах Шетнева заметно было также что-то похожее на страх, однако ж он не смутился и даже посмотрел довольно спесиво на приезжего. В надменном и неприязненном взгляде Лаврентия Никитича выражалось негодование, которое он вовсе не старался скрывать; он взглянул исподлобья на Мамонова, нахмурил брови и повернулся к нему спиной. Казалось, что этот нечаянный приезд не потревожил одного только хозяина.

— Милости просим, батюшка! — сказал он спокойным голосом.— Ты приказал доложить мне, что приехал сюда по царскому указу... вот я тебя слушаю: изволь мне сказывать царский указ.

— Во-первых, государь мой Максим Петрович,— отвечал Мамонов, вежливо кланяясь,— я осмеливаюсь презентовать вам мой всенижайший респект!..

— Благодарю, батюшка, хотя, признательно сказать, и не очень понимаю, что ты изволишь мне говорить.

— Всепокорнейше прошу вас экскузовать меня! — продолжал Мамонов, не обращая никакого внимания на замечание Максима Петровича.— Может быть, я вовсе не в пору потревожил вас моим приездом?

— И, что ты, батюшка: царский указ всегда в пору!

— Не извольте только гневаться на меня, Максим Петрович. Я человек служивый и должен поступать в силу данной мне от правительствующего Сената инструкции — сиречь наказа.

— От Сената!.. Так ты, батюшка, не по царскому указу изволил ко мне приехать?

— Все едино, Максим Петрович. Разве не изволите знать, что сенатским указам, якобы своеручно подписанным его царским величеством, должны повиноваться все под опасением строгого наказания?

— Знаю, батюшка, знаю. Ну, чего ж от меня этот господин Сенат изволит спрашивать?

— Дело идет вовсе не о вас, Максим Петрович. Его царскому величеству государю Петру Алексеевичу угодно было указать, чтобы, ради войны с турским султаном, всех неслужащих молодых дворян забирать на службу. В именном регистре, данном мне от Сената, значится также и неслужащий дворянин, князь Андрей Юрьев сын Шелешпанский...

— Князь Андрей Юрьевич?

— Да, Максим Петрович. Меня известили, что он здесь.

— Здесь, батюшка. Да ведь, кажется, он уж служил...

— Никак нет, Максим Петрович: он был только записан новиком в московском жилецком войске и на службу не являлся; а так как ему еще нет и сорока лет...

— Да ты знаешь ли, господин офицер,— прервал Шетнев, подойдя к Мамонову и толкнув потихоньку локтем Прокудина,— что князь Андрей Шелешпанский, хотя еще в поре, однако ж давно уже уволен на покой ради его хворости и всегдашних недутов?

— Знаем мы эти недути! — возразил Мамонов.— Сенат уж извещен и о том, что он облыжно называет себя недужным. Люди хворые сидят на одном месте, а этот князь только и делает, что разъезжает кругом Москвы. Вот уж я два месяца за ним гоняюсь.

— Как так? — спросил с удивлением Прокудин.

— Да, Максим Петрович! у него около Москвы много деревень; вот мне дадут знать, в которой деревне он живет, я пошлю за ним, — не тут-то было: «Изволил уехать неизвестно куда». Я пошлю в другую: «Был, дескать, и здесь, да вчера выехал». Я в третью: «Сейчас только выехать изволил». Поверите ль: всю команду с ног сбил. Видно, у него есть приятели в Москве, которые весточку ему подают. Да уж теперь вы сами изволили мне сказать, что он здесь, так я его из рук не выпущу.

В комнату вошел слуга и доложил Прокудину, что из соседнего села пришел земский староста с понятыми.

— С понятыми?.. Это зачем? — спросил Прокудин.

— Не прогневайтесь, — сказал Мамонов, — я человек военный и приказного порядка не ведаю; но со мною есть подьячий, который говорит, что формальную выемку без понятых и свидетелей делать не следует.

— Выемку?.. Да почему ж ты думаешь, батюшка, что князь Андрей Юрьевич не поедет с тобой волею? Может статься, он вовсе и не знает, что ему должно к тебе явиться.

— Помилуйте, как не знать! Чай, ему давно уж об этом донесли. Во всех его отчинах наказывали об этом всем старостам и приказчикам... Да вот, кажется, вошел на крыльцо мой сержант. Я послал его с командою к старосте. Ваши крестьяне сказывали мне, что князь Шелешпанский остановился у него в избе. Позвольте, Максим Петрович, войти сюда сержанту.

— Изволь, батюшка.

Мамонов отворил дверь в столовую и закричал:

— Прохоров, ступай сюда!

В гостиную вошел пожилой служивый. Он перекрестился на икону, опустил руки по швам и вытянулся перед своим командиром.

— Ну что, Прохоров, — спросил Мамонов, — нашел ли ты князя Шелешпанского?

— Никак нет! — отвечал сержант.

— Как нет? Да ведь он стоял у старосты?

— Стоял, господин поручик, да вдруг изволил без вести пропасть.

— Куда же он девался?

— Не могу знать. Из избы он никуда не уходил, а в избе его нет. Мы все уголки обшарили: и под лавками смотрели, и в печи, и на полатях; на чердак лазили, все

13*

хлева обошли. Артемьев и Забулдыгин ходили смотреть на огород, не залег ли он где-нибудь между грядками,— нигде нет, словно сквозь землю провалился.

— Ну вот, изволите видеть, Максим Петрович,— сказал Мамонов.— Да это ему не поможет. Прохоров, возьми с собой понятых и обойдите все дворы!.. Ступай!

— Ты, батюшка, напрасно, это делаешь,— молвил Прокудин с приметным негодованием.— Коли князь Шелешпанский не по неведению, а знаючи отбывает от царской службы, так я и сам не стану его у себя держать: у меня притона для беглых нет.

— О, если так, Максим Петрович, так с меня довольно вашего слова. Да и то сказать: коли он смекнул, что за ним приехали, то, уж верно, у вас на селе не останется, чай, давно убежал туда, откуда приехал. Мне сказывали, что он недалеко от вас гостит у какого-то Рокотова...

— У какого-то Рокотова!..— повторил Лаврентий Никитич.— Вишь, как изволит поговаривать!.. Этот Рокотов при царе Алексее Михайловиче заседал в боярской думе, и сам государь не называл его каким-то, а изволил чествовать Лаврентием Никитичем.

— Так это вы, государь мой, Лаврентий Никитич Рокотов?— сказал Мамонов.

— Я, батюшка... имя и отечества твоего не знаю, да̀, по правде сказать, и знать не хочу.

— Лаврентий Никитич!— молвил Прокудин.

— Я все молчал, Максим Петрович,— прервал Рокотов,— а теперь как дело дошло до меня, так не мешай мне говорить. Ты, голубчик, называешь себя Мамоновым и сказываешь, что приехал по царскому указу. Вот Максим Петрович и поверил тебе на слово, а коли ты ко мне пожалуешь, так я тебе вперед говорю, что у меня на одних-то речах не много выторгуешь.

— Что ж вы думаете, государь мой, что я самозванец какой-нибудь?— сказал вспыльчиво Мамонов.

— А кто тебя знает! Коли Гришку Отрепьева угораздило назвать себя царем русским, так не велика важность, если какой-нибудь пройдоха напялит на себя немецкий кафтанишко, назовется каким-то Мамоновым и приедет будто бы по царскому указу, а в самом-то деле, чтоб сорвать что-нибудь... Ведь голь хитра на выдумки!

Мамонов вспыхнул. Он вынул из кармана бумаги и, подавая их Прокудину, сказал:

— Я точно виноват: мне следовало бы начать с этого. Вот сенатский указ на мое имя и регистр дворянам, которых требуют на службу.

Пока Максим Петрович рассматривал бумаги, Шетнев подошел к Рокотову и шепнул ему:

— Эх, Лаврентий Никитич, рассердил ты его!

— Так что ж? Барин не большой,— отвечал Рокотов,— пусть себе сердится!

— Пусть сердится!.. Да разве от этого князю Андрею легче будет?. Нет, друг сердечный, за это не так надо было взяться. Да вот постой, я поговорю с ним с глазу на глаз, так авось дело-то как-нибудь поправлю.

— Так, батюшка, так! — молвил хозяин, отдавая бумаги Мамонову.— Ты делаешь, что тебе указано,— да я в этом и не сомневался.

— Позвольте мне,— сказал Мамонов,— оставить у вас в селе небольшую команду,— не ради какого-нибудь надзора — избави Господи! Я питаю к вам, Максим Петрович, столь великую эстиму, что для меня достаточно вашего слова,— это необходимо ради всякого случая: неравно князь Шелешпанский снова появится в вашем селе, так было бы кому задержать его и препроводить немедленно в Москву.

— Хорошо, батюшка, хорошо!

— А я,— продолжал Мамонов,— сей же час отправлюсь с понятыми к господину Рокотову.

— Милости просим! — промолвил Рокотов, нахмурив брови.— Нам не впервые принимать незваных гостей, и за проводами у нас дело не станет.

— Что ж это,— прервал Мамонов,— угрозы, что ль?.. Так прошу вас, государь мой, быть известным, что коли вы осмелитесь оказать какое-нибудь сопротивление, так вас самих потребуют к ответу!.. Счастливо оставаться, Максим Петрович!. Еще раз прошу вас всенижайше не поставить мне в вину...

— Ничего, батюшка, ничего! Ты человек служивый и делаешь то, что тебе приказано.

Шетнев вышел вслед за Мамоновым в столовую.

— Господин офицер! — сказал он самым ласковым и приветливым голосом.

— Что вам угодно? — спросил Мамонов, остановясь.

— А вот что: я преусерднейше прошу тебя, батюшка, не изволь гневаться на Лаврентия Никитича Рокотова. Он крутенек немного, заносчив, а, право, старик добрый!

— Да, конечно, заносчив, и даже чересчур. Нынче не прежние времена, государь мой,— коли приказано, так слушайся.

— Да ведь он только так — язык чешет, а в самом-то деле сохрани Господи!.. А что, батюшка, господин Мамонов! ты, по всему видно, человек добрый... Нельзя ли как-нибудь это дельце уладить?

— Какое дельце?

— Да вот чтоб князя-то Андрея не тревожить. Он уж человек не молодой, ему давно под сорок, здоровье у него хилое, и хоть с виду еще молодцеват, а не стоит нашего брата старика: одышка, ногами плох, животом жалуется — вовсе не жилец! Малый такой рахманный... увалень!.. Ну из чего тебе за ним тянуться? Что, в самом деле, или без него у вас и войска не стало?

— Это, государь мой, до меня не лежит: про то знают старшие.

— И, батюшка, где им все знать, и коли бы ты захотел...

— Да что ж я могу сделать?

— Как что! Ты можешь донести своему начальству, что он хворает. Вовсе, дескать, для службы негоден — даром паек будет получать, и то и се... Да что тут говорить: ученого учить — лишь только портить! Ты, чай, лучше моего знаешь, как эти дела делаются.

— Нет, не знаю.

— И, полно, батюшка!.. Шелешпанский человек богатый, а вы, господа служивые... не прогневайся,— чай, иногда как рыба об лед бьетесь. Вот если б ты, молодец, нам помирволил, так князь Андрей ударил бы тебе челом... знаешь этак — посильное место... сотенку, другую рублевиков...

— Что,— проговорил Мамонов,— вы сулите мне двести рублей?.. Да в своем ли вы уме?

— А что?.. Маленько?.. Ну, так три сотни... Э, да что тут толковать!.. Шелешпанский не постоит и за четыре...

— Что ж это, государь мой, вы шутите или нет?

Этот вопрос был сделан таким голосом, что Шетнев отступил шага два назад.

— Да за что ж ты изволишь гневаться,— сказал он, смотря с удивлением на Мамонова,— ведь это дело полюбовное, и коли тебе четырехсот рублей кажется мало, так мы, пожалуй, и еще накинем.

— Я таких срамных холопских речей и слушать не хочу! — прервал Мамонов. Он повернулся к Шетневу спиною и вышел вон.

— Не берет, пострел этакий, ничего не берет! — сказал Шетнев, входя в гостиную. — А все ты, Лаврентий Никитич! Кабы ты его не рассердил, так мы бы верно с ним поладили.

— Мальчишка этакий, молокосос, — прошептал Рокотов, — вишь какой, стращать вздумал!.. Потребуют, дескать, к ответу... Так что ж?.. Коли пошло на то — милости просим: примем гостя?.. Уж коли отвечать, так было бы за что!

— Что ты, Лаврентий Никитич, — прервал Прокудин, — ведь государь Петр Алексеевич шутить не любит. Что, тебе голова, что ль, надоела или захотелось в Березов?

— В Березов?.. И, полно, любезный! страшен сон, да милостив Бог!.. Березов-то далеко, и царь теперь не близко... Э, да что ж мы зеваем!.. Надо послать кого-нибудь ко мне в село; и коли князь Андрей в самом деле туда перебрался... Да вот кстати Кулага!..

В гостиную вошел Прокофий Сидорыч.

— Ну что, Прокофий, — сказал Максим Петрович.

— Все слава Богу! — отвечал дворецкий, — присзжий офицер оставил у нас двух служивых, а сам забрал с собою понятых и отправился...

— Ко мне? — спросил Рокотов.

— Да, батюшка Лаврентий Никитич.

— Так ступай, братец, прикажи кому-нибудь из моих молодцов сесть на коня да живо проселком в Знаменское, и коли князь Шелешпанский там...

— Никак, нет, сударь, — проговорил вполголоса Кулага. — Князь Андрей Юрьевич здесь.

— Здесь?.. Где ж он?

Прокофий посмотрел вокруг себя и сказал шепотом:

— На барском гумне, сударь, в овинной яме.

— Ах он сердечный! — вскричал Шетнев. — Больно перепутался?

— У, батюшки!!! дрожкой дрожит.

— Слышишь, Максим Петрович, — сказал Рокотов, — ведь князь-то Андрей здесь!

— А ты, Лаврентий Никитич, — молвил Прокудин, — слышал ли, что я говорил этому Мамонову?

— А что?

— Я сказал ему, что у меня притона для беглых нет; и коли князь Шелешпанский знаючи отбывает от царской службы, так я и сам не стану его у себя держать.

— Что ты, что ты, Максим Петрович, перекрестись!

— Да, Лаврентий Никитич, ты себе думай как хочешь, но, по мне, и простому мужичку зазорно быть в бегах, а уж коли наш брат, дворянин, учнет прятаться по овинам, чтоб отвилять как-нибудь от царской службы...

— Служба службе рознь, любезный! Вот и мы с тобой служили, кажись, верой и правдою, да только кому?.. Православным царям Алексею Михайловичу, Федору Алексеевичу...

— А он пусть послужит царю Петру Алексеевичу.

— Что, небось язык-то у тебя не повернулся сказать: православному?..

— А какому же? Разве наш батюшка Петр Алексеевич в церковь Божию не ходит?.. Эх, Лаврентий Никитич, нехорошо, видит Бог — нехорошо!.. Царей-то не мы выбираем, а Господь нам дает, так если б что и не по-нашему было...

— Толкуй себе, толкуй!.. Ну вот, Герасим Николаевич, ты со мною спорил, ан и выходит моя правда, что друг-то наш сердечный, Максим Петрович, в сенаторы захотел... Слышишь, как поговаривает?

— В сенаторы!..— повторил Прокудин.— А ты во что, Лаврентий Никитич?.. Сказал бы я тебе, да только обидеть не хочу.

— Говори, небойсь, я не обижусь.

— Да не об этом речь! — прервал Шетнев, стараясь замять разговор, который, по его мнению, вовсе не следовало заводить при каком-нибудь Пыжове, а и того менее при дворецком Максима Петровича.— Скажите-ка лучше, что ж свадьба-то у нас?

— Делать нечего,— молвил Рокотов,— придется на время отложить.

— Знаете ли что? — продолжал Шетнев.— Ведь повенчать-то можно у меня на селе, ко мне Мамонов не пожалует.

— Повенчать! — сказал Прокудин.— Нет, уж об этом что и говорить. Чай, теперь жениху-то не до венца: ему служить надобно.

— Служить! — подхватил Рокотов.— Зачем?.. Авось дело и так обойдется. Я найду ему укромное местечко: у меня верстах в тридцати отсюда есть хуторок в лесу...

— Да что ж, ему там целый век, что ль, жить?

— А кто знает, Максим Петрович? Мало ли что может быть: государь-то Петр Алексеевич не на свадебный пир поехал: еще Бог весть, вернется ли из-под турка или нет.

— И, Лаврентий Никитич, охота тебе говорить!..

— Ну вот еще! И поговорить нельзя. Ведь от слова ничего не сделается. Под Полтавою ему, нашему батюшке, шляпу-то продырили; ну, а как теперь в туретчине, этак, грехом зацепит немного пониже... Ведь пуля дура, не разбирает!

— Избави Господи!

— Да что ж, Максим Петрович, мы все люди смертные... А случись что-нибудь такое, так дела-то пойдут иным чередом... Конечно, нашей матушки Софьи Алексеевны не стало, да зато, говорят, сынок-то его — дай Бог ему много лет здравствовать!..

— Эх, Лаврентий Никитич! — прервал с приметной досадою Прокудин,— не тебе бы говорить, не мне бы слушать. Что ж мы, в самом деле крамольники, что ль, какие, стрельцы?..

— Стрельцы! — повторил Рокотов.— Стрельцы-то были удальцы!.. Ну кто говорит: теперь они крамольники... Вестимо дело: чья взяла, тот и прав.

— Послушай, Лаврентий Никитич,— сказал с негодованием Прокудин,— коли ты хочешь оставаться со мной приятелем, так не изволь мне таких непригожих речей говорить!

— Вишь как!.. А сам-то ты?

— Грешный человек — и я иногда поропщу, но все-таки люблю нашего батюшку Петра Алексеевича и молюсь о его здравии; а тот, кто называет Софью Алексеевну своей матушкой и подхваливает мятежных стрельцов, тот сам коли не делом, так словом такой же точно крамольник, как они... не прогневайся!..

— Вот как!

— Да, Лаврентий Никитич, кто ненавидит законного своего государя и любит врагов его, тот, по-моему, не русский, не православный и даже не христианин... не прогневайся!

— Так ты этак-то? — молвил Рокотов, вставая.— Ну, Господь с тобою! Поедем, Герасим Николаевич: нам здесь делать нечего.

— Что ты, что ты! — вскричал Шетнев.

— Что я?.. Да разве не слышал? Я не русский, не православный и даже не христианин. Прощай, Максим Петрович! Спасибо за угощенье!

— Лаврентий Никитич,— сказал Прокудин,— я, может статься, погорячился и если сказал лишнее слово, так прости меня... да только, воля твоя, и тебе непригоже

такие речи говорить. Ведь, кажись, и ты так же, как я, целовал крест государю Петру Алексеевичу. Послушай, любезный: мне, право, жаль, что я тебя обидел...

— Добро, добро, чего жалеть: снявши голову, о волосах не плачут. Прощай!

— Да погоди, Лаврентий Никитич,— сказал Шетнев, идя вслед за Рокотовым,— воротись!

— Ни за что на свете!.. Поди-ка лучше да похлопочи, чтоб князя Андрея свезли на мой красноярский хутор, а я прикажу седлать коней.

— Да неужели ты не помиришься с Прокудиным?

— Зачем? Чтоб опять поссориться? Ведь это уж не впервые. Да и Бог с ним совсем! Кто говорит: «Помоги Господи и нашим и вашим», с тем каши не сваришь!

Через полчаса в селе Вздвиженском из всех гостей остались только Карп Саввич Пыжов и двое служивых, приехавших с Мамоновым, из которых, благодаря гостеприимству Прокофия Сидорыча, один сидел, покачиваясь, на лавке и пел во все горло: «Как во стольном граде во Киеве», а другой давно уже лежал под лавкою и спал богатырским сном.

V

Премудрый век, в котором мы живем, может по всей справедливости назваться веком изобретений, открытий и всяких улучшений. Начиная от серных фосфорных спичек до железной атмосферической дороги,— чего ни сделано, ни придумано, ни открыто, ни доведено до совершенства в течение нашего девятнадцатого столетия, а несмотря на это мы все еще не выдумали *коврика-самолета*, известного нам по древним преданиям, которые мы, Бог знает почему, называем сказками. Теперь, по милости железных дорог, мы переносимся из одного места в другое довольно скоро, однако ж все-таки не скорее птиц. Ну есть ли тут чем хвастаться? Так ли в старину летали досужие люди на коврике-самолете, с быстротою которого может сравниться только один электрический телеграф, также придуманный в наше время. Вам стоило тогда присесть на этот ковер и сказать: «Коврик, коврик-самолет! перенеси меня из села Вздвиженского в Бессарабию, на берега Днестра», и прежде, чем звук этих слов исчез бы в воздухе, вы очути-

лись бы там, куда я хочу теперь, за неимением этого воздушного экипажа, перенести вас если не делом, так по крайней мере мыслью.

Верстах в пятидесяти от Могилева, уездного города нынешней Подольской губернии, на бессарабской стороне Днестра, есть небольшой городок, который прежде все звали Сорокою, а теперь зовут иногда и Соколом. Не знаю, по какой причине дали ему это птичье название; но во всяком случае если в старину, когда этот город был укрепленным и довольно значительным городом, он назывался Сорокою, так теперь и подавно не за что его величать Соколом. Представьте себе огромный луг, или, вернее сказать, цветущую, роскошную долину, а посреди ее сотни полторы выбеленных известью домиков, которые, вместе со своими обширными плодовитыми садами, составляют почти равносторонний четырехугольник. В близком расстоянии от реки, из-за низких кровель домов, подымаются стены небольшого замка или крепости, вероятно построенной генуэзцами. Излучистый Днестр, выгибаясь дугою, обхватывает эту долину с трех сторон, а с четвертой заслоняют ее утесистые холмы нагорной стороны Днестра, то есть бессарабского берега этой необычайно красивой и живописной реки.

В тысяча семьсот одиннадцатом году на одном из этих холмов стоял хорошенький домик, напоминающий своей восточной архитектурой затейливые турецкие киоски, которыми обставлены все берега Босфора. Сзади примыкала к этому домику частая буковая роща, а с лицевой стороны, обращенной к огороду, окружали его обширные виноградные сады; опускаясь широкими уступами, они тянулись по скату горы вплоть до самого Днестра, который в этом месте, обогнув всю долину, приближался снова к своему гористому бессарабскому берегу. Этот дом принадлежал молодой вдове, богатой молдаванской куконе Смарагде Хереско. В нем стоял временным постоем больной русский офицер. Я думаю, вы отгадали уже, любезные читатели, что дело идет о вашем старом знакомце, Василии Михайловиче Симском. Он догнал свой полк близ Львова, почувствовал себя нездоровым, перемогался, и когда государь Петр Алексеевич прибыл 12-го числа июня с преображенцами и семеновцами в город Сороку, Симский сделался до того болен, что должен был снова расстаться со своим полком. Генерал Вейде, дивизия которого была расположена на бессарабском берегу Днестра, знал Симского лично и, по

совету доктора, перевел его из городского лазарета на мызу молдаванской помещицы Смарагды Хереско. 17 июня государь Петр Алексеевич выступил в поход к Пруту с полками Преображенским и Семеновским. Хотя эти полки были так же, как и теперь, пехотными, однако ж в походе садились всегда на коня и шли с литаврами, штандартами и трубами, когда же приходили на место, им возвращали барабаны, и эти временные конные полки становились снова пехотными. Вслед за государем выступила вся артиллерия под начальством генерала Брюса, пехотная дивизия генерала Вейде, конница под командою бригадира Моро де Бразе, и в городе Сороке осталась одна только дивизия князя Репнина, которому препоручено было окончить все начатые крепостные работы.

Несколько дней, проведенных спокойным и даже весьма приятным образом, помогли Симскому лучше всех лекарств: в нем осталась одна слабость; но она была еще так велика, что он никак не мог сесть на коня или отправиться в *каруце*, то есть огромной тряской телеге, догонять свой Преображенский полк. Я сказал, что Симскому было не только спокойно, но даже приятно жить на даче куконы Хереско. Эта молодая и прекрасная вдова могла свободно объясняться со своим постояльцем: она научилась говорить по-нашему, гостя очень часто у своей родной сестры, жены одного русского барина, который жил безвыездно в Киеве. Когда Симского поместили к ней в дом, она, как добрая и гостеприимная хозяйка, приняла его ласково и с самым радушным участием позаботилась о его покое. Казалось, это участие было совершенно искренним, потому что оно не только не уменьшалось, но беспрестанно увеличивалось, и самым заметным образом. В первый день она зашла на минуту к своему больному постояльцу, на второй провела с ним целый вечер, а на третий почти безвыходно просидела в его комнате. Когда Симскому стало полегче и он хотя с трудом, однако ж мог переступать и выйти на открытый воздух, Смарагда водила его по своим виноградным садам, отдыхала вместе с ним под тенью буковой рощи, поила из своих рук серальским шербетом; кормила *дульчецом*, то есть сахарным вареньем, ухаживала за ним, смотрела ему в глаза — одним словом, не оставляла его ни на минуту и нянчилась с ним, как самая нежная мать со своим больным ребенком.

Однажды поутру, в тот самый день, когда государь Петр Алексеевич выступил с гвардейскими полками из Сороки, Симский, опираясь на руку своей хозяйки, вышел из дома и присел на одну из ступенек крыльца, над которым подымалось великолепное ореховое дерево, посаженное у самых дверей дома. Смарагда Хереско села подле него. Трудно было б решить, кто из них был прекраснее, разумеется, каждый в своем роде. На молдаванке сверх утреннего платья из полосатой шелковой *аладжи* накинута была бархатная, опушенная горностаем *фермеле*, то есть кофточка, похожая на нынешние женские кацавейки. Черная, блестящая, как воронье крыло, коса ее, обвиваясь дважды вокруг головы, служила околышем для пунцовой албанской фески, или круглой шапочки, с которой опускалась на одну сторону густая кисть из синего шелка. Бледное и даже несколько смуглое, но роскошно прелестное лицо ее соединяло в себе все то, что составляет идеал восточной красоты: черные влажные глаза, которые то выражали какую-то усталость, исполненную сладострастия и неги, то горели страстию и жгли своим огненным взглядом, длинные ресницы, тонкие брови дугою, коралловые уста и два ряда зубов, «как два жемчужных ожерелья».

Представьте себе все это, и вы будете тогда иметь понятие о прекрасной куконе Смарагде Хереско.

Симский, рослый, статный юноша, с лицом, похудевшим от болезни, но все еще румяным, с задумчивым взором своих светло-голубых глаз и русыми волнистыми кудрями, которые опускались небрежно на его белую шею и широкие плечи, мог также назваться образцом этой славяно-русской самобытной красоты, пленяющей нас не страстным выражением лица, не пламенем очей, но каким-то величавым спокойствием, тихой, приветливой улыбкою и этим мощным, светлым взглядом, который обещает не минутную безумную страсть, но верную постоянную любовь до гроба, не бешеную, мимолетную храбрость, но твердое, ничем не поколебимое мужество. Молдаванка сидела молча подле своего больного и не спускала с него глаз; казалось, Симский не замечал этого и смотрел все на город, из которого выходило русское войско. Вдруг задумчивый взор его оживился, и он, обратясь к своей хозяйке, сказал:

— Смарагда! видишь ли ты это войско, вон что подымается в гору?.. Это Преображенский полк, в котором я служу.

— Если ты в нем служишь,— промолвила кукона, глядя с нежностию на Симского,— то, уж верно, этот полк лучше всех полков.

— Да! Государь его жалует.

— Куда же он идет?

— В поход.

— За Дунай?

— А Бог весть! Говорят, визирь переправился через Дунай и хочет нас встретить под Прутом.

— Под Прутом? Да это недалеко. У меня поместье есть в Орхеевском цынуте, на самом берегу Прута.

— Может быть,— продолжал Симский грустным голосом,— дней через пять храбрый Преображенский полк померится с врагом, отличится перед другими полками, а я буду сидеть здесь сложа руки...

— Так что ж,— прервала с живостию молдаванка,— тем лучше! Дай Бог, чтоб ты долго, долго не выздоровел!

— Спасибо, Смарагда!

— Ах, Василий Михайлович, ты не знаешь этих турок: они такие злые!.. Они тотчас отрежут тебе голову.

— Авось не отрежут! Ведь наши русские багенеты стоят их турецких ятаганов.

Молдаванка покачала печально головою.

— Небойсь, добрая Смарагда,— сказал Симский,— мы за себя постоим.

— Дай-то Бог,— прошептала кукона,— только и в Яссах и в Бухаресте — везде я слышала, что сильнее турок нет народа на свете.

Симский улыбнулся. Вероятно, ему пришло в голову то, что в наше время высказал Крылов, у которого мыши убеждены, что сильнее кошки на свете зверя нет.

— Чему ж ты смеешься? — сказала почти с упреком Смарагда.— Да если русские и одолеют турок, так разве тебя не могут убить?

— Так что ж? Дай Бог нашему великому царю остаться в живых и победить супостата, а я умру с радостью. Смерть за царя и за родину честна пред Господом.

— О нет,— вскричала молдаванка,— пусть пропадет все русское войско, пусть гибнет ваш царь, лишь только бы ты остался жив!

— Я?.. И, кукона! охота тебе говорить такие речи!.. Ну что такое я один в сравнении с царем и всем православным русским войском? Да разве всякий из нас не должен умереть с радостию за свое отечество?

— Отечество! — повторила с презреньем молдаванка. — И у меня есть отечество: я родилась в Молдавии. Да что мне до нее? Пусть ею владеют турки, немцы, русские — по мне, все равно!.. Ах нет! Теперь я хотела бы, чтоб мы были вашими, тогда и я была бы русская!

«Бедняжка! — подумал Симский, глядя с сожалением на свою хозяйку. — Нет, ты не знаешь, что такое свой царь и свое отечество!.. Ты молдаванка, веруешь в Христа — и все-таки раба неверного турка!.. О, конечно, у таких рабов нет ни царя, ни отечества!»

— Вот дело другое, — продолжала кукона, — умереть за одного... О, это я понимаю!.. Умереть за того, кого любишь!.. Да тут и спрашивать нечего: эта смерть милее жизни!

— А я так думаю, — сказал Симский, — что лучше умереть за всех, чем за одного.

— За всех, за всех! — прервала с досадою Смарагда. — Ты, я вижу, всех любишь!

— Так что ж, кукона? Нам и Бог велел всех любить.

— Скажи мне, Василий Михайлович, — прошептала молдаванка, помолчав несколько времени, — только скажи правду: любишь ли ты меня?

— Тебя?.. Да как же мне тебя не любить? Ты приняла меня как своего кровного, заботилась обо мне как о родном брате... У меня сестры не было, Смарагда, но мне кажется, что я стал бы ее любить точно так же, как люблю тебя.

— Сестры!.. А любил ли ты кого-нибудь больше родной сестры, больше самого себя... больше всего на свете?

— Да, Смарагда, любил и теперь еще люблю.

Молдаванка вздрогнула, ее смуглые щеки покрылись бледностию, и уста посинели, и она промолвила прерывающимся голосом:

— Что ж, та, которую ты любишь, русская?

— Русская.

— И, верно... твоя невеста?

— О нет! Я хотел на ней жениться, но ее родные этого не захотели. Теперь, я думаю, она давно уж замужем.

— Замужем? — повторила Смарагда, и потухший взор ее снова оживился. — Так ты любишь замужнюю женщину?.. Ах, Василий Михайлович, это нехорошо!

— И рад бы не любить, кукона, да, видно, любовь-то дело невольное.

— А знала ли она, что ты ее любишь?
— Как не знать, ведь я за нее сватался.
— Так, видно, эта русская тебя не любила?
— Любила или нет, про то знает она. Ведь у нас девицы очень скромны, Смарагда... Однако ж по всему было заметно, что я пришелся ей по сердцу
— И она, любя тебя, вышла замуж за другого?
— Поневоле пойдешь, когда прикажут.
— Когда прикажут! И вы называете это любовью? — прервала с жаром молдаванка.— Да кто может приказать мне?..
— Вестимо кто: отец, мать, родные...
— Родные! Да какое же им дело до моей любви?.. Разве они могут сказать мне: отдай себя немилому человеку и забудь о том, кого ты любишь, сноси с покорностью ненавистные ласки твоего мужа, ласкай его сама и не люби того, кому ты отдала все помышления, всю душу свою!.. Не люби! Да разве это не все то же, если б мне сказали: живи себе на здоровье, да только не дыши воздухом, без которого ты не можешь жить!.. Нет, Василий Михайлович, эта русская не стоит твоей любви! Если б я была на ее месте, ты увидел бы тогда, как любят молдаванки!.. Быть твоей женой, твоей любовницей... рабою... О! За один день этого блаженства я отдала бы всю жизнь мою, ушла бы за тобой на край света! Пусть бы отец проклял меня, мать покинула, родные бросили,— что мне до этого: я уж не их, когда люблю!

Страстная кукона была в эту минуту неизъяснимо прекрасна; дикий пламень ее черных очей был так очарователен, что всякий просвещенный юноша тотчас бы упал перед нею на колени; но Василий Михайлович был в этом отношении совершенный варвар. Понятия, которые он имел о женской скромности, разумеется понятия невежественные, отсталые, но закоренелые, как всякий старый предрассудок, сгубили одну из самых поэтических минут в его жизни. Вместо того, чтоб восхищаться и падать на колени, он молча и с приметным ужасом глядел на свою хозяйку. Эта безумная страсть, эти почти богохульные слова в устах женщины казались ему до того преступными, что он готов был перекреститься и сотворить молитву. Впрочем, это неприятное впечатление продолжалось недолго; несмотря на его неопытность — общий недостаток молодых людей тогдашнего времени,— ему нельзя было не отгадать, что Смарагда его любит; и надобно отдать справедливость Симскому:

он не обрадовался этому; напротив, ему стало жаль бедной куконы. Он чувствовал, что может быть только ее другом и любить как родную сестру. Не знаю, что делал бы Симский, если б сердце его было свободно, но, вероятно, и тогда бы он не захотел на ней жениться, не потому, чтоб она ему не нравилась... О нет, кукона Хереско была истинно прекрасная женщина; но в любви ее было что-то страшное для Симского, и эта буйная, неистовая страсть казалась ему чувством не только не женским, но даже вовсе неестественным.

— Ну, что ж ты на меня так смотришь,— продолжила Смарагда,— иль ты не веришь, русский, что мы, молдаванки, можем так любить?

— Да, кукона,— отвечал Симский,— мне что-то не верится. Вменять ни во что отцовское проклятие, отказаться от родной матери — да это, чай, не водится и у турок, а ведь вы христиане.

Молдаванка посмотрела с удивлением на Симского.

— Так ты этого не понимаешь? — сказала она.

— Нет, Смарагда, не понимаю.

— Да как же ты любил свою русскую?

— Я любил ее как будущую мою подругу, как счастье и радость всех дней моих, но вовсе не хотел, чтоб она была моей рабою, и сам бы не пошел к ней в рабы.

— Так ты еще никогда не любил, Василий Михайлович, да вряд ли и будешь когда-нибудь любить!.. Правду говорят, что ваша Русь земля холодная...

— Бывает и у нас тепло, Смарагда,— сказал с улыбкою Симский.

— Да, видно, так редко,— прервала кукона,— что вам и оттаять некогда... Да что об этом!.. Ты мне сказал, что любишь меня как сестру родную...

— О, конечно, моя добрая Смарагда!..

— Так я могу называть тебя милым другом... ласкать как родного брата... не правда ли, Василий?..— промолвила молдаванка, опустив свою прелестную головку на плечо Симского.

В эту самую минуту сквозь густые виноградные лозы сверкнул как молния огненный взгляд, потом послышались шаги, и на тропинку, которая подымалась в гору, вышли двое мужчин: один одетый довольно просто, другой — залитый в золото и укутанный в турецкие шали. Этот последний, несмотря на свою богатую одежду, шел позади и нес в руках пунцовый, шитый золотом мешок и турецкую трубку с длинным черешневым чубуком.

— Кто это? — спросил Симский.

— Кажется...— сказала Смарагда.— Ну, так и есть: это бояр Алеско Палади со своим арнаутом.

— Что, он твой родственник?

— Нет, чужой... и чего он от меня хочет?.. Кажется, в последний раз я обошлась с ним не очень ласково... Да вот я его так угощу, что он долго ко мне не пожалует!

Высокий и статный молдаванин подошел к крыльцу и, не удостоив Симского взглядом, поклонился Смарагде. Этот бояр Алеско Палади был еще довольно молод и мог бы назваться прекрасным мужчиной, если б его орлиный нос был несколько поменьше, а черные густые брови не придавали его взгляду такой утрюмый, неприязненный вид.

— Здравствуй, кукона! — сказал он по-молдавански.

Смарагда кивнула молча головой. Молдаванин сел подле нее на ступеньку крыльца и закричал арнауту:

— Хе!.. Янке, ада чубуче!

Арнаут высек огня, закурил трубку и подал ее своему господину.

— Смарагда,— сказал Симский, вставая,— я пойду к себе в комнату и приляту на минутку.

— В самом деле, Василий Михайлович, отдохни. Мы с тобой сегодня много ходили... А вот постой,— я тебя провожу,— промолвила Смарагда, вставая.

— Зачем?.. Я и сам дойду.

— Да ты еще так слаб...

— О нет! Сегодня я чувствую себя гораздо лучше. Останься со своим гостем.

— Хорошо, я с ним останусь, да только будет ли ему со мною весело.

Симский вошел в дом, а кукона села опять на прежнее свое место.

VI

— Кукона! — сказал вполголоса бояр Палади, указывая чубуком на уходящего Симского,— что это за человек?

— Мой постоялец,— отвечала Смарагда,— русский офицер.

— К тебе поставили больного офицера, а этот, кажется, здоров.

— Здоров! Да разве ты не видишь, что он насилу ходит?

— Скажи мне, кукона,— промолвил Алеско Паладин, помолчав несколько времени,— что с тобой сделалось?

— Со мною? Ничего...

— Как ничего? Я не узнаю тебя. Ты почти не говоришь со мной, не хочешь меня видеть. Третьего дня меня уверили, что ты уехала в город, а в городе тебя не было; вчера вышла ко мне твоя цыганка и сказала, что ты нездорова... Ну, вот теперь я застал тебя на крыльце, и по лицу твоему нельзя заметить, чтоб ты была больна... Что ж это значит?.. Если я в чем провинился перед тобою, так скажи.

Смарагда молчала.

— Что ж ты не отвечаешь, кукона,— продолжал бояр Паладин.— Я хочу непременно знать, отчего ты так ко мне переменилась?

— Да с чего ты взял, что я переменилась?— сказала Смарагда, взглянув равнодушно на своего гостя.

Этот вопрос, конечно очень неуместный, но довольно обыкновенный в подобных случаях, заставил вспыхнуть молдаванина.

— И ты можешь меня об этом спрашивать!— вскричал он.

— Ах, не кричи, бояр,— прервала Смарагда,— я этого терпеть не могу!.. Ну, да! С чего ты взял, что я переменилась? Разве я не все та же знакомая твоя кукона Хереско, которая принимала тебя как хорошего приятеля и которой — не прогневайся, бояр! — начинает ужасно надоедать своей любовью.

— Надоедать?— повторил молдаванин, и глаза его засверкали. Он хотел что-то сказать, но остановился и, помолчав несколько времени, промолвил тихим голосом:— Ну, кукона, видно, память-то у тебя очень коротка! Давно ли, вот здесь, под этим самым ореховым деревом, ты говорила мне: «Погоди, милый Алеско, дай мне подумать!»

— Ты лжешь,— прервала с живостью Смарагда,— я не называла тебя милым, а хотела подумать — это правда. Ну, вот я подумала и говорю тебе решительно: бояр Алеско Паладин! я не хочу выходить замуж.

— Ни за кого?

— Нет, этого я не говорю. Захочу, так выйду.

— Смарагда!— проговорил, задыхаясь от бешенства, молдаванин.

— Да, бояр,— продолжала твердым голосом кукона,— я могу отдать себя тому, кто придется мне по сердцу, могу сделаться его женою или невольницей — все равно! была бы на это моя воля; но ни ты, ни наш господарь, ни сам падишах не возьмут меня насильно. Ступай в Стамбул, бояр Паладп, покупай там на базаре невольниц, а Смарагда Хереско не раба: ее нельзя ни купить, ни продать.

— Да разве я этого не знаю? — сказал молдаванин, стараясь удерживать свой гнев.— Ты, конечно, вольна отдать себя кому захочешь, но где ты найдешь человека, который любил бы тебя так страстно, как я? Давно ли ты сама — не гневайся, кукона, я говорю правду,— давно ли ты сама была со мной так ласкова, встречала меня всегда с такою радостной улыбкой, и вдруг я сделался тебе противен, ты стала избегать меня, отворачиваться от меня с презрением, ну, вот как теперь... не слушать речей моих...

— Так зачем же ты говоришь со мной? — промолвила Смарагда, которая, отворотясь от своего гостя, смотрела рассеянно в ту сторону, где проходило густыми рядами русское войско.

— Зачем! — повторил молдаванин.— Неблагодарная! Да знаешь ли, как я люблю тебя?.. В Бухаресте господарь предлагал мне руку своей племянницы, я отказался от этой чести, и он сделался навсегда врагом моим; мой родственник, любимый драгоман великого падишаха, звал меня в Стамбул, обещал и богатство и почести,— я не поехал, для того чтоб не расстаться с тобою. Для кого отказался я от звания великого спатаря, которое предлагал мне князь Кантемир? Для кого покинул я мою родину, уехал из Ясс, расстался с родными?..

— Уж верно не для меня,— прервала Смарагда, продолжая смотреть в поле.— Я тебя об этом никогда не просила.

Бояр Паладп побледнел.

— Смарагда! — сказал он,— ты не женщина, а дикий зверь!

Влюбленный молдаванин ошибся. Нет, вам скорей удастся разжалобить дикого зверя, чем женщину, страстно влюбленную, но только не в вас. Если вы перестали ей нравиться и она любит другого, то все, что бы вы ни делали, будет напрасно. Чем более вы имеете прав на любовь ее, тем вы будете казаться ей несноснее. Если вы

не хотите этого, так скрывайте ваши страдания, терпите, глотайте молча слезы... Конечно, и это вам не поможет: она не сжалится над вами, но по крайней мере пожалеет о вас. Перестаньте любить ее, постарайтесь забыть, что и она также вас любила... О! Тогда, быть может, вы сделаетесь ее другом. Но Боже вас сохрани упрекать, жаловаться и пуще всего вспоминать о прошедшем — это увеличит только ее ненависть, и она не захочет вас знать даже и тогда, когда пройдет этот душевный недуг, этот безумный бред, который не покидал ее ни днем ни ночью и от которого да избавит вас Господь Бог, любезные читательницы!

Несколько минут продолжалось молчание. Смарагда встала.

— Извини меня, бояр,— сказала она.— Я не могу долее с тобой беседовать: у меня на руках больной.

— Больной! — повторил с горькой усмешкою Палади.— Да, он очень походит на больного!.. Постой, кукона, еще одно слово!.. Когда я подходил к твоему дому, ты сидела, кажется, очень близко подле этого больного?

— Так что ж?

— Мне показалось даже, что ты лежала на его плече?

— Может быть.

— И ты в этом признаешься?..

— А для чего я буду запираться перед тобою? Что ты, муж мой, брат или жених?

— Ты любишь этого русского?

— Да, люблю.

Молдаванин вскочил; глаза его налились кровью, а правая рука судорожно ухватилась за рукоятку кинжала.

— Бояр Палади,— сказала кукона, глядя смело в глаза своему гостю,— этот русский не виноват, что я его люблю, он даже и не знает об этом: так если тебе вздумается убить кого-нибудь из нас — убей меня! Я смерти не боюсь! — промолвила грустным голосом Смарагда.

Эти слова, казалось, немного успокоили молдаванина.

— Ты его любишь! — сказал он.— Недаром же я ненавижу этих русских!.. Да вот увидим, как-то они вернутся из-под Прута!.. Через несколько дней и твой постоялец отправится туда же и, может быть, его угостят там не по-твоему, кукона!.. Визирь уж близко, а где он

с непобедимым войском великого падишаха, там гибнет все!.. Неужели, Смарагда, ты будешь думать об этом русском даже и тогда, когда он погибнет?

— Нет, я не стану тогда о нем думать, а умру поскорее, чтоб никогда с ним не расставаться.

— О, если так,— прервал Паладп,— так ты недолго наживешь! Прощай, кукона!

— Прощай, бояр.

— Прощай, любовница русского офицера!

— Да,— прервала с жаром молдаванка,— я его любовница, а не жена твоя! Слышишь, бояр Палади?

— Слышу,— прошептал молдаванин, взглянув угрюмо на Смарагду.— Слышу, кукона, и не забуду об этом.

— Я презираю твои угрозы и ругательства, злой человек! — сказала Смарагда, глядя вслед своему незваному гостю.— Кукона Хереско не была ничьей любовницей, но она скорей будет рабой последнего из русских, чем твоей женой, ненавистный молдаванин.

Прошло еще два дня. Бояр Палади не показывался, а Симскому становилось все лучше и лучше. Вот на третий день, часу в восьмом утра, он надел на себя полный мундир и вошел в комнату к своей хозяйке.

— Прощай, Смарагда,— сказал он.— Я иду в город.

— В город,— повторила с приметным испутом кукона.— Зачем?

— Сначала зайду к коменданту и скажу, чтоб меня выписали из числа больных, а там явлюсь к князю Репнину.

— Я слышала, что он завтра уходит с войском из Сороки.

— Да, его дивизия идет к Пруту. Чем мне догонять армию одному, я попрошу, чтоб меня прикомандировали к какому-нибудь полку.

— Так ты хочешь завтра отправиться?

— Я уж совсем здоров, Смарагда; так мне грешно будет перед Богом и стыдно перед товарищами оставаться здесь на покое. Мне кажется,— промолвил с улыбкою Симский,— я и так у тебя довольно погостил.

— Довольно!.. Несколько дней!.. Ну, видно, ты не очень любишь свою сестру!

— Что же делать, мой друг, мне и самому грустно с тобой расстаться...

— А почем знать, может быть, мы с тобой не расстанемся?.. Я тебе говорила, что у меня есть поместье

Кут-Маре, на самом берегу Прута, разве я не могу туда переехать?

— Да ведь Прут-то не маленькая речка, Смарагда. Говорят, он немногим поменьше Днестра; так, может статься, наше войско остановится верст за сто от твоего поместья.

— А может быть, и недалеко. Верст пять от Кут-Маре есть урочище, которое зовут Рябой Могилой. Мне сказывали, что там войску расположиться очень хорошо: место такое привольное. Не знаю отчего, а мне кажется, что вы будете там стоять лагерем.

— Вот этого-то я и боюсь, моя добрая Смарагда. В военное время чем дальше живешь от войска, тем лучше. Мало ли что может случиться! Хоть у нас и очень строго, а все поручиться нельзя: и казаки к тебе заедут, и шалуны солдаты забредут. Нет, мой друг, останься лучше здесь.

— Ни за что на свете.

— Ну, коли, на беду, мы около тебя сойдемся с турками?

— Так что ж?.. Господь милостив, может быть, с тобой ничего не будет; а если, Боже сохрани, тебя ранят, кто станет за тобой ходить, кто сбережет тебя?.. Нет, мой милый друг, уж если ты назвал меня сестрой, так покину ль я тебя!

— Послушай, Смарагда, да коли мы и в самом деле остановимся подле твоего поместья, так что ж от этого?.. Мы все-таки не будем видеться. В военное время из лагеря отлучиться нельзя.

— Так я сама к тебе приеду.

— Как это можно, Смарагда! Что скажут о тебе добрые люди?

— Что мне до этого!.. Да и почему ж мне не приехать к вам в лагерь?.. У вас так много будет барынь. Все жены ваших немецких генералов поехали на Прут со своими мужьями, я познакомлюсь с ними...

— И все-таки, может быть, не увидишь меня. Ведь военный лагерь не город: там у всякого свое дело. Я же с нашими немецкими генеральшами вовсе не знаком.

— Да уж как хочешь! — прервала кукона. — Что будет, то будет, а я непременно поеду в Кут-Маре и если не увижу тебя, так, по крайней мере, буду знать, где ты...

— Ну, воля твоя!.. Только я, право, боюсь за тебя...

— И, мой милый друг! Коли эти чопорные немки не побоялись ехать за своими мужьями, так чего же ты за меня боишься?.. Да что это тебе вздумалось идти в город

пешком, Василий Михайлович? Ведь это не близко. Вели заложить мою кочу.

— Нет, я хочу пройтись пешком. Прощай, моя добрая Смарагда!

— Прощай, мой милый брат!

Окончив в городе все свои дела, Симский отправился в обратный путь. День был жаркий, полуденное солнце горело на темно-синих безоблачных небесах. Изредка только затихающий ветерок шелестел между деревьями и играл в струях Днестра, по берегу которого шел Симский. Хоть он вовсе не спешил и шел очень тихо, однако ж почувствовал наконец большую усталость и, чтобы отдохнуть где-нибудь под тенью, свернул с дороги в большой, поросший лесом овраг, который шел покатистой лощиной между двух высоких холмов, покрытых также частым дубовым лесом. Дойдя до первого ветвистого дерева, Симский присел под тень его и когда посмотрел вокруг себя, то увидел, что не он один приютился от жары в этом прохладном и тенистом овраге: в двадцати шагах от него, подле широго ручья, который вливался в Днестр, расположились табором вольные цыгане. Пары четыре усталых волов лежали между деревьями, три спутанные лошади и два жеребенка бродили по берегу ручья и щипали траву. В середине полукрута, составленного из нескольких огромных каруц, висел над огоньком чугунный котел. Вокруг него валялись запачканные ребятишки, из которых многие не были даже покрыты и лохмотьями. По-видимому, эта роскошь была предоставлена одним взрослым, и в особенности женщинам, но и те не слишком были обременены одеждою, то есть всякого рода тряпьем и ветошками, которые кажутся нам так красивы и живописны на картине и которые так отвратительны на самом деле. Один молодой цыган гудел на скрипке, перед ним две босые девчонки кувыркались и прыгали как полоумные, припевая молдаванскую песню: «Мититика винам коче»; подле них два безобразных цыганенка дрались и грызли друг друга, как цепные собаки, а третий, не обращая на них никакого внимания, боролся с ручным медвежонком. Все взрослые цыгане, собравшись в кружок, рассуждали о чем-то с большим жаром. Симскому не трудно было отгадать, что предметом совещания была какая-то тощая лошадь. Этот лошадиный остов, который цыгане ощупывали и осматривали со всех сторон, стоял повесив голову и, вероятно, вовсе не подозревал, что досужие люди

собираются подкрасить ему зубы, понахлестать хорошенько, выхолить и превратить из старой клячи в молодого и борзого коня. Ближе всех к Симскому сидела на пеньке высокого роста женщина лет под сорок. Она вся была обвешана старыми тряпками и всякой цветной ветошью, которые, впрочем, так искусно были на нее набросаны, что издали она казалась почти одетой. Резкие черты ее смутловато-желтого лица были довольно правильны, но дикий, почти безумный взгляд и нечесаные, раскинутые по плечам черные как смоль волосы придавали ей вид настоящей ведьмы, которые, как известно, собираются по ночам на Лысой горе, близ Киева. Она сидела, покачиваясь из стороны в сторону, и пела вполголоса:

Арды ма, фриджи ма,
Пи карбуне пуне ма,
Дай мне пуне пи карбуне —
Амурезо ну ти спупе! —

то есть:

Жги меня, жарь меня,
На огне пали меня
И на углях на каленых —
Имя друга не скажу!

Вдруг ее быстрый взгляд повстречался со взглядом Симского, она встала, подошла к нему и сказала довольно чисто по-русски:

— Здравствуй, бояр!

— Здравствуй, голубушка! — отвечал Симский. — Где ты научилась говорить по-нашему?

— Я жила долго в Могилеве и в Чернигове, а матуся моя была родом из Москвы... Ну что, мое красное солнышко, хочешь, я тебе поворожу?..

— О чем?

— Вестимо о чем: о твоей московской зазнобушке.

— У меня нет никакой зазнобушки.

— Лжешь, бояр!.. Вишь, ты какой молодец!.. Уж коли у тебя нет коханочки, так, видно, у вас в Москве и красным девушкам не вод. Ну что, хочешь ли, я поворожу тебе о суженой?

— Нет, не хочу.

— Так о том, молодец, уцелеет ли твоя головушка на плечах.

— Моя голова?

— Ну да! Ведь вы пришли сюда с турком-то не бражничать. Небойсь! Я тебе всю правду скажу.

— Нет, голубушка, я этого вперед знать не хочу.

— Экий ты какой!.. Да дай же мне, золотой, свою ручку!.. Ты мне на ладонку положи серебро, а я тебе скажу добро.

Симский, чтоб отвязаться от цыганки, отдал ей серебряный пятикопеечник.

— Спасибо, добрый молодец! — молвила цыганка.— Дай же я тебе поворожу.

— Ну, поворожи, да только скорей,— сказал Симский, протягивая руку.

— Ай, ай, ай,— прошептала цыганка,— да ты никак заколдован, молодец!.. Смотри-ка, смотри!.. сабли турецкие тебя не берут, ядра и пули мимо летят!.. А есть у тебя злодей... Ух, как черная немочь его коробит!.. Вот так бы и съел тебя!.. Да не потешится он над твоей головушкой!.. Не таков его талан: самому глаза в чистом поле галки выклюют, а тебя Господь помилует... Да, да!.. Смотри: вон он, под кустом лежит, а ты, молодец... у! далеко отсюда... видишь, там... вон, где золотые-то маковки на солнышке горят...

— Уж не в Москве ли? — прервал Симский.— Нет, любезная, не отгадала: я в Москву ни за что не поеду.

— Эх, мой ясный сокол! — сказала цыганка,— ну вот и помешал: теперь ничего не вижу. Положи-ка еще на ладонку!

— Хорошо, голубушка, будет с меня и этого. Ступай с Богом!

Цыганка не успела отойти нескольких шагов, как вдруг из-за деревьев раздался выстрел, и пробитая насквозь шляпа слетела с головы Симского. В то же время поднялся ужасный крик во всем таборе: пуля, назначенная, по-видимому, для Симского, не сделав ему никакого вреда, попала в старую клячу, около которой хлопотали цыгане, и убила ее наповал.

— Ну вот, мое красное солнышко! — молвила цыганка, оборотясь к Василию Михайловичу,— правду ли я сказала, что тебя пули не берут и что у тебя есть злодей? Смотри же, молодец, и вперед цыганкам верь! — промолвила она, садясь по-прежнему на пенек и запевая снова:

Арды ма, фриджи ма,
Пи карбуне пуне ма!

— Нет,— подумал Симский, рассматривая свою шляпу,— это не дробь!.. А ведь охотники по дичине

пулями не стреляют... Неужели в самом деле у меня есть злодей?.. Да кто ж он такой? Я здесь, кроме Смарагды, никого не знаю. Что ж это такое?..

Рассуждая с самим собою и теряясь в догадках, Симский дошел потихоньку до мызы куконы Хереско. Там все было в движении: дворовые цыганки бегали из комнаты в комнату, кучера суетились вокруг дорожных каруц, арнауты и слуги укладывались и сама кукона была в больших хлопотах. Когда Симский стал ей рассказывать о своем приключении, она сначала испугалась, побледнела, потом вдруг глаза ее засверкали гневом.

— Это ты, злодей! — проговорила она вполголоса.— Да погоди, разбойник, если ты осмелишься показаться подле Кут-Маре, так я велю застрелить тебя, как бешеную собаку!

— О ком ты это говоришь? — спросил с удивлением Симский.

— Ты видел у меня бояра Палади? Это он хотел убить тебя.

— Меня? За что?

Смарагда приметным образом смутилась.

— Я его совсем не знаю,— продолжал Симский.

— Да он тебя знает,— прошептала кукона.— О, как я рада, что ты поедешь в поход вместе с войском! Отсюда до самого Прута все степи, и если злой человек захочет кого-нибудь убить...

— Да что ж я сделал этому Палади?..

— Что сделал!.. Ты русский, а он ненавидит русских...

— И хочет один всех нас перебить поодиночке? — прервал с улыбкой Симский.— Ну, молодец!.. Я вижу, ты собираешься в дорогу, Смарагда?

— Да, я завтра поеду в Кут-Маре.

— Воля твоя, а, право, лучше б, если ты осталась.

— Уж я тебе сказала, мой друг: ни за что на свете!

— Ну, делать нечего, укладывайся. У меня сборы невелики, однако ж пойду и я кое-что уложить.

На другой день рано поутру дивизия князя Репнина отправилась в поход. Обоз этого войска тянулся еще по горам бессарабского берега Днестра, когда из мызы куконы Хереско выехала дорожная венская карета на пасах; с каждой стороны этого тяжелого рыдвана ехало по одному вооруженному с ног до головы арнауту; на козлах, подле кучера, сидела Мариорица, любимая

цыганка куконы, а позади тащились на волах огромные каруцы с поклажей и многочисленной дворней первой, по своему богатству, сорокинской барыни СмарагдыХереско.

VII

Русское войско, под личным начальством государя Петра Алексеевича, пройдя в пять дней Буджакские степи, остановилось в прекрасной, орошаемой Прутом долине. Река Прут гораздо уже Днестра, но несравненно его быстрее. В своем излучистом течении она очень часто отрывает от берега огромные глыбы и сильным напором воды производит береговые осыпи и провалы, весьма опасные для запоздалых путешественников.

27 июня, то есть в день Полтавского сражения, рано поутру, шли по берегу этой реки, разговаривая меж собою, двое молдаван. Один из них был среднего роста, но весьма стройный и прекрасный мужчина Другого описывать мне нечего: вы уж его знаете. Первый был господарь молдавский, князь Кантемир, второй — бояр Алеско Палади. Они шли к небольшой рощице, на опушке которой стоял арнаут, держа в поводу двух красивых турецких коней.

— Да точно ли ты уверен, бояр,— говорил князь Кантемир,— что только небольшая часть турецкой армии переправилась через Дунай и что сам визирь не прежде будущей недели тронется со всем войском?

— Я это наверно знаю,— отвечал Палади.

— Полно, так ли, бояр? Для чего, кажется, визирю мешкать за Дунаем, когда войско русского царя стоит на Пруте?

— Для чего!. Да разве ты, домне господарь, не знаешь турок? Они всегда так: где надо поспешить, они тут примутся рассуждать, да и теперешний-то визирь, Ахмет-паша, говорят, очень трусоват. Чай, он сидит в своей палатке, пьет шербет да думает про себя: «Что, дескать, мне идти навстречу к русским? Может, они постоят месяц-другой на Пруте, а там и сами уйдут домой!»

— Нет, бояр, на это полагаться нечего. Ахмет-паша человек не глупый и, верно, не станет думать, что русские пришли сюда для того только, чтобы вернуться ни

с чем домой. Ну, если, Боже сохрани, он переправится втихомолку где-нибудь через Прут и отрежет нас от дивизии генерала Рене, так дело-то будет худо.

— Да как же это можно, светлейший домне? Ведь стотысячная армия не один человек. Как бы она ни шла осторожно, а вы, уж верно, об этом узнаете.

— В том-то и дело, бояр, что есть слухи, будто бы визирь не только переправился через Дунай, но уж несколько дней идет безостановочно к Пруту.

— Не верь этому, домне господарь! это сказки. Я ездил до самой Журжи, а теперь прямехонько из Бухареста. Ну, может быть, где-нибудь в Валахии передовые татары сожгли деревню или ограбили проезжих, так и пошли все говорить, что визирь идет. Да вот я сейчас еду опять в Бухарест и если узнаю, что визирь тронулся с места, так или сам к тебе приеду, или пришлю к тебе гонца.

— Так, по-твоему, бояр, нам нечего опасаться нечаянного нападения?

— Да, светлейший домне! Что будет вперед — не знаю, а теперь вы можете здесь спать и веселиться так же спокойно, как у себя дома.

— Смотри же, бояр, послужи мне и русскому царю. Будь уверен, Паладии, ты в этом раскаиваться не станешь.

— Конечно не стану, — прервал бояр, — да только не так, как ты думаешь: я не наемник и не прошу никаких наград. Ты знаешь, светлейший домне, как я тебе предан, но ты еще не знаешь, как я люблю русских. Чтоб доказать им это на самом деле, я готов на все решиться. Не пожалею головы своей, лишь бы только послужить им так, как душе моей угодно.

Если б господарь хотя несколько сомневался в преданности Палади, то, вероятно, обратил бы внимание на странную противоположность этих слов с угрюмым и злобным взором молдаванина; но князю Кантемиру нельзя было и думать, чтоб человек, осыпанный его милостями, решился на какую-нибудь измену или предательство. В продолжение этого разговора они подошли к роще. Палади махнул арнауту, и когда тот подвел к нему оседланную лошадь, он простился с господарем, вскочил на коня и пустился рысью по дороге, ведущей в селение Рушешти. Князь Кантемир возвратился в лагерь.

Желая как можно скорее уведомить государя о полученном известии, он пошел к его ставке. Перед нею, на

обширном лугу, преображенские солдаты, под надзором нескольких офицеров, ставили длинный стол, за которым могло свободно поместиться человек двести. У дверей палатки стоял царский денщик: он пригласил Кантемира войти, сказав ему, что государь Петр Алексеевич принимает поздравления от всех начальных людей и будет сегодня праздновать вместе с ними вторую годовщину знаменитой Полтавской виктории. Чрез полчаса его величество в сопровождении первых чинов отправился к обедне в походную артиллерийскую церковь, подле которой выстроены были в боевом порядке все пехотные полки. Они составляли три стороны огромного каре, которого четвертую сторону занимала артиллерия. По окончании литургии известный проповедник тогдашнего времени Феофан Прокопович произнес длинное поучительное слово, потом стали служить благодарственный молебен, и когда запели «Тебе Бога хвалим», началась беспрерывная стрельба: беглый ружейный огонь и пальба из всех орудий не умолкали несколько минут сряду. Из церкви все отправились за государем к обеденному столу. Его величество поместился в самой середине стола, по правую его руку сидел молдавский господарь князь Кантемир, по левую — граф Головкин, барон Шарифов и Савва Рагузинский. Все генералы, бригадиры, полковники и прочие начальные люди разместились сообразно их званию и *табели о рангах*. Преображенские и семеновские капитаны разносили вино; каждый из них прислуживал шести особам, имея в своем распоряжении трех служителей для перемены стаканов и бутылок. Пированье было на славу, и лучшее венгерское вино лилось рекою. Это царское угощение продолжалось целый день и кончилось не прежде одиннадцати часов ночи.

На другой день после обеда в палатку старшего немецкого генерала Януса сошлись покурить трубки и побеседовать также все немцы: генерал-лейтенанты барон Аларт, Брюс, Денсберг, Остен, Берхгольц, Адам Вейде, генерал-майор Буш и бригадир француз Моро де Бразе. Все они сидели за большим круглым столом, на котором стояли серебряная чаша с пуншем, несколько стаканов, тарелка с лимонами и два картуза гамбургского табаку,— один с вакштафом, другой — с кнастером. Благодаря неутомимой болтовне француза Моро де Бразе, это общество вовсе не походило на тихую беседу важных немцев, которые, как известно, курят беспре-

станно табак, мало говорят, много думают и по большей части сходятся вместе для того только, чтоб кой о чем помолчать. Разговор шел о вчерашнем угощении.

— Надобно отдать справедливость поварам его царского величества,— говорил Моро де Бразе,— стол был отлично скверен; эти русские супы, та жареная и вареная баранина, эти пироги, одним словом, все было так дурно, что если б не подали под конец стола голландского сыра, так я умер бы с голоду.

— Да,— пробормотал толстый генерал-майор Буш,— то ли дело наша немецкая кухня!

Француз поморщился. Вероятно, он подумал: «Хороша и ваша!»

— А как вам показалось вино? — спросил генерал Брюс.

— О, что касается до вина,— воскликнул Моро де Бразе с восторгом истинного знатока,— так я вам скажу!.. Нам подавали такое вино, какого я в жизнь мою не пивал!

— Да, вино доброе! — промолвил генерал Янус, выпустив носом две густые струи табачного дыму.— Оно мало чем уступит нашему хорошему рейнвейну.

Француз опять поморщился.

— Конечно,— сказал он,— ваши немецкие вина хороши, господин генерал, но они немного кисловаты, а это старое токайское, которое нам подавали, настоящий нектар!.. И нечего сказать, его величество не поскупился!.. Вот уж истинно, как говорится, пили так пили! Не знаю, как вы, господин генерал, а вы, господин барон, кажется, по-моему, не отказывались.

— Да, господин бригадир,— отвечал барон Аларт, вытряхивая свою трубку,— я пил довольно.

— Хорошо б очень,— сказал барон Остен,— если б его величество так же был нескуп и во всем... Вы понимаете, что я хочу сказать, господин генерал?

— Понимаю, господин генерал-лейтенант,— отвечал Янус,— и я давно об этом думаю. Теперь не время, но когда кончится кампания, я буду непременно просить о значительной прибавке жалованья.

— Просить-то можно,— заметил Брюс,— да вряд ли вы что-нибудь выпросите.

— А не выпрошу, так пусть дадут мне абшид.

— И я последую вашему примеру,— сказал Остен.

— И я! — промолвили в один голос генералы Берхгольц, Аларт, Денсберг и Буш.

— Эх, господа,— прервал Брюс,— нам грешно на это жаловаться: посмотрите, что получают русские генералы.

— Русские! — повторил француз.— Русские обязаны и даром служить своему царю. Да если правду сказать, так стоят ли они и того, что им дают?

— Стоят или нет,— сказал Берхгольц,— а очень изволят обижаться, что мы больше них получаем жалованья, и даже так дерзки, что говорят, будто бы они служат из чести, а мы, немцы,— из одних только денег.

— Ах они варвары! — вскричал Моро де Бразе.— Желал бы я, чтоб кто-нибудь из них сказал это при мне.

— Что ж бы вы сделали? — спросил Брюс.

— Я отвечал бы этому русскому, что он, точно, прав: что мы, иностранцы, действительно служим за деньги, а русские — из чести: да это потому, что каждый старается добыть то, чего у него нет.

Глубокомысленные немцы взглянули друг на друга и призадумались. Они подозревали, что в словах француза скрывается какая-нибудь обидная насмешка, однако ж не вдруг поняли смысл этой эпиграммы.

— То, чего у него нет,— повторил наконец Янус.— А, понимаю, господин бригадир, понимаю!.. Ну, это зло, очень зло!..

— И совершенно справедливо,— промолвил Берхгольц.

— Фу, как остроумны эти французы! — шепнул Буш, толкнув локтем Остена.

— Конечно, конечно! — сказал Остен.— Это очень остро, да только не совсем справедливо. Ну, можно ли говорить, что мы служим из-за денег? Вот хоть я, например: третий год служу все на одном трактаменте [1], да еще на каком?.. Стыдно сказать: триста рублей в месяц!

— То есть,— прервал Моро де Бразе,— на наши французские деньги восемнадцать тысяч ливров в год. Конечно, это мало, но все еще сносно. А я, представьте себе, получаю всего-навсего двенадцать тысяч ливров жалованья.

— А где бы вам дали больше этого, господин бригадир,— спросил Брюс, выпив одним духом полстакана пуншу,— уж не во Франции ли?

— Да, господин генерал-лейтенант,— возразил Моро де Бразе,— да, во Франции! Деньгами я получил бы гораздо менее, но взамен их дали бы то, чего никакой

---

[1] Жалованье (от *фр.* traitement).

русский царь дать не может, то есть: прекрасный климат, просвещенное общество, любезных женщин, хорошее вино и превосходный театр, о котором, не прогневайтесь, и вы, господа немцы, не имеете никакого понятия. Вы думаете, господин Брюс, что если я отказался от этих высоких наслаждений просвещенного человека, если я закопал себя живого в эту снежную могилу, которую мы называем Московским царством, так я уж вознагражден с избытком за это необъятное пожертвование тем, что получаю в год каких-нибудь ничтожных двенадцать тысяч ливров жалованья?

— Да разве вам обещали больше этого или заставили насильно служить русскому царю?

— Конечно, не насильно, но вы знаете, господин Брюс, что в жизни встречаются разные обстоятельства: я был молод, любил пожить и, натурально, прожил все мое состояние. Мой дядя, старик лет семидесяти пяти, после которого доставалось мне большое именье, женился на молодой девушке; у его жены родился сын... одним словом, я был в таком положении, что мне должно было выбрать одно из двух: или всадить себе пулю в лоб, или идти в русскую службу. К несчастию, я выбрал последнее...

— Ну, это еще не большое несчастие,— сказал Брюс,— конечно, Россия не Франция, но, не прогневайтесь, в ней жить можно, и вы, господин бригадир, напрасно называете русскую землю могилою. Вот я уж давно живу в этой могиле, а, кажется, на мертвеца вовсе не похож,— промолвил Брюс, допив свой стакан пуншу.

— Я это сделал,— возразил француз,— относительно ее умственного состояния и совершенного отсутствия всякой человеческой жизни. Разумеется, в этом смысле в ней все мертво, как в могиле. Сошлюсь на всех: скажите, господа, есть ли где-нибудь, не говорю в Европе, но в целом мире, земля скучнее этой Московии и народ невежественнее этих грубых, необразованных *московитов?*

— Да, да! — пробормотали в один голос все немецкие генералы, исключая Брюса и Бейде.

— Вы, вероятно, читали,— продолжал француз,— в книге знаменитого путешественника Адама Олеариуса, что он пишет о русских? Помните ли то место, где он приводит мнения некоторых шведских и ливонских ученых, которые доказывают, что русские вовсе не христиане да и людьми-то могут назваться только потому, что имеют дар слова?

— То ли еще вы найдете в этой книге! — прервал Брюс. — Помните ли, как этот Олеариус, описывая русскую свадьбу, говорит, что во время венчания и молодые, и все приглашенные на свадьбу пляшут в церкви, под пение псалмов, какой-то особенного рода танец, похожий на французский *бранл*. Ну, скажите, господа: можно ли иметь какую-нибудь доверенность к путешественнику, который рассказывает такие нелепости?

— Вы, господин Брюс, — сказал хозяин, — всегда заступаетесь за русских.

— Не за русских, господин генерал, а за правду. Если б вы говорили, что русский народ еще необразованный, что они начинают только просвещаться, так я не стал бы с вами спорить, но вы их даже и за людей почитать не хотите.

— Извините, господин Брюс, — прервал Моро де Бразе, — я первый этого не думаю: русские говорят и пьют иногда хорошее вино, следовательно, они люди.

— Ваши шуточки, — возразил Брюс, — доказывают только, что вы француз, господин бригадир, и любите пошутить, так уж посмейтесь и надо мною. Я думаю вот что о русских: они еще дети, но дайте им возмужать, так у вас пройдет охота смеяться над ними. Что русские народ самобытный, этого, я думаю, и вы оспаривать не станете. Их не могли стереть с лица земли ни татары, ни поляки; напротив, после каждого народного бедствия Россия становилась все сильнее и сильнее. До татарского ига она была вся раздроблена на мелкие княжества; татары исчезли — и все эти отдельные части слились в одно огромное, мощное тело. После междуцарствия и хотя минутного, однако ж тяжкого владычества поляков Россия, без всякой посторонней помощи стряхнув с себя постыдные оковы, двинулась вперед и стала наряду всех европейских государств. Вы, я думаю, слыхали, что здоровые и сильные дети почти всегда хворают к росту? Вот точно так же Россия: она часто бывала больна, и, казалось, больна смертельно, а в самом-то деле это была только болезнь роста. Да вот хоть в наше время, что можно было ожидать после нарвского сражения? Уж так по крайней мере совершенного унижения России, а вышло напротив: Россия точно так же, как прежде, прихворнула, да вдруг и выросла на целую Лифляндию. И об этом-то исполненном жизненной силы и самобытном народе вы говорите с таким презрением? Нет, господа, не знаю, будет ли когда Россия предписы-

вать законы другим народам, но я убежден в душе моей, что лет через пятьдесят она займет одно из первых мест в числе всех просвещенных государств Европы.

— Срок-то очень длинен,— сказал Моро де Бразе,— а то бы я побился с вами об заклад, что ваши русские и через пятьдесят лет будут точно такими же варварами, какие они теперь.

— То есть мы, иностранцы, станем называть их варварами? Да, это может быть и через полтораста лет. Известное дело: мы всегда не жалуем и позорим тех, которых боимся.

— Охота вам об том спорить!..— прервал Янус.— Поговоримте-ка лучше о турках. Что бы это значило, господа: мы заняли всю Молдавию, перешли Прут, а визирь, как слышно, все еще стоит за Дунаем? Чего ж он дожидается?

— Чтоб мы подошли к нему поближе,— отвечал Остен.

— А может быть, и раздумье берет,— сказал Брюс.— Ведь с русскими ладить нелегко.

— И, полноте,— вскричал Моро де Бразе.— Турки народ храбрый, станут они трусить ваших русских! А вот разве что: не узнал ли визирь, что при русской армии находится много иностранных генералов,— это всего вернее. Поневоле призадумаешься, когда надобно иметь дело с знаменитым генералом Янусом!..

Янус улыбнулся и кивнул головою.

— С таким необычайным стратегом, как вы, господин Аларт.

Аларт поклонился.

— С такими испытанными тактиками,— продолжал француз,— каковы генералы Денсберг, Остен, Брюс, Вейде.

— Позвольте мне прибавить,— сказал Остен,— и с таким храбрым начальником кавалерии, как вы, господин Моро де Бразе.

— Да уж если вам, господа, не угодно сказать ни слова о фельдмаршале Шереметеве,— прервал Брюс,— так не забудьте хоть самого государя Петра Алексеевича. Кто разбил наголову первого полководца нашего времени, Карла Двенадцатого, с тем шутить нельзя.

— Разбил!—повторил француз.— Да, конечно, разбил, по милости фельдмаршала Гольца и других иностранных генералов.

— Мы все только исполняли приказания русского царя, господин Моро де Бразе,— продолжал Брюс,— а

всем распоряжался и был душою всего сам государь Петр Алексеевич. Вы не были под Полтавой, так можете говорить все, что вам угодно; но мне грешно бы было не отдать справедливости не только самому царю, но также и князю Меншикову и многим другим из русских генералов

— А позвольте спросить, господин Брюс,— сказал Янус,— кто ж, по-вашему, эти русские генералы? . Вот, например, хоть оба фельдмаршала, которыми так хвастаются русские: Шереметев и князь Меншиков,— неужели вы назовете их хорошими генералами? Меншиков, конечно, человек способный; но имеет ли он сведения, необходимые для искусного полководца? А вы сами знаете, что одной практики для этого недостаточно. Я отдаю также полную справедливость необычайной храбрости Шереметева, но он вовсе не тактик и, вероятно, не понимает даже, что значит слово: стратегия.

— А почти всегда бил шведов! — прервал Брюс.

— Случай, господин генерал-лейтенант, счастье — и больше ничего.

— А надобно сказать правду,— подхватил Моро де Бразе,— старик Шереметев в деле молодец! Чтобы спасти простого солдата, он готов сам кинуться с саблею на неприятеля.

— Это, господин бригадир, храбрость, приличная обер-офицеру, а Шереметев фельдмаршал

— Так, господин генерал, так! Только вы уж слишком строго судите и князя Меншикова и Шереметева. Не забудьте, что они русские, так чего же вы от них хотите?

— Чего! — повторил Брюс.— Да я уверен, что Шереметев, князь Меншиков и князь Репнин, несмотря на то, что они русские, были бы везде отличными генералами.

— В самом деле? — прервал француз.— Так зачем же русский царь окружает себя иностранцами? Нет, господин Брюс: хотя и он также русский человек, но у него много природного ума. Он очень понимает, что без нас ему нельзя шагу сделать и что только при помощи иностранцев он может — не просветить свой народ, это, я думаю, дело невозможное! — но придать ему, по крайней мере, хотя наружность и физиогномию просвещенного народа. Одним словом, я убежден, что русский царь, как человек в некотором смысле гениальный, не может уважать своих русских и охотно бы променял их на иностранцев, которые одни могут понимать его.

— Полно, так ли? — прошептал генерал-лейтенант Адам Вейде, который во все время слушал других, а сам

молчал и курил трубку.— Я думаю, что царь Петр Алексеевич ни на кого не променяет своих русских, потому что он, кажется, их очень любит.

— А нас, господин генерал-лейтенант? — спросил Моро де Бразе, бросив на пол лимон, который лежал подле него на столе.

Адам Вейде затянулся, выпустил в один прием целое облако табачного дыму и не отвечал ни слова.

— Что ж вы не отвечаете на мой вопрос? — продолжал француз, прихлебывая пунш из своего огромного стакана.

— Вы, кажется, всегда любили свежие лимоны, господин бригадир? — промолвил наконец Вейде, приостановясь курить.

— Да, господин барон, я их люблю.

— Так что ж вы бросили ваш лимон на пол?

— А на что он мне? Я выжал из него весь сок... Да дело не об этом, вы отвечайте на мой вопрос: если, по-вашему, царь Петр Алексеевич, несмотря на свою страсть к просвещению, очень любит этих русских варваров, так как же он любит нас, образованных иностранцев?

— Да я думаю, точно так же, как вы любите свежие лимоны, господин бригадир! — сказал Вейде, принимаясь снова курить свою трубку.

В палатку вошел адъютант и доложил Янусу, что царь требует к себе его и генералов Брюса и Аларта.

— Извините, господа,— сказал Янус,— я пригласил вас к себе, полагая, что нас сегодня не потревожат, а, кажется, без нашего совета и сегодня дело не обойдется. Что, господин барон,— промолвил он, взглянув с насмешливою улыбкою на Вейде,— видно, в лимонах-то соку еще довольно?

Все гости откланялись хозяину, и он, накинув плащ, отправился вместе с Брюсом и Алартом в ставку государя Петра Алексеевича.

VIII

Вероятно, многие из наших читателей не знают всех подробностей турецкой войны 1711 года; следовательно, вовсе будет не излишним, если я скажу несколько слов о положении, в котором находилась

русская армия в течение первых чисел июля месяца Обманутый ложными известиями, государь Петр Алексеевич узнал весьма поздно о приближении всей турецкой армии. Генерал Янус, посланный с сильным отрядом для того, чтоб помешать неприятелю переправиться через Прут и зайти в тыл русской армии, не исполнил как следует своей обязанности: столкнувшись нечаянно с турецким авангардом, который только что начал переправляться через реку, генерал Янус не только не задержал его, но отступил немедленно со своим отрядом и донес государю, что визирь со всеми войсками перешел через Прут. Вследствие этого неверного донесения ему приказано было идти назад и присоединиться к армии. Визирь воспользовался этой ошибкой: не встречая никакого сопротивления, он перевел большую часть своего войска на бессарабский берег Прута, занял все высоты и совершенно отрезал этим движением русскую армию от войск, находящихся под начальством генерала Рене. Дивизии генералов Вейде и князя Репнина находились также не в близком расстоянии от главной армии. Ночью, на девятое число июля, она выступила из лагеря и к рассвету, соединясь с этими дивизиями, продолжала идти вдоль Прута, избирая удобное место, на котором могла бы, несмотря на неравенство сил, вступить в бой с неприятелем. Поутру, когда армия была в походе, турки напали на наш арьергард, состоящий из одного Преображенского полка; этот храбрый полк не только не допустил себя отрезать от войска, которое продолжало идти вперед, но после пяти часов беспрерывного сражения, откинув назад неприятеля, примкнул к обозу главной армии. В тот же день визирь, полагая, что ему вовсе не трудно с двумястами тысяч войска уничтожить сорок тысяч русских, напал со всеми своими силами на нашу армию, но после упорного сражения был отбит с большим уроном, и русские, дойдя до урочища, известного под названием Рябая Могила, остановились на берегу Прута. Наше войско выстроилось в каре в середине которого был весь обоз и несколько палаток Пока одна часть солдат укрепляла по возможности этот со всех сторон открытый лагерь, другая перестреливалась с отдельными турецкими партиями, которые продолжали тревожить русских до самой глубокой ночи. Меж тем визирь расположился на противоположном гористом берегу Прута; он развернул

свое бесчисленное ополчение огромным полукрутом, которого концы, упираясь в Прут, обхватывали с трех сторон русский лагерь, а с четвертой, то есть с тылу, все высоты были заняты буджакскими и крымскими татарами. В этом затруднительном положении государь Петр Алексеевич не щадил, как и всегда, своей собственной жизни. Вот что рассказывает очевидец, человек не русский и вовсе не преданный русскому царю: «Могу засвидетельствовать,— говорит он,— что царь не более себя берег, как и храбрейший из его воинов. Он переносился повсюду и под неприятельским огнем говорил с генералами, офицерами и рядовыми ласково и по-дружески, расспрашивая о том, что происходило на их постах».

Надобно прибавить, что русским угрожало еще новое бедствие, несравненно ужаснее всего остального: им предстояла голодная смерть. Валашский господарь Бранкован, который вызвался продовольствовать наше войско, изменил своему слову. В русском лагере, окруженном со всех сторон неприятелем, едва ли оставалось на несколько дней провианта, и, несмотря на то, что вода была под руками, многие умирали от жажды, потому что днем турецкие стрелки не давали никому подойти к реке и даже ночью осыпали пулями весь берег, вдоль которого тянулись наши лагерные укрепления, составленные из деревянных рогаток, засыпанных землею. Одним словом, гибель русского царя, а с ним всего войска казалась неизбежной. 10 числа июля турки, не возобновляя своего нападения на русский лагерь, открыли по нему сильный огонь из всех своих орудий. Весь день прошел в этой беспрерывной и, к счастию, почти безвредной для нас стрельбе. Вечером государь Петр Алексеевич, собрав военный совет, объявил фельдмаршалу Шереметеву и всем генералам, что, по совершенному недостатку продовольствия, нельзя было оставаться долее в оборонительном положении, что всей армии предстояло одно из двух: или сдаться военнопленными, или пробиться сквозь неприятеля и, соединясь с дивизией генерала Рене, отступить к своим границам; что это последнее средство одно могло спасти если не армию, то по крайней мере славу нашего оружия и что он, русский царь, желает лучше идти на верную смерть, чем сдаться безусловно на волю неприятеля. Фельдмаршал, вместо ответа, подал государю бумагу, подписанную им и всеми генералами еще за несколько часов; содержание этой бумаги

было совершенно согласно с настоящей волей русского царя. Государь Петр Алексеевич, приказав, чтоб рано поутру все полки были готовы к бою, распустил совет и заперся один в своей палатке, строго наказав не пускать к себе никого.

Эта решительная мера, конечно, не спасла бы русских. У визиря было с лишком двести тысяч свежего, неизнуренного войска, а у нас, за исключением бесконных казаков и плохо вооруженной молдаванской сволочи, всего двадцать две тысячи, почти без конницы и с артиллерией, которая, в сравнении с турецкою, могла назваться ничтожною Если б русская армия, ударив дружно, и прорвалась сквозь турецкие полчища, то могла ли она уцелеть и дойти до границы, неся на плечах своих в десять раз сильнейшего неприятеля? Туркам очень легко было заслонить от нас Яссы и заставить идти назад тем же самым путем, которым мы пришли к Пруту, а тогда что могло спасти русских? Несколько дней усиленного похода по безводным степям буджакским, вероятно, довершили бы совершенное истребление армии; турки не стали бы и драться с нами: им пришлось бы только забирать в плен отсталых и прирезать умирающих от усталости, жажды и голода. Супруга русского царя Екатерина Алексеевна, узнав об этом отчаянном намерении, собрала все свои драгоценные вещи, поручила Шереметеву доставить их к визирю, а сама, несмотря на запрещение, решилась войти в палатку государя и просить его, чтоб он дозволил фельдмаршалу вступить в мирные переговоры с неприятелем. Шереметев получил это позволение не прежде ночи и тот же час отправил с трубачом в турецкий лагерь гвардейского унтер-офицера Шепелева.

Теперь, любезные читатели, познакомив вас с ходом дела и положением нашей армии, я отказываюсь от важной обязанности историка, которая мне вовсе не по плечу, и превращаюсь снова в смиренного рассказчика, от которого вы вправе требовать только того, чтоб он не вовсе надоедал вам своей болтовнею

В небольшой походной палатке, разделенной надвое парусиновым занавесом да простым деревянным столом, на котором догорали две свечи, сидел, погруженный в глубокую думу, государь Петр Алексеевич Перед ним лежал лист исписанной бумаги Облокотяся на стол, он поддерживал руками свою поникшую голову. Как пасмурные осенние небеса, туманно и мрачно было высокое чело венценосного владыки; но в задумчивых его

взорах незаметно было ни страха, ни тревоги: в них выражалась только одна глубокая душевная грусть. Много было грустных минут в твоей жизни, русский царь, но никогда мощная душа твоя не страдала так, как в эту ужасную ночь. Что думал ты, Великий Петр, ожидая решения гордого визиря, от которого зависела не жизнь твоя — о ней ты мало заботился,— но вся будущность твоей великой державы, твоей православной родины, которую ты хотел, как милое дитя твое, вынянчить и взлелеять на руках своих? Ты возвеличил твою Россию, двинул ее вперед, поставил в чреду могучих и великих царств. И вот все заботы, все труды твои, все надежды — все могло погибнуть в одну минуту! На кого оставлял ты свою святую Русь? Кто стал бы продолжать после тебя начатое? И кто окончил бы то, что было уже почти приведено к концу?.. О, конечно, в этот горький час ты должен был вспомнить и мог повторить проникнутые неизъяснимой грустью слова Спасителя: «Прискорбна есть душа моя до смерти!»

Поодаль от государя, в темном углу палатки, сидела на складном лагерном стуле царица Екатерина Алексеевна. Она смотрела молча на своего державного супруга и робким взором следила за каждым его движением.

— Катенька,— сказал наконец государь Петр Алексеевич, обращаясь к своей супруге,— послушай, я прочту тебе то, что написал в Сенат. Это мое духовное завещание.

— Ах, Петр Алексеевич! — прервала царица,— да почему ж нам не надеяться, что визирь...

— Пойдет на мир? Может быть, и пошел бы: он знает, что мы живые в руки не дадимся; да вот что худо: Бендеры недалеко отсюда. Я чаю, мой братец, шведский король, давно уж в гостях у визиря и, верно, не то ему советует. Я уж сказал тебе, что не сдамся ни за что на дискрецию. Может быть, мне посчастливится, и я умру с оружием в руках; а коли Господь меня не помилует коли я попаду в турецкий плен, что ж тогда?

— Избави Бог! — вскричала Екатерина Алексеевна.— Да нет, этого не будет!

— Что будет после предстоящей отчаянной акции, про то знает один Господь, мой друг! И вот для чего я написал этот, может быть, последний указ моему Сенату. Слушай, Катенька!

Государь Петр Алексеевич взял со стола исписанный лист бумаги и начал читать:

— «Господа Сенат! Извещаю вас, что я со всем своим войском, без вины или погрешности нашей, но единственно только по полученным ложным известиям, в семь крат сильнейшею турецкою силою так окружен, что все пути к получению провианта пресечены и что я, без особливой Божьей помощи, ничего иного предвидеть не могу, кроме совершенного поражения, или что я впаду в турецкий плен. Если случится сие последнее, то вы не должны меня почитать своим царем и государем и ничего не исполнять, что мною, хотя бы то́ по собственноручному повелению от вас было требуемо, покамест я сам не явлюсь между вами в лице моем; но если я погибну и вы верные известия получите о моей смерти, то выберете между собою достойнейшего мне в наследники».

— Как, Петр Алексеевич,— сказала с удивлением царица,— если ты попадешь в плен, так твои подданные не должны уж тебя и слушаться?

— Да, мой друг! Ведь я человек, и почем знать, на что могу решиться, когда буду в неволе у турок. Чтоб выручить себя из плена, я, может быть, соглашусь на все, что от меня потребуют, не пожалею ничего и разорю вконец мое царство. Нет, Катенька, русские должны слушаться меня, своего законного государя, пока я свободен, а коли я в плену, так я сам не хочу, чтоб мне повиновались: ведь тогда уж не я стану приказывать, а турецкий султан.

— Да зачем же так отчаиваться, Петр Алексеевич? Бог милостив! Ну, конечно, выгодного мира нам ожидать нельзя...

— Вестимо, Катенька! Теперь нам об этом и думать нечего, да лишь бы мир-то нам заключить не позорный... Я охотно возвращу туркам Азов, разорю построенную на их земле Троицкую крепость, заплачу все военные издержки...

— Я думаю,— сказала царица,— визирь прежде всего потребует, чтоб ты выдал ему князя Кантемира...

— Князя Кантемира? — прервал с жаром государь.— Ни за что на свете!.. Вот тогда-то подлинно я заключил бы позорный мир!.. Молдавский господарь положился на мое обещание, был верным моим союзником, и я выдам его туркам, допущу умереть на плахе!.. Нет, Катенька, скорей уступлю я туркам русские земли по самый Курск: Господь поможет мне воротить их назад; но если я изменю моему царскому слову, так этого уж ничем не воротишь!

В палатку заглянул царский денщик.

— Что ты? — спросил государь.

— Прапорщик Симский, ваше величество.
— Хорошо. Позови его сюда.
Симский вошел в палатку.
— Господин прапорщик,— сказал Петр Алексеевич,— мне рекомендовал тебя генерал Вейдс как отлично хорошего и расторопного офицера. Я хочу послать с тобою в Москву указ нашему Сенату. Надеешься ли ты довезти его?
— Если Бог поможет, ваше величество,— отвечал Симский,— так довезу.
— Знакома ли тебе здешняя сторона?
— Меня часто посылали фуражировать, ваше величество, так я все окольные дороги знаю.
— Хорошо. А по какой дороге ты поедешь?
— Надобно дать крут, ваше величество, и ехать на Яссы.
— Так!.. Ступай же, не мешкая ни минуты. Турки далеко не посылают своих разъездов, и если ты успеешь отъехать ночью верст пятнадцать, так авось с Божьей помощью доберешься благополучно до Ясс, а там уж тебе никакой остановки не будет. На всякий случай вместе с тобою поедет казак, который хорошо говорит по-молдавански и по-турецки. Ну, теперь погоди немного, господин прапорщик, я сейчас тебя отправлю.
Государь Петр Алексеевич сложил свой указ, запечатал его и, отдавая Симскому, сказал:
— Отправляйся скорее! Я чаю, до рассвета и трех часов не осталось. Прощай, молодец,— промолвил государь, поцеловав Симского в лоб,— Господь с тобою!.. Только смотри не забывай русской пословицы: «На Бога надейся, а сам не плошай!»
Симский, выходя из царской палатки, повстречался с Шереметевым.
— Ну что, господин генерал-фельдмаршал,— спросил Петр Алексеевич,— есть ли какой ответ от визиря?
— Никакого, государь! — сказал Шереметев.
— Да ведь он должен же что-нибудь отвечать.
— Шепелев не воротился, ваше величество. И коли его убили на неприятельских форпостах, так, может быть, визирь и не знает, что мы желаем начать с ним переговоры.
— Да, конечно, дело статочное. Так пошлите, господин фельдмаршал, сей же час другого парламентера, прикажите ему требовать немедленного ответа и объявить визирю, что если он не хочет вступать с нами в переговоры, то мы с Божией помощью постараемся

проложить себе дорогу с оружием в руках и ляжем все до единого, но ни за что не сдадимся на дискрецию.

Фельдмаршал, отправив в турецкий лагерь своего адъютанта, возвратился опять в царскую палатку.

Прошло более двух часов — ответа не было. Вот облака зарделись на востоке. Раскинутый в долине русский стан был еще покрыт ночною тенью, но на гористом берегу Прута начинали уже белеться верхи турецких палаток. Вот первый луч восходящего солнца отразился на позолоченной луне великолепного шатра визирского; раздался пушечный выстрел, и неприятельское ядро просвистело над царской палаткою.

— Вот нам и ответ от визиря! — сказал Шереметев.— Слышишь, государь?

— Слышу, Борис Петрович!.. Ну, как ты думаешь?

— Да о чем тут думать?.. Делать-то нечего,— потешимся в последний раз... Что, в самом деле: умирать так умирать!.. Да нелегко же и туркам-то будет! — промолвил фельдмаршал, нахмурив свои седые брови.

— А если мы не пробьемся? — спросил Петр Алексеевич.

— Так что ж, ты надежа государь,— прервал старик Шереметев, помолодев двадцатью годами,— мертвым срама нет! А мы все готовы умереть с тобой.

— Спасибо, добрый и верный слуга мой! — сказал Петр, обнимая Шереметева.— Спасибо, брат Борис!

Вот снова раздался пушечный выстрел, за ним другой, третий; все неприятельские батареи вспыхнули, и турецкие ядра посыпались в русский лагерь.

— Эк они, проклятые! — проговорил Шереметев.— Видно, пороху-то у них много!..

— Господин фельдмаршал,— сказал государь Петр Алексеевич твердым и спокойным голосом,— прикажите строиться войску в каре; обоз, понтоны и артиллерия в средине. В переднем фасе полки Преображенский и Семеновский; кавалерия в арьергарде; все генералы и штаб-офицеры по своим местам.

— Слушаю, ваше величество!

— Катенька,— сказал государь,— палатку сейчас снимут; ступай садись в карету и посади с собой князя Кантемира.

— Петр Алексеевич! — вскричала царица, обнимая со слезами государя.

— Полно, Катенька, полно! Теперь не до того. Господь с тобою!

Государь Петр Алексеевич вышел из палатки Весь лагерь был в движении. Быстро, но стройно и спокойно становилось войско в боевой порядок; полки примыкали один к другому, и в несколько минут под неприятельскими ядрами вокруг всего стана образовалась сплошная стена из русских воинов.

Фельдмаршал подошел к государю.

— Ну что наш парламентер? — спросил Петр Алексеевич.

— Все еще в турецком лагере,— отвечал Шереметев,— а может статься, и его так же убили, как Шепелева. Да уж что, батюшка Петр Алексеевич, один бы конец!

— И то правда, Борис Петрович: коли визирь упрямится и молчит, так пора нам заговорить. Прикажи бить поход!.. С Богом!

Государь и все генералы сели на коней. Через полминуты раздался по всему войску барабанный бой, и вот, как стальная нива, заволновались на солнышке русские штыки: огромное каре двинулось с места.

— Да что это,— прошептал Шереметев,— никак турки-то не стреляют?

В самом деле, неприятельские батареи замолкли, и от противоположного берега Прута отчалила лодка.

— Стой! — скомандовал Шереметев.— Государь Петр Алексеевич,— продолжал он,— у тебя глаза-то помоложе моих,— видишь?

— Вижу!.. Это оба наши парламентера... и с ними турецкий офицер; они машут платками...

— Вот что!.. Так, знать, визирь-то надумался?

— Видно, что так.

— Ну, слава тебе Господи! — сказал Шереметев, перекрестясь.— Я что! Я уж мой век отжил; а куда бы жаль было всех этих молодцов!

— Да, друг сердечный! — сказал Петр Алексеевич, пожав крепко руку фельдмаршала.— Да, слава Богу· мы увидим еще с тобой святую Русь!.

IX

Теперь, любезные читатели, мы возвратимся опять к Симскому.

Ночь была темная, порывистый ветер гнал от запада густые тучи, и на мрачных небесах изредка только

проглядывали звезды. Два всадника, один закутанный в широкий плащ, другой в черкесскую бурку, ехали шагом по узкой тропинке, которая вела то берегом Прута, то, отбегая в сторону, терялась в глуши мелкого дубового леса, поросшего густым кустарником. Эти ночные путешественники ехали почти рядом и оба молчали. Один из них был Василий Михайлович Симский, другой — казачий урядник Никита Фролов. Вдали слышны еще были оклики русских часовых, а до рассвета оставалось уж не более двух часов.

— Да что ж мы этак плетемся нога за ногу? — промолвил наконец Симский.— Фролов, пойдем рысцой!..

— Нет, сударь, теперь рысью недалеко уедешь,— отвечал урядник,— вишь, какая темь, хоть глаз выколи!.. Мы же едем берегом, а тут местами есть такие провалы, что не приведи Господи!..

— Да ведь этак мы и десяти верст не проедем до рассвета.

— Проедем, сударь, и все пятнадцать, лишь только бы Господь Бог от встречи помиловал... Что ты... что ты, Гнедко... чего испугался?.. Экий черт! Иль нагайки захотел?..

— А что, Фролов, мы долго этим лесом-то поедем?

— Вот скоро должен быть поворот направо, в деревню Кут-Маре; мы примем левее, да и выедем в чистое поле; и кабы нам добраться только подобру-поздорову до села Германешти, так дело-то было бы в шапке: там пойдет дремучий лес верст на десять, вплоть до поместья Будешти, а за Будештами прямая дорога до самых Ясс.

— Да ты, видно, Фролов, хорошо знаешь здешнюю сторону?

— Как не знать, сударь: меня раза три в Яссы посылали; дорога знакомая.

— Постой-ка, брат, постой! — сказал вполголоса Симский, приостановя свою лошадь.

— Ничего, Василий Михайлович,— молвил Фролов,— это ветер шумит по лесу. Здесь нам и днем опаски большой бы не было, а вот как выберемся в чистое поле, так уж тут держи ухо востро!.. Благо ночь-то темна, а то проклятые басурманы как раз бы нас подозрили, а пуще эти буджатские татары: они, словно волки, так везде и рыщут.

— Неужели ты, Фролов, испугаешься татарина?

— И двух, сударь, не испугаюсь, да ведь их здесь видимо-невидимо!.. Всех не перебьешь, а наутек и не

думай: у них кони знатные!.. Вот не так чтобы давно этих поганых татар вовсе здесь не было, да вдруг как полая вода нахлынули,— вовсе простору не дают!.. А что, сударь, правду ли говорят, что государь Петр Алексеевич хочет с турком-то мир учинить?

— Может статься.

— Так что ж, велено всему войску готовиться к сражению?

— Видно, так надобно.

— Знать, по пословице: миру проси, а камушек с собой носи!..

— Ну, разумеется. Почем знать, коли визирь не пойдет на мировую...

— Так придется с ним распить крутовую? Так, сударь!.. Да и пора чем ни есть порешить с турком-то: ведь нашим скоро перекусить нечего будет. Что, в самом деле, мир так мир, а не то перекрестясь, да и пошел наудалую. Вынесет Господь — хорошо, не вынесет — его святая воля! Лишь только бы наш батюшка уцелел, а наши головы что!.. Ведь царство-то русское не нами стоит!

— Да, брат Фролов, за нашего государя не жаль своей головы положить.

— Чего жалеть, батюшка! Да ведь таких царей, как наш государь Петр Алексеевич, сродясь нигде не бывало. И собой молодец, и удаль вся русская. Как теперь смотрю: под Полтавою летает себе соколом на своей лошадке; вокруг его народ так валом и валит, а ему и горюшка мало! Где погуще, тут и он! А уж заботливый-то какой! Подумаешь, кому бы, кажется, и понежиться, как не царю? — ему никто не указ; так нет! говорят, ночи не спит!.. Да зато уж у него и другие не дремлют. Вот иноземные-то государи — фу, батюшки,— чай, к ним и приступу нет! А к нашему царю, коли ты прав или за делом идешь,— ступай прямо! Он, наш кормилец, со всеми милостив; простого лапотника не погнушается. Да вот я, сударь, расскажу тебе, что слышал от одного крестьянина, у которого года два тому назад стоял постоем. Забыл, как село-то прозывается... ну, да это все равно. Вот что он рассказывал: «Еду, дескать, я однажды порожняком с базара по большой дороге, зазевался маленько, попал в рытвину, задняя ось-то и пополам, а до села еще версты четыре оставалось. Что делать, на одном передке далеко не уедешь. Со мною был парнишка, я послал его за осью на село, а сам остался подле воза. Вот, гляжу, едет на тройке в телеге какой-то барин,

а с ним служивый; поравнялся со мною и велел остановиться. Я шапку долой. «Что, дескать, мужичок, стоишь ты здесь с возом праздно?» — «Да вот, мол, батюшка, притча сделалась: ось лопнула».— «Так что ж,— у тебя, кажись, за поясом топор?» — «Да, кормилец, купил на базаре».— «Ну так чего же ты сложа руки стоишь? Иль уж ты и оси-то сделать не сумеешь? Лесок здесь есть, срубил бы деревцо, да и за работу».— «Нельзя, кормилец! Здесь лес рубить царем заказано».— «Экий ты какой, да кто про это узнает?.. Я никому не донесу».— «А Бог-то на что, батюшка?» Вот, гляжу, барин спрыгнул с телеги, подошел ко мне, взял меня за виски и поцеловал в маковку. «Добрый ты мужичок, говорит, добрый! и Бога боишься, и царя слушаешься».— «Да кого ж нам и слушаться»,— молвил я. «А видал ли ты когда-нибудь царя-то?» — спросил барин. «Нет, батюшка, сродясь не видывал».— «Ну, так посмотри на меня, ведь я-то и есть царь Петр Алексеевич». Я в ноги, а он поднял меня и говорит: «За то, что ты, мужик, присягу помнишь и царский указ хранишь, я сам тебе послужу и сделаю тебе ось моими руками». Вот он взял у меня топор, срубил деревцо да в два мига такую смастерил ось, что любо-дорого посмотреть! Приладил как быть надо, сел опять в телегу и покатил. Я приехал на село да прямехонько к батьке. «Вот, дескать, отец Федор, како дело со мной было». Батька выслушал, подивился и говорит мне: «Не подобает тебе, Гаврила, ездить на оси, которую делал своими ручками помазанник Божий: отдай ее в церковь!» [1] Ну, вестимо, я отдал, и ее поставили на паперти, у самых церковных дверей». Вот что, сударь, Гаврила мне рассказывал, а ось-то я сам видел: она и теперь все там же на паперти стоит. Так вот он каков, наш батюшка! И разной мудрости иноземной обучен, и царством правит, да и в мужичьем-то деле всякого за пояс заткнет!

В продолжение этого рассказа наши путешественники доехали до опушки леса.

— Вот и поле пошло,— сказал Фролов,— теперь зевать не надо... Постой-ка, сударь...

Урядник слез с лошади, нагнулся к земле и стал слушать.

— Ну что? — спросил Симский.

---

[1] Теперь эта ось перенесена на паперть соборного храма города Волоколамска.

— Тихо, батюшка, ничего не слышно.

— Да зато скоро видно будет. Посмотри-ка, Фролов, все облака разошлись.

— Да, сударь, да!.. Мешкать нечего — с Богом!

Симский и Фролов выехали на изрытую колеями дорогу, которая, судя по частым насыпям и гатям, шла низкими и болотными местами.

— Вот, кажись, и поворот,— прошептал урядник.— Два дубка... столб... ну, так и есть!.. Эх, больно светло становится... Пронеси Господи!.. Сюда, батюшка, сюда, налево!.. Ну, что это? — промолвил вполголоса Фролов, осадив свою лошадь.— Слышишь, сударь, что ветром-то наносит??

— Да не близко ли мы к реке?.. Может быть, это шумит Прут?

— Какой Прут!.. Река должна быть правее, а это прямехонько против нас... Никшни-ка, батюшка! Так и есть — конский топот!.. Едут к нам навстречу... Слышишь?

— Теперь слышу. Это должны быть татары или турецкий разъезд.

— Полуночники проклятые!.. Вот их черт несет!..

— Думать-то нечего, Фролов, свернем с дороги в сторону, а как они проедут...

— Вот то-то и беда, сударь! Здесь по сторонам вовсе езды нет — трясинник да болота; днем бы еще, может статься, проехали, а ночью как попадешь в какую-нибудь трущобу, так и сиди до утра, а там тебя руками возьмут. Нет, батюшка, уж лучше ехать на Кут-Маре, хоть и дадим крюк, да авось ли как-нибудь доберемся проселками до села Германешти. Нам в Кут-Маре проводника дадут.

— Кут-Маре,— повторил Симский.— Кут-Маре! Ведь это, кажется, поместье молдаванской барыни Хереско.

— Да, сударь. В Германешти лошадей вовсе нет, так я у нее часто подводы брал и сенцом не раз поживлялся. Такая ласковая... Чу, слышишь!.. Близехонько, и, кажись, их много... Ну, сударь, делать-то нечего — наутек!

Путешественники приняли направо и пустились по дороге, которая вела в деревню Кут-Маре. Проехав шибкой рысью версты две, они выехали на берег Прута. Кругом все было тихо, вдали перед ними мелькал огонек.

— Вот, немного полевее, должен быть мост,— сказал Фролов,— а за ним как раз господская усадьба.

— Так поэтому,— спросил Симский,— и огонек-то светится?

— Должно быть, в барских хоромах. Там есть у меня приятели: один детина по имени Димитраки, сиречь Дмитрий, и любимая сенная девушка куконы, цыганка... помнится, Мариорицею зовут. Она всем домом заправляет. Кабы нам до нее только добраться, так барыни и тревожить нечего: Мариорица девка добрая, русских любит и, уж верно, даст нам проводника.

— Постой-ка, Фролов,— прервал Симский,— что это?.. Мне кажется, как будто бы...

— Да, сударь,что-то шумит!.. Или это так ветер, что ль, шелестит?.. Кажись, ветер... Вот опять затихло!.. Чу, на господском-то дворе собаки залаяли!.. Видно, нас почуяли... Слышишь, сударь?.. Вон ворота заскрипели... Что ж это ни свет ни заря?.. Уж не дожидаются ли они кого-нибудь?..

— А вот увидим!—сказал Симский, приударив нагайкою свою лошадь.

Через несколько минут наши путешественники, переехав через мост, въехали на господский двор, обнесенный высоким тыном, и остановились шагах в десяти от барского дома. Прямо, в глубине двора, тянулось длинное здание, покрытое соломой, налево чернелся густой сад, а направо разбросаны были по двору отдельные выбеленные известью мазанки. Симский и Фролов спешились. К ним подошел с фонарем дюжий детина в овчинном кожухе.

— Ты, приятель, караульщик, что ль?—спросил его по-молдавански Фролов.

— Караульщик,— отвечал молдаванин.

— Э, здравствуй, брат Димитраки!

— Здравствуй!.. Да ты кто?

— Иль не узнал казачьего урядника Никиту... помнишь?

— Помню... Так это ты?.. А твой товарищ?

— Русский офицер.

— Русский офицер?.. Да как это вас сюда черт занес?

— Уж это не твое дело. Поди разбуди Мариорицу и вышли ее к нам. Ну что ж ты рот разинул?

— Да как же это вы сюда приехали?

— Говорят, не твое дело, ступай!

Молдаванин почесал затылок, поглядел с удивлением на Фролова и отправился. Минуту через две сени господского дома осветились, и Димитраки вышел на крыльцо вместе с женщиной, закутанной в длинную капавейку.

— Ну вот и Мариорица! — прошептал Фролов.

— Да, это, кажется, она, — сказал Симский.

— Так и ты, сударь, ее знаешь?

— Знаю.

Симский подошел к крыльцу, и лишь только свет от фонаря отразился на его лице, цыганка вскрикнула, всплеснула руками и кинулась опрометью назад в дом.

— Постой, постой! — закричал Фролов. — Куда ты, Мариорица?.. Постой... Димитраки, что ж это она, чего испугалась?

— Да, видно, этого черта, — отвечал молдаванин, — вон что идет сюда из людских-то. Он всю ночь шатается по двору да за всеми присматривает, цепная собака этакая!

— А кто он такой?

— Янко, арнаут бояра Палади.

— Какого бояра? Ведь здешняя-то помещица кукона Хереско?

— Ну да.

— Так, видно, этот бояр к ней в гости приехал?

— И не один: с ним гостей-то много понаехало.

Огромного роста арнаут подошел к караульщику, вырвал у него из рук фонарь, посмотрел молча на наших путешественников и, сказав вполголоса несколько слов, отправился назад.

— Что этот долговязый с тобой говорил? — спросил Фролов.

Вместо ответа Димитраки подошел к воротам и начал их запирать.

— Эх, плохо дело, — шепнул урядник, — никак мы в ловушку попались!.. Послушай-ка, приятель, — продолжал он, обращаясь к молдаванину, — ты зачем ворота запираешь?

— А вот скоро опять отопру, — промолвил Димитраки, — кажись, гости едут.

— В самом деле, — сказал Симский, — конский топот!

— Кто ж это к вам едет? — спросил Фролов.

— Ночь-то больно темна, а то бы ты не стал меня спрашивать. Вон — посмотри! Видишь ли ты там что-нибудь подле забора?

— Нет, не вижу.

— Подойди поближе.

Фролов сделал несколько шагов вперед и остановился.

— Что ж это, — сказал он, — никак оседланные лошади?

— Ну, да!.. Вот ты бы днем тотчас увидел, что на них турецкая сбруя.

— Так здесь турки?

— Другой день стоят. Их привел бояр Паладн.

— Где он, где он? — раздался женский голос.— Василий Михайлович, где ты?

— Я здесь, Смарагда! — сказал Симский, идя навстречу куконе.

— Боже мой, ты здесь, и в какую минуту!.. Мариорица!.. Димитраки!.. Приберите куда-нибудь лошадей, а ты, Василий, и твой товарищ ступайте ко мне в дом.

На дворе замелькали огни.

— Скорей, скорей! — шепнула Смарагда, таща за собой Симского.

Но прежде, чем они добежали до крыльца, бояр Палади с целою толпою турков заступил им дорогу

— Постой, кукона! — сказал он, схватив за руку Смарагду.— Мы и без тебя угостим этих русских.

Симский и Фролов не успели вынуть своих сабель, их схватили и тотчас обезоружили.

— Свяжите хорошенько этих бродяг! — продолжал Палади, обращаясь к туркам.— Как ваш ага воротится, так мы расспросим их порядком, зачем они сюда пожаловали, и если они подосланы...

— О нет! — вскричала Смарагда.— Уверяю тебя... они заплутались... заехали сюда нечаянно!..

— Э, да как ты за них заступаешься, кукона!.. Посветите-ка сюда,— продолжал Палади, подходя к Симскому.— Ну так и есть! — сказал он, нахмурив свои густые брови.— Милости просим, господин офицер!.. Теперь мы с тобой разочтемся!.. Я дал по тебе промах, проклятый русский, да авось теперь не промахнусь! — промолвил он, вынимая из-за пояса пистолет.

— Ты убей и меня вместе с ним! — вскричала Смарагда.

Она обвила Симского обеими руками и крепко прижалась к груди его. В эту самую минуту ворота распахнулись снова, и видный собою турецкий ага в сопровождении многочисленного отряда спагов въехал во двор.

— Что у вас такое? — спросил он, спрыгнув молодцом с коня.

— Да вот,— отвечал Палади, опустив пистолет,— к нам заехали сюда русские, так я хотел с ними поскорей разделаться.

— Русские?.. Хош халды! Добро пожаловать! Где ж они?

— А вот здесь.

— И только двое? Да что ж эти москов — с ума, что ль, сошли?

— Видно, их подослали нарочно.

— И ты хотел их застрелить?

— А разве не прикажешь?

— Нет, не прикажу. Ну, стоят ли эти собаки, чтоб ты тратил для них порох? Хамид,— продолжал ага, обращаясь к одному из спагов,— возьми себе их головы.

Хамид, пожилой турок с седой бородою, спустился медленно с коня.

— Ну, Василий Михайлович,— молвил Фролов,— пришел наш конец!.. Я по-турецкому маракую,— знаешь ли, что сказал этот турка?

— А что? — спросила торопливо Смарагда.

— Он велел покончить с нами.

Кукона вскрикнула, голова ее скатилась на грудь, руки опустились, и она упала без чувств на землю. Мариорица подняла свою госпожу и, при помощи Димитраки, внесла ее в дом.

— Делать нечего, Фролов,— сказал Симский,— воля Господня... молись Богу!

— Поганые басурманы,— прошептал урядник,— эк они нам руки-то скрутили... и перекреститься нельзя!

Хамид вынул из ножен свой булатный ятаган, обтер его полою кафтана и, обращаясь к своему начальнику, сказал:

— А что, эфенди, здесь, что ль, или там, за воротами?

— Да, сведи их со двора Паладн,— продолжал ага,— ты спрашивал этих москов, что они за люди такие?

— Одного из них я знаю: он должен быть русский юз-баши.

— Юз-баши! — вскричал ага.— Аллах кирим!.. И ты хотел застрелить его?.. Постой, Хамид, постой!.. Мы до сих пор не могли еще захватить в плен ни одного русского юз-баши: они, проклятые собаки, ни за что живые в руки не даются. Наш визирь Ахмет-паша — да сохранит его Аллах и да утонет он в море милостей великого падишаха! — дорого бы дал, чтобы порасспросить хорошенько хоть русского ан-баши, а это юз-баши!.. Он от него все может выведать...

— Так ты его отошлешь к визирю?

— Я сам после утренней молитвы отвезу этих пленных в лагерь и сдам с рук на руки великому каймакану...

Ханух! Селим! Заприте куда-нибудь до утра этих гяуров!.. Да если они уйдут...

— Не заботься об этом,— прервал молдаванин,— не уйдут! За это я берусь.

— Ну, не говори, Палади! Этим русским — да истребит Аллах весь нечестивый род их! — сам шайтан помогает: они в мышиную щелку пролезут, проклятые! Смотри не упусти их!

— Чтоб я их упустил? Да застрели меня как собаку, если я выпущу из рук этих разбойников русских!

— Хорошо, эфенди!.. Помни же, что ты теперь сказал!

— Не забуду. Я их так припру, что к ним и муха не влетит!.. А что ты думаешь, ага, визирь что с ними сделает?

— Известно что: расспросит обо всем.

— Да, скажут они правду!

— Скажут. Да ведь их станет допрашивать визирский палач Абдул-Мукир, а у него и мертвый заговорит.

— А как их допросят?

— Так велят задушить. Кто побывал в руках у Абдул-Мукира, тот уж ни на что не годится.

— Вот что!.. Хорошо же, что я их не застрелил. Алейкум салам, эфенди!

Палади велел вести за собою Симского и Фролова. Все турки, убрав лошадей, разбрели в разные стороны, и на опустелом дворе остался снова один караульщик Димитраки.

X

В небольшой комнате, при слабом свете лампады, которая висела перед образом Божией матери, сидела на своей постели бледная, убитая горестью кукона Хереско. Она молчала, и по временам только удушливые рыдания вырывались из груди ее. Подле кровати стояла любимая ее цыганка.

— Мариорица,— промолвила наконец кукона,— не обманывай меня! Ты говоришь, что он жив, но я сама слышала...

— Да, кукона,— прервала цыганка,— им хотели отрубить головы, но, видно, турки передумали.

— Да точно ли это правда?

— Как же, кукона! Уж я тебе говорила, что их отвели в каменную кладовую. Димитраки видел, как их туда заперли.

— А что ж нейдет ко мне бояр Паладни?

— Кто его знает! Когда я ему сказала, что ты зовешь его к себе, так он поглядел на меня таким зверем, что я и ответа не стала дожидаться.

— Боже мой! а меж тем время так и летит!.. Что, Мариорица, посмотри, светает?

— Да, кукона! Вон уж там, где из-за рощи-то солнышко, выходит, звезды стали тухнуть.

— А Паладни нейдет!..

— Чу, что-то стукнуло... Вот и в девичьей зашумели... Идет, кукона, идет!

Двери отворились, и в комнату вошел бояр Паладни. Он взглянул утрюмо на Смарагду; ее заплаканные глаза и помертвевшее лицо, казалось, не возбудили в нем никакого сожаления; напротив, взор его сделался еще мрачнее.

— Проклятый! — прошептал он. — Как она его любит!

— Садись, бояр! — сказала тихим голосом Смарагда.

— Зачем, кукона! Мне некогда с тобою долго разговаривать: я отвечаю головою за пленных русских, так сам их караулю. Конечно, им уйти нелегко, да ведь здесь, пожалуй, и помогут.

— Бога ради, Паладни, скажи мне всю правду: что с ними будет?

— Известно что: Ибрагим сказал мне, что он после утренней молитвы отвезет их в лагерь к визирю; там от них допытаются, зачем они сюда пожаловали, расспросят о русском войске. Турки на это молодцы: коли примутся пытать, так у них всякий заговорит, — по жилочке вытянут из человека! А там как узнают от них все, что надо, так отмахнут им головы или велят задушить. Ведь у них расправа короткая!

— Милосердый Боже! — вскричала Смарагда, — а я еще радовалась, что Симский жив!

— Вольно ж тебе было мне помешать: я сгоряча убил бы его непременно. Теперь, не прогневайся, и сам ни за что не трону этого красавчика: пусть он прежде побывает в руках у визирского палача. Посмотрим тогда, каков-то он будет!

— Боже мой, Боже мой!.. Да за что ж ты его так ненавидишь?

— За что?.. И ты спрашиваешь об этом?.. За что? Ты любила меня, Смарагда... Да, да, ты любила меня!.. И если б не этот пришелец, не этот демон-соблазнитель, я был бы давно твоим мужем! Теперь он в руках моих, его ждет мучительная смерть, а знаешь ли, что я завидую ему? Он умрет любимый тобою, а я останусь жить... На что?.. Для чего?.. Если б я ненавидел тебя, как ненавижу этого русского... о, тогда бы я мог еще жить! Я был бы счастлив твоею горестью, я упивался бы слезами твоими. Твое отчаяние было бы моим блаженством, но я люблю тебя!.. И если бы ты знала, Смарагда, какой адский пламень обхватывает мое сердце, как рвется оно на части при одной мысли, что ты презираешь любовь мою, что этот злодей владел тобою!

— Ты ошибаешься, бояр...

— Я ошибаюсь — я?.. Так он не для тебя приехал в Кут-Маре, не для тебя пошел на явную гибель?

— Он здесь в первый раз и заехал сюда нечаянно.

— Да не ты ли сама признавалась мне, что любишь этого русского?

— Да, я люблю его; но та, которую он любит, не здесь, Паладн: она русская. Симский зовет меня сестрою и, может быть, любит как сестру, но никогда не будет моим мужем.

— Если б я тебе и поверил,— сказал молдаванин,— так что ж от этого? Любит ли тебя этот русский или нет, но он стал между тобой и мной...

— Но разве Симский желал этого?.. О, поверь, Паладн, он ни в чем не виноват перед тобой!..

— А в чем виноваты перед турками солдаты русского царя? Они не сами пришли: их привели на Прут; так, по-твоему, падишах должен их всех помиловать? Нет, кукона, если этот русский не виноват предо мной, так пусть кровь его будет на тебе: не я, а ты его убийца!

— Бояр Паладн,— прервала кукона,— время дорого, выслушай мою последнюю и непременную волю: клянусь тебе Господом Богом, если Симский погибнет, так я никогда не буду твоей женою и умру, проклиная тебя; а если ты спасешь его, то веди меня завтра же к венцу!

— Завтра... тебя! — повторил с удивлением Паладн.— Ты шутишь, кукона!

— Вот как я шучу! — сказала Смарагда, снимая со стены икону.— Гляди, Паладн: я целую лик Божьей матери и повторяю мою клятву.

— Да подумала ли ты, Смарагда, что до завтрашнего дня осталось только несколько часов и что в Кут-Маре есть церковь и священник?

— Прикажи ему быть готовым.

— Так ты будешь моею?—прошептал Паладн, устремив сверкающий взор на бледную, истерзанную горестью, но все еще прекрасную молдаванку.— Моею!—повторил он, схватив ее за руку.

— Да,—прошептала кукона,—если ты спасешь Симского.

— Смарагда!—сказал, помолчав несколько времени, бояр,—я верю, что теперь ты на все готова, но кто поручится мне за будущее? Пройдет месяц, другой...

— Но разве я тебе не сказала, что ты можешь завтра же вести меня к венцу?

— Завтра!.. Да ведь я отвечаю за этих пленных головой и, чтоб спасти их, должен сам уйти вместе с ними, а ты останешься здесь.

— Нет, бояр, я здесь не останусь, а поеду к моим родным в Киев; ты можешь также туда приехать и если докажешь, что Симский доехал благополучно до России...

— А чем я докажу это?

— Привези от него письмо.

— Письмо!—повторил молдаванин.— Письмо, в котором, может быть, он станет уверять тебя в любви своей!..

— Я уж сказала тебе, Паладн, что он любит меня как сестру и никогда не будет моим мужем.

— Почем я знаю,—продолжал молдаванин,—что у тебя на уме, кукона? Может быть, вместо Киева мне придется ехать с этим письмом в Москву.

— Боже мой, Боже мой, да чем же я могу тебя уверить?.. Постой!—промолвила Смарагда, снимая с себя золотой крест.— Вот благословение покойной моей матери: она завещала мне никогда с ним не расставаться, но ты—мой жених, Паладн, возьми его! И пусть благословение моей матери превратится в вечное проклятие, если я изменю моему слову!. Да, клянусь перед Богом: только тот, кто возвратит мне этот крест, будет моим мужем! Ну, веришь ли теперь, что я тебя не обманываю?

— Хорошо, кукона! я постараюсь спасти этих русских! Помни только, что дело идет о голове моей и что с этой минуты ты принадлежишь мне навсегда. Погибну я или нет—все равно! Да, Смарагда, этого креста не возвратит тебе никто, кроме меня... Прощай!

Паладн вышел из дома. На дворе все было тихо. У дверей кладовой, в которой заперты были пленные, стоял Янко, арнаут бояра Палади. У коновязи сидел, поджав ноги, турецкий часовой, он не курил даже трубки, потому что спал мертвым сном. Один только Димитраки расхаживал подле запертых ворот и мурлыкал про себя песенку.

— Димитраки,— сказал Палади, подойдя к караульщику,— что, все спокойно?

— Все, бояр.

— Кажется, турки-то все спят?

— Да когда ж им соснуть, коли не теперь? Всю ночь прошатались.

— А ты что не спишь, Димитраки?

— Нет, бояр, спасибо!.. Вишь какой!— промолвил он шепотом.— Еще спрашивает, черт этакий!

— Я вчера поколотил тебя за это,— продолжал Палади,— а сегодня, уж так и быть,— жаль мне тебя, ступай, спи!

— Да вон уж светает, бояр, высплюсь днем.

— Ну пошел же, когда тебе говорят! Да возьми с собой в избу собак: надоели — все лают.

— Да кто же двор-то станет караулить?

— А вот кто! — прервал Палади, ударив кулаком караульщика.— Когда приказывают, так слушайся!

Димитраки покликал к себе собак и отправился вместе с ними в одну из мазанок, которыми уставлен был весь двор, а Палади, поглядев внимательно вокруг себя, пошел к каменной кладовой. Минуты через две Димитраки высунул голову из дверей избы.

— Проклятый полуночник,— прошептал он,— вчера приколотил меня за то, что я спал, сегодня — за то, что нейду спать, разбойник этакий!.. Да что ж это такое,— продолжал караульщик, выходя потихоньку из избы,— и меня прогнал, и собаки ему надоели?.. Это что-нибудь недаром... Уж не пойти ли мне сказать об этом туркам?.. Что, в самом деле,— ведь я и перед ними также в ответе. Упаси Господи, коли грех какой сделается, ведь тогда за меня первого примутся!.. Ты, дескать, караульщик!..

Рассуждая таким образом, Димитраки пробрался стороной до длинного надворного строения, в котором помещался турецкий ага со своим отрядом. В одном окне светился огонек.

— Э,— прошептал Димитраки,— да никак ага-то не спит!.. Ну так и есть! Кажись, молится по-своему богу...

Не пойти ли мне сказать ему?.. Нет дай прежде посмотрю, где этот чертов сын, Паладн.

Между надворным строением и забором сада рос высокий бурьян и разбросано было несколько кустов смородины. Димитраки почти ползком прокрался между ними до самой коновязи. При свете утренней зари, которая стала уже заниматься, можно было различать довольно ясно все предметы. В пяти шагах от Димитраки бояр Паладн и его арнаут Янко суетились около лошадей.

— Проворней, проворней,— шептал Паладн,— я все боюсь, что этот проклятый турок... Эх, лучше бы!..

— Да небойсь, бояр,— прервал Янко,— я ему рот завязал платком и скрутил так, что ему пошевелиться нельзя, а закричать и подавно, еще, пожалуй, задохнется Да ништо ему· коли приставили караулить, так не спи!

— Ну, веди теперь лошадей садом, а там задними воротами в рощу,— знаешь, где старая винокурня?

— Знаю, бояр.

— Там и дожидайся, а я пойду к русским.

«Эге,— подумал Димитраки,— и турка связали, и лошадей ведут украдкой, так дело-то не ладно, надо сказать аге. Ну, бояр, как-то ты с ним разделаешься: ведь он не наш брат, его не поколотишь!»

Меж тем Паладн подошел к каменному небольшому зданию с одним окном, в которое вставлена была толстая железная решетка, отпер ключом дубовую окованную дверь и вошел в кладовую. Через несколько минут он вышел из нее с Симским и Фроловым и перерезал кинжалом веревки, которыми они были связаны.

— Теперь за мной!— сказал Паладн.

Симский и Фролов, вслед за молдаванином, перелезли через забор и пустились бегом по саду.

— Скорей, скорей,— прошептал бояр.— Вон видите там за воротами?. Эти кони приготовлены для нас

— Ты лжешь, Паладн!— сказал кто-то по-молдавански. Из-за кустов высыпали вооруженные спаги, и турецкий ага заступил дорогу беглецам.

— Ибрагим!— вскричал бояр.

— Да, ты лжешь, Паладн,— повторил ага,— эти кони приготовлены для меня Возьмите русских,— продолжал он, обращаясь к туркам,— и посадите их на коней: я сам с ними поеду, а ты, проклятый гяур, оставайся дома.

Вслед за этими словами раздался выстрел, и бояр Палади упал мертвый на землю. Ага продул спокойно затравку своего пистолета, заткнул его за кушак и пошел к роще, а два или три турка, которые остались в саду, принялись раздевать и обшаривать убитого боява.

Солнце начинало уже всходить, когда наши пленные выехали па дорогу, ведущую от поместья Кут-Маре к турецкому лагерю; он тянулся по высотам, которые шли вдоль низкого берега Прута, поросшего густым камышом. Вот забелились бесчисленные палатки и красивые наметы турецкого войска. Вдали, как белоснежная, увенчанная золотой луною гора, возвышался огромный шатер великого визиря. Посреди обширного поля, отделявшего таборы крымских татар от турецкого стана, гарцевали сотни лихих наездников. Они крутились вихрем по полю, гонялись друг за другом, бросали свои джериды и на всем скаку, подхватывали их в воздухе. Эта необычайная быстрота движений, этот восточный живописный наряд, это блестящее на солнышке и залитое в серебро оружие, от которого сыпались огненные искры,— все это вместе было так прекрасно и так великолепно, что Фролов, несмотря на свою ненависть к басурманам, не мог удержаться от восторга и прошептал:

— Эх, жаль, что эти поганые турки Христа-то не знают!.. А нечего сказать, удалой народ!

Не доехав шагов пятидесяти до визирской ставки, ага сошел с коня; русские пленные и их провожатые также спешились. Сказав несколько слов янычарам, стоявшим у входа в шатер, он вошел в него и велел вести за собою пленных. Пройдя два отделения, в которых толпились турецкие аги и татарские мурзы, они вошли в третье; в нем, на низком диване, или, верней сказать, широком тюфяке, сидел каймакан, то есть наместник великого визиря. Перед ним стояли в почтительном молчании пять или шесть бимбашей и сидели на ковре двое осанистых пашей. Несколько поодаль писал, стоя на коленях перед низеньким столом, ада-баши — по-нашему, обер-квартирмейстер. В углу, позади каймакана, стояла целая толпа чаушей, готовых по первому мановению визиря или его наместника отколотить по пяткам весь главный штаб турецкой армии. Русских остановили при входе, а Ибрагим, став против каймакана, наклонил голову и, приложив к губам правую руку, сказал обыкновенное приветствие правоверных:

— Маш Аллах! — то есть: да благословит тебя господь!

— Аллах разола! — пробормотал каймакан, кивнув слегка головою.— Ну, что скажешь, Ибрагим?

— Я сегодня ночью,— отвечал ага,— захватил вот этих двух русских Один из них юз-баши.

— Пек-эй, пек-эй!.. А который из них юз-баши?

— Вот этот, что выше ростом.

— Как, этот мальчишка?.. И он юз-баши!.. Ну, видно, у этих москов не по-нашему! — промолвил он, поглаживая свою седую бороду.

Занавеска дверей, ведущих во внутренние отделения визирской ставки, зашевелилась Все турецкие чиновники встрепенулись, паши вскочили со своих мест, и сам каймакан приподнялся. Но эта тревога тотчас же кончилась, потому что вместо великого визиря вошел русский подканцлер Шафиров со своим переводчиком.

— Что я вижу,— вскричал он,— Симский!. Ты как здесь?

— В плену, Петр Павлович.

— В плену?.. Да когда ж ты попался?

— Сегодня ночью. Государь изволил отправить меня с указом в московский Сенат.

— С указом?.. Так погоди же!..

Шафиров подошел к каймакану и начал говорить с ним через переводчика. Турок слушал его с большим вниманием, улыбался и, когда Шафиров перестал говорить, кивнул приветливо головой и сказал:

— Пек-эй, пек-эй!

— Что это он говорит? — спросил Шафиров.

— Хорошо, дескать,— отвечал переводчик.

Шафиров поклонился каймакану и, проходя мимо Симского, спросил, не отобрали ли у него царского указа

— Нет, Петр Павлович,— отвечал Симский,— указ, слава Богу, при мне.

— Так авось ты довезешь его благополучно до Москвы Прощай!

Через несколько минут вынесли от визиря бумагу; каймакан прочел ее с приметным удовольствием, повторяя беспрестанно свое «пек-эй»; потом передал ее ада-баши и, проговорив с набожным видом «шокюр аллах», потребовал свою трубку; но, прежде чем он успел затянуться первым глотком благовонного дюбека, вошел торопливо пожилой бим-баши и сказал ему что-то вполголоса

— Аллах кирим! — вскричал каймакан с приметным ужасом — Что ты говоришь, он здесь?

— Здесь и прямо идет сюда.

Перед шатром послышался шум. Каймакан вскочил, паши также встали; шум приближался, и вдруг в палатку вошел или, лучше сказать, вбежал человек высокого роста, не слишком приятной, но весьма значительной наружности. Этот, по-видимому вовсе нежданный, гость не отличался ничем от трех шведских офицеров, которые вошли вместе с ним в палатку. На нем была небольшая треугольная шляпа, однобортный зеленый мундир с желтым подбоем, такого же цвета исподнее платье, ботфорты со шпорами, лосиная портупея с медной пряжкой и замшевые перчатки с широкими раструбами по самый локоть.

— Где визирь? — сказал он повелительным голосом, не снимая шляпы и не отвечая на почтительный поклон каймакана.— Понятовский, спроси их!

— Вот, государь, наместник его,— сказал Понятовский, указывая на каймакана.

— Какое мне дело до его наместника! Где Мехмет-паша?

Каймакан молча указал на двери, ведущие в соседнюю комнату. Карл XII — читатели, вероятно, уж отгадали в этом посетителе шведского короля — отдернул занавеску и вошел, вместе с Понятовским, в обширное отделение палатки, устланное персидскими коврами и обтянутое богатым штофом. В глубине этой походной аудиенц-залы, на роскошном атамане, покрытом турецкими шалями, сидел, поджав ноги, и курил трубку великий визирь. С одной стороны подле него стоял с серебряным подносом и золотою кружкою сербет-аглан, то есть чашник, или кравчий; с другой — черный невольник обмахивал мух павлиным хвостом и в то же время навевал прохладу на его великолепие, победоносного Ахмет-пашу, который, несмотря на летний жар, сидел в шубе и уродливой визирской чалме, совершенно похожей на огромный, поставленный вверх дном цветочный горшок. Несколько турецких сановников и драгоман сидели на ковре и перечитывали какие-то бумаги. Нечаянное появление шведского короля, по-видимому, очень смутило визиря. Он встал со своего места и хотел что-то сказать, но Карл XII не дал ему вымолвить ни слова; кинув на него гневный взгляд, он опустился небрежно на диван и сказал:

— Понятовский, переведи этой турецкой чучеле все, что я буду говорить, да смотри — слово от слова!

Визирь сел опять на прежнее место, и между ним и шведским королем начался через переводчика следующий разговор.

— Правда ли, визирь,— спросил Карл XII,— что ты хочешь заключить мир с русским царем?

— Правда,— отвечал Мехмет-паша.

— Я надеюсь, этого не будет.

— Нельзя не быть: мир уж заключен.

— Заключен! — вскричал король.— Ах он изменник!.. Да как же ты, Мехмет-паша, осмелился заключить этот мир?

Визирь поглядел с удивлением на своего гостя и сказал:

— Да разве ты не знаешь, что я имею право и войну вести, и мир заключать?

— Вот то-то и худо, что тебе дали это право. У меня бы ты не смел этого сделать. Вот и мои сенаторы вздумали было также умничать, да я послал им мой старый сапог и приказал, чтоб они спрашивались у него, что делать. Переведи ему это, Понятовский!

Вероятно, Понятовский исполнил в точности это приказание, потому что визирь поглядел с ужасом на короля и отодвинулся от него подалее.

— Да для чего же ты, Мехмет-паша,— продолжал Карл XII,— заключил мир с русским царем, когда все войско его и он сам были в твоих руках?

— Наш закон,— отвечал с важностью визирь,— повелевает щадить врагов, когда они просят помилования.

— А разве этот закон запрещал тебе взять в плен русского царя?

— Взять в плен москов-султана? А кто же бы тогда стал править его царством?

— Ну, вот,— прошептал Карл XII,— говори с этим бессмысленным скотом!.. Да какое тебе дело, Мехмет-паша, что некому бы было управлять русским царством?

— Аллах не любит безначалия,— возразил визирь.

Потом, взглянув исподлобья на шведского короля, промолвил еще несколько слов. Понятовский видимым образом смутился

— Что он еще там бормочет? — спросил король.— Ну что ж ты молчишь, Понятовский?

— Он говорит такой вздор, ваше величество, что, право, не стоит и переводить.

— Все равно, я хочу знать!.. Да смотри — не обманывай меня!

— Он говорит, ваше величество, что нехорошо будет, если все цари станут жить по чужим землям.

Карл XII вспыхнул.

— Ваше величество — сказал торопливо Понятовский,— не гневайтесь на этого турка: он не знает сам, что говорит.

— Ты прав, Понятовский,— промолвил король,— с этим болваном рассуждать нечего. Поедем!

Он вскочил с дивана, зацепил шпорою за шубу визиря, разорвал ее, потом выбежал вон из палатки, вспрыгнул на своего коня и поскакал назад в Бендеры.

— Собака! — прошептал Мехмет-паша, принимаясь снова курить свою трубку.

Спустя минут десять каймакан вошел к визирю.

— Что ты, Осман? — спросил Мехмет-паша.

— Я пришел донести твоему великолепию,— отвечал каймакан,— что ага Ибрагим захватил в плен двух русских, один из них юз-баши.

— А когда он взял их в плен?

— Ночью, за час до утренней молитвы.

— То есть прежде, чем мы заключили мир с русскими?

— Прежде.

— Так пускай Ибрагим возьмет их себе.

— А я думаю, что их лучше отпустить.

— Зачем?

— Да вот мне сейчас русский рейс-эфенди говорил, что москов-султан послал их с фирманом в свою землю затем, чтоб там скорей сбирали подать, которую он должен положить к ногам великого падишаха.

— Ну, это другое дело!.. Ты правду говоришь, Осман: их должно отпустить. Да уж кстати скажи Ибрагиму, чтоб он взял с собою человек двадцать спагов и проводил этих русских, а не то, пожалуй, их захватят крымские татары. Ведь для этих разбойников все равно, война или мир, им только бы грабить.

Каймакан поклонился и вышел вон.

Через полчаса Симский и Фролов, которым отдали оружие, сидели уже на конях.

— Ну, вот, сударь,— сказал Фролов,— Господь нас помиловал! Нас даже и в плен не берут. Ага сказал мне, что едет с нами для того только, чтоб нас не обидели татары.

— Что ж это значит?

— Должно быть, перемирие, сударь. Да, видно, за нас очень просил и боярин Шафиров, дай Бог ему много лет здравствовать!

— Хайде! — крикнул ага, и весь поезд двинулся по дороге, ведущей к Яссам.

XI

Теперь мы должны возвратиться опять в Москву, но вы не узнаете ее, любезные читатели:

Она *грустна*, она уныла,
Как мрачная осенняя ночь...

Дурные вести скоро доходят, да это бы еще ничего, что было, того не воротишь; но вот что худо: почти всегда, как будто бы для того, чтоб оправдать пословицу: «Пришла беда, отворяй ворота», за каждой нерадостной вестью следуют тысячи новых, одна другой ужаснее. Есть люди, для которых всякое народное бедствие — сущий клад. В спокойное время они обыкновенно сидят по домам, но случись какая-нибудь общая беда — и они, как зловещие птицы, появятся везде, начнут всех пугать своим отвратительным криком, и надобно отдать справедливость этим вестовщикам горя: они вполне обладают непостижимым искусством — из небольшой мухи сделать огромного слона. На этот раз для них было настоящее раздолье: нашествие турок на святую Русь, погром Москвы, осквернение храмов Божиих — было над чем уму-разуму потрудиться, и, нечего сказать, эти господа потрудились порядком. В Москве не знали ничего верного о положении нашего войска, знали только, по слухам, что дела идут худо; но, по милости этих зловещих птиц, и неробкие люди стали призадумываться; о трусоватых и говорить нечего — те уж давно распорядились: одни припрятали подалее свое серебро и наличные денежки, другие уложились и держали наготове лошадей, чтоб при первой опасности ускакать из Москвы.

Семнадцатого июля, часу в десятом утра, Данила Никифорович Загоскин беседовал в гостиной комнате своего московского дома с Герасимом Николаевичем Шетневым.

— Да, батюшка Данила Никифорович, — говорил Шетнев, — ты себе верь или нет, а уж шила в мешке не утаишь, — плохо дело!

— Да ведь это только слухи,— сказал Данила Никифорович.

— Какие слухи! Говорят тебе, изо всего русского войска ни одной живой души не осталось.

— Помилуй, любезный! да как же это может быть? Ведь люди не мухи, а и тех всех не перебьешь. Русская-то рать была не маленькая. Ну, коли турок было и впятеро больше...

— Впятеро! Нет, Данила Никифорович, их пришло с лишком шестьсот тысяч, а татар-то собралось вдвое против этого. Говорят, весь Крым поголовно вышел на подмогу к туркам, так уж тут делать нечего,— насилу не возьмешь!

— Воля твоя, Герасим Николаевич, а я этому не верю, не до конца же прогневался на нас Господь. Ведь, по-твоему, и войско и государь...

— Все погибло, любезный, все!.. Вот они, немецкие-то кафтаны!.. Кабы жили да жили по старине...

— А в старину-то нас, чай, никогда не бивали?

— Случалось, да только не этак. Бывало, Господь накажет, а там и помилует.

— Ну так, может быть, и теперь то же.

— Нет, любезный, теперь мы сами от господа отступились, так и он нас покинул. Послушал бы ты, что говорит об этом Лаврентий Никитич Рокотов. Я третьего дня был вместе с ним в селе у Максима Петровича Прокудина.

— Так они помирились?

— Да, помирились, а вчера опять было поссорились.

— За что?

— А вот за что: Максим Петрович так же, как ты, не очень верит слухам. «Как, дескать, мы ни грешны,— говорит он,— а все-таки рабы Божьи, и он не предаст помазанника своего и нас, рабов своих, на поругание язычникам». А Лаврентий Никитич и скажи ему на это: «Коли, дескать, все правда, что говорят, так тут есть и гнев и милость Божья. Придет разоренье на святую Русь,— ну что ж: не впервые,— авось как-нибудь оттерпимся, зато после легко будет. Ведь по мне, дескать, немецкий-то погром хуже турецкого». Батюшки, как Максим Петрович расходился!.. Да, нечего сказать, и я Лаврентия Никитича не похвалил. Ну, коли каким ни есть чудом государь Петр Алексеевич вернется да узнает о таких речах... Господи Боже мой, пропадешь ни за денежку. Насилу, насилу их помирил, да и то, что

Лаврентий Никитич догадался и сказал, что он это так.. пошутил, чтоб подразнить Максима Петровича.

— Здравствуйте, Герасим Николаевич! — сказала, входя в комнату, Марфа Саввишна.

Шетнев встал и поклонился.

— У тебя гости были, жена? — спросил Данила Никифорович.

— Да, батюшка, Аполинарья Степановна Бирдюкова да Нимфодора Алексеевна Добрынская.

— То-то, чай, навезли тебе вестей!

— О, Господи, такие страсти, что и сказать нельзя!.. И что им за утеха рассказывать?.. Держали бы про себя...

— Куда! Чай, так и рвутся одна перед другой!

— И добро бы еще слухи-то были хорошие,— так нет! С радостной весточкой ни за что не приедут!

— Охота тебе, жена, их слушать.

— А что такое они вам рассказывали? — сказал Шетнев.— Сделайте милость, сообщите нам!

— Ох, батюшка!.. Коли правда, что они говорят...

— А что они говорят такое?

— Да вот Аполинарья Степановна рассказывала мне: она получила письмо от одной приятельницы из Чернигова, и в этом письме к ней пишут, что турки-то уж в Полтаве.

— Слышишь, Данила Никифорович? — прервал Шетнев.

— Слышу, батюшка, слышу!

— Ну, что ж они, Марфа Саввишна, с Полтавой-то сделали?

— Камня на камне не оставили! И место, где она стояла, вспахали, проклятые, да солью посыпали, чтоб трава не росла!

— А с православными-то что сделали? К себе, что ль, угнали?

— Нет, батюшка, перебили всех до единого.

— И женщин также?

— Ох, нет, кормилец!.. Говорят, молоденьких всех по рукам разобрали.

— А что, от Полтавы они назад, что ль, пошли?

— Куда назад!.. Говорят, уж дошли до Киева.

— Что ты, матушка,— прервал Данила Никифорович,— да ведь Киев-то ближе к туркам, чем Полтава!

— Я этого, сударь, не знаю, а рассказываю тебе, что слышала. И Нимфодора Алексеевна говорит то же, и ей

15*

также пишут, из Курска, что ль, не знаю, что кругом Полтавы нет деревца, на котором бы человек десять не висело.

— Скажите пожалуйста,— вскричал Шетнев,— и режут и вешают!

— То ли еще они, душегубцы, делают с православными,— продолжала Марфа Савввишна,— и подумать-то страшно!

— А что такое, матушка?

— А вот что, Герасим Николаевич возьмут человека, зароют его по самую голову в землю, да так в степи и оставят. Вот как он, голубчик, рот раскроет, так в него и поползет всякий гад: и ящерицы, и змеи, и козявки всякие...

— Господи Боже мой!.. Охота же была связываться с таким народом!

— Ох, батюшка, правду ты говоришь! Знаешь ли ты, что мне сказывала Аполинарья Степановна, а она слышала это от людей бывалых: где нам воевать с турками! Они все народ тучный, дородный,— что им делается? Вот турок ударит саблею русского, так он тут же изойдет кровью, сердечный! А коли наш пырнет чем ни есть турка, так ему это нипочем: тотчас заплывет жиром... Ну что ж ты смеешься, Данила Никифорович?

— Да повеселее на сердце стало, матушка. Коли и другие-то вести так же верны, как эти, так еще слава Богу!

— Нет, Данила Никифорович,— прервал Шетнев,— не говори этого. То, что изволила рассказывать Марфа Саввишна, само по себе, а то, что я тебе говорил, так это верно, как Бог свят. Вот как и дело было: мы перешли за реку Днестр, а за этой рекою пойдут арапские пустыни... Это, матушка Марфа Саввишна, должна быть та самая земля, в которой живут мурины, сиречь арапы.

— Так, батюшка, так!

— Ну вот, сударыня моя, наши много нужды натерпелись; места, знаете, этак безводные, а жары такие, что там и огня вовсе не разводят.

— Да как же, Герасим Николаевич, там хлебы-то пекут?

— На солнышке, матушка. Вот наши шли, шли, да и пришли на какой-то пруд, а может быть, и озеро — наверно не знаю; говорят только, что рыба в нем так и кишит, и даже тюлени водятся

— Так какой же это пруд, батюшка?

— Да, Марфа Саввишна, должно быть, озеро. Мы стали по сю сторону, а турки по ту. Вот как они собрались все воедино, так пошли в обход, а мы стоим да стоим. Глядь-поглядь, а турки-то уж и с тылу зашли, да и ну палить в наших из пушек. Мы также, а там врукопашную — и пошла жарня! Наши, сударыня, двое суток стояли крепко, денно и нощно бились с врагом. В первые сутки перебили у него пятьдесят тысяч, на вторые еще пятьдесят, а на третьи-то и силы уж не стало. Легко вымолвить! Поди-ка перебей сто тысяч человек — руки отмотаешь!.. Вот как турки заметили, что наши вовсе из мочи выбились, так кинулись на них гурьбою и пошли резать, как баранов. Я слышал от верных людей, что всех дотла перерезали. Ну, может статься, сотни две-три в живых и осталось; кто под кустом отлежался, кто успел тягу дать... да это все какая-нибудь лагерная челядь, а настоящая-то рать и царская гвардия вся поголовно легла.

— Слышишь, Лаврентий Никитич? — сказала Марфа Саввишна, заливаясь слезами.— А наш-то Васенька!..

— Племянник ваш, Симский? — прервал Шетнев.— Да! ведь он служил в Преображенском полку!

— Ох, недаром я тосковала, когда с ним прощалась! — продолжала Марфа Саввишна, рыдая.— Голубчик ты мой, сокол мой ясный! Умереть в таких годах, на чужой стороне, и, может быть, без покаяния!.. Батюшка Данила Никифорович, поеду я, отслужу по нем панихиду!..

— Что ты, матушка, помилуй! Ну что хорошего, коли ты о живом человеке панихиду отпоешь?

— Нет, Данила Никифорович,— сказал Шетнев,— не мешай! Что, в самом деле, племянник твой за выскочка,— один изо всего полка уцелел! Ведь он у тебя, я слышал, молодец,— так живой в руки не дастся.

— Да, это правда, а за куст и подавно не спрячется.

— Так и думать нечего! Ступайте, матушка Марфа Саввишна, дело христианское, богоугодное...

В столовой послышались шаги поспешно идущего человека. Двери отворились — и Симский вошел в комнату.

— С нами крестная сила! — вскричала Марфа Саввишна.— Что это?.. Васенька!

— Друг сердечный, Василий, ты ли это? — сказал Данила Никифорович, обнимая племянника.

— Я, дядюшка, я!.. Здравствуйте, тетушка!

— Голубчик ты мой! — воскликнула Марфа Саввишна, осыпая поцелуями Симского. — Ты жив.. тебя турки не убили?

— А вот как видите.

— Ну, Герасим Николаевич! — сказал хозяин, обращаясь к Шетневу, — ты советовал жене отслужить по нем панихиду...

— Ну что ж, Данила Никифорович, теперь Марфа Саввишна вместо панихиды отслужит благодарственный молебен!

— Отслужу, батюшка, отслужу!.. Подлинно милость Божия! Подумаешь: один как перст изо всего полка остался!

— Нет, тетушка, не один, наш полк благодаря Бога целехонек.

— Что вы говорите, батюшка? — прервал Шетнев. — Так поэтому ваш только полк и уцелел?

— Нет, государь мой, все целы. Ну конечно, в ином полку народу гораздо поубыло, и наш поменьше стал, да без этого нельзя.

— Скажите пожалуйста!.. Ох уж мне эти вестовщики!.. И ведь выдумают же, проклятые!

— А что, видно, нас всех похоронили?

— Чего, батюшка! У нас слухи были, что из всего русского войска ни души не осталось.

— И что турки-то уж в Полтаве! — подхватила Марфа Саввишна.

— Нет, тетушка, далеко от Полтавы, — сказал Симский, улыбаясь, — да вряд ли туда и пойдут.

— А что государь? — спросил Данила Никифорович.

— Слава Богу, здоров. На прошлой неделе он сам изволил отправить меня с именным указом. Я сейчас был в Сенате и вручил его господам сенаторам.

— Так он, батюшка наш, жив и здоров! — вскричал Шетнев, сложив умильно руки. — Слава тебе Господи! Не отринул ты грешных молитв наших!

— А что, племянник, — молвил Данила Никифорович, — скажи по правде: что, дела-то наши худо идут?

— Да, дядюшка, тесненько нам приходило.

— Слышишь, любезный? — прервал Шетнев

— Турки обложили нас со всех сторон..

— Слышишь? — повторил Шетнев.

— И надобно сказать правду· наше дело было десперантное.

— Какое? — спросил Данила Никифорович.

— Десперантное, то есть отчаянное.

— Слышишь, Данила Никифорович?

— Слышу, любезный!.. А теперь?

— Теперь, кажется, пошло на мировую.

— Почему ты это думаешь?

— А вот почему, дядюшка: когда государь изволил послать меня в Москву, так с визирем шли переговоры. Меня отправили ночью, потому что мне надобно было пробираться сквозь все турецкое войско. Сначала-то мне не очень посчастливилось: турки меня захватили...

— Господи! — вскричала Марфа Саввишна. — Так ты был у них в полону?

— Был, тетушка.

— И тебя не зарезали, не повесили, не закопали живого в землю?

— Нет, тетушка, Бог помиловал. Напротив, они и в плену меня не оставили, а отпустили с честью и даже дали мне проводников. Вот потому-то я и думаю, что у нас с турками положен штиль-штанд.

— Штиль-штанд! — повторил Данила Никифорович.

— Да, дядюшка, то есть армистициум.

— Армистициум. А это что такое?

— Сиречь перемирие.

— Ну так бы и сказал, братец. Да что это, племянник, или у вас в Питере-то все так говорят?

— О нет, дядюшка, как можно, чтоб все так говорили! Ведь и в Петербурге много людей непросвещенных.

— Вот что! Ну, этого я еще не знал. Так, по-вашему, просвещенный человек должен говорить по-русски так, чтоб его свои не понимали?.. Ох вы, петербургские! перехитрили вы, кажется!

— Ну, прощай, любезный! — сказал Шетнев, — пора домой.

— Батюшка Герасим Николаевич, — молвила Марфа Саввишна, провожая гостя, — ты поедешь мимо Нимфодоры Алексеевны Добрынской, заверни к ней на минутку, скажи о нашей радости и о том, что мы слышали от Васеньки...

— Извольте, Марфа Саввишна. Только она мне не поверит.

— Что ты, батюшка!

— Право, не поверит. Да не прогневайтесь, и я не вовсе верю вашему племяннику. Человек служивый говорит то, что ему приказано. Ну, да утро вечера

мудренее: узнаем когда-нибудь всю правду. Прощайте, матушка!

— Долго ли ты у нас пробудешь? — спросил Данила Никифорович Симского.

— Не знаю, дядюшка. Коли мир состоится, так, может быть, мне дадут здесь отдохнуть. Теперь позвольте на часок отлучиться...

— Куда?

— Я видел в Сенате моего однополчанина, Андрея Степановича Мамонова, и обещал побывать у него сегодня до обеда.

— Ну, ступай, мой друг... Да постой, я велю тебе заложить мою одноколку

— Нет, дядюшка, мне езда до смерти надоела, пойду лучше пешком.

— Только, пожалуйста, Васенька,— сказала Марфа Саввишна,— не замешкайся, дай мне насмотреться на тебя, мое сокровище!

— Часа через два непременно ворочусь, тетушка.

Мамонов жил все там же, то есть на Варварке, в доме своего родственника, Шеина. Симский, входя к нему повстречался с каким-то барином, который, посторонясь, отвесил ему низкий поклон. Лицо этого господина показалось Симскому знакомым, но он никак не мог припомнить, где его видел.

— Спасибо, друг сердечный,— вскричал Мамонов,— спасибо! Я думал, что ты не сдержишь своего слова. Чай, все твои родные так за тебя и уцепились. И то сказать выходец с того света!

— Да, любезный, тетушка собиралась по мне панихиду служить.

— Ну, Симский, хороша ваша белокаменная! Вот сплетница-то, подумаешь!.. И всех вас перебили, и турки идут на Москву

— Да за этим, Мамонов, дело не станет и у нас в Петербурге. Конечно, там поменьше праздных людей, так и вздорных слухов не так много, как здесь, а все, я думаю, и там вестей-то не оберешься.

— Судя по тому, Симский, что ты рассказывал мне в Сенате, у нас с турками должен быть армистициум, так надобно надеяться, что скоро будет и мир заключен.

— Да Мамонов, коли пошло дело на переговоры, так авось как-нибудь поладят.

— Ах, дай-то Господи! Тогда, может быть, и моя командировка кончится. Нет, Василий Михайлович

из мочи выбился. Такая скука, что я подчас с ума схожу.

— А невесты-то, Мамонов?

— Что невесты!.. И они надоели, пересмотрел я их больше сотни; все одно и то же. Сначала это меня забавляло, а теперь нет. Да и Федосья Игнатьевна перестала ко мне жаловать. Видно, догадалась, что я на бобах ее провожу. Была у меня здесь одна знакомая, Аграфена Петровна Ханыкова; с ней можно было время проводить: барыня умная, с хорошей эдюкацией, да и та давно уж уехала в Воронеж, чтоб быть поближе к мужу, который на службе в Азове. Ягужинские уехали из Москвы, Стрешневы также, у Гутфеля умерла старуха теща, так что он никого не принимает. Ну, тоска, да и только!

— Однако ж у тебя гости бывают. Вот я сейчас повстречался в дверях с каким-то господином, лицо мне знакомо, только не могу вспомнить, где я его видел.

— Это один магистратский чиновник, Ардалион Михайлович Обиняков, он везде шатается. Вот мошенник-то, братец, так уж я тебе скажу! Знаешь ли, зачем он у меня был? Да вот я расскажу все дело. Тебе известно, что мне поручено забирать на службу всех недорослей из дворян и новиков, которые не явились к своей команде. Вот я почти всех забрал: кто сам явился, кого привезли насильно. Один только, словно клад, мне не дается: какой-то сорокалетний новик, князь Шелешпанский. Охотился ли ты когда, Симский, с борзыми собаками?

— Как же. Мой покойный батюшка любил псовую охоту.

— А случалось ли тебе травить лису?

— Случалось.

— Так ты знаешь, как она проводит и охотников и собак. Ты думаешь: ну, настигли!.. Как бы не так, проклятая вильнет хвостом, собаки промчутся в одну сторону, она шмыгнет в другую — и поминай как звали! Вот точно так же и князь Шелешпанский: уж я ли, кажется, не давал этой лисе утонок. Проведаю, где он, нагряну ни свет ни заря — не тут-то было, и след простыл. Теперь уж третий месяц, как я ничего о нем не слышу. Все его отчины здесь кругом Москвы, а он как в воду канул. Вот перед тобой явился ко мне этот Обиняков и объявил, что князь Шелешпанский скрывается верст за шестьдесят отсюда в лесу, на хуторе богатого помещика Рокотова, и что если я дам ему

Обинякову, команду, так он этого беглеца руками возьмет и представит ко мне в Москву. Да это бы еще ничего, а вот что скверно: я знаю доподлинно, что князя-то Шелешпанского этот самый Обиняков и уговорил от меня прятаться. Каков молодец!

— Да из чего же он это делает?

— Из чего! А вот прочти эту копию с царского указа,— сказал Мамонов, подавая Симскому исписанный лист бумаги.

— Что ж это?— молвил Симский, читая.— Тут речь идет о том, что дозволяется всякому чину торговать с платою пошлины.

— Это пункт первый, читай дальше.

— Пункт второй,— продолжал Симский.— «С семьсот первого году выписать, сколько каких выморочных деревень роздано и кому». И это, кажется, к делу нейдет?

— Читай, читай!

— Пункт третий: «Кто скрывается от службы, объявить в городе, кто такого сыщет или возвестит, тому отдать все деревни того, кто ухоранивался».

— Ну что, любезный, теперь понимаешь, из чего бьется Обиняков?

— Ах он разбойник!

— По мне, хуже разбойника. Подбил человека на дурное дело да сам же на него и в донос.

— И этот мошенник получит все именье князя Шелешпанского?

— Разумеется. Завтра после обеда он отправится с командой, сделает выемку, привезет сюда этого новика, получит от меня свидетельство, а там представит его при своей челобитной в Сенат и отберет у этого бедняжки Шелешпанского все именье, а ведь именье-то какое: с лишком четыре тысячи душ.

— Да что ж, это,— спросил Симский,— тот самый князь Шелешпанский, который был помолвлен на племяннице...

— Аграфены Петровны Ханыковой. Ну да, тот самый. Месяца два тому назад Аграфена Петровна, которая была еще здесь, уведомила меня, что родной ее брат, Максим Петрович, зовет ее на свадьбу племянницы в подмосковное свое село. Надобно тебе сказать, что Ханыкова и слышать не хочет об этой свадьбе. Вот я взял с собою команду и отправился втихомолку к Прокудину. Подъезжая к селу, я узнал от мужичков, что

жених, то есть князь Шелешпанский, прибыл со всем своим поездом в село Максима Петровича. Кажется, я хорошо распорядился: одну часть моей команды оставил на карауле у самой околицы, другой приказал ехать с обыском на село, а сам отправился прямо в господский дом. Свадьбе-то я помешал — это правда, а жених все-таки ушел. Что будешь делать! Сквозь пальцы проскользнул, проклятый!

— Так поэтому он еще не женат? — спросил Симский таким странным голосом, что Мамонов взглянул на него с удивлением и сказал:

— Что ты, брат, поперхнулся, что ль?

— Да!.. что-то так...— промолвил Симский, чувствуя, что сердце его совершенно оледенело.— Так ты, Мамонов,— продолжал он,— помешал этому бедняжке жениться на племяннице Прокудина?

— Да ведь жениться-то всегда можно. Чай, их давно уж обвенчали. Коли дело полажено, так долго ли отпеть «Исайя ликуй»? Не на селе у своего дяди, так где-нибудь на погосте. Жаль мне этой... как бишь ее звали в девках-то?.. Да, Запольская! Такая хорошенькая, умненькая, танцует прекрасно... Бедняжечка! вышла за богатого человека, а теперь что он будет? нищий!

— Да неужели в самом деле этот мошенник Обиняков отберет у него все именье?

— А ты думаешь, оставит что-нибудь?

— Послушай, Мамонов, нельзя ли как-нибудь этому пособить?

— Никак нельзя. Конечно, если б он догадался да прежде, чем его захватят на этом хуторе, явился ко мне сам,— ну, это дело другое. Не знал, дескать, что меня требуют, ездил по моим отчинам, хворал... мало ли что можно сказать.

— Что ж тогда с ним будет?

— Ничего, поступит на службу, а все именье при нем останется. Куда ж ты, Симский?

— Прощай, мой друг, меня дожидаются обедать Э да кстати!.. Можешь ты мне дать эту копию с указа?

— На что тебе?

— Показать дядюшке. Может быть, он еще этого указа не читал.

— Пожалуй, возьми, если хочешь.

— Ну, прощай, Андрей Степанович!

— До свиданья, мой друг!

Симский обнял Мамонова и отправился домой.

XII

На другой день после рассказанного мною в предыдущей главе, часу в восьмом утра, Максим Петрович Прокудин сидел на рундуке своего сельского дома вместе с Ольгой Дмитриевною Запольскою. Максим Петрович читал любимую свою книгу «Камень веры» Стефана Яворского, племянница сидела подле него и вышивала на пяльцах.

— А вот и Прокофий едет из Москвы,— сказал Прокудин, закрывая книгу,— что он везет нам — горе или радость?

Через несколько минут Прокофий Сидорыч стоял уж перед своим господином.

— Ну что, Калуга? — спросил Максим Петрович.— Что слышно в Москве?

— Да мало ли что толкуют, батюшка,— отвечал Прокофий,— одни говорят одно, другие другое.

— Так есть и хорошие слухи?

— Есть, Максим Петрович.

— Ну, слава тебе Господи!.. Ты был у Шетнева?

— Как же, сударь. Изволит тебе кланяться. «Писать-де к твоему барину не могу — дело опасное, а скажи ему на словах: начали, дескать, распускать по Москве слухи, что в нашем войске все благополучно, что государь Петр Алексеевич жив и здоров и что теперь с турками замирение. Да ты, дескать, Максим Петрович, этому не верь — все это выдумки, и хоть оттоле и есть выходцы, да от них правды не узнаешь; а все-таки и они поговаривают, что дело-то было сильно плоховато; так ты себе на ус и мотай: коли было плохо, так отчего ж теперь стало хорошо? Ведь к нашему войску на выручку никто не подоспел!» Вот что, батюшка, приказал тебе сказать его милость Герасим Николаевич.

— Так Шетнев думает, что это все сказки? А ты что думаешь, Кулага?

Прокофий Сидорович начал ухмыляться, почесал затылок, помялся и наконец промолвил:

— Не прогневайся, государь Максим Петрович, я думаю, Герасим Николаевич изволит называть эти добрые слухи выдумкою ради того, что ему крепко бы хотелось, чтоб слухи-то были дурные.

— Может статься. Да ты-то сам как думаешь?

— Я, батюшка, что! Я человек глупый. По мне, лучше верить хорошему, чем худому.

— И я, видно, Прокофий, не умней тебя. Ну, ступай с Богом!.. Тебе, чай, надо отдохнуть... Постой-ка, постой!.. Ох, глаза-то у меня плохи стали!.. Посмотри, Прокофий: ведь это к нам кто-то едет.

— Едет, батюшка.

— Кажись, тройкой в телеге?

— Да, сударь... У! да как задувает! Видно, на разгонных.

— Да, шибко едет. Ступай, Прокофий, скажи, чтоб закуска была готова... Кто бы это такой? — продолжал Прокудин. — Э! Да никак на нем шляпа-то немецкая? Или мне так кажется... Посмотри-ка, Оленька! Да что ты, мой друг?

— Ничего, дядюшка.

— Как ничего: ты вся побледнела... и голос у тебя дрожит... Что ты, что ты... Господь с тобою!

— Да... — прошептала Ольга Дмитриевна, — это он.

— Он? Кто?.. Этот гость, который к нам едет?

— Дядюшка, — сказала Запольская, вставая — я пойду к себе... я не хочу его видеть.

— Да кто ж он такой? — спросил Прокудин.

Слезы брызнули из глаз бедной девушки; она закрыла руками лицо и назвала едва слышным голосом Симского.

— Симский! — повторил Прокудин. — Что ты, матушка, перекрестись! Да ведь он под турком...

— Так что ж, дядюшка? Видно, приехал затем, чтоб сдержать свое слово и жениться на Катеньке Юрловой

— На Юрловой!.. Да это все вздор, Оленька

— Как! — вскричала Запольская, и по бледному лицу ее разлился яркий румянец. — Так он не помолвлен?

— Нет, мой друг, это все выдумки Рокотова. Ступай, моя душа, ступай! Мы после поговорим об этом с тобою

Меж тем гость подъехал к воротам и, не въезжая во двор, спрыгнул с телеги.

— Ну, так и есть, — молвил про себя Максим Петрович, — это точно Симский.. Экий бравый детина! И в этом-то дурацком наряде молодцом смотрит!. Да какой учтивый парень: не въехал прямо во двор... Вон и шляпу снял!.. Эх, кабы немцев-то он поменьше любил!

— Не прогневайтесь, почтеннейший Максим Петрович, — сказал Симский, взойдя на крыльцо, — что я осмелился незваный к вам приехать!

— Ничего, батюшка, ничего! Добро пожаловать! Милости просим садиться!

Симский поклонился и сел подле Прокудина.

— Прежде всего, батюшка,— сказал Максим Петрович,— позволь спросить: ты приехал из-под турка?

— Да, Максим Петрович.

— Давно ли?

— Другой день.

— Так сделай же милость, Василий Михайлович... так, кажется, батюшка: Василий Михайлович.

— Точно так, Максим Петрович.

— Усердно прошу тебя, скажи мне без утайки всю сущую правду, что у вас там делается.

— Теперь все кончено, Максим Петрович. Вчера прибежал в Москву гонец: с турками заключен вечный мир.

— Вечный? Так авось годика два-три протянется. А что наш батюшка Петр Алексеевич?

— Все слава Богу! Чай, идет теперь с войском к нашим границам.

— Ну, спасибо тебе за добрые вести, молодец, спасибо!

— Теперь позвольте мне доложить, Максим Петрович, зачем я к вам ехал: дело важное и требует большой поспешности.

— А что такое, Василий Михайлович?

— Оно отчасти и до вас касается.

— До меня?

— То есть до человека, очень вам близкого. Ваша племянница, Ольга Дмитриевна Запольская, была помолвлена за князя Андрея Юрьевича Шелешпанского и, вероятно, теперь уж замужем.

— Так что ж, батюшка?

— А вот что, Максим Петрович: коли вы не поторопитесь сделать что я вам скажу, так у вашего племянника, сиречь князя Шелешпанского, все именье отберут.

— Племянника!—повторил Прокудин.

Казалось, он хотел что-то вымолвить, но остановился и, поглядев пристально на Симского, сказал:

— Да как же это у него отберут все именье?

— А вот как, Максим Петрович. Я думаю, вам небезызвестно, что государь Петр Алексеевич приказал забирать на службу всех взрослых недорослей из дворян и неслуживших новиков. Отыскивать их и записывать в полки поручено моему сослуживцу, Преображенского полка господину поручику Мамонову.

— Знаю, батюшка, знаю! он у меня был.

— Так вам должно быть известно и то, что князь Шелешпанский несколько уже месяцев отбывает от слу-

жбы и прячется по своим деревням. Вчера я застал у Мамонова какого-то приказного чиновника Обинякова...

— Ардалиона Михайловича?

— Точно так, Максим Петрович. Этот Обиняков объявил Мамонову, что князь Шелешпанский скрывается верст за шестьдесят от Москвы в лесу, на хуторе помещика господина Рокотова, и что он, Обиняков, коли дадут ему команду, изловит непременно вашего племянника и доставит его к Мамонову в Москву.

— Вот что!.. А давно ли, батюшка, этот мошенник Обиняков в сыщики попал?

— Он не сыщик, Максим Петрович, и делает это не по долгу службы, а по собственной охоте.

— Да что ж ему за прибыль?

— Вот то-то и дело, что для него прибыль превеликая: коли он доставит к Мамонову князя Шелешпанского, так отберет у него все именье.

— Все именье!.. Да по какому же праву, Василий Михайлович?

— А вот в силу этого именного указа. Извольте прочесть сами... пункт третий...

— Ах он Иуда, предатель! — вскричал Прокудин, прочтя этот третий пункт.— Да неужели он в самом деле завладеет всем именьем князя Шелешпанского?

— Нет, Максим Петрович! этому делу пособить еще можно. Если ваш племянник не даст себя захватить на хуторе и успеет сам явиться к Мамонову, так прежнее отбывательство в большую вину ему не поставят: его только примут на службу, а именье при нем останется Теперь,— продолжал Симский, вставая,— прошу прощенья, Максим Петрович! Я свое дело сделал, извольте делать ваше.

— Постой, постой, любезный! — сказал Прокудин, схватив за руку Симского.— Дай мне на тебя полюбоваться... Да что ж ты за человек такой, Василий Михайлович?

— А что ж, Максим Петрович, я думаю, и всякий другой на моем месте...

— Нет, молодец, не говори! Я все знаю: тебе не за что любить Шелешпанского. И добро бы ты думал, что племянница моя не замужем,— ну, это другое дело! Я, дескать, покажу себя добрым человеком, угожу Максиму Петровичу, а теперь из чего ты изволил себя тревожить?.. Ну, дай Бог тебе здоровья, Василий

Михайлович, утешил ты меня, старика! Видно, еще не перевелись честные-то по булату, православные люди на святой Руси!.. Вот посмотрим, что-то скажет об этом мой приятель, Лаврентий Никитич Рокотов. Послушаешь его, так вся наша молодежь так набралась немецкого духа, что в ней русской-то правды на волос не осталось.

— Да неужели и вы, Максим Петрович, изволите думать, что между немцами нет добрых и честных людей?

— Как не быть, батюшка! И в нечестном Содоме нашелся праведный Лот, а немецкая-то земля, чай, побольше будет Содома и Гоморры... А, да вот нам и завтрак несут!.. Андрюшка! вели заложить мой возок, я сейчас поеду к Рокотову. Милости просим, гость дорогой! Покамест мне запрягают лошадей, мы с тобой закусим, выпьем по чарочке, а там и с Богом!

В продолжение завтрака Максим Петрович расспрашивал подробно своего гостя о прутском деле и когда выслушал его рассказ, то, покачав головою, сказал:

— Эх, молодец! сплоховали ваши набольшие! Как же они этак словно в ловушку попали?

— Что ж делать, Максим Петрович! — отвечал Симский. — Государя обманули ложными донесениями, и воложский господарь нам изменил.

— Так что ж смотрели ваши немецкие генералы! Ведь их там, говорят, неотолченая труба.

— Ох, Максим Петрович, уж не извольте говорить о немецких генералах!..

— А что?

— Да главный-то из них — генерал Янус — все дело испортил: пропустил турок через Прут, дал им зайти к нам в тыл, а подержись он хоть с полдня, так мы бы через Прут переправились и не дали себя обойти.

— Да что ж это такое, — промолвил с удивлением Прокудин, — этот Янус немец, а ты за него не заступаешься?

— Чего тут заступаться! Сам государь изволил сказать, что генерал Янус нечестно свой долг исполнил.

— Вот что! Так, видно, и немецкие генералы со всячинкою: не все с неба звезды хватают!

— Помилуйте, Максим Петрович! Да есть ли изо всех этих немецких генералов хоть один, которого можно было бы сравнить с нашим графом Шереметевым, с князем Меншиковым и даже с князем Репниным? Я уж не говорю о государе Петре Алексеевиче, у которого в одном мизинце больше ума, чем у всех этих немцев.

— Ах ты, мой голубчик! — вскричал Прокудин, всплеснув руками,— так вот как ты изволишь поговаривать!.. А я думал, что ты вовсе погряз в этой немецкой прелести!..

— Нет, Максим Петрович, я вам и прежде докладывал, что нам должно перенимать все полезное у наших соседей, но не ради того, чтоб сделаться самим немцами. Да разве русский человек не может научиться разным наукам и всем заморским хитростям, а меж тем остаться таким же точно православным русским, какими были его отцы и прадеды? Ведь это везде так, Максим Петрович. Вот, примером сказать: голландцы не уступят в науке англичанам, немцы не меньше знают французов, а ведь не все же за морем сплошь да рядом или французы, или немцы, или голландцы,— и там также наука наукой, а каждый народ сам по себе. Однако ж, Максим Петрович, вам надо поспешить. Хоть, кажется, времени еще довольно, а ведь не ровен час: коли этот Обиняков поторопится да захватит вашего племянника...

— Племянника! — повторил Прокудин, улыбаясь.— Ну а коли Шелешпанский вовсе мне не племянник?

— Что вы говорите,— прервал Симский, и глаза его заблистали радостью,— так Ольга Дмитриевна не вышла за князя Шелешпанского?

— И никогда за ним не будет.

— Так она не замужем?..

— Покамест нет. Ну, прощай, друт сердечный! Ты, чай, остановился в Москве у своего дяди?

— Да, Максим Петрович.

— Так мы послезавтра опять с тобой увидимся. До свиданья, любезный!

Симский уехал. Прошло несколько минут. Прокудин провожал глазами уезжающего гостя и, казалось, размышлял в эту минуту о чем-то приятном. Он поглаживал с приметным удовольствием свою седую бороду и улыбался. Вдруг сенные двери скрипнули и растворились до половины.

— А, это ты, Оленька,— сказал Максим Петрович.— Поди сюда, поди!.. Сядь-ка вот тут... поближе ко мне... Ну, племянница, глаза-то у тебя зорки: издалека ты узнала Симского!

— И, что вы, дядюшка!.. Ведь он уж был близко,— отвечала Ольга Дмитриевна, покраснев как маков цвет.

— И то сказать,— продолжал Максим Петрович,— такого молодца за версту узнаешь. Не правда ли, мой друг?

Вместо того чтоб отвечать на вопрос дяди, Ольга Дмитриевна придвинула к себе пяльцы, нагнулась над ними, стала разбирать шелк и наконец промолвила едва слышным голосом:

— А зачем он приезжал к вам, дядюшка?

— Да по делу твоего жениха, князя Шелешпанского.

— Жениха! — повторила с ужасом Запольская.

— То есть бывшего, мой друг! — прервал с улыбкою Прокудин.— Ну, чего ты испугалась? Уж я сказал, что скорей выдам тебя за немца, чем за этого беглого новика. Вот, подумаешь, прошу узнать: этот вор Ардалионка Обиняков крепко стоит за нашу старину, позорит всех иноземцев, князь Шелешпанский также, оба они слывут людьми русскими, а что в этом толку, коли душонки-то у них жидовские. Один мошенник, а другой, по мне, и того хуже. Обиняков что? приказная строка! а Шелешпанский — богатый боярин, природный князь, да любого цыгана научит, как обманывать добрых людей. Живет хуже всякого скареда и, чтоб отвилять от царской службы, по овинам изволит прятаться. А вот этот Симский... И я, грешный человек, думал, что он вовсе онемечился... Да и как не подумать: хвалит все заморские обычаи, любит немцев и сам-то говорит иногда ни дать ни взять как немец; а как пришло дело начистоту, так его честная русская душа вот так из-под немецкого-то платья и рвется наружу!.. Ну, нечего сказать, славный малый!

— Так он вам нравится, дядюшка? — спросила робким голосом Ольга Дмитриевна.

— Да, мой друг, очень нравится, а тебе?.. Ну, что ж ты молчишь, Оленька?.. А! Вот что: ты не хочешь со мной спорить...

— Как, дядюшка?

— Да, мой друг: я его хвалю, а тебе он, видно, не по сердцу.

Ольга Дмитриевна кинулась на шею к дяде и заплакала.

— И, полно, матушка! — сказал Прокудин, улыбаясь.— О чем ты плачешь?

Запольская хотела что-то сказать, но слезы не дали ей вымолвить ни слова.

— Да не бойся, мой друг! Коли Симский тебе не нравится, так Бог с ним.

— А разве он что-нибудь вам говорил? — промолвила Ольга Дмитриевна.

— Теперь ничего. Да ведь он уж за тебя сватался.

— Что вы говорите?

— Да, мой друг. Вот когда ты жила еще у своей тетки, родной его дядя, Данила Никифорович, сам приезжал ко мне сватом, а я как будто бы отгадал, что Симский тебе не по сердцу, и слушать его не стал.

— Ах, дядюшка!..

— Что, племянница?

— Да вы, кажется, смеетесь надо мною.

— И, что ты, матушка?

— Вы говорите, что Симский мне не нравится?

— А как же, Оленька? Когда я уговаривал тебя выйти замуж за Шелешпанского, ты плакала, а и теперь также, лишь только я намекнул тебе о Симском...

— Ах, дядюшка! — прервала Запольская, потупив глаза, — да ведь я тогда плакала с горя...

— А теперь от радости? Ага, смиренница, промолвилась!

— С радости!.. — повторила Ольга Дмитриевна, и в глазах ее снова блеснули слезы. — Почем знать, может быть, теперь Симский...

— Нет, мой друг, и теперь все то же. Ведь он приехал сюда затем, чтоб выручить из беды твоего мужа... Да, да, Оленька, Симский думал, что ты давно уже княгиня Шелешпанская, и кабы ты видела, как он обрадовался, когда я сказал, что ты еще не замужем... Ну, да что об этом говорить! Видно, пословица-то недаром: «Суженого конем не объедешь». Прощай, Оленька! Мне пора ехать к Рокотову, а завтра я отправляюсь в Москву, и если Данила Никифорович опять заговорит о своем племяннике, так что ж, матушка... прикажешь ударить по рукам?

— Воля ваша, дядюшка.

— А твоей-то воли нет?

— Ах, какие вы!..

— Ну, добро, добро!.. Прощай, мой друг!

XIII

— Что ж это Максим-то Петрович не едет? Ведь он сказал тебе, племянник...

— Да, дядюшка, он спросил меня, у вас ли я живу, и сказал, что послезавтра непременно со мной увидится.

— Ну, так и есть! Ты был у него третьего дня, и коли он выехал вчера, так должен быть сегодня к обеду. Ты не знаешь, где он остановился?

— Не знаю, дядюшка.

Разумеется, эти вопросы делал Данила Никифорович Загоскин племяннику своему Василию Михайловичу Симскому.

— Коли он приедет сюда с племянницей,— продолжал Данила Никифорович,— так, верно, остановится в доме у сестры, а если один, так, может статься, и ко мне взъедет. Нечего делать, надобно подождать его к обеду Как ты думаешь, жена?

— Воля твоя, Данила Никифорович,— промолвила Марфа Саввишна.— Только я за гуся не отвечаю: пережарится, батюшка.

— Беда не большая. Мы с Максимом Петровичем люди не привередливые. Ты говорил мне, Василий, что он тебя ласково принял?

— Очень ласково.

— Очень ласково! Да это еще ничего: Максим Петрович человек радушный, ты же приехал к нему с добрым делом; на его месте и всякий обошелся бы с тобой ласково.

— Нет, дядюшка! сначала он был только приветлив со мной, а под конец так меня обласкал, что я и слов не нашел. Уж он хвалил, хвалил меня!.. А как стал прощаться со мной, так назвал другом сердечным.

— Ну, это не дурно. А намекал ли он тебе что-нибудь... знаешь, о том?..

— Как же, дядюшка, и очень намекал...

— И это хорошо! Максим Петрович не скажет слова на ветер — не такой человек. Да и ты не глупо сделал, племянник: расхвалил русских генералов, а немецкого-то генерала ругнул... Умно, любезный, умно! Потешил старика...

— Я говорил это, дядюшка, не ради его потехи: это сущая правда.

— И, Василий! Ну хоть бы и душой-то немного покривил, что за беда! Ведь немцам от твоих слов ни хуже, ни лучше не будет, а Максиму Петровичу это как маслом по сердцу!.. Так ты, племянник, хочешь, чтоб я с ним опять речь повел об Ольге Дмитриевне?

— Ах, сделайте милость, дядюшка!

— Ну так и быть, попытаемся еще разок. А ведь обидно будет, коли он и теперь так же заломается...

— Дай-то Господи! — прошептала Марфа Саввишна.
— Что, что? — прервал Данила Никифорович.
— Да, государь, не прогневайся! Кабы моя воля, так я бы ни за что не благословила Васеньку жениться на этой Запольской.
— Не благословила! А почему бы так, сударыня? Что, она невеста бедная, что ль?
— Нет, батюшка, с достатком.
— Собой, что ль, не хороша?
— И этого сказать нельзя: личико у нее смазливое и по годам она ровня Васеньке.
— Все говорят, что она предобрая.
— И это может быть.
— Так чего ж еще тебе? Рожна, что ль, прости Господи!
— Эх, Данила Никифорович! да ведь жена должна быть хозяйкой в доме, утождать мужу, заботиться о детях...
— А почему ты думаешь, что Ольга Дмитриевна...
— И, батюшка! чего ждать от такой девицы, которая по немецким ассамблеям ездит, в заморские робронты одевается и пляшет с кем ни попало...
— Так что ж, тетушка, — прервал Симский, — Ольга Дмитриевна человек молодой, почему ей не повеселиться?
— Ох, Васенька! припомни мое слово: сядет тебе это веселье на маковку!
— Добро, добро! — прервал Данила Никифорович. — Ты это, Марфа Саввишна, говоришь потому, что сама-то устарела.
— Ах, батюшка, разве я не была так же молода?
— Была, мой друг, да в то время об ассамблеях-то у нас и речи не было и вас всех, моих голубушек, за ключиками держали; а будь-ка ваша воля, так, может статься, и ты бы поехала на вечеринку к немцу Гутфелю.
— Сохрани Господи!
— И, Марфа Саввишна! так-то бы поехала да отхватала минавею с каким-нибудь аптекарем!.. Ведь мы все под старость прежние свои грехи забываем. У самих ноги плохо ходят, так и другие не бегай... Э! Да вот никак и Максим Петрович въехал на двор... Ну, племянник, коли ты хочешь, чтоб я высватал тебе невесту, так убирайся вон!.. Максим Петрович любит все старинные обычаи, а в старину такие дела при женихе и невесте не делались.

— Постарайтесь, дядюшка!

— Будем стараться, батюшка, а там что Бог даст!

Симский вышел вон, а Данила Никифорович пошел навстречу к своему гостю.

— Здравствуйте, старый друг! — сказал Прокудин, обнимая Загоскина. — Давно мы с тобой не видались.

— Давно, Максим Петрович.

— Марфа Саввишна!.. Как, матушка, ваше здоровье?

— Слава Богу, Максим Петрович, Господь грехи терпит! — молвила очень сухо Марфа Саввишна, выходя вон из комнаты.

— Я, Данила Никифорович, и с тобой хотел повидаться, — сказал Прокудин, садясь, — а коли правду молвить, так сегодня приехал не к тебе, а к твоему племяннику.

— Все равно, любезный, мы с ним не делимся.

— Мне хотелось еще раз сказать спасибо Василию Михайловичу за то, что он не дал мошеннику Обинякову ограбить князя Шелешпанского. Ты ведь, чай, об этом знаешь?

— Да! Василий мне сказывал.

— Ну, Данила Никифорович, можешь ты похвастаться своим племянником: вот уж подлинно честный малый!..

— Да и как быть иначе, Максим Петрович: его покойные родители были истинно честные и благочестивые люди, а ведь ты, чай, знаешь пословицу: «Недалеко яблочко от яблоньки падает».

— Так, так! Да как он это из-под турка-то к тебе приехал? В побывку, что ль, отпустили?

— Нет, Максим Петрович: государь Петр Алексеевич прислал его сюда гонцом.

— Вот что!

— Он привез Сенату указ от его царского величества.

— Указ! О чем?

— А вот, изволишь видеть... Э! Да кстати, помнишь, мы с тобой спорили, — я говорил, что наш батюшка Петр Алексеевич паче всего любит и бережет свою святую Русь, а ты стоял в том, что он любит не свой православный народ, а немцев, голландцев и всяких других иноземцев.

— Помню, Данила Никифорович, помню! Что делать, грешный человек, я и теперь то же думаю.

— И думаешь это потому, что государь жалует заморские обычаи, хочет, чтоб мы все одевались по-иноземному, и подписывается иногда не Петром, а Питером?

— Да разве этого мало?

— Погоди, любезный, погоди, выслушай меня!.. Вот, примером сказать, если б какой-нибудь царь вел войну и ему бы не посчастливилось: войско его разбили, а его самого захватили в полон — как ты думаешь, что бы он написал своему народу?

— Вестимо дело: он написал бы, чтоб его как-нибудь выручили, а коли насилу взять нельзя, так выкуп дали.

— Выкуп! Да ведь за царя-то, пожалуй, и полцарства попросят, всю землю разорят...

— Что ж делать, любезный! Коли уж такой грех приключился, так жалеть нечего — все отдавай!

— Ну, а коли этот царь напишет своему народу: если вы узнаете, что я попал в плен, сиречь нахожусь в неволе, так вы уж не должны почитать меня своим царем и государем и никаких указов моих не исполнять. Пусть, дескать, я пропаду, да вы-то останетесь целы.

— Что ты это говоришь? Да неужели государь Петр Алексеевич...

— На вот, прочти!

— Да это что такое?

— Список с того указа, который привез сюда племянник.

— Господи Боже мой! — вскричал Прокудин, прочти указ.— Ну!!!

— Что, любезный, кто из нас прав?

— Ты, Данила Никифорович, ты!.. Ах я окаянный роптотник!.. И я мог говорить, что государь Петр Алексеевич променял свой народ на немцев, что он вовсе о нас не думает, а он, кормилец наш, себя не пожалел для своего царства!.. Ну, правду ты мне говорил, Данила Никифорович, Господь послал нам такого царя, какого до сих пор еще нигде не бывало.

— Что, Максим Петрович, будешь ли теперь гневаться на меня, что я, в угоду такому великому государю, немецкое платье на себя надел?

— Куда мне гневаться, Данила Никифорович! Да мне стыдно теперь на тебя смотреть.

— То-то же, любезный!.. А что, друг сердечный, если б государь сам лично тебе сказал: «Послушай, голубчик Максим Петрович, потешь меня, отмахни себе бороду»?

— Эх, полно, Данила Никифорович, не искушай!.. Да и на что ему моя седая борода? Я прожил с нею весь мой век, так пусть она при мне и в могиле останется!.. А коли я ему, отцу нашему, на что-нибудь надобен,— прикажи только, так я, вместе с моей бородою, и голову за него положу!.. Так вот какой указ привез твой племянник?

— Да, Максим Петрович. И знаешь ли что? Ведь он сам напросился ехать гонцом в Москву, а это было все равно что идти на явную смерть.

— Как так?

— Да разве ты не слышал, что турки-то все наше войско крутом обложили и проезду никому не было?

— Так как же он проехал?

— А вот так же, как русские люди по вешнему ледку переходят: девятеро пойдут ко дну, а десятый кой-как доберется до другого берега.

— Так что ж ему за охота была напрашиваться?

— Что за охота! Так ты не знаешь племянника? Он у меня такой молодец, что и сказать нельзя,— вся русская отвага! И хоть он в немецком платье ходит, а удали-то в нем на десятерых немцев станет. Мало ли что с ним было: попался было в полон к туркам, голову ему срубить хотели, а все-таки Господь помиловал, и сам остался невредим, и царский указ сберег.

— Да, нечего сказать, молодец!

— Вот то-то же, Максим Петрович, ты сам изволишь говорить, что он и честный малый и молодец, а все-таки отбраковал его.

— Да у меня тогда, любезный, не то в голове было, и его-то я вовсе не знал.

— А теперь?

— Теперь иная речь, Данила Никифорович! Теперь об этом можно поговорить.

— А коли так, Максим Петрович, так позволь мне вторично сказать тебе, что я и моя Марфа Саввишна имеем великое желание породниться с тобою.

— И я также, любезный друг, не прочь от этого. Дай время подумать, поразмыслить...

— Да что тут размышлять? Коли мой племянник тебе по сердцу...

— Кто говорит: он молодец прекрасный, да и немцев-то не так любит, как я прежде думал.

— Кто? Василий? С чего ты взял, что он любит немцев? «Мы, дескать, люди петербургские, так у нас все на немецкую стать!..» А попытайся кто-нибудь сказать при нем непригожее слово о нашей матушке святой Руси, так он на нож полезет!.. Ну что ж, друг сердечный, пореши чем-нибудь!

— Экий ты проворный... пореши! Да ведь это не что другое... Иль, по-твоему, невеста в самом деле товар, а жених купец?

— А, понимаю!.. Ты хочешь прежде посоветоваться с Ольгой Дмитриевной?

— Ну, вот еще!.. Ее дело девичье, стану я с ней об этом говорить!

— Так что ж тебе за охота понапрасну меня маять? Ведь уж мы оба с тобой каждый денек считаем, и коли Господь посылает радость, так откладывать нечего.

— Правда, Данила Никифорович, правда!

— А коли правда, так о чем и думать?.. Что ж Максим Петрович, по рукам, что ль?

— Ну, по рукам так по рукам!

Прокудин и Загоскин обнялись.

— Поздравляю тебя, любезный сват, с племянником! — сказал Данила Никифорович.

— А тебя, друг сердечный, и сватью с племянницей!

— Ну что, Максим Петрович, не прикажешь ли теперь позвать жениха?

— Зачем? Это дело между нами: чай, ты не станешь спрашивать у твоего племянника, хочет ли он жениться на моей племяннице?

— И то правда! Я ведь ему вместо отца родного, так он должен во всем меня слушаться. Я ему скажу просто: «Племянник, мы ударили по рукам с Максимом Петровичем: он выдает за тебя свою племянницу; так хочешь или нет, а прошу идти с нею под венец!» Так ли?

— Так, так! И я то же скажу племяннице.

— Конечно, конечно! Их дело сторона.

— Они знай только под венцом стоять, а свадьбу уладить наше дело. Так ли, Данила Никифорович?

— Так, Максим Петрович, так! Станем мы их спрашивать!..

— Вот еще!.. Делай что велят... Да что ж ты этак глазами-то поводишь, Данила Никифорович?

— А ты что ухмыляешься, Максим Петрович?

Оба старика взглянули друг на друга и засмеялись.

— Эх, любезный сват, — сказал Прокудин, — что нам друг друга морочить? Видно, что было, того не вернешь. Да хоть свадьбу-то справим по старине, в этом нам никто не указ.

— Изволь, друг сердечный, только, пожалуйста, не откладывай.

— Чего откладывать! Уж скоро Успенский пост Милости прошу ко мне с женихом и со всем поездом в село Вздвиженское, на будущей неделе во вторник.

— Будем, Максим Петрович, будем!

— Да скажи Василию Михайловичу, что он увидит свою невесту только тогда, когда она будет Ольгой Дмитриевной Симской. Чай, у них в Питере этого не водится, да ведь мы люди не петербургские. Э! Да, пожалуйста, любезный, пригласи на свадьбу господина Мамонова. Кабы не он, дай Бог ему здоровья!.. Да что об этом говорить: помиловал Господь и меня и племянницу... А! Да вот и Марфа Саввишна!

— Жена,— сказал Загоскин,— мы сейчас покончили с Максимом Петровичем: он выдает за Василия свою племянницу, Ольгу Дмитриевну; на будущей неделе свадьба... Ну, что ж ты стоишь? Поцелуйся с нашим дорогим сватом!

Марфа Саввишна поцеловалась молча с гостем.

— Прошу меня любить и жаловать,— молвил Прокудин,— и не оставлять вашею милостью мою Оленьку!

— Помилуйте, Максим Петрович,— проговорила наконец Марфа Саввишна,— родня всегда родня. Жаль только, что я уж стара и хила стала, батюшка. Что делать! Не могу во всем заменить ее тетушку Аграфену Петровну, та, бывало, с ней по ассамблеям ездит...

— А вы, матушка, приучите племянницу хозяйничать, заниматься домашними делами: ведь ей стоит только у вас перенимать!

— И, батюшка: ученого учить — лишь только портить!

— Хорошо, хорошо! — прервал Данила Никифорович, которому этот разговор начинал не нравиться.— Вели-ка, Марфа Саввишна, закуску подавать. Да милости просим, дорогой сват, чем Бог послал!

— Благодарю покорно! Я уж обедал.

— Где?

— У сестры Аграфены Петровны.

— Как, да разве она приехала?

— Вчера поутру. Азов сдают опять туркам, так и муж ее скоро вернется в Москву. Прощай, сват! — продолжал Прокудин, вставая.— Поеду отдохнуть немного, а там и домой.

— Так ты здесь и дня не пробудешь?

— Когда теперь! Надо о свадьбе подумать. Ведь это дело не шуточное, около пальца не обведешь. До свиданья! Жду вас, любезные сваты, во вторник.

— Будем, будем, Максим Петрович! — сказал Загоскин, провожая своего гостя.— Ну что, жена,— спросил он, воротясь в гостиную,— каково я дело-то повернул, а?

— Ух, батюшки,— промолвила Марфа Саввишна,— отлегло от сердца!

— А, то-то же! Только что говорила, а небось теперь сама радехонька!

— Слава тебе Господи! то-то бы срам был!

— Срам не срам, а нечего сказать,— обидно бы было.

— Ну, кабы Максим Петрович остался обедать!..

— Так что ж?

— Как что? Ведь я тебе говорила, батюшка: гусь пережарился, похлебка простыла, а пирог так подгорел, что стыдно на стол поставить.

— Вот о чем толкует!.. Пойдем-ка обедать да вели позвать нашего затворника — чай, он теперь ни жив ни мертв. Вот мы с ним на радости выпьем по чарочке да закусим твоим подгорелым пирогом!

Через несколько дней в селе Вздвиженском повторилось опять то же самое, о чем я рассказывал вам, любезные читатели, во второй главе этой части моего рассказа, с тою только разницей, что после девишника на другой день была свадьба и что на этот раз все без исключения были счастливы и довольны... Ах, нет! ошибся. Помните вы старуху Потапьевну, которая шуняла молодую бабу за то, что она не плакала на своем девишнике? Эта старуха осталась очень недовольной. Во время девишника она смотрела в окна и, к крайнему своему прискорбию, заметила, что ненаглядное ее солнышко, боярышня Ольга Дмитриевна, не только не плакала, но беспрестанно улыбалась и была так весела, как будто бы не ее замуж выдавали.

— Ох, худо! — говорила она.— Не плачет теперь, так наплачется вдоволь замужем!

Я думаю, вовсе не нужно вам сказывать, любезные читатели, что это пророчество не сбылось.

Разумеется, Рокотов не был на свадьбе и поссорился с Шетневым за то, что он не отказался от приглашения. Года через три Лаврентий Никитич умер преспокойно на своей постели. Вероятно, он кончил бы свою жизнь совсем другим образом, если бы времена смут и мятежей не прошли безвозвратно. По смерти его Шетнев оделся в немецкое платье, но это ему не пошло впрок: он не получил места, для которого принес в жертву свою великолепную окладистую бороду. Впрочем, Шетнев перенес эту невзгоду гораздо великодушнее, чем Ардалион Михайлович Обиняков, у которого четыре тысячи душ. «по усам текло, да в рот не попало» Отправясь

с командою чтоб захватить князя Шелешпанского, Обиняков начал мечтать о будущем своем барском быте. «Шелешпанский глуп,— думал он,— и коли он получал до осьми тысяч рублей со своих четырех тысяч душ, так я получу вдвое. Построю себе на Ильинке каменные палаты, заживу барином и не стану ни перед кем шапки ломать!» Представьте же себе его ужас, когда он нашел никого на хуторе и узнал, что князь Шелешпанский поехал в Москву явиться Мамонову. Эта неудача, которой он никак не мог предвидеть, до того его поразила, что он слег в постель; потом стал попивать с горя, начал заговариваться и кончил тем, что сошел с ума,— разумеется, на том, что у него четыре тысячи душ крестьян и огромные каменные палаты на Ильинке.

Предсказание Мамонова сбылось: военная служба принесла большую пользу князю Шелешпанскому. Конечно, он не поумнел, но зато из неуклюжего увальня сделался таким расторопным молодцом, что через два года махнул из рядовых прямехонько в сержанты.

Может быть, вы желаете знать, любезные читатели, что сделалось с молдаванскою куконою, Смарагдою Хереско? В таком случае, я прошу вас прочесть следующее письмо Андрея Степановича Мамонова, который, года два спустя после свадьбы Симского, был откомандирован по делам службы в Киев.

«Любезный друг Василий Михайлович!

Не удивись, что я пишу к тебе такое длинное письмо. Я знаю, что ты меня любишь, так, верно, с истинною сатисфакциею узнаешь, что твой друг и сослуживец помолвлен. Я пишу к тебе одному об этом, а ты потрудись уведомить всех общих наших приятелей, а к отсутствующим напиши универсалы,— пусть все знают, что я счастлив! Но я еще не сказал тебе, кто эта персона, которая в столь короткое время успела меня совершенно заполонить. Да вот, постой, я расскажу тебе все по порядку. Приехав в Киев, я недели три прожил совершенным сиротой. Первое мое знакомство было с отставным полковником Артамоном Никитичем Голушко. Он живет безвыездно в Киеве, потому что его отчины в Чигиринском повете, по Днепру. Жена его природная молдаванка, женщина без большой эдюкации, но очень ласковая и обходительная У нее гостит родная сестра ее, молодая и богатая вдова, Смарагда Хереско. В жизнь

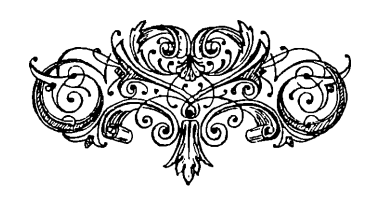
мою я не видывал такой красавицы. Представь себе... да ты не поймешь меня! Ты, любезный друг, живешь теперь почти всегда в Москве, так, уж верно, стал человеком старозаветным; чай, по-твоему та только и хороша, про которую можно спеть

Крутлолица
Белолица,
Красная девица

А моя невеста смутла, бледна, и лицо у нее продолговатое. Для тебя, чай, краше нет твоей Ольги Дмитриевны Кто и говорит она, конечно, пригожа, да это все не то. Как бы тебе сказать? Ну, вот, примером, твоя Ольга Дмитриевна хороша, как прекрасное весеннее утро, а моя Смарагда — как жаркий ясный полдень. Голубые глаза твоей жены тихи и спокойны, как светлый месяц на чистых небесах, а черные очи моей молдаванки вот так и жгут, как летнее солнышко. Надобно тебе сказать. что у нее был жених, какой-то боярин Палади; его убили турки, и она, из любви к покойнику, дала обещание не выходить никогда замуж. Много у нее было женихов в Киеве, да все они как не солоно хлебали! Лишь только кто посватается, так и ворота на запор. Иной не мог даже добиться того, чтоб она с ним словечко перемолвила. Со мной обошлась она гораздо ласковее, чем с другими, и знаешь ли почему? Ты век не отгадаешь. Она любит без памяти Преображенский полк, в котором мы с тобою служим. Ты спросишь. за что? А Бог весть! Я думаю, так! женский каприз. В первый раз, как она со мною об этом говорила, так расспрашивала, как зовут моих товарищей и кто из них женат. Ну, разумеется, в числе женатых я назвал и тебя, рассказал ей, как ты был влюблен в Ольгу Дмитриевну, как ее хотели выдать замуж за князя Шелешпанского, а выдали наконец за тебя. Вот этак недельки через две я начал ей говорить обиняками, пытался завести амурную речь — не тут-то было, и слушать не хочет! Что, брат Василий, тебе, как другу сердечному, скажу всю правду! Не прошло месяца, как я исхудал так, что на себя не стал походить. Сна нет, еда на ум нейдет только и думаю что о ней! А она все та же — ни лучше, ни хуже Однажды поутру пришел ко мне жид с разными товарами: с колечками, сережками, запонками; в числе этих вещей был у него золотой крест с молдаванской надписью, который, по его словам, достался ему от какого-то турка Он уступил мне этот крест

очень дешево, и я в тот же день повез его показать Смарагде. Ты не можешь себе представить, что с ней сделалось, когда она его увидела. Я думал, что моя молдаванка с ума сошла: уж она его целовала, целовала, прижимала к груди! Разумеется, я стал просить позволения благословить ее этим крестом Сначала она как будто позамялась, подумала минутки две, а там взяла его да так на меня взглянула, что я совершенно ожил. С этой поры пошло все лучше да лучше, и вот теперь она моя невеста. Я было, любезный друг, сначала и возгордился. Думаю про себя: ну, видно, я молодец недюжинный и знаю, как с женщинами обходиться, когда такая непобедимая фортеция сдалась мне на дискрецию! Только вчера моя Смарагдушка спеси-то во мне поубавила. Она была со мною очень ласкова, приголубила меня да вдруг и говорит: «Хорош ты и пригож, мой суженый, а всего-то для меня милее то, что ты носишь преображенский мундир».— «А если б я служил в Семеновском полку?» — спросил я шутя. «Так вряд ли была бы я твоей невестой»,— промолвила с улыбкою Смарагда. «Да разве ты любишь не меня, а мой мундир?» — сказал я. «О, нет,— отвечала Смарагда,— теперь я и тебя люблю — ведь ты мой жених!» И тебя!! Вот, толкуй после этого! Подумаешь, как женщины-то причудливы! Ну, скажи сам, Василий Михайлович,— чем наш преображенский мундир красивее семеновского?

Прощай, друг сердечный! Поклонись от меня своей барыне и коли встретишь где-нибудь Федосью Игнатьевну Перепекину, так скажи ей, чтоб она обо мне не хлопотала. Он, дескать, нашел уж себе невесту».



СОДЕРЖАНИЕ

Редактор *А. П Манахов*
Художник *Р. Р. Вейлерт*
Технический редактор *В. И. Артамонова*
Корректор *И Б Сладкова*

Сдано в набор 15.01.93. Подписано к печати 18.08.93. Формат 84×108[1]/32. Гарнитура бодони Печать высокая. Бумага типографская № 1 Усл.-печ. л. 24,27 Тираж 100 000. Заказ 336.

103051, г Москва, Петровка, 26, Фонд им. И. Д Сытина.

Книга издается в соответствии с Федеральной целевой программой книгоиздания в России.

Отпечатано с готовых диапозитивов в Тульской типографии
300600, г Тула, проспект Ленина, 109